

НОВОБЫИ
МИР

НОВОБЫИ МИР

1972

6



1972

НОВОЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLVIII

№ 6

Июнь, 1972 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ПОЭТЫ АРМЕНИИ: Сильва Капутикян — Новые Кузьминки..., Встреча на Эйфелевой башне, Мать, Триолет, И опять..., Я не боюсь состариться..., Осень; Геворк Эми — Устойчив и неуязвим..., Он был просто цветком..., Человечество я воспевал..., На руках тебя носят?.., Осень; Людвиг Дурян — Прими, пастух..., Аист; Ашот Сагратян — Лиловорозова с утра..., Не любишь эту землю..., Моим рисункам...; Юрий Саакян — Спит человек; Паруйр Севак — Я не резиновый..., Вдохновенье. Перевели Э. Балашов, Юрий Ряшенцев, Елена Николаевская, Белла Ахмадулина, Вера Потапова, Юрий Левитанский, Михаил Синельников, Петр Вегин, О. Чухонцев	3
МУХТАР АУЭЗОВ — Лихая година. Повесть о бунте смиренного рода албан. Перевел с казахского Алексей Пантиелев. Предисловие Чингиза Айтматова	17
ИГОРЬ ШКЛЯРЕВСКИЙ — Из новой книги, стихи	105
ВЕРА КЕТЛИНСКАЯ — Вечер. Окна. Люди. Окончание	108
ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ	
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ	
ГАЛИНА ФИЛЯШИНА — Моя бригада	153
ПУБЛИЦИСТИКА	
ДИАЛОГ: «КОРТАРЦ» — «НОВЫЙ МИР». Венгерские и советские писатели о проблемах войны и мира	165
ГЕНРИХ ВОЛКОВ — Три лика культуры	185
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ	
СТЕПАН ЩИПАЧЕВ — Трудная ограда	201

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

	Стр.
ВЛАДИМИР КАНТОРОВИЧ — Завод и люди	224
ЛИДИЯ НЕЧАЕВА — По горьковскому замыслу	237

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

<i>Литература и искусство</i>	247
Ярослав Смеляков. Лирика большого гражданина.— Павел Антокольский. Проза и память.— А. Нуйкин. Соперники? Союзники? — Александр Гладков. Монолог о диалогах.— Валентин Катаев. Книга о мастере.— И. Левидова. Как это делается.	

<i>Политика и наука</i>	269
-------------------------	-----

Т. Самсонова. Дела человеческие.— **О. Мороз.** «Бескрылое» воображение, окрыленный разум.— **В. Гаврилов.** «Выхожу из пространства...» — **Ю. Моисеев.** Первобытная психотерапия.

КОРОТКО О КНИГАХ — Борис Слуцкий. — Юрий Воронов. Память. Стихи о блокаде. ♦ Борис Дубровин. — Лидаия Фоменко. Высокий порог. ♦ М. Искольдская. — А. Митяев. Шестой-неполный. ♦ Р. Борисов. — Леонид Большаков. Отыскал я книгу славную... ♦ Ю. Манн. — Я. О. Зунделович. Этюды о лирике Тютчева. ♦ В. Пронин. — Иоганнес Боброзский. Избранное	282
--	-----

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287
------------------------	-----

ПОЭТЫ АРМЕНИИ

★

СИЛЬВА КАПУТИКЯН

* * *

Новые Кузьминки, Новые Кузьминки,
Странные слова — не скажешь без запинки,
Застревают в русле нашей древней песни,
Чьи размер и форма им, нескладным, тесны.

Как воспеть мне ваше молодое имя,
Неприглядный двор, где снег лежит, задымлен,
Робкие шаги по этажам в потемках,
Чтоб слышали все, как бьется сердце громко.

Чтобы знали: здесь тепло мне, как ни странно,
Словно где-то рядом улица Теряна,
Словно для меня горит в окне высоком
Свет-Армения на севере далеком...

Новые Кузьминки, Новые Кузьминки,
Намело сугробы, замело тропинки.
Стану я весной среди зимы глубокой,
Вытру слезы с крыш, застывшие на стоках,

Окружу я вас моими берегами,
Сохраню, взлелею, залюбуюсь вами,
Древние размеры ради вас сломаю,
В златословой песне жизнь вам обещаю...

Перевел Э. БАЛАШОВ.

Встреча на Эйфелевой башне

Париж — знаменитейший Нотр-Дам,
И — хиппи.
Смещение стиля и тона.
Берешь старинный словарь, а там —
Словечко из модного ныне жаргона.
В толпе, в сумятице красок и фраз —
Высокая девушка, может быть, шведка,
Как Эйфелем выполнена напоказ,
С прической, которую гребень так редко
Чесал, а верней, и совсем не знал,—

Какой-то соломы нелепый навал,
 Осыпавшийся на такие отрепья:
 Всю в трещинах, после скитаний и лет,
 Рванину, какой и названия нет,
 Рванину, какую явили на свет
 Как вызов всему, как угрюмый ответ
 На ложь, облаченную в великолепье.
 Лохмотья — единственный мнимый ковчег
 Для жертвы, бесстрастно взыскующей берега.
 А что за глаза —
 Бездорожье и снег!
 Глядят —
 И ясна невозможность побега
 Из собственной клетки, где вместо запора —
 Сургуч опустелого этого взора...
 Очаг мой, ковчег мой, плывущий вдали,
 Армения наша! Да будешь нетленна!
 Не чаю добраться до милой земли,
 Пред камнем растерзанным пасть на колена.
 Целуя все трещинки почвы родной,
 Всей кровью впитаю и дух твой и плоть я,
 Одеть бы
 Мечты твоей горькой, земной
 Те — в вечных рубцах — вековые лохмотья.
 Шепнуть бы: «Беру, принимаю, ценю
 Нелегкий удел мой — быть дочкой твоею.
 Век твой припомню раз десять на дню,
 Твою полубыль, полусказку лелею.
 Чем можешь, чем хочешь меня обмани:
 Иллюзией, песней, тоской изначальной!
 Наивная, вновь меня в детство верни,
 Скорбящая, сделай старухой печальной —
 Все, все что захочешь! Но волей твоей
 Назначив горчайшие мне испытанья,
 Не дай у чужих постучаться дверей,
 Моля как о хлебе — о крохах страданья!..»

Перевел ЮРИЙ РЯШЕНЦЕВ.

Мать

Ты напрасно сейчас говоришь,
 Что его не простишь никогда...
 С того самого дня,
 Когда бог,
 Человеческий род прокляня,
 Беспощадно предрек,
 Что рождать станешь в муках,
 Тому безусловной поручкой
 Эта мышца, что сердцем зовут материнским.
 Ее исполинской
 Создатель наполнил болью
 И мучительно-сладостною любовью,
 Счастьем, грудь разрывающим, жгущим,
 Самопожертвованьем, пониманья не ждущим,
 И — всепрощением безграничным...

Ты напрасно сейчас говоришь,
 Что его не простишь никогда...
 Сердце — оно не твое: оно
 До тебя
 (Да и после тебя) —
 Дышащего, живущего
 И другому дыханье дающего
 Материнства вечного сердце,
 Некий дух вселенский, исконный,
 Что, на время в тебе поселясь,
 Тебе властно диктует законы.

Триолет

Аветику Исаакяну.

Как и армянские монастыри,
 Дом твой из черного туфа построен.
 Шли к тебе пахарь, и знахарь, и воин,
 Как и в армянские монастыри.
 Шли так к Маштоцу¹ с зари до зари,
 К тем, кто бессмертья теперь удостоен.
 Как и армянские монастыри,
 Дом твой из черного туфа построен.

* *
 * *

Этот вечер сказочен и тих...
 Не такой ли снился нам когда-то?..
 Почему ж по улице покатою,
 Снежной, подымаясь и спускаясь,
 Мы спешим с тобою, отрекаясь
 Друг от друга ль, от себя ль самих,—
 Если вечер сказочен и тих,
 Если снился нам такой когда-то?

Воздух, снегом став, на наши лица
 Падает так мягко, словно боль
 Невзначай нам причинить боится...
 Почему ж сердца свои с тобой
 Мы подвергли острой дроби града?
 Почему? Зачем нам это надо? —
 Если воздух, снегом став, на лица
 Падает сквозь сумрак голубой?..

Свет, и радость, и покой над нами,
 Будто вечер поглощен одним:
 Чтобы шли мы легкими шагами,
 Счастьем осененные своим...
 Почему же, почему мы сами
 Омрачаем этот светлый час,
 Если ради нас — да, ради нас
 Свет, и радость, и покой над нами?..

¹ М а ш т о ц — создатель армянского алфавита.

* *

Настоящее нас развело,
 В будущем нас ждет непониманье...
 Наше — только прошлое.
 Оно —
 В нас звартноцами² воспоминаний.
 И мы знаем с тобой непреложно:
 Реставрация их — невозможна...
 Но от нас лишь одних зависит
 Словом, брошенным ненароком,
 Иль поступком неосторожным
 Не осквернить, не унизить
 Рухнувшие капители...
 Если в прошлое вдруг вернемся,
 Чтобы были у нас хоть камни,
 Пред которыми мы могли бы
 Помолчать, преклонив колена...

Перевела ЕЛЕНА НИКОЛАЕВСКАЯ.

И опять...

Сердце мое, и опять я была не права.
 Вновь я призрачным счастьем тебя обманула,
 Беспокойный твой пламень раздула
 И тебе отдала думы, вздохи, слова
 Не его — своего же привета.
 Это просто я слышала где-то.
 Это я, это я до рассвета
 Из души моей, из светящейся пряжи ума,
 Из тончайших, как мысли, сияющих нитей,
 Из пыльцы неразвеянной гордых надежд и наитий,
 Как паук ослепленный, сама
 Золотой паутиной тебя оплетала,
 В этой люльке из золота тканей качала.

Сердце мое, как со мной тебе, пленному, справиться?
 Ты прости, я все та же упрямица,
 Та, которой уроки не впрок.
 И опять...
 И опять ты распутай клубок,
 И расправь свои мышцы, и выкачай вновь
 Из аорты своей заболевшую кровь
 Вместе с тромбом застывшей тоски...
 Задохнись юным воздухом горной реки,
 Синею далью, дарованной торным дорогам,
 Детским смехом, богатым живым кислородом,
 И себя отвори, ощути первозданную свежесть зари,
 Животворную силу людского дыханья, которым планета
 согрета.

Пусть все это
 Чистой кровью воьлется в сосуды твои.

² Звартноц — храм VII века, находящийся сейчас в развалинах.

И опять обновись и меня обнови,
Чтобы вновь я в любви не устала,
Чтоб я прежней упрямецей стала,
Той, которой уроки не впрок...

Сердце мое — и порыв, и упрек...

* * *

Я не боюсь состариться,
Боюсь, что стану я глухой
К мирским тревогам,
Боюсь, сама себе начну казаться богом
И мерить этот мир собой
Иначе. С позиций собственной удачи.
Боюсь, со стариками,
На солнце греющими кости,
Я буду тары-бары разводить
Вокруг назначенной мне пенсионной славы,
Вздыхать и разводить руками.
Боюсь, что юности сияющей забавы
Меня невольно станут раздражать.
Боюсь всего, на чем печать
Покорной узости:
Боюсь я узко видеть, узко мыслить
И узко чувствовать боюсь.
А больше смерти
Боюсь я не заметить воцаренья
В просторном словаре моей души
Глаголов этих низких, узколобых...

Перевел Э. БАЛАШОВ.

Осень

В природе — сытость влагою и сырость.
Октябрь желает желтым малевать.
Вот и свершилось то, что сердцу снилось:
Прощай! Разлуки нам не миновать.

Ступай! Иди, куда идти велит
Неверности тяжелая свобода.
Я помогу тебе! Поторопись!
Мой опыт провожаний так велик —
Я преуспела в этом, как природа
В искусстве провожать листву и птиц.
В дорогу соберу тебя сама:
Все вспышки губ, все россыпи и клады
Тайн безымянных — отдаю! Возьми!
Ах, странник мой! Полна твоя сума —
В ней все твои неистовые клятвы,
Непрочные, как детский вздор весны.

Что вспоминать! Давно растрочен август.
Душа и лес зияют в октябре.

Не медли же! Мне пустота не в тягость.
 О, благодарствуй! Добрый путь тебе!
 А слезы? Пусть их! Это же ошибки
 Усталых глаз! Все минет без следа.
 Мой опыт провожаний так обширен,
 Так замкнута моей судьбы тропа...

Перевела БЕЛЛА АХМАДУЛИНА.

ГЕВОРК ЭМИН

* * *

Устойчив и неуязвим
 Лежащий на земле нагой.
 Будь золоченый трон под ним,
 Тогда уже вопрос другой:

Того свалить, сместить возможно,
 Кто держится на высоте
 Неправой властью, славой ложной,
 Кто на чужом сидит хребте,
 Кому корысть иль страх опорой
 Иль денежный мешок тугой.
 А что поделать с тем, который
 Разлегся на земле нагой?

Перевела ВЕРА ПОТАПОВА.

* * *

Он был просто цветком,
 Но в суровое время расцвел
 Своим пышным цветеньем.

И тогда к нему просо привили,
 Чтобы стал он полезным растеньем.

И цвето́к перестал быть цветком,
 Но не сделался также и просом...

...Вы хотели б ко мне
 Обратиться с вопросом?

* * *

Человечество я воспевал,
 О наивный пророк, —
 Человека не зная,
 К нему не умел примериться.
 Восхвалял я гату́ —
 Замечательно вкусный пирог,
 А понятия о том не имел,
 Как мука эта мелется.

Я смотрю далеко.
 Вижу путь мой.
 Тяжел он и крут.
 У дороги моей
 Есть ухабы и есть разветвления.
 ...Видно, в общем и целом
 Себе представляя маршрут,
 О дороге самой
 Я еще не имел представления.

* * *

На руках тебя носят?
 Наслаждаешься своей славой?
 А ведь могут руки
 Оказаться опорой слабою.
 А ведь могут руки,
 Высоко так тебя несущие,
 Опустить на землю —
 И растопчут тебя идущие...

На руках тебя носят?
 О, не верь их непрочной силе!
 Заслужи, чтобы люди
 В своем сердце тебя носили!

Перевел ЮРИЙ ЛЕВИТАНСКИЙ.

Осень

Нам, смертным, беда! То ли дело — растенья!
 Лоза виноградная погребена
 И ждет не дождется — скорей бы весна!
 Дожить бы скорей до второго рожденья!

И тыква забытая из-под куста
 Глядит на давилюню грустна, нелюдима.
 Давильня уже в эту пору пуста...
 Небесная синь ли настолько густа,
 Иль, может быть, клубы шашлычного дыма,
 В котором прерывистый голос зурны
 Звенит, задыхаясь, над кровлею плоской.
 Здесь празднуют свадьбу, и звуки зурны
 Разносятся в воздухе без отголоска.

А старое дерево, сгорбленный пшат,
 Над самым арыком ссутулило ствол,
 Как бабушка наша, чьи руки дрожат...
 Плоды с узловатых ветвей наугад
 Оно осыпает речушке в подол.

Перевела ВЕРА ПОТАПОВА.

ЛЮДВИГ ДУРЯН

* * *

Прими, пастух, меня в свое жилище...
 Помощником, подпаском, подмастерьем.
 Носить хочу тяжелую овчину,
 Держать в руках не узкое перо,
 А посох кряжистый и суковатый.
 Скажи своим собакам поскорее —
 Пусть ласково посмотрят
 На меня,
 Как прежде пред тобою,
 Предо мной
 Виляя дружелюбными
 Хвостами.
 Прими, пастух, меня в свое жилище...
 О, я хочу на пастбище твоём
 Бродить по затихающим ложбинам
 С немолчным шумом топота
 В ушах.
 Хочу, чтоб зелень трав новорожденных
 Окрасила мои ступни босые.
 Еще хочу
 Твоих уединений,
 Глубоких дум о почве и Земле,
 В молчании глухом
 Хочу, как ты,
 Исторгнуть голос сердца из свирели.
 Прими, пастух, меня в свое жилище...
 Как ты, хочу державно и сурово
 Смотреть на коренастых волкодавов,
 Немую нежность затаив... И стадо
 Испуганное бегло оглядеть,
 Всем сердцем познавая
 Тревогу стерегущего... Хочу
 В шатре своем седую шкуру волчью
 Поверх овечьей шкуры разостлать
 И в долгий дождь сидеть на шкурах молча
 И четки без конца перебирать.
 Прими, пастух, меня в свое жилище...
 Хочу, как ты, ночами зажигать
 Большое свирепеющее пламя,
 Поддерживая свет до той секунды,
 Покуда солнце
 не взойдет с кострища.
 Мне кажется, меня ты понимаешь...
 Прими меня, пастух, в свое жилище.

Аист

Ты возвратился, аист...
 Ты вернулся как бы из мира зимней белизны,
 Сорвался, словно со снегов Масиса.
 Куда ты держишь путь? Зачем высоко

Ты ходишь в небе?
Аист, опускайся!..
А тополь тот, что был тебе жилищем,
Состарился и больше бы не смог
Одеться листьями.
И я его срубил... Убил, дрожа от жалости жестокой.

Я не хотел, чтоб тополь прозябал,
Чтоб он истлел вблизи от молодого,
Зеленого, бушующего древа,
Чтоб он стонал, ветвями помавал
Иссохшими под музыку напева.
А старое гнездо
Я починил, поставил на виду,
Надежно прикрепил его к вершине молоденького тополя..
Мой дом
Стал тоже старым, обветшал.
Я должен
Его разрушить в нынешнем году..
Да, но скажи мне, аист, разве в прошлом
Случалось так, что долго армянин
Мог обживать свой дом, потом разрушить,
Построить новый из его руин?
...Враг не давал состариться домам,
Сжигал их в злобе дикой.
Но упорно
Мы доброе произносили слово:
«Пусть даже враг мой не лишится крова!»

Ты возвратился,
Ты уже пришел..
А тополь тот, что был тебе жилищем,
Взгляни, смешал зеленый свой туман
С моим протяжным зовом..
Снова
Спускайся, аист! Аист, опускайся!..

Перевел МИХАИЛ СИНЕЛЬНИКОВ.

АШОТ САГРАТЯН

* * *

Лилово-розова с утра,
Стоит библейская гора,
Застыла сказочным верблюдом,
Обозревая это чудо —
Земли прелестный уголок,
Чей облик выточенно-строг,
Где все и скромно и сурово,
Где хлеб всегда дешевле слова,
Которым встретили тебя..

Творец нас создавал любя!
 Сперва — лазоревый простор,
 Потом — рифмуя склоны гор
 И чутко вслушиваясь в эхо,
 Потом с верлибром горных рек
 Связал нас, кажется, навек...
 И каждый армянин — поэт,
 Наверно, с тех далеких лет.

Лилово-розова с утра,
 Стоит библейская гора.

* * *

Не любишь эту землю —
 Не топчи.
 Добром уйди
 Или сойди в могилу —
 Здесь
 сроду
 не рождались
 Палачи,
 Но здесь
 богатырям
 давали силу.
 Не пашешь и не сеешь —
 Так не жди:
 Моя земля не кормит дармоедов...
 Мы молимся,
 чтоб бог послал дожди
 И сеятель
 хлебов своих отведал...
 Не веришь людям —
 к людям
 Не иди.
 Мы хлеб и соль
 на ветер не бросаем.
 Мы верим в день,
 идущий впереди,
 И живы тем,
 что каждый день
 держаем!

* * *

Моим рисункам десять тысяч лет...
 Еще когда я пребывал в пещере,
 Не приобщенный к божествам и вере,
 Я знал, что без искусства жизни нет.
 Рисунок мой задумчив был и прост,
 И я творил неистово на камне
 И душу, возмужавшую с веками,
 Изображал, как быт свой, — в полный рост.
 Вначале мне годились валуны,
 Начав писать куском обсидиана.

Сегодня я вожу рукой Сарьяна,
А раньше создал календарь Луны..
Моим рисункам десять тысяч лет!
А сколько их история слизала,
Вонзавшая в меня измены жало?!
А я творю. И мне спасенья нет.

Перевел ПЕТР ВЕГИН.

ЮРИЙ СААКЯН

Спит человек

Спит человек.
Спят руки его.
Спят молоты, серпы,
цветы, машины, самолеты —
все, все, все...

Ноги его спят,
ступеньки и тротуары,
стены, горы, дороги —
все спит.

Спят губы,
песни, женщины, стихи,
улыбки и проклятия.
Все спит.

Спит человек...

Перевел ПЕТР ВЕГИН.

ПАРУИР СЕВАК

* * *

Я не резиновый — уж это точно:
Потянешь — растянусь,
Отпустишь — соберусь.

Нет, я скорей бумажный и непрочный:
Сожмешь — сомнусь,
Потянешь — разорвусь.

И ни один уют — а их немало! —
Не выгладит меня —
Года не те.

Но все' следы, что время оставляло,
Останутся,
Как буквы на листе.

Вдохновенье

Что делать? — не знаю.
 Хоть об стену бейся.
 И бьюсь!
 И вещи ощупываю, как слепой,
 И, суть их поняв, опять натыкаюсь на вещи.
 Не знаю, что делать.

Хорошо бы на улицу выйти —
 Людей посмотреть, себя показать.
 Да зачем и идти, если незачем?
 И, пальцы сложив наподобье решетки,
 Я думаю, стиснувши лоб,
 О том, что мне делать... И сквозь
 Тюремные щели блуждает мой взгляд.
 Я со злости плююсь,
 И взгляд отвожу от десятипалой решетки,
 И вяло твержу: отпусти, отпусти, отпусти,
 Какой я нарушил запрет?
 И тотчас же — как бы в ответ —
 Глаза мои — что за нелепость? — бегут по-собачьи,
 Бегут вдоль забора, который напротив меня,
 Бегут вдоль забора со множеством всяких афиш
 И каждую букву вынюхивают, как собаки,
 Чтоб как-то помочь мне бессмысленный вечер убить,
 Сбыть с рук за какой-то билет —
 Концертный
 Или
 Театральный.

Но разве же не со словами:
 «Нет времени, нет и минуты свободной» —
 Прошла наша жизнь?
 А нынче и времени прорва,
 Да нечего делать.

Мой внутренний голос —
 Какой-то тупой и бессвязный —
 Все злее и злее теснит меня и гнетет,
 Да так, что я чуть не кричу, как чабан: «Гей-гей!»
 Едва не кричу: «Гей-гей!» — беззаботно и бодро,
 Чтоб пастве моей
 И на ум не пришло,
 Что осталась она без присмотра.

Уже встала стеной темнота.
 Я взглядом бьюсь о мрачную стену
 И пою про себя «Божественный свет»
 И «Багряный рассвет»³.
 Кто спорит, конечно, и это дело,
 Однако слишком высокое дело,
 Дело,
 Которое выше меня.

³ Древние армянские гимны.

И вот я, как дирижер, себя
Обрываю на лживой ноте,
И от этой мгновенной встряски
Руки мои начинают думать...
Руки мои начинают думать
О том, что руки имеют в жизни
Больше смысла и больше тайны,
Чем эгоистичное сердце.
И руки уже не кажутся мне
Жалкими или ненужными,
Я хлопаю ими, руками моими,
И, крепко сцепивши, жду:
Пусть борются в схватке,
Пусть молятся богу,
Пусть делают что захотят...
А ноги мои,
Мои ревнивые ноги,
Срываются с места и сами куда-то идут,
Быть может, тайно надеясь,
Что я оправдаю их прыть
И, значит, больше буду ценить...

И в ту же секунду
Я вспоминаю, как утром
На машине везли лошадей.
Понимаете, да?
Лошадей!
На машине!
Тех самых,
Которые тысячи лет
Все перевозили и переносили,
Взвалив историю человечества
На свой выносливый круп,
Выбив копытами эту историю,
Пыль ее заметая хвостом.
А теперь они сами стали грузом
Для тарахтящего грузовика...
Лошади — в кузове,
В кузове — кони,
Сжались от страха, насторожились
И при каждом крене на повороте
Тесно, как люди, — прижались друг к другу,
Тесно, как люди, — и даже тесней.

Как мне вас выручить, кони мои?
Как мне спасти вас, кони?
Что я могу — подавить рыданье,
Душу за вас отдать...

Так безделье уже пировало, правя, как Пирр, победу,
И достаивало себя лживым лавровым венком,
А вокруг него — с четырех сторон —
Трупы чернели, трупы.
Так внутри у меня сейчас, тотчас, сию минуту —
Кони ржут, и храпят,
И копытами бьют,
Извергают огонь из ноздрей,

Кони,
Кони,
О, сколько коней!

И ноги мои,
Как будто в свое оправданье,
Сами несут и сажают меня за мучительный стол,
Чтоб не только во мне,
Но и в каждом из вас,
В каждом —
Кони ржали,
Кони храпели,
Били копытами, словно в погоне,
И —
Извергали огонь из ноздрей,
Кони!
Кони!

Перевел С. ЧУХОНЦЕВ.



МУХТАР АУЭЗОВ

★

ЛИХАЯ ГОДИНА

Повесть о бунте смиренного рода албан

* * *

Едет старик по дороге, навстречу ему — незнакомый юноша. Старик всматривается в лицо юноши, и все еще не веря себе, но уже угадывая поразительно знакомые черты, скажет вдруг дрогнувшим голосом: «Откуда ты, сын мой, как око давнишнего скакуна?» — и вспомнит все разом: и себя молодым, и давно ушедшего друга, на которого так похож оказался его сын, и ту дорогу, тот гул копыт и посвист ветра в гриве, те голоса, те лица..

Сегодня, заново читая повесть «Лихая година», впору и мне так воскликнуть, ибо я теперь гожусь если не в отцы, то, по крайней мере по возрасту, в старшие братья тогдашнему Мухтару Ауэзову, молодому писателю конца 20-х годов.

Случай необыкновенный. Эта повесть впервые предстает перед русским читателем через сорок пять лет после ее написания, спустя многие годы после смерти самого автора.

Одно дело, когда произведение выносятся на суд читательский при жизни писателя, и другое дело — без него. И причем ранняя вещь, едва ли не из самых первых. И хотя понимаешь, что никто не становится в литературе великим с первых шагов, риск большой: в читательском сознании имя Ауэзова — среди мировых классиков, на вершине бессмертной эпопеи «Абай».

И однако я надеюсь, что по прочтении «Лихой години» поклонники творчества Ауэзова останутся благодарны редакции журнала. Разве есть великие реки без притоков? И до «Абая» Ауэзов был заметным мастером. «Лихая година» свидетельствует о том, что задолго до «Абая» Ауэзовым была уже освоена форма широкого эпического повествования. В этом смысле «Лихая година» — один из первых мощных притоков, породивших впоследствии половодье ауэзовской эпопеи.

И в то же время каждое произведение отвечает за себя. Эта горькая повесть, написанная молодым Ауэзовым в те далекие годы, — яркий пример революционного формирования писательского таланта. Именно на это, на революционность содержания повести, хотелось бы мне обратить внимание читателей. Мало я встречал в восточных литературах произведений, где бы с такой силой художественной убедительности, как это сделал молодой Ауэзов, была бы выражена ненависть к царизму, к его аппарату насилия, где так страстно обличались бы бесчеловечность и цинизм царской колониальной политики, где так глубоко, на фоне большой массы людей была бы раскрыта природа неприятия кочевым народом чуждой ему царской административной системы, где с такой болью и состраданьем было бы сказано о трагедии простого люда, посмевшего, на беду свою, восстать и жестоко поплатившегося за бунт своей кровью своей и изгнанием с родных земель.

Читая «Лихую годину», даже задним числом страшно представить себе, что было бы дальше, каковой оказалась бы судьба кочевых казахов и киргизов, если бы не Октябрьская революция! Язык мой не поворачивается сказать — возможно, нас не было бы. А разве есть такой народ, который не хотел бы быть вечным? И потому только за одно это — за то, что Октябрьская революция, родившись в России, сокрушила имперский колониализм и тем самым спасла мои народы от физического истребления, я готов славить революцию до конца дней своих и детям детей своих завещаю: считать началом дней наших — Октябрь!

Читая ауэзовскую повесть, я вспоминал рассказы очевидцев...

Когда они уходили всем народом через снега и перевалы, спасаясь от карателей, матери больше всего берегли младенцев. Настигнутые пулеметной очередью, матери падали, прикрывая собой младенцев. Тем младенцам, которые тогда выжили, ныне уже далеко за пятьдесят. Многие из них носят имена той лихой години — Тенти (скиталец), Качкын (беглец), Уркюн (восставший)...

Всякий раз, когда кочевники покидали свои исконные земли, гонимые неисчислимыми войнами, они спасали не стада, не пожитки, а детей, видя в этом продолжение рода и надежду на будущее.

И тогда, в том кровавом 1916 году, описанном Ауэзовым, в который раз пред гревными племенами казахов и киргизов вставал вопрос — быть или не быть, жить на родине или на чужбине?

Ауэзов своей повестью напоминает нам, особенно молодому поколению, как много значит для нас победа Советов в России, как много значит образование СССР, бесспорное преимущество которого ныне доказано историей пред лицом всего мира.

Бездна народных бедствий в прошлом и наша сегодняшняя действительность — категории, не поддающиеся сравнению. Но то лучшее, что было в прошлом, тот стихийный народный порыв против колониального царского гнета, когда люди распрямляются, когда они убеждены в своей правоте и, ощущая себя раскованными людьми, бросают вызов насилию, раскрывая тем самым огромные ресурсы человеческого духа, достойно нашего восхищения, и вместе с Ауэзовым мы можем восславить и оплакать то, что было в шестнадцатом году.

Больше всего удалось Мухтару Ауэзову, на мой взгляд, изображение кристаллизации, вызревания стихийной народной волны, подвижной извечным чувством борьбы за справедливость, за свободу и собственное человеческое достоинство. Тогдашний молодой Ауэзов сделал это по крупному художественному и историческому счету, с передовых, революционных, классовых позиций своего времени.

Потому-то эта скорбная, трагическая история, повествующая о неравной борьбе заранее обреченных, вызывает в нас наряду с состраданием и чувство гордости этими людьми.

Нет, не напрасен был тот взрыв народного гнева против самодержавия, как не напрасны были в истории человеческой многие и многие восстания, бунты, мятежи, пусть захлебнувшиеся и подавленные, но оставившие неизгладимый след в памяти поколений как символ трагической красоты, жертвенности и бесстрашия во имя свободы. Все это становится социальным и историческим уроком человеческого обществу.

Ауэзовская «Лихая година» — еще одно подтверждение того, что царская Россия была тюрьмой народов, еще одно подтверждение того, что социальная революция была неизбежна во всех пределах Российской империи, еще одно подтверждение в пользу нашей действительности — того, что социалистический интернационализм был единственно верным путем развития взаимоотношений между народами.

Много разных раздумий вызывает повесть Ауэзова в душе читателя. Много еще можно было сказать в плане художественных особенностей данной ауэзовской вещи, написанной с упоением, с глубоким знанием жизни того периода. Трудно, к примеру, не сказать о сочной, поистине раблезианской кисти Ауэзова в описании природы, быта, каркаршинской ярмарки, человеческих портретов... И уж совсем нельзя не сказать о том, с какой убийственной силой презрения описаны ярмарочные толмачи-казахи при приходе Сивом Загривке и слуги царя — баи — предатели народа, низкие, подлые души.

Отколовшись от своего родного народа и едва удостоенные брезгливой терпимости сильных заправщиков, они заслуживают того, что было сказано еще Данте о таких людях:

*И небо их не приняло,
И ад не принял серный,
Не видя чести для себя в таких...*

Да, и грустно и радостно заново встречаться с неизвестным творением любимого писателя и глубоко уважаемого мэтра. Радостно потому, что встреча эта неожиданная для читателей, судьбе угодно было преподнести нам спустя столько лет еще одно раннее произведение великого писателя, и грустно потому, что автора уже нет с нами.

И потому, предваряя коротким предисловием «Лихую годину» Мухтара Ауэзова, я испытываю сложное чувство. Кажется мне, что провожаю в большую дорогу коня без седока. Вот я подвязал поводья повыше, поднял стремяна к луке седла, укрепил их, чтобы они не мешали бегу, и говорю коню: «Здравствуй и прощай, око давнишнего скакуна! Скачи! Пусть правда всегда будет правдой!»

И глядя вслеп ему, глядя, как он удаляется, думаю: добрый человек, когда увидит, что ты скачешь без седока, пожелает тебе удачи. А тот, кто ездумает схватить тебя под уздцы, позарившись на твою крепкую сбрую, не заслужит благодарности ни от кого и никогда...

Чингиз АЙТМАТОВ.

Глава первая

Было это летом недоброй памяти 1916 года. Было это в предгорной долине Каркара — материнской колыбели казахского рода албан, рода многолюдного, а стало быть, сильного, богатого землей, скотом и трудовыми руками, но известного своим простецким, бесхитростным нравом.

С весны пролились теплые ливни, напоили живительной влагой лоно Каркары, и вымахали травы — на радость чабану и табунщику. Сказочно хороши летовки албан! Не луга — лужки под зелеными шатрами. Они манят и ласкают глаз, они кормят. Купается в травах пастушье племя, встречает торговых гостей.

Каждое лето в Каркаре — ярмарка. Один раз в год, но уж во всю ширь, во весь мах. Место знаменитое. Здесь сходятся и сплетаются в узел девять дорог со всех сторон света. Сюда едут купцы из русских городов — от Волги до Иртыша, едут из Хивы, Бухары, Самарканда и Ташкента и даже из Кашгарии и Кульджи. Едут и везут, едут и увозят.

Уже более месяца, как кипит большое торжище в Каркаре. И будет кипеть еще месяца три. С каждым днем оно все пышней, шумней и тесней. Кажется, полна долина до краев, а товары текут и текут сюда днем и ночью, подобно буйным весенним потокам с гор.

Тысячные гурты овец, стада коров, табуны лошадей ржут, мычат, блеют, топчя и потравливая албанские летовки. Каркара изнывает, стонет под тысячами и тысячами копыт. А скот гонят и гонят: киргизы — со снежных гор, казахи — с предгорий, и он уходит в кипящий ярмарочный котел как в прорву.

По виду торжище в Каркаре — беспечный, разгульный праздник в летнюю пору изобилия, а по сути — денной грабеж, пожива купцу на целый год, нетрудная пожива.

Волк в степи становится против ветра, ловя запахи стада. Издалека схватывает слабое дыхание живого тела с теплой кровью, словно паутинную нить; бежит, крадетсЯ, не обрывая ее, пока не увидит глазом то, что учуял носом. Так и купец. Волчий у него нюх и волчья повадка. За сотни и сотни верст поднял да взял купец след челове-

ского стада албан. И не обманулся: лакомый жирный кус, люди что овцы.

Кишмя кишат купцы на ярмарке. При свете дня походит здешнее торжище на гигантского сома-обжору, который разбухает и лоснится от сожранного, а ночью — на хищного ловкого барсука, который пробрался в овчарню и, впиваясь в овечьи курдюки, сосет жирную кровь.

Говорят, умелые руки и снег подождут. Но с покладистым племенем албан как будто и не надобно такого искусства. Оно, подобно матери-верблюдице, покорно подставляло вымя ненасытному коварному сосуну и словно бы тешилось тем, как щедро поит его своим густым молоком. Купец — мастер доить! По девяти дорогам уплывали из Каркары отборные кони, удойные коровы, курдючные овцы. Мясо и мясо, живое тягло, тонкая шерсть и толстая кожа. Капитал...

Куйрук-бауыр — блюдо из курдючного жира и печени. Чудесное это блюдо — им можно вылечить чахоточного. Оно же богатое угощение для почетных гостей, чаще всего сватов. Ну, а купцы все сваты. Не было в Каркаре торгового гостя, который не нажрался бы курдюка с печенью по уши, до ослиной икоты. Вот почему знали это негромкое место (верстах в ста от города Верного) в торговых городах Сибири и Туркестана, Кашгарии и Китая. На словах — каркаринская ярмарка, а на уме — каркаринский курдюк...

Понятно, с жиру купец бесится. Со временем возомнили себя толстобрюхие, цепкорукие соперниками самой царской казны, и шеи у них замлели от чванства. Возгордились своей мощной, стали поплевывать в колодец, из которого пили, да потаптывать грудь, которая их вскормила. Запоматовали, как, бывало, приезжали в Каркару на одной жалкой повозке. Кивали спесиво на свои нынешние караваны. Высмеивали мудрость здешних простаков, которые нет-нет да и грозили пальцем: не хлопай, братец, дверью, которую еще откроешь... Случается, в годину джута и бескормицы хозяин бросает павшую скотину псам. Но пес, вскормленный мясом, бросается на хозяина.

Чудесная земля — Каркара, чудо-джайлау. Травы густы и сочны, как масло. Сколько их ни топчи, сколько ни трави, они неистощимы. После дождя луга воскресали. Даже за ночь долина обновлялась, удивляя поутру чистотой и свежестью, зеленым блеском жизни. Большая Каркаринка, светлая река, вилась по долине, ее вод хватало земле, скоту и людям. Право, это место бог создал для ярмарки!

И все же долготерпенье здешних хозяев истощалось. Таяло стародавнее пастушье смиренье. Казалось, разлилась желчь, и молоко Каркары начинало закисать.

* * *

Знойный июль. На ярмарке пыльно. Подобно паршивой коросте, она облепила излучину реки. В самом центре базара на высоком шесте колышется белый флаг с двуглавым орлом. Тут власть, сила, которая вершит и правит, тут ненависть.

Главный и вседержавный под этим флагом и далеко окрест — пристав, тучный человек с воловьей шеей, обвешанный от плеч до пят оружием и прозванный Сивым Загривком. При нем его подручные, казахи-толмачи, тоже пузатые, распухшие от сытости.

Сивый Загривок глядит грозно, толмачи — двояко: на господина пристава — блудливо, точно младшая жена, осквернившая супружеское ложе, на прочих — свысока, надменно, с алчностью хорька. Заняты пристав и его слуги одним делом и в том деле без слов понимают друг друга. Не зря самого ловкого, самого близкого к начальству толмача зовут Жебирбаев, что значит Обиралов.

Они берут у всех, кто подвернется под руку: у простого люда и волостных управителей, у пастухов и купцов. Ярмарка — длинный

рубль, то бишь большая взятка. Не далее как вчера Жебирбаев отправил в свой аул три сотни овец и полсотни голов крупного скота — через родню, кружившую поблизости, как воронье над падалью. Но это лишь закуска... При Сивом Загривке, богоданном и обожаемом, Жебирбаев хлебал и солоно и жирно.

Вот и нынче в канцелярии господина пристава привычный шум. Сивый Загривок пробирал трех казахов, он топал ногами, весь в поту. Их благородие был в состоянии вдохновения. Потому и лик у Жебирбаева такой ледяной. Толмач словно видел и не видел просителей. Так порочная молодуха на глазах у супруга верна ему всей душой. Так натасканный пес в час охоты опережает хозяина.

— Дурачье! Олухи царя небесного! — кричал пристав. — На кого вздумали жаловаться! Кто вам, скотам, возит товары? Да не будь ихнего брата, купца, — бежать бы вам по всякую всячину за сто верст, в город Верный. Скажите на милость — потравил купец ваши земли... Как это понять — ваши? Земля-матушка — царева! И скот купецкий — царев. И сам купец — белому царю покорный слуга. От него польза и вам и казне. Экую взяли волю — купцу не пасти скот! Я тебе покажу, сучий сын, волю! Сгною в тюрьме!

Толмач с почтительным и угрожающим придыханием переводил речь пристава.

— Таксыр...¹ ваша-родей... — сказал истец постарше, седой Хусаин, коверкая от большого усердия и русские и казахские слова. — Но ведь и мы тоже слуги царя... Но ведь и наш скот — царев скот...

— Ма-алчаты! Не рассуждать! Ну я вас закатаю... Всем по месяцу каталажки...

Пристав схватил бумагу, перо и, гремя шашкой, скрипя портупеей, вывел на листе страшное слово и тут же прорычал его сквозь зубы:

— Пр-рото-кол!

Невдомек пастухам, какой перед ними искусный шут. Теперь, казалось, и взятка не поможет. С немой надеждой они смотрели на толмача, ища в земляке поддержки. Но тот воззрился на бумагу со страшным словом, благоговейно открыв рот, играя в ту же игру.

Истцы переглянулись и опустили глаза, точно невесты. Разобиделись пастухи... Они пришли сюда искать правды, закона. Руки сложив, темя показывая, смиренно пришли, как на божий суд. За что же им месяц тюрьмы?

— Выходит дело, — сказал самый молодой из троих, Картбай, обращаясь к своим, — раз я пастух — значит, виноват? Всякий наговор — уже вина! Что же, я раб безответный? Этот купец, казанский торгаш, брешет на нас бесовестно, а нас и слушать не слушают!

— Хватит! — оборвал его толмач. — Знаем, каков ты смутьян... Слышали...

Однако и старый Хусаин не сдержался:

— Куда ж нам податься? Ваша-родей! Вразумите... Разве так можно править народом? Вот что мне непонятно.

Пристав, подскочив к старику с кулаками, стал их совать ему в бороду.

— Безмозглые! С-старый пес! А это тебе понятно?

— Как не понять, — сказал молодой Картбай, глядя прямо в глаза приставу. — Умней некуда! Каков правитель, такова и управа.

Старик все же придержал жигита за рукав потрепанного чапана: не перебирай, мол. А пристав побагровел, ноздри его раздулись, как у коня на байге.

¹ Господин.

— Ты... образина! А вы что вытворяете? По какому такому праву избili у того купца... Мухаметкерима... его слуг? Ты кто такой — чинить самосуд? Я тебе покажу самоуправство... Запру на тюремный замок, живо образумишься!

И пристав кликнул казаков, куривших из кулака тут же за дверь, в сенях и на крыльце.

Картбай усмехнулся. Подталкиваемый двумя конвоирами, сказал дерзко:

— Я вас не боюсь, в ногах валяться не стану... Само собой — купец-богатеи не нам чета, вот и вся недолга. Нехитрая ваша наука.

Но пристав его не слышал. Пристав слушал себя.

— Убрать! Увести их! Заморю голодом... Я из вас дурь выбью... — кричал он уже в спины старому Хусаину, Картбаю и третьему, молчаливому, так и не вымолвившему ни слова.

Когда же их увели, Сивый Загривок тотчас успокоился и сел, пыхтя и отдуваясь, с самодовольством поглядывая на толмача, словно спрашивая его: ну? каково?

Жебирбаев метнулся суетливо и согнулся в безмолвном поклоне, что означало восторг, преклонение и растерянность перед талантами их благородия. Пристав любил такое усердие.

— Разбойники, — сказал толмач удрученно. — Да если каждый будет замахиваться на купца... Да что станет с ярмаркой! Надо, надо проучить этих глупцов албан. — Сам Обиралов был из другого рода.

— Не-ет, шалишь, попляшешь у меня. Ни за какие коврижки не выпущу! — проговорил пристав и тут же, заметив подобоострастную улыбочку толмача, добавил кратко: — За сто рублей! И кончен разговор.

— За сто двадцать, ваше благородие... — вкрадчиво поправил толмач, и Сивый Загривок сразу же его понял.

Купец Мухаметкерим побывал в канцелярии пристава, разумеется, раньше троих каркаринцев. Он тоже жаловался. Его овцы, нажитые на ярмарке, травили луга окрестных аулов, потому как где же им еще пастись? Одна из отар набрела на аул Картбая и старого Хусаина, объела травы до самого очага, смешалась с овцами хозяев. Хозяева вышли было с миром, с увещеванием, но байские пастухи — народ балованный, самовольный. Чем богаче купец, тем отважней его холоуи. Попробуй их усовестить! У них на все один ответ — так твою и так... Это великие охотники и умельцы материться. Ну, вышла стычка. Картбай выбрал самого нахального и намял ему бока. Другие ускакали. А почтенный Мухаметкерим поспешил в канцелярию, имея при себе конвертик, а в том конвертике восемьдесят рубликов. Конверт он вручил прощаясь. Мог бы вручить и здороваясь. Нет еще того соображения... Тем не менее купец свое сделал.

А вот те каркаринцы будто с луны свалились. Будто им невдомек, что к их благородию с пустыми руками не суйся, на глаза не показывайся.

Как водится, господин пристав уважал обе стороны. Его справедливость имела два лица, ибо от природы ему даны две длани. Не глупо ли, в самом деле, принимать сторону одних, когда есть противная сторона! Ни тех, ни сих не обойди. Таков порядок, непонятный только дурням в этой степи.

Впрочем, Жебирбаев порядок знает. Казах-степняк под замком не усидит. Это для него хуже смерти. Упрутся трое ходатаев — не выдержит родня. Кинется выручать. Тогда-то сведущий толмач внушит им азбучные истины: в каком разе берется восемьдесят, а в каком — сто двадцать.

* * *

На очереди у пристава было другое дело, необычное, оно много важнее ярмарки и всех иных дел. Поначалу их благородие струхнул малость, поскольку дело было не по статье торговли, а по статье той самой — пронеси, господи,—политики. Касалось оно военного ведомства, и может быть, впервые в своем азиатском захолустье господин пристав задумался над тем, что Российская империя уже два года тащит кровавое ярмо нескончаемой войны с Германской империей. Вдруг война словно приблизилась к здешним тихим краям, а рука у военного ведомства тяжелая... Однако и на сей раз пристав рассудил по-своему.

Хитрая ухмылка расплылась на его губах, он посмеивался в усы. Что это он оробел при своих двадцати годах службы в степи? Случай, правда, нерядовой и небывалый... А взяться умеючи — быть бешеным барышам! Похоже, что так. Вот когда местный род албан у него в руках — и голытьба, и знать, и богатеи.

А дело было такое. Утром сегодня подоспела казенная почта, и пришла гербовая бумага в форменном пакете под сургучными печатями. Указ государя императора, белого царя.

По правде сказать, не все тут было ясно. Начиная хотя бы с замысловатого титла... О реквизиции инородцев на тыловые работы по военной надобности. Неслыханное занятие. Но ясно одно — указ! Здесь, в дикой степи, он подобен воле божьей.

Сивый Загривок умел толковать законы. Закон состоит из артикулов, меж ними пробелы... В этих пробелах — самая соль. Они подобны рытвинам да ухабам на прямой дороге. За такой малой рытвинкой можно верблюда спрятать, человека убить, вырыть золотой клад. Ну, а царский указ — всем законам закон. Пред ним все прежнее мелочь, гроши.

Пристав поманил пальцем толмача, показал ему бумагу с двуглавым орлом. И затрясся от сдавленного смеха, увидев, что изобразилось на его сладкой роже. Жебирбаев словно верил и не верил неданому счастью; заплывшие его глазки, казалось, подмигивали друг другу. Пристав кивком укрепил его веру. И сам в ней укрепился.

Правой рукой пристава был урядник Плотников, долговязый сухопарый казак с длинной раздвоенной бородой, всей своей статью наминавший борзую. Урядник Плотников свободно говорил по-казахски и был недреманым оком начальства на ярмарке. Это око мигом находило виноватых — сколько их благородию надобилось. Ему первому из русских чинов пристав дал в руки царский указ. В русской грамоте Двухбородый был не силен, в бумагах не разбирался и понял только то, что начальство довольно и до поры до времени следует держать язык за зубами. На радостях он высморкался, делая вид, что прослезился.

Осведомил пристав и чиновников — судью, следователя, надзирателя, и они, разгуливая по пыльному базару, то и дело сходились вместе, чтобы обменяться лукавыми усмешками, поскольку все они плели одну паутину.

Пожалуй, дальновидней других был следователь — недаром носил очки с толстенными стеклами. Он лучше знал казахов.

— Новое это дело для степняка, непривычное. Недурно бы посоветоваться, под каким соусом его преподать.

— Извольте! Советуйтесь... А я слуга покорный! — возразил пристав. — У меня — живо!

— Собственно, и я не охотник мешкать. Но здешний народ — как скот, полудикий, необъезженный. Привык весьма вольно кочевать по степи и потягивать себе кумыс.

— Вот и нужно его по шеем, сударь мой, чтобы и головы не поднял. Чтобы и не вспомнил про разные там соусы... Мы станем советоваться — и их обучим. Не дать рассуждать!

— Положим, это так. Положим, вы правы...

— Ну, так и с богом! — перебил пристав. — Вызовем волостных, объявим указ, и без разговоров! Никаких поблажек, ни малейших проволочек. Исполнять бегом, не дыша. Думать только о том, как бы поживей да попроворней. А понадобится, видите ли, совет — я к вашим услугам.

И Сивый Загривок с удовольствием сжал толстые пальцы в кулак.

Следователь промолчал. Он видел, что на самом деле пристав отнюдь не так спокоен, как старался показать. Недаром, призывая собрать волостных, пристав назвал первым имя Рахимбая. Этот господин был не столь умен, сколь оборотист, из самых ретивых и угодливых.

* * *

Ярмарка — великий сбор господ и слуг. Здесь живут тесно, как в городе. Все влиятельные, знатные, власть имущие из рода албан толкуются на ярмарке постоянно, а при них — несметная свора прихлебателей. Заняты они куплей-продажей, но чаще бездельем и тайными кознями. Иные, развалясь на коврах в своих богато убранных юртах, пьют хмельной кумыс, играют в карты, а иные с утра до вечера в чайханах едят сурпу, узбекские манты, прихлебывают зеленый чай, беседуя с жаром пророков, с достоинством козлов.

Обыкновенно волостной управитель держится в своей волости удельным князьком, таким чистопородным вожаком-бараном с крутыми рогами и большой мошонкой. Здесь, среди себе равных, а то и старших чином, волостные выглядят скромней. Не так орут, как дома. И вроде бы не так самоуправствуют. Однако при каждом непременно свита. Повсюду неотлучно толмач, и, конечно, посыльный с нагрудной медной бляхой размером покрупней, и, на худой конец, хотя бы один-два аксакала видом поосанистей, побогаче. Без них волостному срамно показаться, как женщине без нескольких юбок. Все же при волостном печат! А она равнозначна рогам и мошонке у барана.

Первейшее и излюбленное дело у этих людей — интрига. Все они политики, а на ярмарке всё начальство. Этот на короткой ноге с урядником, а тот и с самим приставом... Любая распря, склока, неурядица разрешается в конечном счете там, где русский чиновник. На одного навлечь гонение, другого прикрыть, запутать умника, обмишурить глупца — вот где раскрывались таланты волостных и их подручных. От века так было: там, где волостной, всегда свара, мутная вода, а в мутной воде рыба.

У волостного Рахимбая была репутация дельца изрядного. Он был моложе других и худо-бедно, а все же балакал по-русски, умел потрафить и был ближе к начальству — это придавало волостному особый вес. Случалось, сам пристав окликал его по имени, подавал руку, приглашал на чай. Это дороже денег! Считалось, что Рахимбай вхож в дом пристава, и на ярмарке Рахимбая знали все, толкали друг друга локтями, когда он появлялся. Вот за что Рахимбай почитал пристава, вот за что любил. И уж по ярмарке ходил индейским петухом, совал нос в любое дело, всем покровительствовал, всех поучал, благо язык у Рахимбая был без костей.

Посыльный пристава застал его на людях, в узбекской чайхане, где он обедал, по обыкновению, за чужой счет. Был он в тот день на базаре с женой и сынком, баловнем, и как раз попался ему на глаза старшина одного богатого аула из родной волости. Пришлось уважить человека, сделать ему одолжение: «Э... видишь, моя жена...

хочет отведать манты... для того только и приехала... Так что поворачивай коня — угостишь нас узбекскими мантами!» Это было у Рахимбая в обычае. Ну и засели в чайхане, и пошли манты, сурпа, кумыс и лганье, бахвальство самое несусветное.

Тут-то и подоспел посыльный — от самого пристава. Объявил — зовет его пристав... Рахимбай постарался, чтобы это услышала вся чайхана. Знай, мол, жена, знайте все, с кем мы знаем.

— Седлай коня! — скомандовал он старшине и с важным кряхтеньем стал подниматься. — Что-то мне хочет сказать мой старый друг?

Когда Рахимбай прискакал, все волостные были в сборе. Но он, никого не замечая, прошел прямо к приставу, хотя тот был нынче мрачноват. Хмурились и урядник Плотников и четырехглазый следователь.

— Здрости...

И Сивый Загривок на миг будто бы посветлел.

— А, прибыл наконец. Садись, садись.

Тотчас посветлели и толмачи и за руку поздоровались с Рахимбаем, единственным из волостных, поскольку с ним одним здоровался пристав.

Рахимбай, надув шею и страшно кряхтя, словно собирался по меньшей мере снести золотое яйцо, уселся.

Сегодня у пристава тесно. Волостных управителей десятеро, а всего — с биями да аксакалами человек пятьдесят. Многие сидели на полу, держа шапки в руках.

Пристав встал. Он медленно багровел от натуги. Голос его был неестественно зычен, но речь невразумительна. Из всего начальства Сивый Загривок самый недалекий. Хоть он и грамотней урядника Плотникова, но не гораздо ученей... Не умудрил господь говорить речей.

— Война, милые мои, война, — начал он. — Надобно и нам с вами посильно подействовать... Об том царь-батюшка и повелевает... Это не дело — распивать кумысы, когда тут, извольте ли видеть... война! Все государство терпит лишения, кровь проливает... По сему случаю прибыл высочайший указ. Па-пра-шу встать! Оглашаю указ государя императора...

Указ оказался тоже недлинный.

Жебирбаев должен был его перевести, но он был натаскан по части взятки, а в прочих занятиях — ни в зуб ногой. Кроме того, Жебирбаев не из рода албаи, его слушали бы с подозрением.

Следователь предложил своего толмача по имени Оспан. Этот человек был в хозяина — умней и приличней других, имел почтенный вид и даже добрый нрав. Как и все толмачи, он наживался при начальстве и в том находил вкус жизни. Он не забивал себе голову такими праздными вещами, как убеждения или мысли. Никакой такой суеты не было в его сердце. И все же благолепие, обходительность украшали его. Хорьки злобны, а лисы, пожирая курицу, улыбаются.

Последнее время слышал он краем уха, что где-то там в Казани будто бы издается казахская газета и будто бы она печется о делах степняков. От этих слухов он отмахивался, как пес от слепня, а то и клацал зубами, поскольку слепень неотвязчив.

Указ его не слишком беспокоил. Больше его тревожило то, что начальство не в духе. Он и старался угодить, не осрамиться. А что за страсть он переводит — не задумывался.

Толмачил он хорошо, понятно. С ясной, светлой, добродушной улыбкой. Чего указ требует? Немедленно, спешно сдать властям житов. Спрашивается — каких? Написано: в возрасте от девятнадцати

до тридцати одного года, не моложе, не старше. Для чего? Для нужд фронта. Сказано, однако, что жигиты воевать не будут. Понимай — с оружием в руках. А будут они заняты на тыловых работах. Будут в тылу. Так точно и указано, слово в слово.

Одна лишь заминка вышла на слове тыл. Где это страхолюдное место? Какой оно волости, уезда? Уж не так ли теперь именуется, спаси аллах, тот край, где на собаках ездят, — Сибирь?

Тут толмач слукавил — с поклоном, с извинением повернулся к господину следователю. Начальству приятно, когда ты в затруднении. Начальство знает, что ты не можешь знать того, что оно знает. Улучи момент, покажи внезапно, со стыдом, а то и с детски-наивными глазами всю свою тупость, истинное свое ничтожество — не проиграешь. Умней начальства только круглый дурачок, блаженный слепец...

И мудрый Оспан споткнулся на малознакомом военном слове. И погрузился в раздумье, услышав от следователя, что их родная Каркара, представьте себе, есть тыл!

Когда же толмач закончил, оторвал взгляд от бумаги, он увидел то, чего еще не видывал в канцелярии пристава. Пожалуй, ни одна бумага из тех, какие Оспану доводилось держать в руках, так не ошарашивала людей. И это ему льстило.

Никогда прежде не было здесь так тихо. И так темно, как будто солнце затмилось. Все были ошеломлены, и господа и слуги, и, кажется, не менее прочих само начальство. Волостные, вылутив глаза, не мигая уставились на пристава и толмача; в глазах только испуг. И те и другие онемели. Даже румянький Рахимбай побелел и словно разом отошал; шея — как у оципанной курицы. Страх клубился в воздухе, подобно табачному дыму. Сивый Загривок внушительно топтался на месте, скрипя сапогами и портупеей, но, видать, и он опешил.

Так и стояли и молчали...

Хороши были волостные в этот постылый час. На последних выборах как будто бы подобрали деятельных людей, молодых, не старше тридцати; многие из них кумекали по-русски. Бойко они распорядились, но они ли правили? Ни одного настоящего дела не решали без родовитых, богатых баев, которые и сделали их, молодых да притких, волостными управителями.

И теперь все они мысленно спрашивали тех, старших: как быть? что отвечать? Строили догадки. И каждый ждал, что скажет другой. Десятеро... при десяти печатях... А ни у кого ни совести, ни воли. Все поджали хвосты.

Пристав густо откашлялся и со значением посмотрел на следователя, приняв трусость за послушание.

— Так вот, указ, — сказал он. — Незамедлительное выполнение! Указ царский. Так что сами беритесь за списки. Все иные дела побоку и в сторону. Докладывайте списки жигитов на реквизицию. Спрашивать буду лично по всей строгости закона военного времени. Война-с, господа управители, война-с!

Волостные зашевелились. Понурились, они исподтишка переглядывались и вроде бы перешептывались. И казалось, что они скалят друг на друга и шипят.

Нашелся, однако, один, обретший человеческий язык. Это был Аубакир. Он тоже из молодых, да не этого десятка. Лицом бел, бородка клинышком, взгляд острый, с прищуром, дерзкий взгляд. Нравом горяч. Говорит не церемонясь, без околичностей, хоть без начальства, хоть в глаза начальству. С этим молодцом пристав столкнулся раза два и люто его невзлюбил.

Ждал пристав, что ответит ему Рахимбай, но ответил Аубакир:

— Указ нам огласили. Мы его выслушали. Но мы не знавали та-

кого указа. Он как гром на нашу голову. Почернели мы до пят от этого грома. Казах, сколько ни живет на белом свете, не видывал, не слыхивал такого слова от царя! Что мы можем сейчас сказать? Пошлите нас к народу, будем советоваться с народом. Разве это не так? Разве это не нужно?

И сразу же точно прорвало: хором загалдели все остальные, перебывая друг друга. Все подняли хвосты.

— Так... точно так... Правду говорит... Разве неправду? Что тут еще скажешь? Вдруг с бухты-барахты... Советоваться! С народом!

Теперь следователь со значением покосился на пристава, а Сивый Загривок позеленел.

Такого галдежа, такого разврата он не упомнит в своей канцелярии за двадцать лет беспорочной службы. Он ли не знал этих скуластых, черномазых как облупленных? Бай вечно кивает на дядю, когда с чем-либо не согласен, и уж этого дядю хвалит либо бранит с жаром. Это Сивый Загривок знал. Знал он и другое. Всегда сыщется да выскочит какой-нибудь рахимбай и поклянется за всех других: будьте покойны, не подведем, исполним!

Где же этот шельма Рахимбай? Вон он — прячется за спинами других... Каков гусь! Вроде бы он впереди всех и вроде бы нет его вовсе... Разрывается — хлопочет, подталкивает других, а сам ни гугу... Нынче от него почина не жди.

Пристав поискал взглядом еще одного, другого. Повел этак начальственной бровью... Те ели его глазами, как солдаты в строю, но языки проглотили.

Экая досада, однако. Такой счастливый случай! Казалось, привычное, законное дело: приструнить, настращать — бездонные карманы наполнятся, поспевай братъ. И вот на тебе!

Такой смирный, спокойный, покладистый народец, тишайшее племя во всей бескрайней безгласной степи... Посмотришь — раб, пастух сиволапый, вроде бы не богомолен, а бабу не бьет, при старце не сядет, трезв, песни складывает каждый третий! Дери с него шкуру — поет, бренькает на своей домбре... А уж эти, эти-то господа, хоплы души... Советоваться, видите ли, с народом!

Будто подменили. Не узнать.

Доныне Сивый Загривок знал одну силу — высшую, богоданную, самую страшную. Стало быть, есть еще другая сила? Неведомая, бевсовская, и она страшней его силы, а значит, всего на свете?..

Это была даже не мысль, не догадка, а внезапное ощущение, и пристав содрогнулся от этого жуткого для него ощущения, а следом за ним, глядя на него, содрогнулись следователь и урядник. От них не ускользнуло то, как пристав поднес к груди ладонь, сложенную щепоткой, и мотнул ею, как бы незаметно, непроизвольно крестясь. «Ужас... ужас...» — мысленно бормотал следователь. Этакого конфуза и он не ожидал.

Аубакир... Теперь на него были обращены все взгляды. Волостные жались к нему, точно к аксакалу... Опасный человек. Вот кого надо к ногтю. Давно уже он у властей на примете, а все-таки недосмотрели. Попустительство.

— Да-с... Вот, значит, как... — сказал наконец пристав. — Порадовали вы меня, право, порадовали. Это вам зачтется, господа мои! Сколько лет служу, на моей памяти ни вы, ни ваши люди ничегошеньки перед царем-батюшкой не заслужили. Так-то вы верны, так-то служите государю императору! Запомню, господа, запомню. Ну, что ж... так и быть... разрешаю... Даю вам три дня сроку. Езжайте по домам, советуйтесь. Хоть с чертом лысым, хоть с овцами да баранами, извольте, сделайте милость... Но чтобы через три дня списки были у

меня здесь на столе! Через три дня — списки! Иначе — пеняйте на себя. Я лишних слов не люблю-с. Да-с! И баста. Кончены разговоры... Езжайте!

Расходились молча, словно из дома покойника. Рахимбай и еще двое, те самые, на которых пристав рассчитывал, стали пробираться к нему, показывая, что они не как иные, они его люди, его уши, его глаза. Каждый из них надеялся услышать от пристава особое доверительное словцо.

Однако сегодня Сивый Загривок был неласков. Лишь Рахимбаю бросил на ходу через плечо, углом рта:

— Сма-атри у меня! А ты туда же... ловчить? Я т-тебя, братец!..

Глава вторая

Минула короткая ночь, настал черный день. Наутро об указе знали везде и всюду, стар и млад. И поднялся над аулами женский вой, детский плач. У всех на устах были уродские и страшные, необъяснимые слова: реквизиция... тыл... Старики сокрушались, а молодые поглядывали в сторону Алатау, на его ущелья и леса. Надсадно ревел брошенный без присмотра скот. Из края в край скакали гонцы, хлеща коней плетьюми, а людей дурным ошалелым криком. Слухи были один другого нелепей.

Около полудня в слепящем знойном небе над степью пронеслась одинокая туча. Она походила на сломанное обвисшее крыло дракона. А под тучей от земли до неба взвизывался и раскачивался клиноподобный вихрь без грома, без свиста, устрашающе беззвучный. Когда туча была над лугами, срывались и взлетали ввысь травы, когда над рекой — ввинчивался в небо чудовищный столб воды.

Смерч прошел над ярмаркой, мгновенно вздув столбом песок, пыль и мусор, срывая крыши, ковры и кошмы, валя и расшвыривая прилавки, коновязи, повозки, унося во все стороны шкуры, ситцы и шелка, взметнув выше птичьего полета пятнистую мелькающую игристую занавесь гребней, зеркалец, ниток и посуды. И пошел гулять далеко в степь, до Кегена, и дальше до Туза, и там внезапно рассеялся и исчез.

Но уже к вечеру по всей округе, во всех аулах, на всех летовках узнали, что над Каркарой было знамение. Под видом июльского смерча прилетал дух великого предка. Он явился, чтобы заступиться за безвинное и беззащитное племя албан.

Сведущие люди толковали знамение так. Это было внушение: приставу — «не обижай, не гони моих людей...», а людям — «уверьтесь, не дам в обиду...». И многие люди слушали знатоков и верили. Поздравляли друг друга; объясняли со слезами умиления: освобождают! отменяют указ! не погонят жигитов!

Ярмарка опустела. За целый день ни один казах не купил коробка спичек. Замерло громадное торжище, уснуло как в сказке.

Не дымилась пекарни. Не благоухали маслом, тестом и мясом манты. Торчали порожняком чугунные котлы, медные чайники. Словно водоросли в заболоченном озере, висела кокаская сбруя, никому не нужная, непонятно, для чего предназначенная. Осиротели в лавках ткани и платья, подобно одежде покойника, к которой казах не прирагивается целый год. Ни одной живой души у прилавков, ни одного коня у коновязи. Все девять дорог с ярмарки со всех сторон света точно вымело. Мертвые дороги, загадочные, голые, как тропы в пустыне. Тишина удручающая, сонная одурь.

Только чрево несытое купецкое урчало. Бесились купцы, ругали, кляли этих простаков, глупцов, этот убогий народ. И что за дикость! Вчера тут топотали, ржали десятки, сотни верховых коней, лавки трещали от люда, не протолкнешься, не продохнешь. И не одно мужичье — старухи, молодухи, девки, смешливые такие дурочки; они платили, сколько ни запросишь, не торгуясь. Нынче забрел бы случайно беспорточный батрак, принес бы хоть заваливающий клок шерсти, хоть сырую шкуру... Спросил бы хоть пиалушку для почина... Даром бы отдали, проводили бы с поклоном.

Куда подевалось вчерашнее благодушие и щедрость, щедрость уморительно деликатная, словно смущенная тем, как она недостаточна, ничтожна? Все сторонятся ярмарки, как сточной ямы, а купца — как зачумленного. И у последнего оборвыша, который вчера стеснялся поднять на тебя глаза, сегодня во взгляде, в сжатых губах, во всей осанке такое презренье, как у хана при виде черни. Как будто разом все постигли, откуда их беды и кто они есть на этой земле...

Между тем в степи, в цветущей Каркаре, не стихали плачи и причитанья, моления и закланья. Дурные и добрые вести сменяли друг друга с быстротой ветра и опадали, как осенняя листва. У каждой летовки были свои пророки, и люди внимали им с жадностью, с безотчетной надеждой. Но как ни верили в духа предков, знали, видели: ни с вечерней, ни с утренней зарей не кончится черный день.

Нет, не минует это бедствие, не обойдется само собой, как мечтали, как гадали...

* * *

Тогда пошли люди к Узаку и Жамеке.

Узак, невысокого роста крепыш с седеющей бородой, был батыр. В каменной груди у него билось храброе сердце. А кто знал, тот знал, что у батыра Узака к тому же разбитое сердце.

Жамеке — аксакал. Ему за семьдесят, но он еще выглядит орлом. Это красноречивый человек, за ним всегда последнее слово, однако спорить он избегает, в споры ввязывается лишь по крайности, как бы уходя в себя, предпочитая размышление.

Немногословен и батыр Узак, не любит длинных речей и мастер оборвать болтуна. Скажет как отрежет. Слово у него — как кол.

Батыр Узак и Жамеке — давние друзья. К ним-то и стекались люди имущие и неимущие; шли с утра до вечера из Кары, Лабаса, Сырта...

Уже был съеден жертвенный скот. Прежде всего, понятно, принесли жертву с усердной молитвой. Так поступают, когда захворает родич, когда нет дождя; просишь у бога даянья — воздай ему сам. С этого и начали совет — на холме Танбалытас, близ аула Узака.

Узак молчал. Целый день он слушал одного за другим всех, кто пришел к нему. Но он слышал лишь жалобы да сетования. Сплошной стон. «Жили как умели. Жили да жили... А тут конец света». Никто не мог сказать ничего дельного, даже один почтенный старик, который дольше всех говорил.

Узаку опостылело празднословие, он плюнул в досаде.

— Ты перестанешь, что ли? Плачешься, как вдова по покойному мужу. Не я выдумал этот указ, нечего передо мной распинаться. Ступай, поплачься перед приставом. Держу я тебя, что ли? Или говори дело.

Крутой нрав батыра известен. Но по тому, как он оборвал седобородого, как угрюмо насупил брови и сверлил людей маленькими зоркими глазами, было ясно: и он не в себе. Что-то он замышляет и чего-то ждет от собравшихся. Он себе на уме. Но, видать, и ему трудно... Понимал это и Жамеке и не мешал Узаку собраться с мыслями и найти в людях то, что он искал.

Однако все ждали их слова. Албаны как дети — любят ласку, но утешать нынче грех.

Долго длилось молчанье, терпеливое, покорное и тем более тягостное в такой день, в такой час. И вот заговорил Жамеке:

— Мы, албаны, младенцы. Тепло нам, уютно у материнской груди... Немало я прожил, есть и постарше меня, но на нашем веку мы не помним джута на Каркаре или мора на скот. Не бывало и мора на людей. Как ни теснили нас, чего ни сносили мы, видит бог, оказывается, золотое было время! Нынче обходит нас счастливая доля. Хлынула на степняка беда. Вон она, батыр, вон она над нашей головой! Не обессудь — когда переходят реку вброд, больше всего грузят на большого верблюда. Хочешь не хочешь, подставляй горб. На тебя первого бросится двуглавый орел... в обличье того Сивого Загривка... потому что к тебе пришел народ. Мы знаем: не о себе думаешь. К чему оно нам с тобой, наше благополучие, если народ, народ в тупике! Кто ему укажет путь? А теперь... говори, батыр!

Узак ответил тут же, сердито ответил:

— Говоришь: хорошо было, уа, хорошо... Чего бога гневить, завидные у нас летовки! Ну, а разве в твое золотое время, отец, не видели мы нужды? Разве теперь только бедствует степняк? Когда, спрашиваю вас, мы жили безмятежно? Разве в первый раз в нынешний год нас, вольных коней, рожденных в великой степи, обратали? И что же, на вашей памяти не гладили нас пулей? Неужто, отец? Так ли, аксакалы? Назовите мне день, когда вы не жили под страхом, моля о спасенье. Что вы так всполошились, разохались? И до белого царя бывало... то ли бывало! И этот царский указ не сегодня рожден. К тому дело шло издавна. Не видите, не понимаете, что ли? Эй, вы, инородцы! — вдруг вскрикнул с гневом Узак. — Ежели вы народ... ежели вольные кони... пора на дыбки да лягнуть копытами. Нету у нас другой судьбы. Держись, крепись, брат, день — так день, год — так год, хоть всю жизнь до смерти. Вот мое слово... А кто думает не так — ска-тертью дорога, пускай бежит к приставу на реквизицию...

Был при этом Серекбай с дальней летовки Донгелексаз, тамошний голова, сверстник и друг волостного Аубакира. Пришел он сюда для того, чтобы услышать слово Узака. И не обманулся — где еще услышишь такое слово?

— Кому же охота к приставу! Кто сунет башку под указ! — сказал горячо Серекбай. — С этим к вам не пришли бы. Народ вам доверился, мы вам верим. У вас в голове — то, что в душе народной. Все хотят, чтобы мы сказали: не дадим жигитов! Ну вот, сказано... сказано, люди! Вот с чем идти к Сивому Загривку.

Узак, прищурясь, пронзительно посмотрел на Серекбая. Этого неробкого человека Узак уважал, его горячность нравилась ему, но на душе было неспокойно. Сказано-то сказано... И на словах не сразу соберешься с духом, а в деле? На что рассчитывать, на кого опереться? Об этом думал Узак целый день.

— Думаю... надеюсь... — медленно сказал он, — что и другие казахи, не нашего рода, поднимутся, не покорятся. С ними бы рука об руку, гуртом, сообща... Мы-то, албаны, закоснели... больше привыкли ходить вокруг да около, водить за нос самих себя. Примеряемся и так и сяк. А как придется отрезать? А ведь придется! Мира теперь не жди. Царь не отступится, пристав не простит. Что же, рвать корни... сниматься с родимых мест с детьми, семьями, скотом... грызть локти да уходить? Из этой вот благословенной Каркары, где ни джута, ни мора... куда? На чужбину! в незваные гости! в пески да пустоши... к тому шайтану на поклон... отцам в кабалу, а детям в рабство!

Это было у всех на уме. Деда, прадеды не забудут, как уходили

невесть куда, в Синыцзян... Истинно что к шайтану. Возвращались ободранные, голые, чтобы хоть при последнем издыхании припасть к отчему роднику, из которого мать обмывала тебя при первом твоём вздохе. А сколько не вернулось, умерев на чужбине! Вот что было у всех на уме.

И опять первый сказал Жамеке:

— Пристав дал три дня сроку. От него спуску не жди. А зараза эта моровая. Чего же ради нам тянуть? Только подрежем себе поджилки, притушим гнев народный. Сказано: не дадим жигитов. Так тому и быть! Будем поднимать народ.

Поднимать народ... Давно не слыхивали таких слов. Заветные слова.

— Вот это мне по душе! — возвысил голос старый Жоламан, сам бедняк и отец бедняка, молчавший с утра, пока другие скулили.— Истинная правда: будешь тянуть время, метаться промеж власти и народа — худо дело обернется. Найдутся подлые души, вывернутся наизнанку — угодить начальству. Они-то поспеют! Их упредите, чтобы побоялись грешить против народа. Будем заодно, так и с этими пройдохами совладаем. Скажем всем волостным: не дадим жигитов! А там и к приставу: слушай, мол, как порешили... народ порешил!

Узак вздохнул: старик попал в точку. Волостные... они всюду поспеют.

— С этого начать,— сказал Узак твердо,— не валандаться с волостными. Не с чего им задирать носы, коли у девятерых из десяти сопли по пояс. (И люди со смехом закивали головами.) С ними по-строже. С ходу их обуздать! Сказать сразу: если что... не помилуем. Хватит морочить головы людям, обрыдало пустозвонство, пустобайством. На кой бес нам волостной, который жрать садится с начальством, а чего иное... с народом!

Громкий хохот прервал речь Узака. Так их, батыр, так... Вот это по-нашему.

— Для нас, степняков, грош цена и их власти,— закончил Узак.— Нам дай небо повыше, травы пошире, волю попроще!

— Ой-бай...— прошелестел общий вздох.

Это было у всех на уме. Узак безошибочно и безжалостно ткнул в наблевшее место.

— Сивый Загривок высоко, можно сказать, в тронном седле, а пониже, у нас, на самой шее сидят да погоняют свои приставы да урядники доморощенные, однородные. Воля попроще... Где она, батыр?

«Сжечь все мосты,— думал Жамеке,— чтобы некуда было пятиться волостным, чтобы стояли как вкопанные, боясь кары божьей, воли народной».

И думая так, сказал:

— Завтра же заколю жертвенного коня, приглашу к себе волостных. Думаю, что явятся все. Но полагаться на ихнего брата, верить, что они пойдут с нами,— глупей глупого. Тут-то и подковать их при всем честном народе. Клятвенно упредить: прогоним с позором из нашего рода на веки веков как предателей, как врагов.

На том и поладили. Согласились... И так стало славно, чудно у всех на душе в тот поздний час, по вечерней кроваво-красной заре, предвещавшей ветер. К аулу с холма совета шли обнимаясь. Поздравляли друг друга, благодарили и благословляли. Пели, но не смеялись, больше лили слезы.

А в ауле повскакали на коней и разлетелись по всем дорогам и без дорог с буйными криками, с ликованьем, унося в темную степь, в безлунную, беззвездную ночь светлую весть. Старшие сказали: не дадим жигитов!

* * *

На другой день спозаранок в Акбеит на жертвоприношение Жамеке съехались жигиты рода албан. Собрались влиятельные аксакалы, баи и бии всех аулов. Прибыли и те, кому пристав читал указ, все десятеро.

Юрта Жамеке посреди аула. Вокруг нее столько коней под седлом, как будто здесь открылась новая ярмарка... Весь ближний берег реки кишел людьми. Конники, конники... Их не меньше, чем сосен в бору Лабас, за рекой.

Пылали костры, дымились котлы. Жар и пар — не подступишься. Тут и там кололи скот, рекой лился кумыс. Без этого сборы у казахов не обходятся. Пили кумыс, хмелели. и открывались люди, изливались душа в душу.

Заглавный, набольший круг самых знатных, именитых, самых полномочных расположился на лугу. Всех прочих держали в юртах, поили чаем и кумысом, чтобы не мешали, не лезли на глаза и под ноги. Решать должно аксакалам. А молодежь да беднота только отвлекают, тратишь на них попусту дорогое время... Так полагали опытные распорядители. Зря, однако, старались. Изо всех юрт спешили к лугу рядовые жигиты, окружая его тесным живым кольцом.

В центре круга, насупив брови, надвинув до бровей черные каракулевые шапки, сидели Узак и Жамеке. Волостные управители, разодетые напоказ, с кричащей роскошью, избегали встречаться с ними взглядами, отворачивались. И те и другие смотрели грозно. И те и другие молчали.

Долго молчали, словно пережидая друг друга. И казалось, что в молчании решается, кто здесь хозяева, кто гости, кто судьи, кто ответчики. Молчание затягивалось, но чем оно истовей и церемонней, тем весомей слово, важней и значительней собрание. Здесь не ярмарка и не торговля, здесь совет и суд чести.

Кто же все-таки начнет?

— Уа, сыны албана! — сказал, слегка приподнимаясь, Серекбай, не самый молодой и не самый старый, уже известный, но еще не именитый. — С чем приехали? В такой трудный час можно ли отмолчаться? Мы слышали вчера слово аксакалов. Оно всем известно. Завтра вам отвечать приставу. Народ хочет знать, что ответите!

— Так, так... верно! Народ ждет... — раздались голоса со всех сторон.

Люди задвигались, зашептались. Старшие прокашливались.

— Слушаем, слушаем! — зычно сказал молодой Турлыгожа в тон Серекбаю. — Все знают, по чьему зову и чего ради мы собрались. Пусть не те времена... но и мы, албаны, не без вождей. Пусть ведут! Мы готовы! Пусть скажет аксакал...

— Что ж, дети мои... аксакал свое уже высказал... — сдержанно начал Жамеке, и морщинистое его лицо потемнело от гнева, это все видели, но голос был тих, печален и задушевен. — Говорят, старый баран — это долгие годы, а молодой — быстрый ум. Есть у нас молодежь, жигиты, способные и достойные быть вожаками. Пора им заговорить! Лучше новая бязь, чем линялый шелк... Мы постарели, родные мои, наши шапки помялись, вместо былой силы — немощи да недуги. Наше время ушло, ваше время приходит. Новое время и великое испытание для вас, албаны! Кто болеет душой за народ, пусть подпоясывается потуже... Я свое прожил, свою долю съел — чего мне еще желать, просить у судьбы? И чего ты недобрал у жизни, Узак, батыр? Кто пойдет с нами, увидит, мы не дорожим тем, что нам осталось. Мы стары, но мы будем в твоих рядах, народ! Это мы сказали вчера... говорим сегодня... скажем завтра! Судите, как это вам, по

душе ли? А мы послушаем вас, молодых... тех, у кого вожжи в руках... Что услышим?

Негромкий говор пронесся над лугом, говор стариков. Это были их голоса, довольные и сочувственные, а в иных слышались и слезы.

— Ах, хорошо... любо... Не посрамил, не подвел... Сердцем говоришь, брат...

Молодые молчали. Но их возбужденные лица загорались гневом, как и морщины старого Жамеке, и это было то, чего он хотел.

Волостные утратили лоск. Кажется, не было в речи Жамеке угрозы, одна горечь, а между тем слышали правители словно бы новый указ, и был он страшной и опасней для них, нежели царский. Такого оборота они и ждали и не ждали... Вторые сутки они ломали головы, как бы ухитриться не вымолвить на людях ни да, ни нет. И теперь обрадовались, когда опять первым, как у пристава, вылез этот выскочка Аубакир.

— Спасибо, аксакал,— сказал он горячей скороговоркой.— Слышали вас все. Все благодарны. Лучше не выскажешь чаяния народа. Лучше ему не послужишь. Не дадим жигитов! Иначе и быть не может... Хорошо... Но тогда что же! Как сказал вчера батыр Узак, нам, албанам, доля одна: бежать куда глаза глядят! Узак в дружбе с калмыцкими вожаками. Глядишь, выпросит у них землицы года на три? А за три года, поди, и войне конец...

Ротот прервал Аубакира, и он с недоумением осмотрелся. Его недослушали, и он так и не понял почему.

Бойко он говорил! Легко у него все получалось про долю албан — бежать куда глаза глядят... нет, не так, вовсе не так, как вчера у батыра Узака... Скор, однако, милый, храбрый наш Аубакир! Побежит — на коне не угнаться...

— Не спеши,— сказал, выручая его, Серекбай.— Чего перескакивать с пятого на десятое? Ты сказал: не дадим жигитов. Ладно, хорошо... Это мы слышали. А что скажут остальные? Не слышим!

— Не слышим... не слышим волостных! — подхватил Турлыгожа своим трубным голосом.— Чего молчат? Чего дремлют?

И по всему лугу молодые и старые закричали: не слышим!

Рахимбай ерзал на месте, кричал и кашлял. До сих пор у него и наяву и во сне звенело в ушах: «Сма-атри у меня!» Замучился, несчастный, извелся. Вот, может быть, последний случай прыгнуть выше блохи...

— А что волостные? — вдруг сказал он.— Объяснили вам насчет списков... Теперь передадут приставу вашу волю. Кто такой волостной? Посредник, клянусь аллахом! А посему... чем кивать на нас, орать на нас... не лучше ли заняться делом, потрудиться самим, всем миром... Господин пристав — он как объяснял: война-с! Указ военный, всех касается одинаково — и казахов, и киргизов, и уйгуров. Тыловые работы... рабочие руки... выложить, говорит, и подать... Война-с! Так объяснял. Что же тут волостные могут поделаться? Была бы наша власть, наша сила... Мне вон было лично указано при всех других: «Сма-атри у меня!» Это надо понять. У царя слуг много, их как деревьев в лесу... Не знаешь где чихнуть, где охнуть, чтобы не повредить своей же волости... своему роду... Так или нет? — спросил Рахимбай, стараясь угадать по лицам волостных, высоко ли он скакнул.

— Так, так... — недружно ответили двое-трое; другие молча поглядывали на Узака и Жамеке.

— Ну и ну,— проговорил Жамеке.— Залюбуешься, право! Змеиный у тебя язык, Рахимбай. Плынешь, как худой иноходец... Наверное, думаешь, что если ты уйдешь в кусты с полными штанами, конец свету, некому будет управлять албанами!

— Хромая ты баба,— сказал Узак.— Дырявый человек. Думаешь, один ты знаешь правду? Да ты ее в жизни не искал! Ты пристава знаешь, урядника... И они тебя знают... примерно как своих баб! Царя испугался? Перекрестись... Кас-па-дын Рахимбаев! Давай пиши списки. Гони жигитов царю в подарок. Твой верх, твоя взяла... Идите все за этим выродком. Чего зря болтать!

Тут-то и услышал волостной Рахимбай свой приговор. Зашумел народ:

— Знаем, почему он так запел, знаем! Всю волость купит-продаст-разменяет... Гнать его в три кнута! Проваливай отсюда... мать твою... дочь твою... Пока не прикончим тебя с домочадцами, ни один жигит не пойдет из волости. А пойдет, так прежде тебя зарежет... И зарежет! Как жертвенного барана!

Такого общего яростного крика, пожалуй, не припомнят распорядители, знатоки обычаев и церемоний на высоких собраниях, в кругу избранных, баев и биев. Всего удивительней было то, что не только Аубакир, славный малый, но и все остальные волостные, все до одного честили на чем свет стоит своего же брата волостного. Смекнули-таки, что им делать, как себя держать. И не прогадали, потому и были прощены. А Рахимбай сидел повесив голову, моля аллаха, чтобы ее не снесли.

С трудом утихомирили аксакалы народ — не прежде, чем власть отвели душу все те, кого и не звали на совет, бедняки и молодые. Решили, однако, так: к приставу завтра пойдут не старшие и не волостные, а кто помоложе, похрабрей да понадежней. Избрали Серекбая, Турлыгожу и еще Айтпая.

Затем поклялись в верности на крови жертвенного коня. Жамеке и самые почетные аксакалы именем всех святых рода албан благословили своих соплеменников, и чудилось в те минуты, что все единодушны, как дети одного отца. Огромная толпа, теснившаяся до самой реки, внимала старикам и взывала к духам предков, моля не оставить в беде и в борьбе.

Так было посеяно зерно бунта, одно из тех малых зерен, из которых выросла нива восстания 1916 года, предтечи великой революции.

Глава третья

С того памятного собрания Узак возвращался вместе с Тунгатаром, своим родным братом, и толпа всадников их провожала.

Тунгатар — богатей, владетельный бай, из самых крупных в роде албан. Его сила в мощне. Полторы тысячи коней выводят на летовки его пастухи. По этой причине старший сын бая ходит в жожаках народа, а внуки верховодят среди молодежи. Боится бай только джута и засухи, но то и другое на Каркаре редкость.

Указ царя для него не бедствие. Он уже побывал у кого следует — и у своих и у русских. И остался доволен: он мог быть спокоен за всех своих сыновей и внуков, равно как и за весь свой скот. А вот Узак и старый строптивец Жамеке его напугали.

Неугомонные люди. Ими бай был недоволен. На них осерчал.

Увидев, как круто обошлись с волостным Рахимбаем, Тунгатар предпочел не открывать рта, но заметил, что брат Узак забирал чересчур большую силу. Забылся брат — не оглядывался на баев! Такой грех никому не прощается.

Под вечер подъехали они к своему аулу, и тут навстречу подскакал жигит из жигитов Тунгатара, отозвал хозяина.

— В полдень... как с неба свалились... шестеро казаков... и прямо — к аулу батыра! Обыскали весь аул. Спрашивают: «Где хозяин?» Мы жмемся. «Может, на ярмарке?» А ихний старший, Двухбородый, смеется.

— Так. Понятно, — сказал бай.

— Оказывается, там, на ярмарке, все известно: кто чего говорил и как было с волостным Рахимбаем — все!

— Не ори. Это я знаю. К нам не заглядывали, не спрашивали, где я?

— Нет, и носа не сунули! Но в ауле все равно перепугались. Послали меня встретить вас. Надо вам ехать домой или нет? Ваша супруга велела предупредить. Вас и батыра... Вы ему сами скажете... или как?

Бай с усмешкой почесал ус пальцем, украшенным двумя перстнями.

— Этого следовало ожидать. С белым царем шутки шутить накладно. Влепят ему! Ну да он, кажется, сам хочет, чтобы его проучили. Шибко хочет за-ра-ботать... по шее от пристава... Я добавлю!

Тунгатар спешился и повел коня в сторону от дороги, кивком головы послав жигита за Узакком.

Неохотно откликнулся Узак на зов брата. Давно уже батыр сторонился бая, тяготился каждой встречей — с того темного, трижды проклятого дня, когда разбилось сердце Узака.

Встречаться им приходилось, но ничего в их душах не теплилось друг к другу, ничего не осталось кровного, братского. Иной раз думалось: а одного ли они рода?

Бай был как бай, корыстен, жаден и жесток, не брезговал и грязными делишками, шкурничал крупно и по мелочам. Все же он таился от брата, прятал нечистые руки, но батыр обычно раскусывал его козни и, случалось, заставлял поступать по справедливости.

Всякий раз, когда им надо было встретиться, Узак мучился. Тошно ему было. А Тунгатар делал вид, что ничего не замечает. Тунгатар богател, а Узак седел из года в год.

Однако сегодня нашла коса на камень. Тунгатар сидел на высокой травянистой кочке, когда Узак спешился около него. Провожающие отъехали, оставив их с глазу на глаз. Солнце стояло низко, люди и кони волочили длинные тени...

Бай дождался, когда брат сядет рядом, сказал, не глядя на него:

— Поешь, как петух! Распустил хвост... Кого ты будишь? Кого разбудил? У пристава на твое кукареканье ухо острее, чем у казаха! Вон уже были у тебя шестеро, обыскивали. Сам урядник Плотников. Слышал? С кем ты тягаешься? Еще когда все было тихо, мирно, пристав дал тебе хороший урок — три месяца тюрьмы. Это задаток. А сейчас... головой рискуешь! Что будем делать без твоей головы? Осиротеют албаны.

Узак тоскливо огляделся.

— И чего ты от меня хочешь? Кого пугаешь? Что у тебя чешется — совесть или карман? Ну, дал мне Сивый Загривок урок, дал... Спасибо тебе за тот задаток. А сейчас? Лихо всему твоему роду! О чем же ты хлопочешь? Что с того, что были шестеро? Не видел я, что ли, урядника Плотникова! Провалиться мне сквозь землю? Или обабиться? Что велишь брату? Лизать зад Сивому Загривку, как Рахимбай? Не умею я, как ты меня ни учил. Стар я переучиваться.

— Вот ты всегда так... — сказал бай, передергивая плечами, будто его знобило. — Вечно лезешь на рожон! Дожил батыр до седины, воевал-воевал, а чего достиг? У царя силища — земля под ним гнется. Неужто с тобой не справится? Против кого восстаешь? Когда одумаешься,

остепениться? Себя не жалеешь, пожалей хоть семью, свою же родню. Позаботься о детях, чтобы не тыкали в них пальцем: вон — косопузые того дурня Узака!

— Уа, Тунгатар... да лишит тебя бог надежды... Издергал ты мне душу, вся в крови от твоей узды. Истоптал ты меня, весь в навозе. Что тебе еще надо? Говори...

— И скажу! Послушай... Я кое-кого пощупал. Ты знаешь, я это умею. Как курицу... хоть самого пристава... Если малость потратить... пообедем это лихо на тройке! Спасибо аллаху, не обделил меня скотом. Спаси нужного человечка — добра у меня хватит. А другие как знают! Клянусь тебе, мигни только глазом — вычеркну из списков на реквизицию кого ты скажешь, кого ты хочешь. Не бойся, не разоримся, посеем копейки — пожнем рубль!

Узак удивленно поднял брови:

— Купить меня вздумал, что ли? Правда, что ли?

— Спасая тебя! Остановись, пока не поздно. Не подбивай, не мути простолоудье. Удержи народ! Мы же первые погорим... Они тебя слушают. Пойдут за тобой хоть к шайтану — к тем калмыкам... Это погибель наша. Лишимся всего! Там я не бай, нищий. Сколько ни выпросишь земли — моих табунов не прокормишь. Раньше всех пропадем мы с тобой — вон сколько у меня скота! Куда его девать? Кому его пасти? Ограбят. Разнесут по костям... Послушай меня, успокой наших с тобой пастухов, моих слуг! Хотя бы и дома, на родной земле, — вдруг зашептал бай, — гольтьба разорит нас, если дашь ей волю. Об этом подумал?

— Ты все сказал?

— Да, все. Если ты брат мне, честью рода, памятью наших предков заклинаю тебя!

Это было уж слишком, это кого хочешь взбесит: Тунгатар — и честь рода... священная память предков... Глаза батыра налились кровью.

— Пропади ты пропадом, подлый пес! И как аллах не расшибет тебя громом, а меня осуждает слушать твои бредни... Уйди с глаз моих, двуногая тварь! Не имеешь ты права называться сыном Саурука. Убирайся! И чтоб больше я тебя не видел. Не лезь в мое дело, не стой поперек дороги. Умру — не смей хоронить меня, не позорь мертвое тело. В могилу с собой унесу свое горе, стыд, что ты мне брат. Уходи прочь!

Много лет не видел бай Узака таким неистовым, неукротимым. Батыр дрожал, хватался за кривой нож, висевший на поясе. Вспомнил, видно, бывшее...

«Его не согнешь, — думал бай. — Ломать этого смутьяна, ломать!»

— Что же, я выполнил свой долг... — деланно ворчливо проговорил Тунгатар, влезая на коня. — Кончено. Отныне мы не братья.

Узак проводил его взглядом, слепым от ненависти. Бай ехал на закат, и на него смотрело солнце, тоже слепое, мрачно-багровое, изпод тяжелого века тучи.

А перед батыром вставал день, который он помнил двадцать тягостных лет и не забудет до смертного вздоха.

* * *

У нее была смуглая нежная шея... На шее петля. Пестрая рябенькая петля волосяного аркана, плетеного в три струны.

Обвисло остывшее, бездыханное тело. Лицо мертвенно бело. Лишь глаза слегка приоткрыты и взгляд живой. Глаза кричат: «Отец мой... отец...»

Она звала его в свою последнюю минуту, и он не отозвался. Он

не слышал. Но вот уже двадцать лет, как он слышит... И отвечает ей: «Иду».

Бекей была единственной дочерью. С детства она росла особенной, не похожей на других. Недаром он так любил ее, хотя никогда, а тем более о ту пору, не отличался слабосердечием или особой чувствительностью. Была дочка хороша собой, но были девушки и краше — не было ее умней. Он гордился ею еще и потому, что Бекей была учена!

В то время буйный Узак, сын покойного батыра Саурука, тоже стал батыром и входил в славу. Дочь была ему под стать.

Как водится, Бекей была засватана с малолетства. Жених, сын богатого бая, пошел в своего отца: оба интересовались только скотом, сами почти скоты. А Бекей привыкла к тому, что ее отец, батыр, прислушивался к ее речам. Ей внимали даже аксакалы. И понятно, что она невзлюбила дом глупцов, в который ей предстояло войти. Скромна была Бекей и чиста, но дерзка душой, как отец, и нарушила родительскую волю. Выбрала себе друга по сердцу и уму.

В ясную звездную летнюю ночь, в пору мечтаний и любви, послушалась Бекей веления сердца и пошла за своим избранником, оставив родительский дом. Как ни умна была, ушла не думая, очертя голову.

А может, потому что была умна, она и поверила не в доброту людскую, а в одного человека своего многолюдного рода, в отца, в его дерзость, в то, что он переступит роковой порог, который другие не переступали.

Беда была в том, что умыкнул Бекей молодой киргиз с далеких синих поднебесных гор — Балтабай, сын Манапа. Беда была в том, что было у Узака два брата, и один из них — Тунгатар.

Манап — давний враг Узака и его рода. Взять в жены дочь врага за приличный порядочный калым значит помириться; умыкнуть ее значит оскорбить кровно, а это хуже, чем убить. Под горячую руку, не дав сердцу одуматься, а голове остыть, батыр отрекся от дочери и проклял ее.

Опомнившись, он сам себе поразился. Он не хотел плохого дочери. Он ее любил. Тогда вступились братья Тунгатар и Кожамберды.

Бекей — слишком дорогой дар роду Манапа, говорили они, и это была правда. Сами ляжем костями или убьем, сказали братья, и это была подлость, но в те дни Узак не разгадал ее и не устрасился; он одурел от ненависти к Манапу и его сыну, овладевшему Бекей, бесценным его богатством. Батыра побуждали к мести, и он желал ее, не задумываясь, кому же он мстит.

Своенравный, своевольный, а на самом деле уже замороченный братьями, Узак кинулся в погоню. Подкупил начальство в Караколе. Бекей вызвали в канцелярию.

Иным думала дочь Узака встретить своего отца. Увидев его, она увидела то, чего он еще не видел: свою смерть.

— В моих жилах твоя кровь, отец. Не заставляй меня смотреть в лицо сородичам, — молила она. — Если я провинилась, убей на месте своими руками. Накажи — отними у возлюбленного, отдай за первого встречного, только за киргиза. Не срами перед своими...

Узак согласился, дал слово на Коране. А Бекей подписала дурацкую бумагу, что отрывается от любимого человека... Но заполучив дочь, Узак недолго думая привез ее домой, в свой аул.

Он обманул и предал ее. Обманул и предал самого себя. Он был не так умен и не так учен, как его дочь.

Тем временем его проклятие действовало. Бекей сгорала, таяла на глазах. Маленькая, прекрасная, невинная Бекей... Она онемела навек и дрожала, как ягненок, которого хлестнули кнутом по глазам.

Скрипя зубами, Узак стучал себя кулаком в грудь, потому что в ней опять было сердце, а не бездушный черный камень. Вдруг ему пришло в голову, что он не спас, а погубил свою дочь, что она несчастна, как это говорится в книгах, в песнях. Он ужаснулся тому, что натворил, может быть, впервые в жизни почувствовав жалость и сострадание к женщине.

Братья Тунгатар и Кожамберды ходили за ним по пятам, дергали за полы. Тунгатар изощрялся в громкословье. Позор, говорил он, клеймо на весь род. И пугал карой божьей. Узак презрительно кривил рот, слушая его. Но Тунгатар поднял своими воплями на ноги спящих и хворых. Вся родня ополчилась против Узака. Аживые блюстители чести обложили его, как волки одинокого путника в степи в голодную зиму. Остался батыр один. Никто его и слушать не хотел.

Вот когда понял Узак, как смела и высока душой его маленькая Бекей и как он труслив и низок. Кровь отца, батыра Саурука, вскипела в жилах Узака.

— Не выдам. Не покорюсь! — сказал он дочери.

И опять он ошибся в своей силе, как ошиблась в ней Бекей.

Подстерегли подлые люди, когда он уехал на часок, пришли к нему в дом и повесили Бекей под куполом отчей юрты, на пестром аркане, плетеном в три струны. Сделал это Тунгатар со своей бражкой — на глазах у родной матери, цеплявшей за его мохнатые руки.

Мать слегла после этого и не скоро поднялась. Свалился и брат Кожамберды в неведомом припадке. Когда же пришел в себя, замычал, завыл, перестал отличать пшеничные лепешки от лепешек кизяка, выплевывал хлеб и ел навоз, прожил так год и так умер.

Лишь один Тунгатар пошел в гору, раздался брюхом и задом, и вместо одной у него стало три шеи.

* * *

Каждый раз, когда Узак мысленно уходил в прошлое и видел Бекей в петле, с чуть приоткрытыми живыми глазами, ему словно стреляли прямо в сердце. Тысячу раз оно было прострелено.

И все же он шел туда... и смотрел в глаза Бекей... И жадно, до тягостного болезненного опьянения пил всю горечь, весь яд своей вины, своей неизлечимой раны. Чуждые в молодости, а сейчас сладостные, преступно нежные слова скребли ему душу, ибо то было его любимое дитя, его ласточка, горлинка, невинная, святая.

Вот земля, которая ее родила, выкормила и в которую она ушла. Вот аул, свидетель ее последних дней. Это место названо Танбалытас — Меченый Камень. Не смыть с него клейма.

Северней аула есть утес, черный, с проседью, как борода Узака. Утес тянется вон к тому красному сосновому бору, стоящему на небесном пороге, на краю света. К утесу часто уходила Бекей, будто к отцу. Возвращалась увядшая, сухая, как опавший лист.

Бродила она и под соснами по вечерам, в сумерках, когда сосны выцветали и меркли, как ее юная душа. Но так и не смогла, как хотела бы, уйти от аульной лужайки, посреди которой оголились серые пятна глины, похожие на струнья паршивой головы.

Печаль Бекей несла в себе и речка, узкой лентой сползавшая в Каркаринскую долину подобно длинному плетеному аркану. И невзрачные, безжизненные солончаки на закате. И обшарпанные ветрами, унылые зевы оврагов, похожие на огромные западни.

Повсюду жила мука Бекей, безмолвная, неистощимая. Близ юрт мерцали вечерние огни очагов, и в них была тоска ее сердца. Куда ни посмотришь, видишь ее ранние быстрые морщинки.

И нигде ни искры ее растопганной потушенной гордости.

«Проклятое время... проклятое место...» — думал Узак с застывшим, страдальчески искаженным лицом, согбенный, как будто у него сломали позвоночник.

Что изменилось за минувшие двадцать лет? По сей день по земле Бекей ходит ее палач, мохнатый тарантул в образе человека, раб наживы. Ходит и рвет с корнем, выжигает огнем редкостный дар Бекей, каждый его слабый новый росток. Ходит, и судит, и приговаривает, и казнит, и клянется честью рода и тенью предков, помахивая ими как петлей аркана, плетеного в три струны.

Он извел бы родную мать и прародительницу своего рода, если бы они угрожали его табунам.

И еще думал Узак о том, что, видимо, он сдает, притомился за эти двадцать лет, стал туговат на ухо, плохо слышит голос Бекей, зов Бекей, завет Бекей, ее последние слова: «Отец мой... отец...» А вот Тунгатар не старится и не слабеет, он многолик, многорук, его табуны множатся, его власть возвеличивается.

И, подумав так, батыр застонал, поднял глаза к небу, прося дать ему новую силу и взять взамен его жизнь.

«Я готов, бери меня... Но — как хотела Бекей! Чтобы мне там, перед ней, не гореть от стыда. Возьми меня жертвой за народ! Жертвой за народ... Милая моя, понимаю — не зря явилась твоя тень. Иду! Иду догонять тебя. И догоню, догоню...»

Двадцать лет он винулся перед Бекей. Теперь он хотел бы большего — оправдаться перед ней. Возвыситься до ее мужества и мудрости, которых у нее, женщины, было больше, чем у мужчин рода албан.

Повернувшись лицом к западу, он совершил молитву. Он молился за душу Бекей, а может быть, втайне и ее духу как духу предков, высшей святыне для степняка, равной самому богу.

Потом пошел вниз, к аулу. Конь шел следом.

Была уже глубокая ночь.

Глава четвертая

Назначенные приставом три дня прошли. Но так ли все было, как он задумал? Когда же всполошится смирное племя, побежит, повалится в ноги, примется молить, совать деньги, скот, все свои животы? Похоже, что этим и не пахло.

Что же там дается, что варится на их хваленох летовках?

Добрый толмач Оспан притворялся, что ему стыдно за земляков, вздыхал виновато, глядел скорбно, стараясь показать, как он подавлен и угнетен. Пристав отворачивался от него.

Было у него иное ухо — им он слышал каждое слово, оброненное за десятки верст от канцелярии. Рахимбай днем и ночью слушал, где что говорят, и доносил приставу. Прибывали еще лазутчики неизвестные, от безымянного лица, но Сивый Загривок хорошо знал его имя — умнейший бай. Недавно привелось с ним приятно беседовать, и он первый из немаканных сподобился, отметил беседу надлежащим образом — ассигнацией, достойной царского указа!

Уму непостижимо, что брат этого бая — главный подстрекатель и смутьян. Не выучили строптивца даже три месяца тюрьмы, назначенные ему по-братски, по совету бая.

Пристав привык ощущать себя божком среди всеобщего подобиюстрастия. И разве не был он идолом в этой дикой степи? Сейчас он не мог понять бесстрашия перед ликом своим. Он был оскорблен.

Первым побуждением было схватить вольнодумца немедленно. Следовательно и урядник удержали его.

Это, видите ли, было бы рискованно. Упаси бог, как они стали осмрительны! Спору нет, они упрятали бы за решетку, выслали бы по этапу каждого пятого из тех, кто шумел против указа государя императора. Но это, видите ли, было бы превышением власти. Вон какие мы скромные малые ярмарочные чины...

Доносы шли и шли. Соглядатаи являлись в холодном поту. Послужать, так взбунтовалось все племя, весь народ, степь горит. И прежде указа накопилось достаточно обид, а нынче переполнилась чаша. Об этом никто не говорил открыто, но думали про себя все.

Худо было уже то, что народ вдруг ушел с ярмарки точно по тайному сговору, как по сигналу. Это, господа, разбой и воровство среди бела дня. Это именуется одним непроизносимым политическим словом — демонстрация!

Однако следователь долбил свое:

— Аккуратность и еще раз аккуратность! В такой вот именно момент брать вожака было бы неаккуратно. Ошибемся, очень ошибемся. Лучше воздержаться. Наделаем беды. Сам по себе арест, как правило, возмущает... В такой вот именно атмосфере недурно бы вменить в обычай уговоры... пожалуй, и ласку... Пастух падок на ласку.

— Все равно брать его придется. Без этого нельзя, — сказал урядник. — Да это дело от нас не уйдет. В свой срок...

— Будь по-вашему, подождем, — ответил пристав с усмешкой превосходства. — Хотя и непорядок, господа... Арест на то и есть арест, чтобы пре-се-кать-с! Всякий пыл да раж у степняка мигом проходит, ежели прижмешь к ногтю главаря. Без своей седой головы пастух овечка. Вот именно какой у меня был расчет — куда уж аккуратней!

— Совершенно справедливо, — согласился следователь. — Степняк горяч лишь поначалу. Покипит, побулькает — остынет. Войдет, как говорится, в берега. Возьмет верх, разумеется, не Узак... а его братец — весьма аккуратный деятель! Равно как и наш любезный Рахимбай. Поэтому следует им всемерно способствовать. Не следует им чинить помехи.

— Да-с! Это, слава богу, я и делаю, — проговорил пристав. — Вот что, Плотников, сделай милость, возьми-ка ты, друг мой, полдесятка нижних чинов и — к нему в аул с обыском собственной персоной. Для почина этого довольно. Но чтобы там у меня — ласково! Понял?

В эти три дня пристав был грозней обычного, пыжился перед чиновниками больше, чем перед толмачами, скрывая от них и от самого себя страх. Бранью, угрозами показывал Сивый Загривок, что существует и властвует.

Он хватал одинокого незнакомого путника, забредшего на базар, вырывал его из рук купцов и давал своей душеньке волю, отбирал коня и вертел кулаками перед реденькой черной бородкой:

— Казах? Албан? Шпион? Закатаю! Упеку.

* * *

Настал день четвертый, день ответа. Этого дня ждали все. О нем только и думали у аульных очагов и на пастбищах. Ответ будет всем известный, простой-понятный. Стало быть, так. Так оно и будет.

Но... как же все-таки оно будет? Нелегко было вообразить себе, как придут обыкновенные смертные, пастухи, и скажут супротивные слова... Кому? Сивому Загривку! Разве так может быть?

Говорят, надо держаться всем миром, душа в душу, стоять стеной, как будто у всех албан один общий воротник, общий рукав. Тогда оно так и будет. Надо думать, будет...

И вот с утра множество людей двинулось по девяти дорогам к ярмарке. Поднялись все, кто мог сидеть верхом, стоять стеной.

Съезжались со всех летовок: с Донгелексаза, Коктебе, Кокбулака, Сырта... и с Лабаса, Акбеита, Туза, Кегена... С горных лугов, по ущельям и лощинам текли на Каркаринскую равнину толпы и толпы всадников. Толпы и толпы клубились куда ни глянешь, на всех скалах и кручах, как кучевые облака перед июльской грозой.

Казалось, сами горы, скалистые и снежные хребты вдруг разверзли свои древние недра и сыпали и сыпали из таинственных глубин в зеленую долину людей на конях. Шло племя бесчисленное нескончаемым, буйным, многоструйным потоком. Шел народ конный, непоседливый, народ необъятной, бескрайней суровой степи.

До ярмарки пока что не доходили, задерживались на просторной возвышенности между ярмаркой и аулом Узака. Тут обычно справляли мусульманские праздники. Это место называлось Айт-Тобе, что значит Молитвенный Холм. Оно притягивало к себе всадников точно магнит. И скапливались, набухали здесь толпы, сливаясь в единое, огромное, живое целое, и снизу, из ярмарочной долины, казалось, что на холме вырастал высокий дремучий темный лес и его раскачивал гулкий ветер.

На Айт-Тобе уже приехали Узак и Жамеке. Здесь и Серекбай и Турлыгожа. Многие спешили, коней привязали на живую коновязь. Сидели, подобрав под себя ноги, ждали. А к ним подъезжали все новые и новые всадники. Иные подлетали, гарцуя на разгоряченных конях, поднимая их на дыбы. Но большей частью ехали степенно, нестройными текучими рядами, сдерживая коней, грызущих удила.

На Айт-Тобе особый подвижный порядок. Первыми сюда прибыли встречающие. Их много. Держатся они парами. На сильных резвых конях. Они поспевают всюду, а их кони не перестают дергать головами, прося воли... И видно, как довольны прибывшие, когда их встречают чин чином. Значит, здесь все ладно, все по-хорошему. Довольны и встречающие — отовсюду люди скачут к ним, на Айт-Тобе.

Время шло к обеду. Издалека собирались. Много собралось. Людей, коней — сила! Солнце стояло в зените, огненное, нещадное.

Выделялись люди с летовки Донгелексаз, самой дружной. Их привели старый Хусаин и дерзкий малый Картбай, выпущенные вчера из ярмарочного узилища за сто двадцать пять рублей!

Был с ними и Кокбай, рослый, щербатый, с маленькой бородкой жигит на длинном коне. Он щурился на солнце, подмигивал знакомым и незнакомым, смеялся:

— Бывало, на ярмарке, на том тухлом базаре, сойдется человек пять—десять купчишек и мнят о себе, что их много! Пусть теперь на нас попялятся, будь они неладны. Кого хочешь сметем — так говорю, аксакалы?

Ему ответил Картбай, с удовольствием осматриваясь:

— Поздравляю, брат. Желаю успеха. Вижу, албаны тут все как один! Дай бог...

И с разных сторон полетели и сплелись в узел голоса:

— А как же! Так оно и должно быть, если мы зовемся народом... Держись теперь, господин пристав!

— Ну и ну... сколько нас, братцы! Небось начальство не знает, куда ему деться.

— Попрячутся сейчас в норы. Гляди орлом! Не робей.

— Как пойдем, разбежимся — затопчем! Гуляй, народ, веселей, дружней!

В голосах стариков звучала давно не испытанная гордость, в голосах молодых — желанная удаля.

Жигиты, как водится, зубоскалили, но не над сверстниками, как обычно. Сегодня шел иной разговор — под дружный злорадный хохот.

— Эй, Кокбай, скажи про начальство! Как оно сидит на ярмарке?

— А так. Вылупив глаза, с полными штанами.

— Эй, Кокбай! Как же оно будет тебя допрашивать?

— А так. На бегу удобряя землю.

— Еще чего — допрашивать! Вон нас — тьма. Всех не допросишь.

— Пусть меня допросят. Только и слышишь: царь да царь. Будто я царя испугался!

— Гнать их в три шеи. Сколько нам терпеть этого Сивого Загривка?

— Перво-наперво — ярмарку! Всех обираловых! Нажрались — хватит.

— Постой, постой. Эй, Кокбай, а ты еще не купил себе табачку пожевать, не отведал манты...

— Скажи: не отведал урядниковой плети!

Неподалеку, соперничая с Кокбаем, озоровал другой, рыжеватый молодой жигит по имени Жансеит, то есть Милый Сеит. Он потешался над купцами.

— Теперь не стану платить за табак. Возьму табак и так. Отберу.

Его окликали любовно-насмешливо:

— Жансеит, а Жансеит! Как это ты отберешь? А он обидится — купчина. Почитай, мы с ним приятели давние...

— То-то что давние. Я этих приятелей еще в животе у матери обещал обидеть!

Такое обещание шумно одобрили.

— Жансеит, а Жансеит! А как ты их обидишь? Какого купца ты больше любишь — ташкентского или казанского?

Рыжеватый хрипло прокашлялся.

— Ташкентского не трону. Потому что нужны манты. Без них я скучный. Скажу: сиди тут, вари свои манты. Ослушаешься — бороду сожгу.

— А казанского?

— Казанскому скажу: у тебя глаза зеленые, нос острый. Ты мне бесполезный. Останешься без царской службы — придется тебе кочевать, а ты купец, какой из тебя толк? Иди-ка ты к своим господам прислуживать, как привык! И залейся ты хоть маслом — тебя не возьму. Вот что скажу. Огрею разок плетью и прогоню.

Опять смех:

— Жансеит, а Жансеит! А что ты сделаешь с ихними бабами?

— Какими еще бабами?

— Ну, к примеру, с этой... толстухой... господина пристава?

— А отведу я ее вон за ту скалу, три дня поморю голодом, она и забудет своего пристава и своего бога! Похудеет — отдам во вторые жены Жамеке, аксакалу. Пускай греет ему воду для омовенья.

Хохот, свист, гам... Частый топот копыт сливался в сплошной громовый гул. Сквозь этот гул и не расслышишь голосов. Переспрашивали, кто что сказал, кто что ответил, и покатывались со смеху, валясь животами на седла. Вдруг срывались и с пронзительным шальным гиком, с визгом пускались вскачь. Скачки короткие, быстрые, но они зажигали кровь, взрывали душу. И люди хмелили от того, как вольно дышали, как дружно держались, и от того, что их становилось все больше и больше.

Возник было беглый говорок о том, что шестеро, из них один Двухбородый, обыскивали аул батыра Узака... Там были шестеро. Здесь тьма!

В полдень весь Молитвенный Холм и пологие подступы к нему кишели черными шапками как невиданный муравейник высотой до неба. В один неуловимый миг он неожиданно странно стих, словно бы

замер. Потом сдвинулся в небо, как мираж, и медленно, тяжело пополз всей своей волнистой шевелящейся массой вниз, к ярмарке, туда, где на высоком шесте полоскался белый флаг с двуглавым орлом.

Пошел народ. Двинулось смирное племя.

Ехали молча, неторопливым шагом. Кони тянули головы к траве, словно паслись. И топот копыт как будто приглух. Он не гремел, а стелился. Ни крика, ни свиста, ни смеха. Лишь переглядывались исподтишка, мельком, как бы говоря: идем, идем!

Но было в этом молчании, в этом покое небывалое грозное согласие, сила самой степи, самой земли. Казалось, надвинется это тихое шествие черных шапок и сотрет ярмарку, как медленный сель.

* * *

С утра все, кто был в канцелярии, не спускали глаз с Айт-Тобе. И никто уже не скрывал страха перед тем, что видел.

Пристав и другие чины тайно укрыли свои семьи в двух домах. Их прятали даже от толмачей. Вооружили всех, кого было можно. Толстуха жена пристава взяла наган. Посадили казаков, солдат на коней. Не велели слезать... И заявил пристав во всеуслышание официально, что предпринял надлежащие меры!

Следователь, выслушав его, усмехнулся четырьмя глазами и поступил по-своему. Вытащил из канцелярии наружу большой черный короб с круглым совиным глазом спереди и поставил его на высокий желтый треножник около крыльца. Короб был гладкий, черный-черный, как камень Магомета на святом месте...

Пристав встречал гостей кулаком. Следователь хотел заглянуть албанам в самую душу...

Толмачи жались к начальству до последнего часа, били хвостами, как аульные псы, и, упреждая урядника и пристава, покрикивали на тех немногих казахов, которые жили при ярмарке, однако держали ухо остро. Еще поутру и Обиралов и добрый Оспан отослали своих жен и детей в близлежащие аулы словно бы в гости.

Простых людей сторонились. Только избранным, кого считали посметливой, внушали:

— Это добром не кончится. Наедет карательный отряд. Кровь прольется... В Жаркенте стоит войско. А в Караколе пушек да ружей... как мух на базаре!

Обычно каждое такое слово летело пулей в аулы и разило наповал. Сегодня оно упало под ноги, как козий горошек.

Когда пошел народ с Айт-Тобе, казаки выехали навстречу. Пристав послал их — испробовать, что будет. Но тщетно они кричали, замахивались плетями и хлестали ими воздух, как бы промахиваясь. Народ шел и шел, будто и не было перед ним казаков, а те, вертясь на конях, пятились и пятились. Это походило на игру: огромные толпы черных шапок и перед ними — одинокие чубатые плясуны на конях.

Толпы делились по волостям. Уже на виду у канцелярии два бородача подскочили к черным шапкам, которых вел волостной Рахимбай.

— Стой! Куда прешь? Не велено всем... Давай одного выборного! Осади!

И Рахимбай еще раз испытал судьбу.

— Спешиться! — выкрикнул он сдавленно.

И стал слезать с коня. За ним следом слезли с коней несколько его приближенных.

Никакого уговора на этот счет заранее не было. Но видя, что волостной и его свита спешили, люди его волости сделали то же

самое. А видя, как спешиваются эти, и думая, что так и надо, стали слезать с коней люди, которых вел Аубакир. И дальше — люди других волостей...

Движение застопорилось и остановилось. Люди и кони сгрудились, стеснились. Тогда Рахимбай и его приближенные стали привязывать коней — это напрашивалось само собой... И все кругом принялись привязывать коней, оставляя при них коноводов.

И сразу словно бы тысяча богатырей стала тысячей карликов. Огромные толпы черных шапок, спешенные, потеряли свое грозное обличье. Сами себя унизили...

Пристав и другие чины, стоявшие на крыльце канцелярии, ободрились. Казах пеший уже наполовину не казах. Так и ждешь — сорвет с башки черную шапку и примется мять ее в руках.

Истинно генеральским жестом пристав послал урядника с толмачом Жебирбаевым туда, к просителям, ибо то, что они слезли с коней, уже означало подчинение, означало, что они просители.

У бравого урядника сосало под ложечкой, однако приходилось соотвечествовать начальству.

— Осади! Не шуми! — начал он, подъезжая, с высоты своего седла. — Кто тут у вас за аблаката? Пра-шу... к его благородию!

Люди стояли, опустив головы.

— Есть три человека, — вдруг громко сказал Турлыгожа, выступая вперед, — выбранные народом! Они пойдут... скажут слово народа... Но и мы все пойдём, все! Сами послушаем, что скажет пристав. Так, что ли, народ?

И тотчас над толпами взмыло и раскатилось могучее эхо:

— Все-е-е!

— Стой, не напирай, стой... — забормотал урядник, с трудом усидев на отпрянувшем коне. — Нельзя, не велено...

Куда там! Ожили черные шапки.

— Народ тебе не собака... гнать! Сказано — пойдём... И пойдём, отчего же не пойти? Власть не должна скрываться от народа. Пошли все! Пошли!

И пошли пешие, а урядник поскакал перед ними таким бешеным и таким коротким галопом, будто нарядился скакать на месте, смешить людей.

На крыльце канцелярии не то вздохнули, не то ахнули хором. Мгновенный общий порыв — бежать!

— С ума посходили, — зашептал пристав сквозь зубы. — Держитесь, черт вас подери... Не подавайте виду.

— Да, да... — подхватил тучный судья, пыхтя и отдуваясь. — Будто не замечаем... ничего не случилось... Ведите себя, господа, бога ради... как подобает государственным мужам...

Лишь один следователь, поправив на носу очки, храбро сошел с крыльца и встал около своего короба на треножнике.

Выпятив туго перепоясанный живот, ибо толстый живот в степи уважают, опираясь на рукоять сабли, висящей на роскошной португее, которой не побрезговал бы и столичный полицмейстер, пристав устоял на вал черных шапок взглядом удава. Право, он походил на героя, готового взглядом остановить лавину.

Но напрасно он тратил силу — на лицах казахов не было ни следа страха и смирения, которые он так в них любил. Будто с цепи сорвались! Смотрели на него как на равного... Смотрели насмешливо. Смотрели строго. Ужасно смотрели... И Сивый Загривок почувствовал, как его начинает пробирать дрожь. Хотелось попятиться, пригнуться. Еще минута, секунда — и он не выдержит, заскачет на месте, как Плотников.

Почувствовали это и другие, прежде всего толмачи. Кажется, наступал момент, когда лучше слегка отодвинуться от его благородия. Сейчас при начальстве, у крыльца, были только Жебирбаев и лекарь Жарылгап. Добрый Оспан уже исчез. Его нигде не видно.

— Я начинаю,— сказал следователь и нырнул под треножник; накрыл голову бархатным покрывалом и тихонько двинулся вместе с черным коробом, круглым глазом вперед, прямо на толпу черных шапок.

Гром не грянул, но из-под бархатного покрывала высунулась белая рука, на ощупь схватила тоненький черный хвостик под коробом, раздался щелчок, и глаз спереди единожды мигнул. Это все видели, все слышали.

И побежал, побежал черный короб на человеческих ногах мигать глазом вдоль фронта черных шапок...

Потом только об этом коробе и говорили. Будто бы в нем волшебное стекло. Глянь — увидишь, что было... И, конечно, что будет!

А сейчас — черные шапки замялись, затоптались, отворачиваясь. Люди незаметно поплеывали себе за ворот, чтобы отогнать злого духа, бесовское наваждение. Сглазит — умрешь в адских муках!

Остановилась толпа. Онемела. Застыла, как рысь, когда ей на голову накинута черная мешок.

И тут же отыскался Оспан, выскользнул из толпы и встал перед крыльцом как ни в чем не бывало.

— Говори, кто такие! — рявкнул пристав, хотя коленки у него тряслись. — Кого вы там выбрали? Их первых пере... пере... — В глотке у него булькнуло, он выдохнул всем брюхом: — ...ю-у!

— Салем всему собранию... — перевел мудрый Оспан. — Где ваши выборные? Слушаю!

Это «салем» вызвало недоумение. Из задних рядов кто-то крикнул:

— Сказано вам: выбрали троих. А кто выбран, уж вы-то знаете!

И пусть толмач не врет.

— Ваше благородие, — перевел Оспан. — Позвольте сказать троим.

— Трое так трое, — кивнул пристав. — Выходи!

Серекбай, Турлыгожа и Айтпай вышли вперед.

Тут же черный короб приблизился к ним и встал на треножник сбоку, со стороны Серекбая. И пристав и тучный судья невольно улыбнулись, заметив, как дрогнул Серекбай. Привлекательное его лицо с красивой бородкой порозовело, словно у девицы. Губы так и тянулись к вороту, беззвучно шевелясь, — жутко было бедняге!

Пристав ткнул в него пальцем.

— А ну-ка, ты... что скажешь? Ка-ак тебе пришелся царский указ? Говори...

Серекбай так и не сумел овладеть собой. Досадовал, что не озлился, а оробел. Хотел сказать гневно, а сказал жалобно, запинаясь, волоча слова, как камни:

— Трудно это народу... отдавать жигитов! Тяжко это народу. Кровное это дело... касается всего народа... Да вот народ! Пусть сам скажет... — Серекбай повернулся к толпе и напряг голос: — Отдадите вы жигитов?

— Не-ет! Не-е-ет! — зашумели черные шапки.

Пристав видел враждебные лица, огненные взгляды. Но приметил он и другое — подавленность, сомнение, смятение в одном, другом, третьем...

Турлыгожа, смущенный тем, как растерялся Серекбай, испуганный тем, что, может, и сам не справится, замямлит и подведет, вдруг возмутился самим собой. Кровь загорелась в его жилах. Он крепко взял своего друга за локоть и без церемоний отстранил.

— Нет, не так... не так нам доверил сказать народ!

Голос его был зычен и звонок. Голос как труба. А слова как оплеухи. Невозможные слова...

Пристав сунулся было к краю крыльца — оборвать, одернуть. Судья с деланой кривой улыбочкой удержал его.

— Простой народ грубеет душой, — говорил Турлыгожа все более свободно и смело, — ярится народ, когда царь своей царской властью попирает справедливость. Правил нами царь, правил... мы молчали... Но этим своим указом он нарушил свое царское слово. Еще не прошло полвека, как мы вошли в Россию, с охотой вошли. А царь обещал не брать жигитов в свою армию раньше чем через полвека. И еще обещал не брать налога больше рубля двадцати копеек с юрты. А сейчас? Берет! Обложил всех казахов от двадцати одного года до сорока пяти. Обложил, как данью, как тот калмыцкий хан! Это второе. А потом землю отобрал, с обжитых мест выжил. Отнял воду у народа! Это третье. До чего дошел? Продает царь нам же наши земли. Мы у него пасынки! Потому и злится народ, грубеет душой. Мы недовольны обманом. Большой обман! Думали все же, надеялись сердцем: поправится царь, поймет, как обидел казахов... Должен царь держать свое слово. Чего же дождались? Указ! Реквизиция! Великий обман! Кончилось наше терпенье. Кончилось наше молчанье. Со дня этого указа не верит народ царю! А вам, господам... толмачам... купцам... и подавно. Никому не верим. Если такой указ... слушайте слово народа: не дадим жигитов!

Турлыгожа поднял руки, и тысячные толпы, заполонившие ярмарку от канцелярии до ближних лугов, подхватили во всю мощь, во всю ярость мужских голосов это слово:

— Не дадим жигитов...

Никогда еще за двадцать лет жизни в степи Сивый Загривок не видывал и не слыхивал такого. И никто не видывал и не слыхивал.

Теперь пристав не замечал ни в ком ни тени сомнения. Черные шапки задвигались, стали напирать, тесня урядника и тоненькую шеренгу казаков и солдат на конях, толмачей и служащих. Там и сям взлетали над головами смуглые кулаки. Повсюду слышна крепкая ругань. Канцелярия, окруженная с трех сторон, казалось, была схвачена за горло.

На маленькую пыльную лужайку, на которой стоял Турлыгожа, вышел серый человек, босой, в заплатанном чапане, ведя тощего вола в поводу.

— Кто согласен отдать жигитов, — сказал он, — того вот этим нарежу. — И вынул из-под полы длинный нож с черной рукояткой и ясным лезвием. И показал нож приставу.

Турлыгожа обнял бедняка. И другие стали его обнимать. Пристав стоял ни жив ни мертв, делая, однако, вид, что все это ему нипочем.

— Ну, так вот, — сказал Турлыгожа, дождавшись, когда народ поутихнет. — Пусть царь берет скот, как брал, но не жигитов. А если уж и впрямь нельзя царю обойтись без наших жигитов — так и скажи... Пусть будет так. Но пусть будет честь по чести! Тогда дай в руки жигитам оружие. Дай коня под седлом, дай ружье, дай патроны. Одежу-обувку, ремень... и вон тот погон, как у казака... Мы не хуже его конники! Это не дело — идти на войну с голыми руками. На позор-поругание, губить ни за что не дадим жигитов. Дай оружие! Шапку с кокардой! Вот чего народ хочет.

Эти слова понравились больше всех других. Очень прищлись по душе эти слова.

Турлыгожа закончил. Начал было говорить и третий выборный — Айтпай, но его не стали слушать. Гул голосов прокатился над толпой.

Заговорили сами с собой, яростно выкрикивая, повторяя слова Турлыгожи, такие простые, такие ладные: дай оружие! дай коня! ремень! погоня! шапку с кокардой! мы не хуже твоих казаков! ты бери, бери жигита, но честь по чести! что же мы, пасынки?

Чем дальше, тем жарче разгорался огонь этих слов. Вскипала, взрывалась в этом огне, подобно влаге на пожаре, давняя горечь, давняя обида. Светились, как угли, глаза, вспыхивали бешено оскаленные зубы. Горело сердце у смиренного племени.

Начальство застыло, окаменело. Стушевался и отважный следователь со своим спасительным черным коробом. Он в толпе, его не замечают. Ему надоело и собственное фиглярство и бездарность, беспомощность господина пристава.

Пристав, тяжело опершись на перильца крыльца, склонился к судьбе. Судя по их лицам, они держали совет государственной важности. Судя по губам, пороли чушь для отвода глаз.

На минуту пристав повернулся спиной, перекрещенной ремнями, к черным шапкам. И тут Жансеит, растерявший в суতোлке своих сверстников, взыграл духом, руки у него чесались.

— Огрею я его, сукина сына, плетью по заднице!

Вывернулся из толпы, вскочил на ступеньки крыльца и уже замахнулся было своей нарядной черно-белой камчой... Старики стащили его назад.

— Ой, сынок! Ты что? Подожди, милый. Придет время. Тогда и огреешь... Лежачего, милый, не бьют...

Но по глазам их Жансеит видел, что поспей он да вмажь наотмашь по господской, по жирной спине, никто бы не упрекнул его. И еще видел Жансеит, что достань он сейчас пристава плетью, ничего бы от начальства не осталось — ни ремешка, ни пуговицы на память его толстухе.

— Жаль, жаль... — смешливо сокрушался Жансеит, чувствуя, однако, что свое дело он сделал.

На глазах у всех он поднял руку на недосягаемый поднебесный Чин... А уж то, что старики помиловали его, — на то они и старики.

Рухнул степной идол — Сивый Загривок...

Вон он будто бы еще стоит вполоборота, таращится, крутит ус, словно думает свою важную думу. А ведь он уже пыль и прах... Этот человек — ничто перед народом, перед его словом, перед его сердцем.

И стали черные шапки покачивать головами, пощелкивать языками и посмеиваться вслед за веселым рыжим Милым Сеитом, безотчетно радуясь своему великодушию и не догадываясь о своей безмерной наивности. Что было задумано, то было сделано. Они сказали свое слово, сказали, как хотели, вольно, буйно. Так же они скачут на коне, так пасут скот, так оберегают его от волка. А дальше — как бог даст. Теперь скажите вы, как вы умеете...

И стали черные шапки почесывать затылки да подтягивать кушаки, поплевывать да расходиться. Искали коноводов, разбирали коней. К предвечерней молитве — как вымело, почти никого не осталось на ярмарке.

Волна гнева, поднятая так легко и, казалось, готовая все сокрушить, так же легко отхлынула и растеклась.

Глава пятая

Горы. Жгучее солнце, холодные воды... На западе могучий хребет, скалистые его плечи круты, а на его груди — раздольные луга, белопенная речка; близ нее длинные ряды юрт — на зеленых буграх и у самого берега, врезанного в обнаженный камень.

Это летовка Донгелексаз, аул Серекбая. Повсюду кругом, за хребтами и ущельями, такие же луга, такие же аулы. С весны весь род албан был на этих высотах. Но аул Серекбая выше всех.

Над лугами сосновые, дремучие боры, похожие на наспуленные мохнатые брови. Но местами сосны, редая, клиньями сбегают с вершин к лугам, и тогда они смахивают на редкие бороды, точь-в-точь как у казахов. Русла горных ручьев, сухие и влажные, пересекают кручи, напоминая чистые мягкие морщины. Вдоль них всползает зелень лугов; она чем выше, тем нежней, и горит как румянец на смуглой каменной коже. Лицо гор мужественно и молодо.

За темной чертой хребтов и вершин ясно синее леса и скалы дальних гор, а за дальними белеют под облаками уже седые головы, снежные шапки. Ниже, там, где стоят в обнимку две зеленые вершины, точно в синем тумане, брезжит богатырский бок Кулык-горы.

Краток вечер в горах. Но и его резкие быстрые тени не сразу гасят зеленый огонь лугов. Бледно розовеют кроны старых сосен за аулом. В густой хвое протяжно вздыхает студеный вечерний ветерок. Под соснами уже темным-темно. А в ярком небе все еще кувыркается и звенит жаворонок, мечется, стреляет над лугами неумная пустельга. Дружно поют за холмом мальчишки — юные чабаны.

Куда ни глянь — табуны и отары. Овцы забираются дальше всех, пасутся тесно, не разбредаясь, и их так много, что издали кажется — они клубятся, как облака. Кони разномастны и ходят вольней.

По вечерам, когда пустеют пастбища, голос аула возносится до лесов и гор, заглушая летний гром реки.

Овцы возвращаются раньше всех; их уже подоили, они жмутся к аулу. Стелется низкое белянье крупных овец, взлетает тонюсенький дискант козлят и ягнят. Послушать их — в ауле бедствие, повальное жалобное моление. Мычат коровы, завидев своих телят, ржут жеребцы, отменные табунные певцы. Иной залетит на самой высокой, яростно звонкой ноте и закончит могучими короткими хрипами, похожими на рыканье.

Женщины ласково зазывают коров. Повелительно покрикивают мужчины. Слышны слабые, но властные голоса старцев, они советуют, одобряют, порицают. Брызжут всплески детских голосов, лепет, визг, смех и плач.

Ну и, конечно, лай собак. Он стихает позже всех других, а то и совсем не стихает. Интонации совсем человечьи. Отчаянно нежно скулит обиженный щенок, сварливо брешет злая сука, нахально — молодой или достойно — старый кобель. Они отзываются на каждый шорох и шелест в степи, в юрте, в загоне, они встречают и провожают людей. Едва подаст голос один пес, поднимаются на ноги все. На пороге ночи, когда вспыхивают очаги, разгорается оголтелый, оглушительный лай. Собаки распалются от огня, и их не угомонить. Они кричат человеку, овце, коню: не бойся темноты, мы начеку.

Есть своя гармония в жизни аула. Но вся прелесть аульного бытия открывается по вечерам. Это час слаженной кипучей работы, завершающий медленные труды долгого летнего дня, когда в ауле безлюдье и скучная тишина. К вечеру и горы и луга оживляются, как бы страшивая с себя знойную ленистую одурь. Небо дышит прохладой, а в руках все горит. Голосист и многоязычен вечерний аул. И людно, и тесно, и шумно в ауле, как на ярмарке...

* * *

Однако как далеко отсюда до ярмарки!

Странная жизнь пошла здесь с некоторых пор, тянулась уже вторую неделю, и не видно было ей конца. Молодые гуляли, хмельные

от кумыса, не расседывали коней ни днем, ни ночью. Старики сокрушались, глядя на их праздность и безделье, но и они считали: надо быть наготове. Жигиты не спали... Жигиты гостили. Нынче они в гостях у народа.

Все ждали чего-то. И никто не знал, чего ждет. Утешались тем, что жигиты наготове...

Печально смотрел Серекбай на красоту гор, на вечернее оживление лугов. Он благодарил и благословлял судьбу за отчий дом, за землю и небо, которые достались его роду, его племени. Не эта ли земля сделала албан одним из самых видных казахских родов? Но думал Серекбай: а не слишком ли богат этот дом? Не слишком ли он благополучен? И не находил ответа в своей душе.

Неужели конец привычному приволью, нелегкой, кочевой, но милой и родной аульной жизни, желанному миру?

Подходили к Серекбаю люди, ищущие, вопрошающие. Его любил, держались за него... А что он мог им ответить?

Вот один из них, Жаксылык. Малорослый, тощий старик. За версту видно, что горемыка. Единственный у него сын, единственный кормилец — Жуматай. Жигит, крепыш, девкам на загляденье! Ему первым быть в списках... Наверно, уже пролил старик со своей старухой соленую слезу, думая над участью сына, над своей участью. Сегодня его бедная юрта богата, а завтра может быть разорена дотла. И родной аул станет чужим, вся жизнь пуста и безотраднa. Все, что он пережил, стало быть, еще не горе, а вот это горе!

Жаксылык скромненький, как его достаток. Приблизится неслышно, спросит невнятно, а то и смолчит. Спрашивали его запавшие от горьких дум глаза. Что нового? Добрые ли вести? Но Серекбай молчал, ибо сказать «все по-прежнему» значит молчать.

Старику отвечали жигиты... Они говорили за Серекбая, много говорили.

Ближе других к нему были Баймагамбет и Отеу, из бедняков; они ездили с ним повсюду, они все знали.

— Эти гостили внизу, — сказал Баймагамбет, кивая на молодых всадников, уже в сумерках въезжавших в аул с песней. — За нынешний день, пожалуй, барашков тридцать — сорок заколото.

— Какое там тридцать! — возразил Отеу со смешком. — Если взять аулы в Коктебе, наверняка все пятьдесят! Народ расщедрился на славу...

— Хороша твоя щедрость и слава, — перебил его Баймагамбет, косясь на Серекбая. — Много ли разгуляешься, если будешь жрать собственный скот? Отобрать бы у казаков... у ихних богатеев...

Жаксылык удрученно повесил голову. И словно выдал из себя:

— Далась тебе казаки, сынок... Подумал бы лучше, как поберечь свою скотину. А всего бы лучше, если б ни ты, ни казак не трогали друг дружку.

— Ишь чего захотел! А ежели он не хочет? Вечно нам терпеть, отец?

— Я уж натерпелся досыта. А вот как ты, милый... я еще не видел. Тебя-то он пока не трогал. Что ж зря болтать... Неладно все это.

— А народу нравится! Драться, так драться не шутя! — вскрикнул Баймагамбет.

— Зачем же тогда сели на коней, забросили хозяйство? — добавил Отеу. — Оружие готовим...

— Больно много вы знаете, как я погляжу, — вздохнул Жаксылык. — Кому это нравится? Кто будет драться? Где оно, оружие? Я что-то не знаю. Не вижу. Это как же у вас... как у моего Жуматая? При-

вяжет железо к палке и говорит — копьё! Думаешь, солдат будет стоять да ждать, пока ты подскачешь да пырнешь его?

Жигиты примолкли, смущенные. Все ждали — скажет Серекбай. Но он не обмолвился ни словом.

Баймагамбет подмигнул:

— А что, отец? Случись война — что-нибудь придумаем. Не пулей берут, а храбростью. Пугнем разок, глядишь, солдат побросает оружие, а мы и подберем...

— А что, отец? — повторил Отеу. — Не люблю, когда киснут прежде времени. Случись война — отгоним весь скот подальше, в какой-нибудь тайный глубокий овраг...

И было это так лихо-дурашливо, что все рассмеялись.

Случись война... Так говорили потому, что наслышаны были о киргизах... Не далее как сегодня в соседнем ауле кололи барашка, пили кумыс, там были скачки, была борьба казахша курес — вольная, с хитрыми подножками, ловкими бросками. И вот туда приехал один человек с ярмарки и привез слухи неслыханные, и все про них, про них...

— Смотри на киргизов! — сказал Баймагамбет, исподлобья косясь на Серекбая. — Говорят, под Караколом улепетывают тамошние сивые загривки как зайцы. Чем мы хуже киргизов?

Отеу загорелся. Он верил всем слухам без разбора.

— Киргизы, если начнут, не отваяются на полпути. На нас надеются, на албан. Так говорят!

Старый Жаксылык с робкой надеждой повернулся к Серекбаю:

— Раз воюют, значит, вооружены? Есть оружие?

— Вряд ли... Но в них я верю. Это народ смелый, воинственный. Дай им бог...

Старик, обрадованный тем, что Серекбай наконец заговорил, не отворачивается, почти взмолился:

— А мы? А мы-то что? Вся Каркара поднялась... Говорят, Узакбатыр угнал самых лучших коней из табунов брата Тунгатара, отдал неимущим добровольцам... Паук этот Тунгатар... Правду ли говорят?

Но опять ему ответил Баймагамбет:

— А мы? Мы тоже... Во всем Донгелексазе кони пасутся на аркане. Только позови, кликни!

И Жаксылык опять опустил голову, что-то глухо, недовольно бормоча себе в бороду. Серекбай с силой похлестывал плетью по новому мягкому сапогу. Он думал о том, что спросил у него старик: угнал лучших коней... раздал неимущим... паук этот Тунгатар...

Старик сказал о самом главном. Отеу ответил ему в тон, сам того не понимая, смешливо крутя головой:

— У меня одна лошадка. На ней я пашу и сено убираю. Вот оседлал! Авось хватит ее — прогнать пристава до Жаркента? Ай? А тот рыжий... Жансеит... И всего-то у него две лошадки, а одну уступил Канапие. Что же, мне после этого жалеть? Ни жизни, ни добра не жалко!

Услышав имя Жансеита, Баймагамбет прыснул, сказал:

— Подарил, сукин сын! Мало того... Этого ему мало... Я, говорит, свое раздал. Теперь каждый пеший жигит, у кого нет коня, пускай идет ко мне, будет конный! По крайности угоно табун толмача Оспана, но ни один жигит не пойдет пеший.

— Веселый он — братец Жансеит, — неожиданно с недоброй улыбкой проговорил Серекбай. — Оспан-то родственник Жансеиту, как Тунгатар Узак-батыру... Грозит, значит, табуну толмача? И верьте — раздаст! А этот черный ворон, питающийся падалью, гнилое яйцо... Не то что помочь народу, напротив, только того и ищет, как

бы насосаться по-паучьи в царской паутине. Сам он не даст ни одного коня. А дал бы, не был бы Оспаном.

Жаксылык слушал Серекбая с откровенным облегчением.

— И на что он надеется? — спросил сдержанно. — Так и не ушел с ярмарки. Ну, не дай бог перебьют всех албан, с кем он останется? Выучился ихней грамоте и забыл все на свете, забыл дедов и прадедов... Глуп как чурбан.

— Глуп, да не очень, — сказал Серекбай. — Съедет с ярмарки, скажут, переметнулся. А что ему народ? Здравствовало бы начальство. Жебирбаев — ворюга, а этот предатель! Кто раз отведал похлебки господина пристава, тот уже отравлен. По мне, Оспан опасней урядника.

— То-то и оно, — сказал Баймагамбет. — Брал бы, черт с ним. Был бы шкурой... да ведь шельма! Продает.

— Советует, предупреждает... — язвительно добавил Отеу. — Завтра, говорит, послезавтра будет народ тише воды, ниже травы, строго накажут...

— Кого же накажут? — спросил Жаксылык.

— Спроси, кого пощадят. Всех подряд...

— Не в тебя метит, отец, в Узака! — перебил Баймагамбет. — Чтобы ты его продал, как он продает.

— Да... Пора бы, пора Жансеиту вырвать это жало, — проговорил Серекбай сквозь зубы. — Надо змее знать, кого ей бояться!

Жигиты угрюмо перегагнулись. Имя Жансеита их уже не смешило.

Тут подошел Карашал, друг и правая рука Серекбая в хозяйственных делах; разговор принял новый оборот, и стало вдруг ясно, что на душе у Серекбая.

— Не знаю, как там и что, — сказал Карашал, — а пока суд да дело, аул Оспана и в ус не дует. Живет сам по себе, сам для себя, ничего его не касается. Единственные из всех албан, кто занят хозяйством, — это они. Прислал жену и детей в аул...

— Понятно, — сказал Серекбай. — Черная коза печется о спасении, а мясник о ее мясе. Разбогател за пять лет... Богаче всех!

Карашал причмокнул: богаче, мол, не бедней.

— А кстати, — сказал он, — раз уж речь о хозяйстве... У нас тоже пшеница созрела, время жать. И с покосом надо спешить, а то опоздаем... Что за праздник у албан? Такой нынче урожай! Хлеб... Сено... Пропадает! Неужто дадим пропасть?

— Не ворчи, — сказал Серекбай раздраженно и словно бы виновато. — Жужжишь, как осенняя муха, не отобьешься от тебя. Что же, мы все шутки шутим? Поминки у нас, а не праздник... Еще то ли увидишь!

— Пока увижу, кормиться надо... — возразил Карашал. — Деды учили: жить тебе до полудня — запасись едой на целый день.

Серекбая взорвало, и по тому, как он стал говорить, хлеща себя плетью по сапогу, видно было, каково это человеку — поворачивать на скаку не коня, а всю свою жизнь.

— Пропади он пропадом, мой дневной запас! Я не Оспан. Мне помирать в полдень. Не нужно мне богатеть.

— А нужно тебе беднеть? — быстро, с хитреньким прищуром спросил Карашал.

— Хочешь, чтобы я дрожал над богатством... Хочешь, чтобы трясся... Что за радость?

— Рехнулся ты, хозяин! Смеешься надо мной?

— Я смеюсь? Плачу я. Начни я убирать хлеб — завтра же все разбредутся. У каждого сыщется дело. Кто не нуждается в хлебе, в се-

не? Не так мы богаты. Совсем не богаты! (Жаксылык и Отеу закивали головами.) Уйдем в поле, забудем коня. Коня береги! Это наше единственное оружие.

— Не узнаю тебя, не понимаю,— пробормотал Карашал.

— Не обо мне думай, тогда поймешь! — сказал Серекбай.— Я говорю всем: будь наготове, хозяйство подождет. Делись всем, чем можешь, корми друг друга. И будь на коне по первому зову — в срок и к месту! Не расходись, не отлучайся никуда ни днем, ни ночью. Будет гостевать. Не сегодня, так завтра быть такому делу, каких мы еще не делали... Пока не пройдем через это испытание, жизнь не жизнь и добро не добро. Провались все, и скот и хлеб, если мы не выстоим.

— Помилуй бог,— сказал Карашал.— Разоришься — Оспан будет рад. Уж он-то не сидит сложа руки.

— Ты не тычь мне своим Оспаном! Имей совесть... Оглядишься — бедняки раздадут последнее. Бедный из бедных Жансеит имел двух лошадок — одну отдал! А наш волостной Аубакир? Захотел, был бы начальником почище твоего Оспана... А батыр Узак кого первого ударил? Тунгатара, паука! Я разорюсь, когда народ разорится.

Карашал утирал рукавом чапана лицо и грудь. Он был в холодном поту.

— Что ты надумал? Скажи, ради аллаха.

И Серекбай сказал:

— Придет черный день, будет нужда — пригоню свой табун и раздам Донгелексу. Раздам — и не охну. Теперь понял?

К этому клонилося, все этого ждали... И все-таки не верилось! Ободрать богача, мироеда — это в степи бывало. А вот раздарить свой табун — такого еще не слыхали.

Жаксылык стоял в сторонке, смиренно сложив руки, как приличествует бедняку.

«Ай, Серекбай, ай, Серекбай,— думал он.— Молод ты еще, молод... А будет ли доволен твой отец, давший тебе имя?»

Так думал старик, ибо имя Серекбай означает — Лютый бай.

* * *

Минуло две недели с того дня, когда род албан сел на коня и сказал приставу: «Не дадим жигитов», — но повсюду было «все по-прежнему»...

Аул Узака напоминал штаб; сюда стекались вести и слухи. Надежные, смысленные гонцы уносили их в аулы Жамеке, Турлыгожи и Серекбая, а оттуда и дальше, повсюду. Видные люди этих аулов спешно съезжались на совет; говорили и говорили, а сказанное не держали в секрете...

Слухи и вести шли издалека — из Каракола, Жаркента, из города Верного, но прежде всего с ярмарки в Каркаре, где обитал пристав. И все глаза, все уши были нацелены на Каркару.

А власти таились. Они были неразговорчивы... Набрали в рот воды и толмачи и прочие ученые казахи. От них ничего нельзя было добиться. И глупо, опасно было им довериться. Нужен был свой человек на ярмарке. Стали такого искать. И нашли.

Им оказался узбек Султанмурат, купец из Ташкента, обходительный и умнейший из торговых гостей. Он жил близко от канцелярии и не упускал из виду никого из тех, кто туда прибывал, будь то купец, чиновник или курьер. Сумел он войти и в окружение самого пристава; время было тревожное, рюмка водки под балычок и под граммофон успокаивала. Трудно было, однако, добраться до Султанмурата, не вызвав подозрений.

Ярмарка пустовала. Приезжали двое-трое, а то и пятеро-шестеро драных бедняков верхом на волах. Люди мелкие и покупки мелочные. Но как бы ни была пустычна покупка, казахи не торопятся, обходят всех купцов и все лавки, самые крупные и дорогие. А уж эти на волах, точно на смех, приценивались ко всему и торговались за каждый грош до хрипоты, до синевы. Впрочем, изнывающему без дела купцу они были не в тягость. К ним-то и подсылал Султанмурат приказчика-насмешника, и под шумок тот сообщал им что нужно... Люди всякий раз приезжали новые.

Так были получены первые бесценные весточки — о восстании. Одновременно прибыл очень хороший человек — из Каракола. Вести совпадали...

Немедля Узак снарядил двоих к Серекбаю. Они прискакали на Донгелексаз уже ночью, под истошный лай собак, разбудивший весь аул.

Узнать всадника в темноте нелегко. Кони толкались, тяжело сопя, звеня удзечками, седла скрипели. Но одного рослого на длинном коне как не узнать! И седло и стремяна у него посверкивали серебром. Это весельчак Кокбай, из жигитов жигит. Другой, похоже, вестовой.

Кокбай, едва вошел в юрту и сорвал с головы пропотевшую шапку, не успев отдышаться, забасил:

— Из Каракола! От Султанмурата... Одним словом, началось. Донял царь и нас, и киргизов, и уйгуров. Поднялись все, начиная от Лепсы и Талды-Кургана. Не признают указа! Никаких чертовых списков! Грозят уйти от царя... Были нападения на города. Были стычки с солдатами. Дальше. Под Пишпеком, Верным, Караколом восстание. Там настоящая война! Оказывается, все-таки опередили нас киргизы и уйгуры. Напали на военный обоз с оружием, который шел из Пишпека в Каракол. Говорят, вооружились все до одного. Власти напуганы...

Отеу не выдержал, вскрикнул:

— Говорил я вам — киргизы! Они начали дело. Их разозли — ни за что не остановишь.

— Не только они... уйгуры!

— Вот это народ. Мне бы туда... Нам бы с ними... — сказал Баймагамбет.

Серекбай спокойно почесал бородку.

— Послушай, насколько все это точно? Спрашивали у Султанмурата?

— Наверно, уж точно. Должно быть, точно, — сказал Отеу.

Кокбай перебил его:

— Прибыл еще от киргизов их человек известить нас, албанов. Говорит, посланы вестники в Верный, в Пишпек. От вожаков!

— Кто же у них в вожаках?

— Сказано было, что Батырхан, Кыдыр, Саудамбек... Восстал весь народ. Ни один жигит не ушел в кусты... Просят действовать сообща. Просят подтвердить делом — разнести ярмарку... Кстати, знают они наших — Узака, Жамеке... и тебя, Серекбай...

— Ой, спасибо, спасибо беркутам! — Отеу взмахнул руками.

А Баймагамбет заметался по юрте, то вскакивая, то вновь садясь.

— Что ж тут раздумывать? К делу! Вот настоящие мужчины...

Но Серекбай был невозмутим.

— Что говорит Узак?

— Ждет вас... Думает он, что дошло все это до пристава. Если дошло, значит, так оно и есть. Снимется тогда Сивый Загривок с места со своим конвоем. Но по-хорошему этот волк не уйдет. Не может

он по-хорошему... Надо держать ухо востро. Завтра, не позже, все будет ясно.

— А до завтра что будем делать? Ждать? — зло выговорил Серекбай.

Кокбай засмеялся.

— А вы, как Узак... бьете тем же словом! Посланы три человека к Саудамбеку. Хотим рука об руку с ними. Это одно. А второе — посланы наши гонцы в урочище Аса, к красношапочникам. Чует моя душа — оттуда будут вести. С часу на час!

Красношапочники были тоже рода албан, как и черные шапки, но не такие смиренные.

— Говоришь, из урочища Аса? Все может быть. Похоже на то, — сказал Серекбай задумчиво.

И старики, бывшие при том разговоре, прослезились, благословляя:

— Уа... чтоб все хорошо было... О, дух святого предка...

Ободрился даже Карашал, который в отличие от Отеу не верил никаким слухам. И только когда Серекбай встал со словами: «Баймагамбет, седлай...» — Карашал помрачнел:

— Уедешь? А кто же тут... с нашими жигитами? Без головы ноги не ходят.

На минуту Серекбай задумался:

— Аубакир останется дома. Он будет с людьми... — И с легкой душой уехал.

Пришлось Серекбаю вскоре горько пожалеть об этом.

В ту же ночь радостная весть, как ветер, облетела весь Ширганак, и не только Ширганак — все луга и летовки на десятки верст окрест. Повеселело пастушье племя, ожил степной люд.

Всю ночь непрестанно лаяли собаки, скакали из аула в аул гонцы. Не гасли очаги, пылали костры. Искры взлетали до неба, в котлах дымился бесбармак. Никто не хотел спать — ни старцы, ни дети. Взрывы смеха, протяжные песни мужчин и женщин, игры, стычки и забавы превратили эту ночь в праздничный день.

До утра ехал Серекбай и до утра видел во всех аулах веселую суету, общее радостное возбуждение. Его останавливали, сообщали ему весть Кокбая... Предлагали мясо, кумыс и игры с выкупом, но выкуп не деньгами, а песней или шуткой и с наградными поцелуями аульной черноокой красавицы.

Давно рассвело, когда Серекбай въехал в большой аул. На зеленом косогоре стояли сплошь белые юрты. Близ юрт множество овец. Приплясывали, развевая гривы, великолепные боевые кони — на арканах или с путами на передних лодыжках. Людей не видно было, если не считать старых пастухов, которые бодрствуют и на вечерней и на утренней заре. Аул спал, но, видимо, тоже после шумной бессонной ночи.

Будить никого не хотелось. Серекбай разнуздal коня, прилег на лужайке у центральной юрты вздремнуть после утомительной дороги... И проснулся лишь к обеду.

Над ним стоял Турлыгожа, а чуть поодаль незнакомый человек в шапке из рыжей смушки.

Серекбай вскочил смущенный: проспал? Турлыгожа взглядом отвегил: еще нет!

— Поздравляю, — сказал он. — Гони суюнчи. — И ловко сорвал с головы Серекбая тюбетейку.

Суюнчи — подарок за добрую весть.

— Э-э, что такое? — пробормотал Серекбай. — Что случилось?

— Случилось! — проговорил Турлыгожа своим зычным голо-

сом.— Восстала Аса! Красношапочники... Вот их человек. Перебили солдат во главе с начальником, порвали списки, прогнали всех...

— Не врет он? — растерянно спросил Серекбай.

Незнакомец молча покачал головой.

Втроем вошли в юрту. Она была полна народу. Сидели старые и молодые. Все громко переговаривались. Перед каждым — пиала с кумысом.

На почетном месте Серекбай увидел Узака и Жамеке. Здраваясь, от самых дверей закричал:

— Правда ли?

Веселые морщины собрались у глаз Жамеке.

— Правда, правда. Обогнали тебя, милый, красные шапки... Они уже выступили. А мы все ждем. Посмеются над нами, и поделом. Наш черед ударить по власти, пока она не очухалась от страха! Садись, поешь, да потолкуем...

И никто из тех, кто был в юрте и выходил из нее, не заметил поблизости от аула, от зловещего Меченого Камня, на котором лежало клеймо проклятья, одного странного человека.

Его хорошо знали все, кто был в юрте. Они его туда не позвали. Но он и не нуждался в этом. Нужда у него была совсем иного свойства.

Он ночевал в небольшом тихом ауле, тихом даже в ту радостную ночь. Аул был укрыт в кабаньем бору... Ехал человек восвояси, может, на ярмарку, а может, и с ярмарки... И вдруг у белых юрт, чистых, как первый снег, увидел он оседланных коней, забрызганных грязью по самые седла, покрытых потеками пота и пены. Кони тянулись к траве, грызли удила. Видно, что не кормлены, непоены и пробыли в пути не час и не два, всю ночь.

Глаз у человека был наметанный. Среди многих коней он легко отличил знатного рыжего иноходца под богатым седлом. Это конь Серекбая. Но еще приметней были два жеребца с волнистыми, вьющимися гривами. Это кони красношапочников!

Человек осторожно поодаль объехал аул. При нем был только один жигит. Под косягом бродил дряхлый старик, щипал скрюченными пальцами какие-то травки и нюхал их. К нему и подъехал с опаской жигит. Старик обрадовался собеседнику, заговорил взахлеб:

— А сам ты... не видишь? Приезжие... Издалека... Только к утру поспели. Хотят решить, что теперь делать с приставом... Серекбай, Турлыгожа, Жамеке... К тому же было кровопролитие. Там... как его... в этом... в урочище Аса! Есть один молодой оттуда, с перевала. Вон те два жеребца его... Они самые.

Старик был туг на ухо, кричал, и человек слышал каждое слово, но был так любознателен, что подъехал ближе и сам расспросил о том о сем.

А потом человек потихоньку отъехал, отозвав жигита. Ехал и ехал трусцой. Но как только аул скрылся из виду, он пустил коня во весь опор и гнал его, не жалея плети.

Глава шестая

Щедра земля в урочище Аса, высоко в горах Алатау. Здесь от века жили красные шапки, крупная крепкая ветвь рода албан. А с ними бок о бок селились ближние племена — жаныс и канглы, оторванные от дедовских корней, потесненные с родных мест, из-под города Верного. Пришли они сюда голые, босые, как путники, ограбленные на большой дороге. Аса приютила и их.

Это продолговатая, глубокая, как колыбель, зеленая долина. На западе высится выпуклая гора, покрытая сбоку густыми кудрями хвои. Ни дать ни взять — красавица с толстой черной косой на правом плече. Стоит она в полный рост над колыбелью, прикрывая ее спиной от ветров. На востоке толпятся небольшие округлые вершины, точно подушки в изголовье.

Здесь много воды и до поздней осени чисто и зелено. Воды стекают с горных высот в реку Кокозек, и она все лето полноводна, дышит величаво.

Зеленая долина полна кипучего движенья — это первое, что бросается в глаза и радует глаз. Куда ни глянь, стада и табуны на привольных травах. Травы не выжжены, не вытоптаны и не объедены даже к концу лета. В буйной зелени белеют юрты, точно гусиные яйца в камышах.

Пришел август; ночи похолодали, участились дожди. По утрам весь мир застилал туман, потом он поднимался и источал теплую, нежную изморось. К полудню солнце разрывало белесую пелену, и распахивалось небо, словно умытое, а долина хорошела как в сказке.

Космы тумана еще лежали на окрестных горах, цепляясь за пышную хвою. На снежных зубцах Алатау синели и чернели тучи. Там повисали гладкие косые полосы ливня, и в них посверкивали молнии. Но над лугами облачка уже белы, ленивы и ласковы.

У края долины, между зеленью лугов и синевой неба, возвышается стена мрака. Это леса, сосны. Кажется, что там затаился кто-то в шубе, вывернутой наизнанку. Голова у него в чалме тумана. Он хмурится и тоскует по ясным весенним дням. И все же любитесь тишиной и свежестью августовского полудня.

Облака уплывают за горы медленно, словно прощаясь и обнадеживая. По лугам скользят легкие дымчатые тени. Они будто играют в свет и мрак. Так бывает на душе, когда светлое, радостное, блаженное вдруг заволакивается пеленой необъяснимой грусти. Так бывает в горах, на летовках, в то яркое и краткое время, когда осень еще завтра, а лето уже вчера.

К югу вдоль реки тянулась обрамленная вековыми соснами просторная лощина. Здесь, на самой лучшей из земель красношапочников, осел аул, может быть, самый богатый во всем роде албан. Это было родное гнездо предков Даркембая, отца Даулетбека, а Даулетбек был самым влиятельным лицом во всем громадном Верненском уезде величиной с иную европейскую державу.

Жители этого аула вели свою родословную от одного общего предка. Из поколения в поколение множилось число потомков и сородичей, множилось и их богатство. Ныне большая аульная семья насчитывала уже человек триста, и праматерь этих трехсот человек, старая байбише, была еще жива.

Многотысячными, а значит, уже несчетными табунами, стадами и отарами владел сын Даркембая Даулетбек. Их пасли десятки его слуг-пастухов. Богатство и могущественная родня принесли Даулетбеку неслыханную власть и славу почти святого. Звали его не иначе как Почтенным и Благим. И было время, совсем недавно, когда он мог повелевать и карать как ему вздумается. Мог лишить имущества, мог лишить и жизни. И лишал, обогащая себя и свою родню, как это делали его предки до прихода русских и еще немало лет после их прихода.

* * *

Господин Клубницкий, помощник уездного начальника, прибыл в урочище Аса из города Верного с порядочной свитой. При нем был

младший чиновник, толмач, два бойких писаря и воинский наряд в составе девяти нижних чинов при десятом унтере. По одному этому можно судить о том, как было взвинчено начальство и какие надежды оно возлагало на господина Клубницкого.

Красношапочники исстари жили на виду и могли бы явить образец поведения для всех инородцев. Между тем в урочище Аса словно уснули. Красношапочники упорно и загадочно молчали. Это лишило покоя начальство. Вероятно, полагало оно, народ напуган и смущен. И, слава богу, разрознен и не знает общего языка... Народ дик и глуп. Но могут найтись смутьяны и поджигатели. А посему надобно направить в аулы распорядительных и строгих чиновников с нарядами солдат. Помочь господам волостным составить списки по всей форме. И препроводить жигитов на реквизицию под конвоем. Не упустить кризисного часа. Тогда народ сам сунет голову в хомут. Увидят, что первые жигиты взяты и земля не разверзлась. Увидят порядок и потянутся по ранжиру. Нужен пример, как козел для овец. Пусть им будут красношапочники.

Клубницкий избрал местом своей резиденции аул Даулетбека... Ехал он сюда на рессорной коляске, но чувствовал себя как на гвоздях. Он уже знал, что было на ярмарке в Жаркентском уезде. Знал — между киргизами брожение. Что греха таить — все уроженцы Алатау встали и ошетинились, как леса на горах. И там и сям пахло гарью... Списки — большое место... И понятно, что Клубницкий был готов к неожиданностям... Но то, что он встретил, ни на что было не похоже.

Народ угрюм. Смотрит косо. Зол, как цепной пес. Ни малейшего признака радушия. Юрту для начальства — и ту едва сыскали. Никто не пожелал ее ставить. Ни один, как бывало, не кинулся сломя голову, причитая от усердия. Кто-то из волостных все же дал юрту, но не узнать кто... Немалых хлопот стоило также найти барашка на бесбармак гостям. Кумыса как не бывало. Не подали, сукины дети, даже освежиться с дороги. Таким гостям! Из самого Верного, где живет сорок тысяч верных слуг белого царя.

Вообще, управители, старшины и прочая местная власть ходили как сонные. Одни чувствуют, другие зевают тебе в лицо с собачьим завываньем. Так и норовят перепоручить твой приказ один другому.

С ними Клубницкий обошелся круто, взял их за бока... Он нередко наезжал к казахам с ревизией да инспекцией и был известен своей суровостью. Не столько нечист, сколько тяжел на руку... Он и на этот раз потешился всласть. Орал на волостных и биев, не давал им рта раскрыть. Ругал на чем свет стоит при младших и при слугах. Топал ногами, закатывая глаза. Гнал вон из юрты, не считаясь с именем и званием. Двух старшин велел арестовать, а еще одному-другому самолично влепил по оплеухе.

Но от его глаз не ускользнуло то, что местные господа уходили после разноса предовольные... Уходили спать!

Клубницкий сбавил тон и незамедлительно распорядился потихоньку собрать всех чиновников, которые были поблизости в аулах по делам службы. Писцов, судебных исполнителей, стражников — всех!

Они тотчас явились, не глядя на внезапный ливень и распутицу. Собралось в общем человек двадцать, все были вооружены.

Тогда подошел к Клубницкому один из волостных, человек рыхлый, кривоногий, обычно молчаливый и несмелый в разговоре, с такими словами:

— Каспадын нашалнык... народ сапсем плоха...

И дал понять, что одни волостные вряд ли справятся. Не совла-

дать. Но есть у них аксакалы — Даулетбек... Жылкыбай... Казах не живет и не умирает без аксакала. Без аксакала казах плохой...

И Клубницкий внял совету.

— Зови! Пусть придут.

Так оказался в его юрте Даулетбек, Почтенный и Благой. Приехал и Жылкыбай. А с ними еще несколько стариков.

Они пробыли у Клубницкого долго, целый день. На их глазах продолжались вразумления, внушения и рукоприкладство. Слышали старики отдельные робкие голоса, которые пытались было склонить Клубницкого повременить, пока подадут прошение... пока его рассмотрят... Он пропускал все это мимо ушей. Помимо бранных слов, он употреблял лишь одно слово: списки, списки!

Ничего путного от волостных старики не ожидали. И Клубницкий их не испугал. Их пугало и угнетало другое. Даулетбек молчал!

Старики перешептывались со стыдом:

— Что же, так и помрем, не вымолвив ни слова?

— Почему же нам не сказать? Надо что-нибудь нам сказать.

— Дауке... уважаемый... Ты ли не знаешь народ, его чаяния, его упования... Как мы посмотрим людям в глаза? Так и отдашь покорно этому бесноватому списки?

— Связал ты нас арканной петлей, конскими путами, Дауке...

Но Даулетбек сидел как идол. И было его молчание громче грома.

Жылкыбай ворчал сварливо:

— А кто тебя станет слушать? Не видишь, что ли, как он жмет?

Жылкыбай был очень стар, очень утомлен и недоволен. Спину разламывало от боли.

«Пусть бы брали уж поскорей... хотя бы и эти списки... — думалось ему сквозь звон в ушах. — Не проситься же нам, старым людям, в тюрьму из-за каких-то там бумаг. Одно дело — бумаги, другое дело — люди... Дойдет до жигитов, посмотрим, как оно будет! Возьмем и не дадим. Попробуй их удержи...»

Так думал Жылкыбай, но и думая так, он не открывал рта.

На ту беду, отыскался след каких-то поименных списков, подходящих к случаю. Кто знает, что в них было намаракано. Но Клубницкий, вскричав: «Пр-ревосходно! Всех прощу! Всех награжу!» — послал за ними толмача с двумя конвойными.

Старики зароптали:

— Что же это происходит? Такое оскорбление, такое поношение...

— Зачем мы тут торчим, подобно трухлявым пням, изъеденным муравьями?

— Что за собачья жизнь, рабская доля?

— Ба! Господа аксакалы... — сказал Клубницкий, присмотревшись к Даулетбеку. — Вы мои гости. Мое вам почтение. Я у вас в долгу не останусь...

Он давно понял игру Даулетбека — раньше, чем однородцы бая. Даулетбек знал что делал, ибо его молчание было делом. Тонкое это, высокое дело — молчать к месту да ко времени, если ты пророк.

Какое величие на его челе! Какая горькая мука в глазах! Разве он сказал «да» начальству? Разве он сказал «нет» народу? А между тем он служил царю верой и правдой. Клубницкий понял: пока здесь при нем этот человек, там, на летовке, будет мир, покой и терпенье.

Две недели тому назад была у Даулетбека смутная минута, когда и он вроде бы обмолвился: не дадим жигитов. А потом приехал из города старший сын, новый человек среди сыновей их рода, постигший таинство русской грамоты и русских денег. Он богател на тор-

говле с быстротой, завидной для степняка. Сын привез из города салема, из которого следовало — отцу молчать, дабы слышнее было царя.

И Даулетбек, сын Даркембая, молчал, а на летовке в аулах не знали, почему он молчит, ждали смиренно, ждали с надеждой.

Шепот в юрте Клубницкого, однако, не утихал, и теперь склонялись друг к другу не только старики.

— Лучше на край света, чем так жить.

— Уйдем, пусть правитель делает что хочет.

— Да, пусть делает, что ему вздумается, но без нас.

— Не убьет! Не остановит...

Тем временем подскочил и вбежал в юрту толмач с бумагами в руках. Конвойные, которых ему придал Клубницкий, остановились в дверях с шашками наголо. Прибыли списки!

И тут случилось то, чего все-таки не ждал Даулетбек, никак не ждал и Клубницкий, а может, и сами краснозлапчюки. Вскочили все, кроме Даулетбека; кряхтя, встал и Жылкыбай... И с криком: «Пошли! Пошли!» — повалили вон на волю.

Тщетно выходило из себя начальство. Тщетно солдаты преграждали дорогу ружьями, замахивались прикладами. Люди шли прочь от юрты, прочь из аула Даулетбека, к соседнему ближайшему аулу.

— Мы не волостные и не старшины. Вон они. Их держите... А мы пошли! Мы пошли! — И говоря так, уходили.

Когда же они вышли к отлогому лесистому холму неподалеку, им навстречу из-за холма и из леса выступили люди из соседнего аула и еще из многих аулов. Это были женщины, старцы и дети. Они собрались давно и ждали весь день под дождем, моросившим из равной кошмы тумана, которая висела над ложиной. Они держались порознь и семьями, а сейчас сошлись вместе. Было их не менее ста. Лица печальны и унылы, иные строги, иные злы. У женщин и детей заплаканы глаза.

Увидев их, мужчины, шедшие из аула Даулетбека, стали выкрикивать:

— Забрали... Прощайтесь, люди... Лишились, лишились жигитов, люди...

Услышав это, женщины заголосили, запели жоктау, плач по умершему, содрогающий душу:

— Опора моя, единственный мой, опора моя!

Обе толпы, большая и маленькая, слились и смешались. Зашумели, загалдели все. Женщины, старики цеплялись друг за друга со стонами и громким рыданьем. Толпа толкалась и ворочалась, вздымая к небу множество скорбящих и грозящих рук, и вдруг с ревом повалила к аулу Даулетбека, к юрте Клубницкого, у которой нестройно стояли солдаты с ружьями наперевес.

* * *

Еще утром, когда Клубницкий собирал чиновников из окрестных аулов, вся округа всполошилась. Сходились старики, сбегались женщины, дети к коновязям, на приаульные лужайки, гомоня на все голоса. Жигитов, однако, не видно было.

— Этот главный из Верного... дерется, как шайтан... рвет списки с мясом...

— Наехала тьма солдат. Штыки, сабли голые...

— Говорят, зажали рты Даулетбеку и Жылкыбаю. Может ли так быть?

— Это конец. Пропали жигиты!

— А где они, наши-то? Куда подевались жигиты? Обабились они, что ли?

Люди металась из стороны в сторону, кружились, как дети, играющие в жмурки, с повязкой на глазах, то приближаясь, то удаляясь от белой юрты Клубничного. Она одиноко стояла на каменистом берегу реки, на крутой излучине, огибавшей подножье горы, заросшей соснами. Она манила и отталкивала, как злой дух ночью в глухом бору.

— Чего зря стоять? Идти надо...

— Узнать что да как, спросить. Разве нельзя спросить?

— Пусть начальство посмотрит, как мы плачем. Хорошо ли, когда народ обливается слезами?

— Где волостные, где старшины? Будь они неладны...

— Прячут свои побитые морды!

— Почему аксакалы с этим неверным?.. Что им там делать?

— Ох, что-то они засиделись... Это не к добру.

— Отправить бы его несолоно хлебавши, без списков! Встретили без кумыса, проводить бы в шею...

— А жигиты, где жигиты? Почему не садятся на коней? Кто же, если не они, покажет, что и мы живые люди!

Жигиты как сквозь землю провалились, и женщины, матери, невесты, были в страхе, а старики в гневе. Что еще за стыд и срам на нашу голову? Не схоронив, не оплавав, вдруг осиротели.

Подошел старый пастух. Послушал, посмеиваясь в бороду. И поднял над головой свою клюку.

— Что кричите, что шумите? Разорались со страху. Будут вам жигиты! Вон из того леса.

— Ой, правда? Ой!

— Как же они там оказались? Как это мы не углядели?

— То-то что не углядели. Видел я на опушке вроде бы табун коней... и хоть бы один при нем табунщик... будто бы ни одного! Значит, это они. Значит, правда.

— О, господи, помоги им, не оставь их...

— О, святой пращур, укрепи нас всех...

Старухи и девушки расплакались. Старики повеселели. Стали кричать, гладить бороды.

— Кто же их собрал? Много ли их?

— И не стоваривались... и не рядились... А вот видишь, поспели!

— Что ж тут стовариваться? В такое время надо сквозь землю чутя друг друга.

— В такое время,— со смешком сказал старый пастух,— мигом скиснешь, как молоко. Стало быть, не скисли. Собрались человек двести — триста. Есть и с ружьями.

— Да, да, кое у кого должны быть...

— То-то что должны. Копья да дубины... Но чутье у них волчье. Как сказал один: «за мной», отовсюду отозвались. И по сей час к нему едут и едут. Наш малыш Матай — и тот помчался на своей трехлетке...

— Кто же такой сказал «за мной»?

— Стало быть, сказал... Стало быть, есть такой...

И старик шепотом назвал имя: Ибрай!

— Ну, молодец! А как же иначе? Должен сыскаться храбрец, когда так достается народу...

— Хитрая голова. Знает толк в своем деле... Он и китайцев, и калмыков, и киргизов, и нашего брата, казаха, попробовал на зубок.

— Дай ему дубинку потяжелее — устоит против пятерых.

— Пособи ему, аллах, пособи.

Ибрая знали все от родного аула до синьцзянских караванных троп. Это был рослый, плотный, плечистый жигит лет под тридцать. Усы жесткие, как конский волос, колючая борода. В гостях он казался толст и неповоротлив, а на коне был как вихрь. Одни почитали его как батыра, другие хулили как конокрада. Он был и тем и другим. Собрал десятерых крепких, рискованных жигитов под стать себе, вооружил их дубинами, секирами и ходил с ними в набеги на богатые китайские, киргизские и казахские табуны, угонял коней и одаривал ими бедняков, голоту. Имелись у Ибрая на черный день и берданки и наганы. Это был отчаянный, искусный и добрый конокрад. Люди знали, что глаз у этого вора зоркий, а крыло могучее, как у беркута, но сердце человека.

И вот его день наступил. Ибрай со своими жигитами встречал в лесу молодых, как русские говорят, новобранцев, собранных тайно и так хитроумно, что даже бабы, старики и детишки этого не заметили. Конечно, новенькие все горели и все трусили.

— А ну-ка, по коням да за мной,— сказал им Ибрай.— Сегодня на карту ставится самая малость — и жизнь и добро... Ну, да сколько ни вой, хоть сорок лет, а помирать тому, чей пробил последний час. Остальные пока поживут. Так что не бойся! А ну, трогай, чего стоишь! Не зевай...

От слов Ибрая жигиты захмелели и как будто бы ободрились, окрепли. Сырые души, необоженные, но других у них не было.

Он повел их своими скрытыми нелегкими дорогами, по оврагам и ущельям, попутно собирая новых и новых из дальних аулов, и походя испытывал жигитов на конях и коней под жигитами. Водил, томил, чтобы поостыли да попривыкли друг к другу, а потом внезапно вывел лесом прямо на юрту Клубницкого, так, что жигиты оставались невидимыми, а юрта была как на ладони.

— Ладно,— сказал Ибрай. И велел замереть.

А сам со старыми товарищами поехал под соснами вдоль реки.

Позади юрты Клубницкого возвышались две скалы, похожие на богатырские ворота. Здесь Ибрай спешился, спрятал за скалами коня и стал смотреть на солдат у юрты. Он был бледен от злости, усы стояли торчком. Злился потому, что дорожил товарищами и привык беречь оружие, самое драгоценное, что имел, а нынче предстоял большой расход, а жигиты из аулов плохо знали и совсем не знали друг друга, стрелять не умели и храбрились и рисовались по молодости и по глупости. Как их соберешь в кулак? Их было слишком много...

И все же он сделал что мог и выжидал, как ловчий беркут, желанной минуты, когда наконец хозяин снимет с его глаз шапочку-тамгу, он взмоет в небо и ему откроется в камнях и травах красный огненный хвост лисы. Горячая жадная кровь билась в его жилах; она искала жизни и борьбы и вот уже сколько лет не могла остудиться. Ибрай скрипел зубами, сдерживая самого себя.

Поблизости укрылись его товарищи, названные братья. Он и за них в ответе. Они — единственная, настоящая сила. Они его семья...

Ибрай видел, как из юрты Клубницкого выбежали, отталкивая солдат, старики, розовые и пунцовые от ярости. Слышал, как за холмом вдали начался траурный плач жоктау... И не шевельнулся.

Но когда он увидел, как безоружные плачущие люди пошли, обезумев от горя, с холма к белой юрте, прямоком на солдат, и впереди дети и матери, — закричал, не таясь и не оберегаясь, побежал за скалы и прыгнул на коня.

Не задумываясь и не колеблясь, он выскочил из скалистых ворот. И словно рухнул по крутизне с утеса, не оберегая любимого коня, душой и телом положившись на его железные ноги, звериную

ловкость и верность. И конь снес его под обрыв и, легко, радостно угадывая, чего он хочет, помчал навстречу, наперерез бегущим детям и женам, без понуканий, без узды и без плети, быстрее волка, быстрее ветра.

Ибрай не оглядывался, и ему не нужно было слышать за своей спиной топота и знакомого свиста, чтобы знать: все десятеро бросились за ним, десятеро барымтачей, конокрадов. У всех на сердце было одно — успеть прикрыть своими телами, своими конями, своим разбойным, устрашающим видом тех безумных, незащитных...

Из лесного секрета выше по реке показались молодые жигиты, рассыпались в беспорядке и закружились на растерянных конях, задерганных жестокими и дурными с перепугу руками. От юрты Клубничного их отделяли спины бегущих. Кони не шли на эти спины. Но и того было довольно, что они объявились — жигиты...

Распаленный скачкой Ибрай ясно видел, как сова видит в темноте мышшь, что было у юрты. И с облегченьем перевел дух, стал успокаивать коня... У юрты творилось что-то невообразимое, несуровое.

Не иначе как Клубничкий принял толпу, шедшую из-за холма, за полчища врагов: И смертельно испугался. Унтер, глядя на Клубничного, непрестанно орал: «В ружье!» Солдаты оборачивались на его крики, лязгали затворами, совали по патрону в рот, показывая, что готовы, но унтер ошалело кричал все одно и то же не в силах понять, почему солдаты его не слушаются... Другие дергали Клубничного за рукава, тыча пальцами то в сторону утеса, то в сторону опушки:

— Вон они, вон они...

— Сюда смотрите, сюда...

Несколько солдат, так и не дождавшись команды, пальнули, почти не целясь, по тем, что скакали за Ибраем. Следом еще двое трое открыли стрельбу по жигитам на опушке уже точнее и прицельней.

Ни у кого из молодых жигитов не было ружей. От выстрелов и свиста пуль кони разом одичали — шарахались, брыкались, лезли на дыбы, несли куда попало. Тщетно всадники сыпали им плетей. А один, раненный, вылетел из седла, упал на спину. Конь его ускакал с жалобным ржаньем.

— Ат (стреляй)! — закричал Ибрай пронзительно.

И на скаку, чуть привстав в стременах, выстрелил из берданки. Солдат у белой юрты упал.

Белая юрта ответила ружейными залпами. А на них ответили из обрезов и револьверов барымтачи...

Горы, леса отозвались гулким протяжным эхом. В сыром воздухе, подобно клочьям тумана, повисли сизые пороховые дымки.

Никогда прежде здесь не слышали такой стрельбы, такого эха. Но люди, шедшие от холма, не остановились. Шли и шли, крича и плача, как одержимые навстречу свисту пуль и сизым дымкам, и впереди — женщины с заломленными руками и мальчишки, немые, дрожащие, самые бесстрашные. Они не видели, как упал жигит, упал солдат, и не сознавали, что эта пальба несет смерть. А эхо их словно подстегивало.

И солдаты, стоявшие теперь стройной редкой цепью, стали опускать винтовки. Стали пятиться, оглядываться.

Клубничкий наконец пришел в себя и обрел дар речи:

— Безумие... дурачьё... Отставить! Прекратить огонь! Отступаем все... живо! Вниз по реке...

— Отступать, отступать! — закричали другие. — Не расходишь, держись ближе...

— Нас же перебьют... Пошлите людей, кончите миром! — кричали трети.

Но никто уже никого не слушал и не слышал.

Побежали пешие, бросив коней и коляску, бросив свои вещи, каждый сам по себе, без оглядки. Лишь солдаты держались строем, цепочкой, прикрывая господина Клубницкого.

У белой юрты остался один Даулетбек со своими приспешниками. Потом увидели и Жылкыбая, сидевшего в изнеможении тут же на травке.

Все имущество начальства, портфель Клубницкого с серебряной монограммой, а главное — списки были в руках красношляпчиков.

* * *

Началось буйство. Молодые жигиты, как только поутихли выстрелы и стали слушаться кони, обогнали плачущих женщин, а они плакали уже от радости, и скопом налетели на белую юрту. Стали дубасить по ней дубинками, рубить секирами, топорами, пороть ножами. С гиком и свистом подсакивали все новые и новые жигиты. Места им не хватало, и они принялись за соседние юрты. Иные секли стенки и оголившиеся остовы плетьюми. Мальчишки лезли наверх, плясали на провисающих сводах, раскачивались на обломках и обрывках.

Русские чины да подчинки убежали, но в юртах застряли волостные и старшины. Пока шла стрельба, они прятались за сундуками и под кошмами. Все они были даулетбековцы, и юрты были даулетбековские, аула избранных и богатеев. Вытряхнули их жигиты, как крыс из мешков с брынзой. Они выползали наружу на карачках, прикрывая головы ладонями. Смех и гогот валились на их головы.

Затем жигиты, женщины, старики, дети ворвались в юрты и стали крушить все, что видели, что попадалось под руку. Рвали одежду, ковры, одеяла, подушки, но прежде всего бумаги, все бумажное. Были в юрте Клубницкого книги для дорожного чтения с чудными цветными картинками. Их вырывали из рук друг друга и раздирали в клочья. Большую конторскую книгу с линованными красным и синим страницами, в толстом переплете разнесли в дым — у каждого в руках была ее обрывок, нитка от корешка, шматок переплета. Женщины набросились на форменное пальто Клубницкого с кантами и бронзовыми пуговицами и вмиг обратили его в лохмотья. Мальчишки расшибали пуговицы камнями в лепешки, точно таранулов. От того, что называлось списками, не осталось и следа. Вихрем кружились перья и пух из подушек и бумажный пух. Столбы пыли. Мусор. Прах.

Жылкыбай тем временем уже вздремнул с устатку. Но Даулетбек неусыпно следил глазами своих холопов за тем, что происходит с Клубницким.

Вначале погнались за ним молодцы Ибрая.

— Давай, давай! Окружай! Окружай!

Ибрай удержал их:

— Стой, не лезь на рожон! Куда скачете! Пули глотать?

Кинулись было в погоню и молодые жигиты, поскольку места у юрт и в юртах было мало, а жигитов много и стрельбы не было.

Ибрай остудил и тех и других, собрал в кучу около себя. И замялся, заговорил, словно оправдываясь:

— Бегут они, пусть бегут... Нет у них коней. Далеко ли уйдут? А у вас нет оружия. А надо чтоб было... Вон те жирные отстанут от солдат — их схватим. Переловим. Ну, а солдат... их вот как... Отрезать бы от города, загнать бы в горы. Возьмем оружие без кровопролития.

Мялся Ибрай оттого, что хорошо видел, как солдаты без команды начали стрелять, когда выскочили он и его люди, и как солдаты без команды кончили стрелять, когда подошли женщины с плачем жоктау. Вот что стояло у него перед глазами...

Клубницкий и его люди шли не останавливаясь, скорым шагом вниз по реке и прошли с версту. Ибрай с жигитами тянулся следом словно бы нехотя. Солдаты теперь только грозились винтовками в его сторону, но не стреляли. Лишь изредка, чтоб не подумали, что нет у них патронов, они пуляли разок-другой в белый свет. Ибрай поступал так же, чтобы и те не подумали, что он отступил. Сколько раз стреляли солдаты, столько раз и он разряжал свою берданку.

Он был всегда первым на охоте и архара и дрофу добывал одним выстрелом. А сейчас мазал, но так, чтобы пуля провила у самого уха то справа, то слева... И видел, как беглецы кланялись пулям. Казалось, он подгонял их стрельбой, чтобы резвей шагали.

— Так и гони, так и гони,— говорил он.— Но в людей не стрелять! Так целься, чтобы пуля шла под пятки, под пятки последнему...— И азартно кричал.

И вдруг он увидел, как двое усатых, но безбородых казаков, видимо, помоложе да полегче на ногу, бросили остальных и пустились бежать во весь дух в сторону. Куда они? Они бежали на луга; там пешему не уйти и не укрыться от конника нигде до самой стенки гор. Ибрай взглянул поверх их голов и вскрикнул. Он догадался, кто его опередил и провел как воробья на мякине. Навстречу двум казакам шел рысью табун отборных скаковых коней, табун бая Даулетбека.

Не просто поймать и обуздать скакового жеребца, но на передних, самых лучших в табуне случайно оказались недоуздки... И казаки живо справились с делом. Они сидели уже верхом на двух гнедых с белыми звездами на лбу. Остальных табунщики галопом погнало назад.

Ибрай слышал, как Клубницкий истошно кричал скачущим мимо казакам:

— В Верный без передыху! Война! Иностранцы стреляют! Давай сюда эскадрон! Эска-дро-он!

Не мешкая более ни минуты, почти не глядя, Ибрай отобрал человек двадцать — тридцать жигитов. Теперь и он кричал во все горло:

— Не упускайте! Не дайте им уйти!

Жигиты, распалая друг друга криками, поскакали за казаками. Казаки скрылись за излучиной реки. Скрылись и жигиты.

До позднего вечера, до темна гнал Ибрай Клубницкого и тех, кто при нем оставался, до низовья реки, до устья лощины. К тому времени при Клубницком уцелели одни только солдаты, восемь человек.

Все люди Ибрая были целы. Клубницкий, впервые на своем веку увидевший, как могут быть злы пастухи, до того перетрусил, что не велел в них стрелять. Боялся он мести, лютой смерти. Солдаты, когда приходилось уж очень туго, подстреливали лошадей под жигитами, а Клубницкого заслоняли своими телами, выставив во все стороны штыки. Так и не смог Ибрай достать пулей господина Клубницкого, хотя тот пули стоил.

Когда стемнело, Ибрай увел жигитов назад.

«Ну и ну... — думал он.— Его счастье, что солдаты у него такие...»

Не знал Ибрай, что и тут его обошел Даулетбек. Не оставил богатый, щедрый бай господина Клубницкого без коня. Под утро отыскивали русского барина верные рабы Даулетбека и спасли, отвезли его, живого, здорового, в город Верный; была за это Даулетбеку благодарность.

По пути в аул Ибрай и его люди подобрали пятерых раненых чиновников и увезли с собой, взяв у них наганы.

Поздней ночью вернулись в аул жигиты, посланные вдогонку за двумя казаками. Вернулись ни с чем. Как догнать казака на свежем коне, если твой конь с утра под седлом? Все же они ссадили одного пулей. Стреляли и в другого — ружье дало осечку. А Ибрай вгорячах сунул им только это старое ружьецо. Понадеялся на то, что их много.

Конечно, к утру в Верном все узнают, и жди теперь с часу на час кары.

Как подумали об этом красные шапки, так тут же и порешили:

— Чего бы это ни стоило, уходите! Всем откочевать. Белый царь не пощадит... Уходить — ничего больше не остается.

И в ту же ночь все аулы с урочища Аса, все аулы красношапочников, кроме аула Даулетбека, поднялись со стоянок и тронулись в путь. Пошли туда, куда еще днем, когда порвали списки, послали гонцов на двух жеребцах при двух запасных. К черным шапкам, в благословенную долину Каркара, колыбель рода албан. А дальше — куда глаза глядят...

Глава седьмая

В большом доме Узак в тот день случилось, пожалуй, самое худшее.

Был приготовлен чай. Закусывая, люди разговорились — каждый сообщал, что знает. Узак, хмуро улыбаясь, сказал:

— Как их не благодарить, правителей! Это они нас, разоренных, кочующих по белу свету, собрали воедино... в одну грозную тучу. Так, что ли?

— Собаки в ауле вечно грызутся, — отозвался Жамеке, — а как увидят волка, собьются в кучу. Так и люди. Несчастье — оно роднит!

— Эх... Был бы наш путь счастливым... — с горьким вздохом добавил Серекбай. — Услышал бы бог слезы детей... Послал бы нам милость.

Но Турлыгожа возмутился, вскричал:

— А ты что стонешь! Или не слышал, как красные шапки пощупали самого помощника уездного начальника? Разве это не счастье?

Узак усмехнулся; он был угрюм, словно чувствовал недоброе, и ждал его, и не хотел в этом признаться.

— Уж как ни гнули нас, как ни гнали, слава богу, — сказал он, — хоть под старость привелось увидеть... Ищут люди, находят друг друга, как дети одного отца! Об чем тужу — не видел я этого в свои молодые годы. Вот что мне жалко. Да что поделаешь...

— Ушли годы, — сказал Жамеке. — На что ушли? Сколько было раздоров... За что дрались? За то, кто первый почешет властям пятку, даст взятку. Теперь вот одряхлели, волочим свои высохшие кости...

И так тяжело, так скорбно вздохнул Жамеке, что Турлыгожа на минуту потерялся. Что же на уме и на сердце у стариков? Что они сегодня хоронят — прошлые драки, раздоры... или самих себя?

— Интересно узнать, — сказал Турлыгожа с веселой хитрецой, — а кто же из вас в те самые молодые годы во время выборов на глазах у людей огрел камчой рыжего уездного... прямо по башке, между глаз! Так спрошу...

Турлыгожа напоминал Узаку случай пятнадцатилетней давности. Уездный тогда пообещал, что назначит волостным того, кого назовет Узак, а за это взял у него гнедого иноходца, необычайной красоты коня. Но в разгар выборов слова не сдержал и встал на сторону противников Узак. Тогда Узак на большом собрании, выйдя вперед, ска-

зал господину уездному: «А коли так, верни мне моего коня! Он тебе не по чину, не по чести!» Хлестнул его камчой так, что остался под шапкой шрам навек, сел на своего гнедого иноходца, стоявшего у конюязи, и уехал.

— Было дело,— сдержанно посмеиваясь, сказал Узак.— Сильный был... Упивался лихостью, молодостью. Не одного этого господина бил. А что проку? К чему это? Ссорился, дрался со своими же сородичами. Вот и прошли годы как во хмелю от никчемных удач, никому не нужной удали, громкой славы... Похмелье — моя слава, братья!

Сказал как ударил. И опять подумал Турлыгожа: жестокое слово, зачем оно сейчас?

— Спрашиваешь самого себя: был ли ты батыр? — с мягким укором проговорил Жамеке.— Друг ты мой! Что суждено сделать сегодня, нельзя сделать вчера. Что нынче дело, вчера только мечта!

Узак понурился упрямо.

— Жили-то мы вчера... в те времена, когда казахов, как баранов, на мясо делили на двенадцать частей... и мы еще назывались людьми! Нам бы жить под небом, а мы жили под кошмой. Сколько живу, не видел я казахов, которые шли бы под одним знаменем... бросили бы клич... Это как сказка!

— Это и вправду мечта, батыр,— тихо выговорил Турлыгожа, и на глазах его выступили слезы.

Жамеке задумался, одобрительно и печально качал головой. А сказал с неожиданной, словно бы беспечной обреченностью:

— Что тут скажешь? Прошла жизнь и пропала. Как ветром ее задуло...

Узак сжал на коленях кулаки. Блеснула седина на его выпуклых висках.

— А лучше не скажешь, брат, как некогда женщина одна молодая сказала... «Хотя ты и был прежде батыром, нынче твоя голова как сухой кизяк!» Так она сказала. То-то и оно что и нынче, и нынче...

Все в юрте затихли, услышав эти слова. Долго молчали, оставив пиалы с чаем и кумысом. Все поняли, кто эта женщина... Только она единственная могла так сказать. Тень юной строптивой Бекей вошла в юрту и встала над побелевшей головой отца.

— Помилуй бог... сохрани ее память... — с невольной скрытой опаской проговорил Серекбай, быстро переглянувшись с Турлыгожей.— Однако же, аксакалы, что мы слышим? Неужто прошли наши времена? И нынче разве мы не ближе к тому, о чем мечтали? Свершим что-либо доброе — останется в памяти людей на все времена! Пройдем огонь и воду с поднятой головой — чего желать лучшего? И помереть, так со славой доброй...

А за ним Турлыгожа сказал, не сводя горящих глаз с батыра Узака:

— Отец! Не узнать вас... Будто прощаетесь с нами! Не хотим мы вашего завещанья...

Узак насулился, отворачиваясь, глухо бормоча:

— Да уж ты скажешь... ты скажешь...

И тут вбежал в юрту человек:

— Ой, бай, а вы тут сидите... а вы ничего не знаете... пристав уже окружил вас...

Тишина. Снаружи ни звука.

Узак медленно перевернул свою пиалу и отчетливо сказал:

— Кап, кап.— Это значит: жаль, жаль.

Жамеке властно поднял руку.

— Теперь кто сумеет, уйдет с этого собрания! Проклянута, коли не уйдете! Спасибо всем, вставайте.

Но было поздно. Снаружи донеслись выстрелы. В юрту ворвались солдаты. И в глаза людям уставились дула винтовок.

Вошел урядник Плотников с двумя бородами и с двумя наганями — в правой и в левой. И ахнул:

— Э... да вы и впрямь все тут? Здра-вия желаю... С бла-го-получ-ным прибытием!

Узак встал и каблуком сапога раздавил свою пиалу.

* * *

Сивый Загривок с того незабвенного дня, когда чудом остался жив и целехонек, помилованный черными шапками, не слишком-то поумнел. Зато весьма образовался. В эту смутную пору у него было много чтения. Меж Каркарой и Караколом непрестанно сновали конные вестовые с пакетами под сургучными печатями и предлинными казенными бумагами.

Бумаги были такого толка. Участились бунты в гуще киргизов (киргизами тогда именовали и казахов). Бунтовщики жгут села, грабят, избивают, изгоняют жителей. Сие чревато опасными последствиями. Преступники, хамы. Нельзя столь беспечно сидеть в мелких казачьих поселениях. Особо серьезна угроза тем селам, кои расположены среди инородцев. Необходимо срочно собрать и вооружить тамошних жителей. Денно и ночью печься о том, чтобы оружие не попало в руки бунтующих киргизов, равно как и мирных. Неусыпно оберегать огнестрельное оружие, равно как и холодное, из железа, включая ножи. Впредь до особых указаний русским кузнецам не подковырять коней у киргизов. Разбойники, басурмане. Окрест ярмарки созвать ополчение добровольцев числом не менее ста — полтораста душ. Держать в постоянной готовности, не распускать. Добровольцев брать из казаков и зажиточных крестьян. Бесспорно исключаются мужики батрацкого сословия, а также ссыльные поселенцы, лица без натального креста. Безбожники, студенты. Всеми мерами увеличьте контингент преданных людей из инородцев. Держите их в постоянном движении, дабы иметь каждодневные сведения. Востребуйте данные о вожаках и зачинщиках. Неукоснительно следите, нет ли на кочевьях неугодных властям приезжих из городов, особо Казани, Оренбурга, подозрительных занятий, запрещенных бумаг, как печатных, так и писаных. Подлецы, бумагомараки. Ждем важных указаний из Верного, из губернаторства...

Сивый Загривок вслух читал бумаги и старался как умел. Из сел и станиц Жалканаш, Нарынкол, Саржав взял отменных добровольцев. Самолучно их опрашивал, перебрал каждого бородача по волоску. Теперь у него под рукой — сотня орлов! Многие с толстой мощной, со своим оружием. Они, как престольного праздника, ждали приказа выступить в аулы, с которыми враждовали из-за земли. Это была главная опора его благородия, злая сила надежней роты солдат.

Была у него и другая сила, тайная. Ее возглавлял один старый знакомый, человек невзрачный, но ему искусно помогал сам Тунгтар, умнейший бай.

Пристав жил с ними душа в душу. Эти люди как исполнения мечты своей жизни ждали того дня, когда будут схвачены и посажены за решетку Узак и Жамеке.

Тот день выдался хлопотным и беспокойным. Утром пришло ужасное известие из урочища Аса. Его привезли купцы, видевшие, как барымтачи Ибряя гнали господина помощника уездного вниз по

реке Кокозек. Купцы были русские: ехали из Иссыка и Тургеня на ярмарку. Увидев Ибрая, они отделились от татар и узбеков и погнали лошадей; не сомкнули глаз всю ночь, а на рассвете разбудили урядника.

Накануне вечером пристав распечатал приказ — немедленно по получении арестовать албанских вожаков. «По ранее вами представленному списку, а также по дополнительному, всего — семнадцать человек».

Поистине отменная работа стояла за тремя словами: всего семнадцать человек. И уже в этих словах чувствовалось поощрение. Но легко сказать — немедленно по получении! Вообще, казаха, даже самого завалающего конокрадишку, брат — все равно что ловить ветер в поле, а этих и по давню. Вчера допоздна и утром на свежую голову прикидывали, рассчитывали, кого, как и где заарканить. А тут еще купчишки разбредили душу...

Но в час пополудни в пыли и в поту прискакал на ярмарку старый знакомый со своим жигитом и спешил к у канцелярии, нимало не скрываясь. Привез подарок царский.

— Все... все там... в Танбалыгасе! Кроме них, ни единой живой души в ауле. Старец один глухой собирает шалфей. И эти еще... кони, кони красношапочников... из урочища Аса!

— Ну! Ну! — вскричал следователь, трясясь от нетерпенья.

Пристав скомандовал:

— Ну, Плотников! Рожа твоя двухбородая! Гляди у меня. Упустишь — закатаю. — Потом позвал денщика: — Эй, там... стакан водки господину Рахимбаю.

Что было дальше — известно. Разом всех изловили. Увезли, как говорится, на одной веревке. И на ярмарке скрыли от глаз людских.

* * *

Вся Каркара содрогнулась. Одни плакали, другие били себя в грудь кулаками. Выли от боли, шатались, как слепые, будто камчой ударили по глазам. Горе, горе. Никто не знал, что делать, как быть. Только и делали, что поверяли друг другу свою муку. И кляли мучителя. И стар и мал возглашал проклятья:

— Чтоб ты сдох, чтоб ты света невзвидел! Чтоб ты сгорел и чтоб имя твое стерлось! Чтоб тебя Керман наказал!

Не иначе как от этих проклятий Сивый Загривок должен был пропасть, сгинуть, потому что Керманом звали самого страшного черта 1916 года — германского кайзера.

Это были часы великой растерянности. Даже вести из урочища Аса, казалось, не ободрили, не порадовали. Люди слушали про то, как не убоялись красные шапки ружейного огня, как изорвали в пух списки, как солдаты пятились от женщин, певших жоктау, и словно бы не верили своим ушам.

Понемногу, однако, стали утирать слезы, собираться с мыслями.

И стали поговаривать так: пойдем на ярмарку опять всем миром, как и в тот раз... Скажем строго: отдайте нам наших старших! Скажем как оно есть: разве они виноваты? Вся вина наша, вините нас, простых смертных. Хотите наказать — наказывайте нас всех...

Так толковали повсюду в аулах. И потекли опять черношапочники живыми ручьями по многим тропам и дорогам в сторону ярмарки.

На этот раз, правда, народу было не так много. Столько людей, как тогда, собрать не сумели, потому что на иных летовках и так рассуждали. вроде бы вопросительно:

— Допросят, глядишь, и отпустят? Посмотрим сперва, что с ними будет?

Туманно было в душах этих людей. Да и те, которые поднялись, шли не так дружно, как в первый раз, шли вразброд. Когда у мирского тела нет головы, ведет сердце, а в сердце хоть и была вера в свою правоту, но больше веры в милость божью.

Раньше и охотней других собрались люди с летовки Донгелексай. Человек двести. Их вел крамольный волостной Аубакир. Они шли, подбирая по пути людей из других мест, как речка подбирает ручьи, и стало их триста.

Ехали рысью по цветущей долине. Каркара горела и искрилась зеленым огнем, как и в июле. Но теперь не слышно было ни гама, ни гика, ни свиста, ни пенья. Не слышно было человеческого голоса. Не бахвалился Баймагамбет, не смешил Жансеит. Глухой, унылый топот.

Неподалеку от ярмарки им навстречу внезапно, как из засады, выскочили человек тридцать — сорок конников, не похожих на солдат, но вооруженных не хуже, с ружьями, саблями, пиками, в хороших, не смазных, а наваксенных сапогах. Сидели они в седлах подбоченьясь, покручивая ус, скаля белые зубы. А их главный, казак с пегим от седины чубом, свободно говорил по-казахски:

— Эй! Стой, не балуй! — крикнул он, точно на лошадь. — Нечего вам делать на ярмарке. Давай по домам. Расходись! Нынешний день торговли не будет.

Этими словами он спроваживал сегодня многих бродивших у ярмарки, легко узнавая албан по тоскливым, ищущим глазам. Они искали тюрьму под названием гауптвахта... Но со вчерашнего дня, как пригнали арестованных из Меченого Камня, путь казаху на ярмарку был закрыт.

— Это мы знаем, — сказал Аубакир. — И вам надо знать, кто мы... Мы посланцы народа. Посланы для переговоров. Хотим узнать, что с нашими людьми. Высказать свое прошение. А потому — пропустите нас.

— Ишь ты! Пусти его... Таким вот гуртом не высказывают и не просят. Поворачивайте!

В толпе зашумели:

— Хотим увидеть своих родных, говорить с начальством. Разве вы начальство?

— Они не виноваты, виноват народ, мы виноваты! Вот что хотим сказать.

— Заявление скажем, заявление!

А затем передние толкнули коней и пустились трусцой гуськом, как по команде «справа по одному», в объезд русских конников.

Казак с пегим чубом вырвал вон из ножен саблю.

— Назад! Не пройдешь, дудки... Не велено вас пускать. Вас не первых завернули...

Аубакир крикнул в сердцах:

— Как это не велено? Как это может быть? Что ж это за начальник, ежели не желает выслушать народ?!

Казак искоса посмотрел на него, подумал с ленивой усмешкой и сказал:

— Ну, я вас упредил. Всех не пушу. Давай одного-другого... Хотя бы и ты! — Он ткнул в сторону Аубакира саблей. — Поехали.

— Поеду! Один поеду... — сказал Аубакир, трогаясь следом за казаком.

Картбай, дерзкий малый, поехал позади Аубакира, точно оруженосец.

Всех остальных стали теснить подалеже от ярмарки — с умиряющим хохотком, смешливо приговаривая:

— Давай, давай, давай. Вот ваши вернутся, приведут и тех... Враз и освободят! — И отогнали далеко.

По дороге к канцелярии Аубакир увидел доброго Оспана, невольно закивал ему, поворачивая коня, но тот, увидев Аубакира в сопровождении казака с голой саблей, отвернулся и резво пошел прочь, втянув голову в плечи, как курица под дождем.

— Уходишь... — вырвалось из души у Аубакира. — Катись, катись, тухлое яйцо!

Оспан не оглянулся.

Сивый Загривок и следователь сидели, беседа после сытного обеда, розовые от порядочного возлияния, когда казак ввел в канцелярию Аубакира и Картбая.

Сивый Загривок как отворил пасть, так, кажется, и забыл про все на свете. В глазах его было умиление.

— А-ам! — прорычал он наконец и захохотал, затрясся, закашлялся. — Кого я вижу! В нашем полку прибыло. Вас-то нам и не хватало. Сам пожаловал — хвалю! Ты у меня, милый, давно на примете. Еще с первой огласки указа вот где сидел... — И он показал на то место, где печень.

Аубакир поклонился, здороваясь, собираясь сказать, с чем пришел... Но его не стали и слушать.

— Ты волостной! — кричал пристав, словно любясь хрипотой своего голоса. — Тебя зачем поставили? Лясы точить? Забыл царя, власти! Мало того что смутьянам потачку даешь, сам туда же. Нет смутьяна хуже тебя!

Аубакир ответил без боязни, как равный равному:

— Высокого ты мнения обо мне, господин. Но смутьянство мне не пристало. Съесть меня хочешь живьем? На здоровье... Но бог свидетель, за мной нет этого греха — смутьянства. Ничего ты не можешь сделать невинному человеку! А смутьян — это ты, господин. Ты — темный грешник.

— Убрать... — сдавленным голосом сказал пристав казаку с пегим чубом. — Отведите его и запирайте. А этого — в шею!

И как ни противился Аубакир, как ни пытался что-то еще сказать, его отвели и заперли, а Картбая вытолкали в шею.

Глава восьмая

Картбай, когда его выгнали из канцелярии, с ярмарки не ушел. Смирно, с видом побитой собаки он поплелся за конвойными, которые вели Аубакира в кутузку под названием гауптвахта. И видел, как отомкнули железный замок, отодвинули железный засов и втокнули в темноту нового узника. И слышал, как оттуда донесся зычный голос — в надежде, что его услышат на воле:

— Передай привет народу! Пусть держатся вместе. Пусть не боятся... — Это был голос Турлыгожи.

Картбай ответил мниможалобным возгласом «ya! ya!» и повел прочь коней, своего и Аубакира, будто бы уходя с ярмарки. Часом позже удалось ему незаметно пробраться в дом купца Султанмурата.

Тот был вне себя от того, как чудовищно повезло приставу и уряднику. Султанмурат бранился, но ругал не их и не Рахимбая...

— Наивные люди, наивные люди, — твердил купец.

Он ожидал худшего и не ошибся. Видимо, пристав все же опасался, что его гауптвахту расшибуют и выручат арестованных. И решил не дразнить удачу.

Ночью, когда ярмарка спала, тихо зазвенели замки и засовы. Урядник вывел наружу Узака, Жамеке, Аубакира и еще семерых, всего десять человек. Их посадили на две повозки, оцепили двойным кольцом конвойных и повезли.

Султанмурат и Картбай были настороже всю ночь и слышали, как старый Жамеке крикнул тем, кто оставался:

— Прощайте, прощайте... Дай бог свидеться на этом свете. И пусть предки будут нам опорой.

Турлыгожи и Серекбая на повозках, кажется, не было.

— Куда? Куда их? — шептал Картбай. — Убьют?

— Может быть, — сказал Султанмурат. — Плохо дело. Везут, ясно, в Каракол! Бери обоих коней, скачи. Только бы тебя не перехватили. Это последний случай — отбить, спасти...

Картбай сумел выбраться с ярмарки невидимкой, между двух расседанных, якобы пасущихся коней. И поскакал на Донгелексаз.

Взошла луна. Каркара осветилась холодным светом. Дорога, по которой укатили под конвоем две повозки, вела туда, где верст через тридцать хребет Алатау поворачивал в сторону киргизских земель. Катили они с громом; лошадей погоняли, и они то и дело переходили с рыси на галоп. Это были хорошие пароконные повозки на железном ходу, а лошади сытые, резвые. До Каракола — одна ночь пути!

Конь под Картбаем взмок, и он пересел на другого. Ему отчетливо виделось то место на дороге, белеющее под луной, как конский череп, куда он приведет засаду. Пospеть бы, только поспеть бы! В эту ночь ради Узака, ради Жамеке жизни не жалко.

Когда он прискакал на летовку, аул спал. Спали Баймагамбет и Жансеит, вернувшиеся с ярмарки без Аубакира. И сон их был крепок по молодости и с устатку. Кони, обычно заарканенные, были отпущены попасться...

Что сделалось, когда Картбай поднял людей на ноги! Все кричали... Все думали, что Аубакир просто задержался в канцелярии. Что же, ему видней, он волостной! Ежели было бы что не так, он прислал бы Картбая... А Картбай, чудак, почему до самой ночи не дал знать, что с Аубакиром?

Никто на летовке не ждал, что будет нужда в силе, собранности и быстроте немедля, в ту же ночь.

Собрались, однако, без лишних слов, без всяких споров человек сто жигитов, вооружились кто чем и поскакали на юго-восток, не жалея коней, не думая о себе, готовые положить голову в схватке с конвоем.

По пути растянулись. Скакали и по двое, и по трое, и поодиночке. Но передние полсотни человек, а может больше, и среди них Баймагамбет и Жансеит, выскочили на дорогу, которая огибала Алатау, вместе, дружно. И стали кружить у того места, которое белело, как конская голова, остужая вспотевших коней, поджидая отставших. Когда же собрались все и встали в засаду, уже рассветало. Где же, однако, конвой?

На дороге показались три телеги с одинокими возницами. Судя по шапкам, уйгуры. Увидев конников, они в испуге погнали лошадей. Их остановили. Оказывается, они ехали из Каракола, выехали в полночь. А испугались оттого, что приняли жигитов за казаков... Этой ночью уйгуры уже встречали казаков, и те отогнали их далеко от дороги, потому что кто-то сквозь гром телег и топот кричал в темноту по-казахски: «Привет Каркаре! Держись дружней!» Где это было? Отсюда не видно, за Курдайским перевалом. Сейчас они небось уже под Караколом...

Баймагамбет со стоном склонился к гриве коня и стал бить себя кулаком по голове.

-- Вот до чего довела нас беспечность... Из-за собственной дури страдаем. Ни за грош отдали самых славных людей. С кем теперь будет народ? На кого опереться? Сонные мы души. Неужто не вызволим хотя бы тех, кто остался на ярмарке? Опять посмеется Сивый Загривок? Любой ценой... следующей же ночью... налететь бы... разбить ярмарку... выручить наших... а приставу плетей...

И еще много подобных речей слышали жигиты от Баймагамбета, и от Жансеита, и от других, возвращаясь назад, в Донгелексаз.

Головы понурили и люди и кони. Горевали долго. Горевать жигиты умели.

* * *

Утром две пароконные повозки с каркаринцами, покрытые грязью и пылью, медленно, осторожно въехали под конвоем в Каракол.

Этому тихому городку, а скорее поселку, суждено было стать свидетелем громких событий. День и ночь Каракол жил под страхом нападения сильных, мужественных, мстительных киргизов.

Всем ветрам было открыто это селение, отовсюду нависла угроза. Но сюда стекались и стекались из окрестных и дальних мелких сел мужики и казаки, толпами брели женщины, дети и старики. И это еще больше нагнетало страху в Караколе; сюда приходили обиженные, ограбленные и осиротевшие из сел, претерпевших нашествие, из мест, где лилась человеческая кровь. Это уже не люди — беженцы; у всех разгромлены дома, отобран скот, сожжены хлеба, многие потеряли близких и родных, отцов, сыновей и мужей, видели их кровь. И не умолкал в Караколе сиротский и вдовий плач.

Лихая шла пора. Казалось, что многие годы молчавшие горы, безголосые, навек онемевшие дикие камни вдруг заговорили, и в каждой щели необъятного Алатау горели костры жестокой мести. Старая поганая политика царя натравливала людей на людей, и люди с трудовыми черными руками, соседи, ненавидели друг друга и враждовали из-за земли, на которой жили, из-за пастбищ и воды. И грабили, и жгли, и били друг друга: мужики киргизов, а киргизы мужиков. Черная кость с остервенением лупила черную кость. И множились и множились покойники и сироты.

Окрестности Каракола наполнялись кровавым маревом и звоном. Повсюду валялись неубранные, преступно брошенные тела убитых. Смертный грех всех народов и верований, грех убийства и грабежа растекался по селам и аулам как зараза. С каждой ночью все хуже, все страшней. Земля и скалы Алатау вопили, а человечьи сердца словно каменели.

Днем и ночью шли в Каракол беженцы, ища крова и защиты. И днем и ночью пригоняли в Каракол арестантов, смутьянов и душегубов. Маленькая тюремка глотала и глотала живых людей, подобно ненасытному обжоре. А маленькое селение поглощало людские реки, как та шелушинка проса, на которой аллах уместит весь бесчисленный в с е м н а д ц а т ы с я ч н ы й мир в день всемирного по-топа.

По ночам живым в тюрьме становилось просторней, а в овраге близ Каракола тесней мертвецам. Волки и барсуки, черные и серые вороны сбегались и слетались в овраг на жуткий пир. Там лежали красноликие черноглазые степняки.

Давно ли, кажется вчера, были те ясные мирные дни, когда румяные дети веселили крепкоруких отцов... Ныне твое дитя посинело от слез, а ты сам обратился в вонючий кусок мяса, который терзают пожиратели падали. А вот другой гниет в черной луже, а третий уже

высох, как мумия, на жгучем солнце. И сердце, вчера еще полное радости жизни, почтения к старцу, любви к женщине и к ребенку, сморщилось, как увядшая кисть винограда; оно пало, познав самое гнусное оскорбление, стыд и ужас смерти.

Мимо этого оврага проехали и каркаринцы, отпетые преступники. Прикрывая рукавами рты и носы, они безмолвно переглядывались, без слов понимая друг друга, стараясь скрыть судорожную дрожь.

* * *

В Караколе их встретили с интересом и не заставили долго ждать. Едва въехали повозки в тюремный двор, тюремщики повели троих на допрос — Узака, Жамеке и Аубакира, дав им наскоро умыться.

Говорили, что их затребовал к себе пред грозные очи сам уездный. Это был сравнительно молодой, ражий и очень гучный, болезненно-бледный человек, известный своей злостью и жестокостью. Но в конторе оказалось, что их ждет еще другой, больший начальник, из тех, коих каркаринцы до сей поры не видывали. То, что он больший, сразу поняли по тому, как он строго, сдержанно и брезгливо держался. У него были бабьи руки и бабье лицо. Это был «паркурол» (прокурор) из Верного.

В минувшие двое суток каркаринцы сговорились: что бы ни было, вытерпим. Вчера на гауптвахте Узак и Жамеке встретили Аубакира с холодком, ибо он дался в руки Сивому Загривку еще нелепей и глупей, чем они сами. Потом общая судьба и общая ошибка их помирили.

Страшен был Каракол. Каркаринцы были подавлены, но не унижены. Были скромны и учтивы, но держались свободно. «А мы ни в чем не виноваты» — говорили их глаза. «Виноваты, что опозорены» — говорили их души.

Прокурор выбрал для начала Жамеке. Белая борода и чистые морщины старика показались ему приятней угрюмых бровей Узака и искусанных губ молодого Аубакира.

Держа двумя пальчиками карандаш и нежно-презрительно тыча им в сторону аксакала, прокурор с ласковым барским отвращеньем спрашивал, как его имя, сколько ему лет, какой он волости и аула. Толмач-узбек внятно и негрубо переводил по-казахски.

До крайности уставший с дороги Жамеке выглядел уж не таким молодцом, как прежде. Но в лице его, в позе и в жестах был обычный ненаигранный покой старого мудреца. Он отвечал одним-двумя словами, разве что помаргивал чаще обычного то лукаво, то как бы рассеянно.

«Что толку сейчас во мне? — думал старик. — Но раз меня допрашивают, значит, я нужен? И не этому барину. Для него не открыл бы рта. А раз нужен, буду отвечать, не ленясь душой».

— Это правда, что ваш род, ваше племя... э... противится реквизиции жигитов? Не дадим жи-ги-тов? Это правда, что так говорят?

— Правда. Говорят.

— Кто же смущал... подстрекал... научал народ дурным словам? Кто приказывал так говорить? Кто главный?

— Главного нету. Нету главного... Народ есть. Я могу сказать худое слово, а народ не может. Неохота нам давать жигитов.

— Почему же не-охо-га?

— Говорят, что несправедливо это. Правители несправедливы. Отобрали землю, воду, загнали в пустоши, в камни, в горы... Мы исправно платим подати, налоги, делаем что велят. А нас держат в черном теле, как врагов! По сей день мы вам неродные... И еще говорят,

что обманывают. Правители обманывают. Обещали — не брать нашей земли. Обещали — не брать в солдаты. На словах — гладите по голове, на деле — пинка в зад... И еще говорят, что туги стали на ухо. Правители туги на ухо. Жалуемся — не слушают. Наказывают. Разве такие правители хороши? Разве охота таких слушать?

— Так. Не-о-хо-та. И что же, совсем наотрез неохота или при известных условиях войдете во вкус и приохотитесь? Есть среди вас трезвые головы, авторитеты, готовые уступить, ежели вам пойдут навстречу? Так сказать, условно говоря...

Жамеке насторожился. Все силы в нем напряглись, точно перед капканом, невидимым под чистым, нетоптаным снегом. Вот уж таких речей здесь, в Караколе, он не ожидал!

— Народ говорит, что согласен,— гвердо сказал Жамеке,— пусть жигиты идут, но не на черную работу! Пусть их берут на ту службу, где учат солдатскому делу. Пусть они будут настоящими солдатами. Кабы с самого начала вы объяснили бы, обещали бы это...

— Но ведь тот, кто пойдет на тыловые работы, останется цел и невредим... А солдата шлют в огонь, на фронт! Знаете вы это? Зачем же вам в солдаты?

— А мы такие же люди, как ваши мужики... И наши жигиты — мужчины, а не бабы. Хотим умирать за свою землю! Пусть дадут нам оружие в руки... Так говорят.

— Лю-бо-пыт-но... У кого же, собственно, вы просите оружие? — с откровенной издевкой добавил он; вопрос был как кинжал.

— У вас... — ответил мудрый простак.— Пусть дадут жигитам оружие при всем народе. Пусть учат воевать — на глазах у народа. Не знали мы прежде такой напасти. Хотим знать! А когда люди увидят, что их дети, сыны при оружии, ученые, могут постоять за себя, успокоятся. Берите жигитов, шлите на фронт.

— Слушай, старик. Ты, насколько можно понять, аксакал этого народа. Человек, хотелось бы надеяться, разумный. Как же ты лично думаешь и располагаешь?

— Как все. Так же.

— Но это же глупые речи! Ребяческие прожекты. Ни у какого народа так в солдаты не берут. Ни у индусов, ни у китайцев, ни у арабов, ни у негров. Пустейшая фантазия. И твой святой долг — объяснить своим единокорядцам, что это бред, с потолка взято, из пальца высосано. Не будет так, как они хотят,— ни ныне, ни присно, ни во веки веков!

— Тогда они не послушаются.

— А ты убеди народ. Дай разумный совет. Это в твоих силах, в твоей власти. Твоя должность! Иначе будет плохо... Будете жестоко наказаны. Бес-по-щад-но. Понял ты меня? Сделаешь, как я сказал?

— Спаси, господи... Как же я это скажу! Нет у меня такой власти. Вон ты какой начальник! А не слушаются тебя. А я простой смертный, как и все. Вот моя должность.

— Не ври, не ври... Не люблю. Ты голова своему роду. Ты скажешь — тебя послушают.

— Я старый человек, господин, я не вру.

— Ну, словом, так,— неожиданно перебил прокурор, бросив карандаш на стол и изысканно-любезно оскалив золотые зубы.— Либо ты понудишь своих темных безумцев повиниться — это одно, и безоговорочно дать жигитов — это второе... Либо пеняй на себя! Будет тебе такая кара, о какой и не слыхивал ни один казах. Отвечай!

Жамеке слабо, устало улыбнулся. Этот голос был ему знаком.

— Не стану тебе врать, господин большой начальник... Это дело не по мне.

— Нет, ты выполнишь, что тебе приказывают. Заставим, старик, заставим! Но лучше будет, если ты по своей воле...

— Не могу.

Прокурор взвизгнул точно от щекотки:

— Старый ты пес... Сделаешь, сделаешь!

И Жамеке невольно рассмеялся.

— Сделаю, не сомневайся,— сказал он,— коли оживет у старого пса...— И запнулся, озорно блеснув глазами.

— Уведите,— холодно-спокойно сказал прокурор.— И ко мне другого.

Ввели Узака. С ним разговор был короче.

— Слышал я, чего ты хочешь,— сказал Узак прокурору.— Зря тратишь слова. Не сможем мы понять друг друга. Отведи меня к самому старшему начальнику.

— Что за наглость! Что это значит?

— А то, что с тобой не об чем мне разговаривать. Старый-то орел тебя крепко клюнул. Хочешь, чтобы я? Нет у меня для тебя ничего — ни в сердце, ни в голове.

— Так-таки нет? И больше ничего не скажешь?

— Скажу. Ты насильник. Подлый насильник. О чем можно с тобой говорить — о чести, или добре, или любви?

Прокурор закричал фальшивым бабьим голоском:

— Здесь я спрашиваю!

— Спрашивай. Отвечать не стану.

И не стал. Как ни ершился и как ни язвил прокурор, Узак молчал. Грозить батыру было смешно.

Прокурор приказал увести и его.

Пришла очередь Аубакира. Он кипел, глаза налились кровью. Он сам себя не помнил.

— Я вот что вам скажу: сделайте так, как сказал аксакал! Или верните казахам все, что у них взяли,— землю, воду... и кровь, которую вы пролили... Тогда мы в расчете! Вот и весь мой ответ.

Прокурор с брезгливой миной склонился к уездному:

— И этот мальчишка, болтун, у вас волостной управитель?

— Черт знает... Каркаринская яма! — сквозь зубы выговорил уездный.

Потом прокурор собрал всех троих вместе и словно бы сызнава принялся их разглядывать, изящно поигрывая карандашиком, сияя золотыми зубами.

— Вот, видите ли, мы каковы... Черные шапки... Приятно познакомиться,— сказал он зловеще.

Глава девятая

Безрадостно и бессмысленно тянулись дни и ночи в тюрьме. С воли никаких вестей, ни слуху ни духу. Из соседней камеры тоже ни голоса, ни топота. Надзиратели казались глухонемыми. И только новые узники приносили разрозненные противоречивые слухи, и жужжали они в ушах назойливо и однообразно, как осенние мухи.

Будто бы уйгуры подняли восстание... Будто бы схватили киргизских вожаков и заточили... Будто бы кашгарцы пошли на белого царя войной, хотят освободить мусульман... Чему верить? Чему не верить? На что надеяться? Не знаешь и не поймешь, стоит ли жить и живут ли еще где-либо люди.

Узак и Жамеке не верили ничему, ни на что не надеялись, и, глядя на них, молодые молча валились на нары, часами лежали пластом.

Есть птицы, которые не живут в неволе. Есть и люди. Узак и Жамеке медленно умирали, не умея и не желая выплеснуть из души смертную тоску.

Есть звери, которые не выносят униженья. Есть и люди. В ту последнюю минуту в своем доме, когда Узак раздавил ногой пиалу, он раздавил самого себя. А Жамеке проклял себя, когда услышал, что аул окружен. А потом Аубакир... Он их добил. Они чувствовали, как там, на воле, беспомощен род албан. Это — их позор, их вина.

По ночам ждали худшего. Вслушивались в походку надзирателя, в позвякивание ключей и сквозь стены видели овраг под Караколом... С утра, как только рассветало, а рассветало мучительно долго и поздно, принимались всей камерой гадать на кумалаках...

Лучшие кумалаки — бобы; годятся и камешки, хлебные зерна. Аубакир припас горошины. Горсть горошин — сорок одну штуку — бросали или роняли из ладони и по тому, как они ложились, судили о будущем. Толковали раскладку умельцы, знатоки, а гадали все, с нетерпением ожидая и подбирая новые поводы погадать. Узак и Жамеке тоже заглядывались на кумалаки застывшими, словно замороженными глазами, как на огонь костра.

— Эй, Аубакир, — окликнул молодой жигит Сыбанкул, — что же это мы сегодня? А Кашгария? Из головы вон? Если уж на что гадать, так на это... Давай-ка сюда свои кумалаки.

— Все-таки добрая весть, — подхватил его сверстник Нуке. — Говорят, доброе слово — половина счастья. Чует мое сердце, есть что-то хорошее в той стороне...

Аубакир выдвинулся на середину нар, молча раскинул кумалаки. И все замолчали, сгрудившись на нарах и со стесненным дыханием разглядывая, как легли кумалаки. Затем стали подталкивать друг друга, как бы опасаясь сглазить: «Ты скажи...» — «Нет, скажи ты...» И как домбристы касаются струн, так же бегло касались кумалаков, тех, что легли кучками по три-четыре, и особо тех, которые легли посредине. Там, в сердце, лежали три горошины; их касались с нежностью, словно колдуя.

— Это, пожалуй, самые удачные кумалаки. Как легли, как чудно легли!

— Ох, если по ним судить... пришла и весть о них и сами они пришли...

— В том-то и дело: есть тут намек! На бой... кровопролитный...

— Что бы ни случилось, уже случилось, — сказал старший из толкователей, Карибоз. — Даст бог, освободимся живые, здоровые. Конец будет хорошим.

И все, смотрешие на кумалаки заговорили громким молитвенным шепотом:

— Да сбудутся твои слова. Пусть твоя ворожба будет пророческой. Сам бог вложил слово тебе в уста.

Но Аубакир покачал головой, не соглашаясь. На него уставились как на богохульника.

— Нет... Не то вы говорите, что есть... — сказал Аубакир. — Где вы это увидели? Если я хоть что-нибудь смыслю в кумалаках, они плохие... Будет несчастье. Половина из нас погибнет, половина спасется.

Все закричали:

— Камень тебе в рот! Прилипни твой язык к камню!

— Тьфу, тьфу... Плюй на землю! — скороговоркой сказал Нуке.

И Аубакир плюнул.

А люди внезапно стихли и бесшумно расползлись по нарам, потому что в дверной глазок смотрели два светлых глаза...

Не могли степняки привыкнуть к этим глазам. Они всегда заставляли врасплох и прокалывали насквозь, как иглы. Они словно проникали в самое сокровенное и внушали заячью оторопь. Они могли сбить с ног, проглотить живьем! И, конечно, взглянуть и тем извести. Два светлых, подолгу немигающих глаза...

Жамеке, лежавший в дальнем от двери углу, почувствовал в камере неладное, взглянул на дверь, встретился со светлыми глазами и вдруг протяжно, слабенько, певуче закричал, как кричит раненая ланка.

Закрылась дыра в двери, убраны кумалаки и еще прошло время, за которое можно успеть вскипятить молоко, а в ушах людей все звучал этот странный крик. Дальше было то, чего не предвидели ни люди, ни кумалаки.

Жамеке ворочался на нарах, хрипло вздыхал... Думали, мается душой, но старик снова вскрикнул, зажал руками живот и свернулся в комок.

— Япыр-ау... — проговорил он словно бы удивленно.— Что это со мной? Что такое творится? Лежу и не могу улечься. Жжет у меня внутри. Не понимаю... Помру я, что ли?

Люди повскакали с нар, столпились около Жамеке.

— Что он говорит? Что с ним случилось?

— Только что был здоров... Отчего это?

— Где у тебя болит? Как болит? — спросил Карибоз, склонясь к искаженному лицу старика.

Жамеке тихо, жалко кряхтел, обессиленный. Он был совсем плох.

— Это неспроста... Что бы ни случилось — неспроста... Как поел утром, все нутро горит. Уж долго я терплю. Не могу больше. Невмоготу жить... Наверно, это конец. Смерть моя... Кто жив будет — поклонись жене, детям, народу нашему. Прощайте все. Милые вы мои...

Его то скрючивало, то судорожно распрямляло и вытягивало. Он бледнел, синел на глазах, будто кровь из него выпивали. Дыхание, тяжелое, учащалось и укорачивалось. Глаза помутнели, побелели. Они слепли. Незаметно он их закрыл... Крепко закрыл. И больше не открывал, будто не хотел видеть никого, хотел уединиться и остаться с глазу на глаз со своей мукой.

Люди стояли перед ним, сцепив руки, точно в молитвенном порыве.

Хорошо ли, плохо ли он жил, а прожил жизнь большую, в большой чести, многое видел, немало сделал. Он был родным человеком каждому из каркаринцев, был им отцом, был головой. И вот судьба подвела последнюю черту его делам, мечтаньям и заблуждениям.

Когда тебе за семьдесят и жил ты трудно и честно, смерть светла, она заслуженное отдохновение. Но помирать в тюрьме — тяжкая кара.

Смертный недуг душил Жамеке. Снова и снова его тело содрогалось и извивалось в конвульсиях, в жару горячки, как будто его разрывали на части. Он бредил, и невнятные речи его были полны яда, как и его тело. Но когда он на минуту приходил в себя и собирал силы разума и сердца, он говорил — и нечем было его утешить:

— В неволе... подыхаю... На поле бы мне... помереть... от ран... Мои старые... старые кости... сложить... за молодых... отомстить... Милые вы мои...

Кажется, это и были его последние слова:

— Милые вы мои.

На глазах у людей наворачивались слезы. И думали люди, глядя на Жамеке, худо и страшно, как будто яд его бреда капал в их души. Утром сегодня стражник принес бурду, называемую супом. «Это ста-

рику...» — сказал он, ставя миску перед Жамеке. А тот поклонился, благодаря: «Рахмет...» Был он невесел, но проснулся раньше всех. Обычно они, старики, знают наперед свой день, ждут его. Жамеке не ждал.

Узак ждал... С первого дня ареста, когда пристав смеялся, тыча в батыра пальцем, с первого допроса в Караколе, когда увидел бабьи руки и бабье лицо прокурора...

Узак ждал для себя и для Жамеке кары и муки и на том успокоил свое сердце. Ни слухи о кашгарцах, самозванных спасителях, ни слухи об уйгурах, друзьях и братьях, ни нынешние кумалаки, поначалу счастливые, под конец устрашающие, его не тронули. Он смотрел на Жамеке бесстрастно, беззвучно, и глаза его были сухи.

Жамеке был его старым, закадычным другом. Целую жизнь они прожили душа в душу, понимая друг друга с полуслова, по движению бровей. В их времена не было братства крепче и краше, чем между ними. В любом деле они искали и находили друг друга без труда, без спора. И то, что подчас казалось загадкой, каверзным, запутанным делом, они разгадывали и распутывали вдвоем с одного взгляда. Они любили и верили друг в друга и вместе были нужны людям.

Случись это в степи, под родной крышей, Узак сейчас плакал бы, обняв голову Жамеке. Он прощался бы с ним, и был бы безутешен, и не стеснялся бы своего горя. В тюрьме же лить слезы — бесчестье.

«Сегодня твой черед, Жамеке, завтра черед мой. Ты бы не понял меня, если б я убивался над тобой, говоря: брат, ты умираешь! Ты бы подумал, что ошибся во мне... Что бы ни было, вытерпим. Так мы сказали с тобой не сговариваясь. Смотри же, я не огорчаю, не мучу, не унижаю тебя».

Таков был батыр. Умирала половина его души, и не жить без нее другой половине... Худо ему. Но он, как волк, не подаст голоса, хоть режь его, хоть жги, хоть убей. Узак сидел немой, замкнутый, окаменевший, лишь глаза сверкали злобой.

Один раз он подошел к Жамеке, в одну, ему ведомую минуту. И Жамеке открыл в эту минуту глаза и посмотрел на Узака в смертной истоме.

— Прощай, старина. Прощай, друг,— сказал Узак, отвечая на его взгляд.— Что еще сказать? Душу твою поручаю богу. Я догоню тебя. Не кручинься. Тебе сожалеть не о чем.

И опять обратился в камень.

Каркаринцы всхлипывали. Карибоз читал молитву.

Жамеке становилось все хуже. Уже давно он не говорил ни слова. Уже давно истекли, истаяли его силы. А его все ломало и корчило. На губах выступила синяя пена.

Сокрушительен был смертный недуг. Много раз он ломал старика, останавливая дыхание, и казалось, вот — конец. Колики, судороги мутили рассудок. Печать смерти лежала на бескровном лице. Оно было холодно, как маска. Не узнать старческих добрых и гордых морщин. Белые косматые брови низко напоззли на глаза и закрыли их целиком. А когда брови вдруг поднимались и торчком всползали на лоб, на краткий миг открывая выцветшие незрячие глаза с расплывшимися белесыми зрачками, в них был безжизненный туман. Глаза медленно закатывались под ветхие веки, как будто с трудом уходили и в ужасе прятались от того, что видели уже за гранью живого. Сморщенные губы, реденькие усы смялись в щепотку, и не найти, не угадать в них ни былой воли, ни мудрости, ни доброты. На лице словно застыл всплеск той жестокой бури, которая терзала его.

Старик дышал, громко, сердито сопя. И так долго это длилось,

что думалось: разве немощно его тело? разве слаб его дух? Его силы хватило бы еще многим надолго.

Наконец он вытянулся и затих.

В круглый дверной глазок не мигая смотрели два светлых глаза...

Остаток дня и всю ночь затем каркаринцы молились и оплакивали своего дорогого покойника.

А утром по такому исключительному случаю пустили к ним с воли одного человека навестить, наспех пособолезновать. Много у тюремных ворот было желающих, пустили одну женщину. Ею оказалась жена Аубакира.

Еще в тюремном коридоре, увидев мужа, она заревела в голос. Едва не заревел и сам Аубакир, увидев жену. Ослаб, размяк, будто ему в живот бросили горячий уголек. Они не успели даже поздороваться.

— Молчи,— сказал он, сдерживаясь, стирая слезу со своей щеки.— Грош цена слезам здесь. Будешь плакать — уйдешь немедля. Зря ты приехала. Из такого далека. Но если уж приехала... Не время много разговаривать. Вчера умер Жамеке. После еды умер. Думаем, накормили его... Больше сказать нечего. Передашь это всем, кто есть тут из наших. Поезжай скорей домой. Иди... Прощай! Тебя и ребенка веряю одному богу...

Сказав это, он отослал жену, не дав ей говорить. Повернулся и ушел в камеру.

* * *

На Каркаре тем временем ловили слухи и слушки и старались угадать что и где будет. Где начнется... где прорвется... Потому что где-то что-то должно было случиться. Судя по всему, должно! Люди ждали этого с часу на час. А по сути, не знали толком, где и что происходит на самом деле. Жили на отшибе, на отлете и вообще не ведали и не понимали, что творится в мире. После того как восстали красношапочники, а пристав схватил их гонцов, никто не знал достоверно, что же было дальше и куда девались красные шапки в бескрайней степи. И все же на Каркаре чувствовали: зреет какое-то большое дело, великое дело. Пора ему быть!

Пристав как будто бы взялся за ум и стал не то чтобы хорошим начальником, но немного получше. Он не высовывал носа с ярмарки. Списков не вышибал. Правда, слишком уж долго он задерживал арестованных. Спрашивается, зачем?

Баймагамбет и Жансеит осмелели. Грозилась, что разгонят ярмарку в любой час и день. Освободят и уведут с почетом своих вожakov — Серекбая и Турлыгожу, а гауптвахту сотрут с лица земли, чтобы впредь некуда было сажать других.

Однако делать это, видимо, не следовало, никак не следовало... Потому что поплатятся за это узники в Караколе. Вся тяжесть ляжет на их головы. Так люди рассуждали... И только это удерживало. Они уверяли себя, что только это.

Правдами и неправдами добывали ружья и револьверы. И раздобыли несколько. И припрятали. Берегли оружие пуще глаза. Хранили его как редкую драгоценность. По-прежнему лишь единицы знали, как с ним обращаться. На этих людей смотрели как на батыров. Все прочие боялись его и в руки взять, ибо оно... стреляло! Но говорили в один голос: днем и ночью держим его наготове, а коней под седлом...

В эти-то дни волнений и ожиданий пришла скорбная весть. Отмучился праведник, старый Жамеке.

В Караколе были свои люди. В дозволенное время они носили уз-

никам передачи, а надзирателям мзду, чтобы не были они так люты. Когда вернулась из тюрьмы жена Аубакира, эти люди со слезами побежали к начальнику тюрьмы, прося отдать им их почтенного покойника. Начальник тюрьмы сказал, что осведомится у уездного, а осведомившись, наотрез отказал.

Кинулись хлопотать. У кого только не были, кого не уламывали! Обошли всех чиновников в Караколе. Иные и слушали, зевая, бесстыдно скаля зубы. Иные заверяли, что будут хоронить на казенный счет исправно, согласно мусульманскому обряду и обычаю. И при том строго внушали, что по закону трупы преступников на руки не выдаются.

Люди отчаялись. Стали ходить в овраг близ Каракола... Хотели выкрасть тело Жамеке, если оно там. Но там его не было.

Когда об этом узнали в Каркаре, обезумели. Не так потрясла сама смерть старика, как то, что он не похоронен. Неслыханное надругательство, неслыханная подлость.

Никто никого не звал. Никто не собирал и не вел людей. Они пошли сами не сговариваясь, не советуясь, но в один и тот же день, в одни и те же часы, со всех летовок, из всех аулов. Пошли толпами и в одиночку, все в одно место — на ярмарку.

С известных пор ярмарка была запретной землей для рода албан. К канцелярии и гауптвахте казахов не подпускали ближе чем на пушечный выстрел, как приказал пристав и предписало высокое уездное начальство. От дозорных застав, доносчиков и лазутчиков пристав знал, что творится вокруг ярмарки, где, в каком числе и по случаю чего толпятся инородцы.

И тем не менее случилось, казалось бы, невозможное и немислимое. Ровно в полдень давно пустовавшая ярмарочная площадь и все близлежащие улицы и проулки были битком набиты и запружены до крыш черными шапками, конными и пешими, лошадьми, оседланными и в упряжках, быками под ярмом, кобылами с жеребятами, телегами и арбами.

Иглу некуда было воткнуть, не то чтобы шагнуть или повернуться. На телегах стояли. Конные прижались друг к другу стременами, пешие не могли и руки поднять, а подняв, опустить.

А в этих толпах тут и там, вместе и порознь безнадежно тонули и затерялись затертые и зажатые наглухо со всех сторон казаки, солдаты и прочее воинство.

Люди пришли безоружные, кто как есть, кто с чем был, но думали, что вооружены, поскольку жигиты держали в руках дубинки и копыя, весь свой арсенал. Пришли не загадывая, придется ли драться или нет, — как бог даст. Пришли потому, что где-то в Караколе остался непогребенным старик по имени Жамеке, а это бесчестно, грешно и противно естеству.

Канцелярия была осаждена спереди и с боков и походила на маленькую плотину, которая подперла людское море с островками базарных лавок и лабазов. Гауптвахта была тоже обложена вплотную, и часовые притиснуты к засовам и замкам.

Люди стояли молча, угрюмо. В этот полдень ими двигал общий, единый порыв, одна могучая сила. И думали они про себя: а может, уже началось, прорвалось... может, это и есть то, чего все ожидали... то, чему быть пора... Но что же будет дальше? Пойдем к цели или станем еще чего-то ждать? Когда думали о цели, виделось людям нечто высокое, манящее и загадочное, как божество; каково же оно, это божество, — кто знает...

Сивый Загривок метался по канцелярии от окон к дверям, от дверей к окнам, поправляя на себе ремни и портупей.

Созвал он в канцелярию всех, кого можно было, даже казахов-толмачей, которых последнее время избегал и держал в отдалении, а сегодня обласкал и не отпустил ни на шаг. Как будто они могли помешать черным шапкам оторвать у него башку! Или воспрепятствовать уездному наказать его, хотя, бог свидетель, оно не заслужил-с.

Никто не мог сказать, как все это вышло. В тот самый момент, когда в степи и на базаре стало особенно людно и пристав сказал уряднику: «Как бы того... не прозевать...» — а урядник сказал приставу: «И не заметишь, как это... не доглядишь...», — было уже поздно, лавина обрушилась, и пристав из ловца превратился в улов.

Один следователь рассуждал как философ: чего не бывает в степи. Дичь несусветная, первобытные законы... Однако и он с дрожью прислушивался, не зазвонит ли железо под ударами камня и не раздастся ли перед канцелярией зычный голос Турлыгожи, голос Серекбая. Но чего не было, того не было...

Следователь снял очки, подошел к приставу и повел его на крыльцо.

— Держитесь проще. Побольше жалуйтесь.

Пристав упираясь, мелко крестил себе грудь.

Вышли на крыльцо. Пристав заговорил, едва переводя дух:

— Ну?.. Что скажете? Чего ради понаехали?.. Кто тут у вас за главного? Пусть выйдет, изложит... Мы ждем.

Впереди стояли люди с летовки Донгелексаз, и среди них Баймагамбет, Жансеит, Картбай, злые и ожесточенные. Но главного не нашлось, и передние закричали хором, так что лица у всех стали серыми и вздулись жилы на висках:

— Отдай тело Жамеке!

— Прикажи, чтобы отдали нашего человека...

— Ты его арестовал! Ты посадил в тюрьму! Ты и отдай нашего главного аксакала.

И сквозь эти яростные слитные крики едва пробился одинокий глуховатый голос:

— Выпусти своей волей... наших людей с проклятой гауптвахты!

Пристав и следователь тотчас глубокомысленно закивали головами, как игрушечные китайские божки, с такими же непроницаемо-фальшивыми лицами. Орут, конечно, страшно... Мороз по коже... Но жоака нет. И хотят-то, господи, чего они хотят!

— Нар-род! — выговорил Сивый Загривок со вкусом, чуть ли не со слезой. Следователь что-то шепнул ему, и он добавил: — Дитя прир-роды! (И оба подумали: ни черта, сойдет, казах любит красноречие...) Слушай меня сначала, что я скажу. Кто я есть такой? Я есть самый ближний для вас начальник! А есть дальние, коим я сам слуша... Вон начальник в Караколе и тот выше нас. Скажет: умри, — умру. А я ему скажу? Захочет — послушается, не захочет — не послушается. Это правда, помер ваш аксакал, э-э... царство ему небесное... Но он в Караколе. Там уездный! Во-он какой чин. Что я могу сделать? Кто скажет?

— Я скажу, — ответил Баймагамбет, как бы вступая в переговоры. — Ты его арестовал, ты отправил под конвоем, ты и выручай. Весь народ плачет, весь народ сердится. А раз говоришь, ты нам самый ближний начальник, пиши бумагу, ставь печать, гони курьера в Каракол! Пиши все как есть! Нам покажи, как написано...

— Покажу! — вскрикнул пристав по внезапному наитию, а следователь со значением поднял указательный палец. — А если Каракол меня по шапке? Связанный я по рукам, по ногам... Что тогда делать?

— А тогда... тогда шли депешу в Верный! По той штуке, которая сама стучит... Что мы тебя просим и что правильно просим, а ты не против отдать людям покойника. Шли депешу в Верный!

— Депешу! — подхватил Жансеит. — Хватит того, что убили... Теперь сам выручай его.

И опять из толпы понеслись крики:

— Ты это сделал! Ты виноват! Не будешь стараться — будем считать, что ты! Мы тебя знаем, какой ты есть!

И впервые пристав услышал свою бранную кличку и понял ее без толмача:

— Ты, Сивый Загривок, ты! Смотри людям в глаза. Не юли.

Пристав невольно подался назад. Следователь с трудом удержал его, как бы обнимая за плечи, и торопливо подсказал:

— Будь по-вашему... так и быть...

Пристав затрепал, как скворец:

— А я и говорю... так и быть... будь по-вашему... Покойника так покойника. Депешу так депешу. В чем ошиблись, в том ошиблись... — И еще раз его осенило: — А вот в чем не согласен, в том не согласен! Если уж посылать депешу, так от имени нар-рода... за всеми подписями... Кто из вас будет подписывать? — И он вдруг завопил в раже: — Желающие... становись! Нежелающие... ас-сади!

Черные шапки снова притихли... Командные окрики смущали. Однако пристав старался, а каждый старается как умеет, как отроду приучен. Он сказал, что ошиблись. Так и сказал. К тому же он советовал как лучше... Но как только оказалось, что лучше идти и что-то подписывать, перед крыльцом канцелярии стало просторней.

Не все ясно слышали, что у крыльца говорилось, даже стоявшие впереди, а позади и вовсе не было слышно. Задние кричали, когда кричали передние, и ждали, что передние станут делать. Когда же впереди приумолкли, в глубь толпы покотился долгий говор о том, что было сказано у крыльца, а потом оттуда, из глубины, прихлынула, плеснула и растеклась, как прибой, волна голосов. Голоса были незлые.

— Эй, вы, слушайте, кто там ведет переговоры... Не все тут понятно.

— А чего тут понимать? Что он, бедный, может? Делает, что ему под силу.

— И то видать, из кожи вон лезет. Вы не давайте ему вылезти, еще, глядишь, пригодится.

— Раз обещает, пусть делает. Тогда увидим.

— Пусть исполняет сейчас, с ходу, нечего спешиваться.

— Сейчас, сейчас! Скажите там — сейчас! Эй, вы, кто там ведет переговоры...

И так несколько раз накатывали волны тех же голосов. Человеческое море мерно дышало. Люди смаковали слово депеша.

Баймагамбет и Жансеит, видя, что Сивый Загривок не тот, что прежде, и ждет, что же ему еще скажут, стояли перед крыльцом, впросительно и нетерпеливо глядя друг на друга, словно стараясь вспомнить, что же еще хорошо бы сказать приставу...

Следователь уловил их настроение. Эти молодцы были не хитрей девицы, которая жаждет, чтобы ее обняли, но отбивается, как кошка. Понял это и пристав, как ни был испуган, и бодро-деловито прокашлялся.

— Ну, а засим, люди добрые, расходись... езжай по домам с богом... Что толку всем толпиться? И того сверх головы довольно, что останутся желающие... э... расписаться на депеше... Ответа не ждите... ранее двух-трех дней. Ближе не обещаю. Будет ответ, изведу,

ждать не заставлю. А пока суд да дело, как вам, так и мне с вами — покой, покой...

Черные шапки закивали головами, задвигались, заворочались, затолкались, загомонили и стали поворачиваться к канцелярии спиной, медленно, туго и дружно расходясь. Покой — это хорошо, покой — это ладно, как тебе, так и нам...

Тут-то Жансеит спохватился. Подошел к крыльцу и сказал громко, чтобы побольше людей слышало:

— Хочешь быть хорошим начальником, выпусти наших людей с гауптвахты... Они невинные, народ виноват. Серекбай, Турлыгожа ничего сами не выдумали. Вот как перед богом говорю! Сделай хорошее дело, враз с тобой договоримся. А не то все равно на тебе вина. Не очистился ты, Сивый Загривок...

И ближние жигиты с жаром подхватили его слова:

— Верно, пора... самое время их отпустить...

— Хватит людей томить... намучились... не виноваты...

— Все мы тут виноватые, кто перед тобсй... Что с ними делаешь, делай тогда и с нами со всеми!

Но остальные, позади жигитов, не слышали их горячих голосов. Там стоял топот, глухой треск, тяжкий шорох толкотни. Там потели от тесноты и первейшей заботы — не порвать сбруи, не сломать колеса, не дать себя затоптать. Эти люди как пришли, так и уходили без указки и без спроса, никем не ведомые. И пристав с трепетом видел, как из людского паводка выбирается и выпрыгивает на спасительный берег один, другой, третий солдат... двое казаков, еще трое, еще пятеро... как они сбегаются под руку к уряднику.

Теперь пристав с отеческим всепрощением, сердечно-ворчливо журил Жансеита:

— Сивый Загривок, говоришь? Ай-яй-яй! А ведь я для тебя аксакал-с! Твой волостной Аубакир и тот со мной на вы-с... Торопишься, братец. Был приказ свыше — ар-рестовать. Будет новый приказ, освободим. Имей терпенье. А коль скоро и вы все виновны, дай срок, и вас посадим...

Жигиты всполошились, подняли крик:

— А тогда знай, заруби себе на носу: не будет тебе покоя! Будет народ бунтовать!

— Тогда и на нас не обижайся. Ты до тех пор начальник, покуда у нас тихо. А будешь скалиться, и мы огрызнемся. Посмотрим, где у тебя грива, где хвост!

— Нам все равно, Сивый ты Загривок или Пегая Голова... Мы не станем смотреть, какая у тебя масть!

— Вот подождем два-три дня... Ох, если обманешь! Ох, если соврешь!

Но чем более они горячились, чем крикливей грозились, тем спокойней и насмешливей становился Сивый Загривок. Их было много, слишком много... Но за ними была пустота, непроглядная туча пыли от редющих и разбредающихся толп.

И жигиты, чувствуя это, стали вскакивать на коней, стали их горячить, заплясали, как бревна в водовороте, и поскакали, затянутые течением, сперва скопом, а потом и врассыпную.

Пристав, горбясь, шаркая ногами, пошел в свою канцелярию, плюхнулся на первый попавшийся стул, бормоча бессмысленные ругательства и тщетно стараясь уразуметь, что же это было, что за страх, что за нелепица.

Поднялась стихийная силища, играючи взламывая и кроша ледяные оковы, затопила ярмарку по горло и ушла в землю, из которой и вышла, как полые воды...

Глава десятая

Разумеется, пристав послал депешу, как было обещано, в Верный. Послал также бумагу в Каракол. И позаботился о том, чтобы бумагу и депешу показали людям из рода албан. Так советовал следователь. Те посмотрели, уверились, что дело сделано, и убрались восвояси.

Никто из них не умел читать по-русски, как, впрочем, и по-арабски. Знали только, что мусульманское письмо пишется справа налево, а русское, неверное, слева направо. Так оно точно и окзалось.

Следователь поручил Оспану объявить бумагу и депешу своим единокорядцам, и тот прочел и перевел их вдумчиво и понятно. Депеша тем и кончилась слово в слово, что господин пристав вместе с народом покорнейше просит отдать тело Жамеке... Ничего подозрительного.

Под низким лбом Сивого Загривка было, однако, темно. После указа царя от 25 июня все казалось ясно и просто — жигитов на тыловые, деньгу в карман, а теперь все пыльно, все туманно, ни покоя, ни барыша.

Не дал господь разумения по части политики, а она, прости, господи, бодалась, точно бык при виде красного лоскута. С середины лета так она, подлая, стала оборачиваться, что будто бы и не надо было до поры до времени усмирять бунт. Не следовало его опасаться, наоборот, надлежало подстегнуть. Хотят восстать — пусть восстают. Пусть побунтуют в охотку, чтобы во всем винули самих себя... А потом, как распустятся, развоюются, дать жару! Аулы сравнивать с землей без жалости, без пощады, а на хорошей земле посадить своего человека.

Так или не так, но дело к тому клонилось. Судя по тому, как вышло с этим Жамеке, как дразнили, толкали людей на безумство, — похоже. Местные чины по соседству с ярмаркой, тоже не умудренные в политике, на этот раз превзошли самих себя. Глумились жестоко и лили кровь. В иное время иной щелкопер, а то и инспектор сказал бы: произвол! самоуправство! Хотелось приставу осведомиться на этот счет у вышестоящих, поскольку в таком огне рук не погреешь... Но он благоразумно помалкивал. Вляпаясь как кур во щи.

Одно Сивый Загривок поощрял — драку мужиков и казаков с инородцами. Эту политику он принимал всем нутром и в ней преуспел. И другое он усвоил легко и прочно. Арестованных берег, кормил. Это заложники, люди ценные. Их судьба была ему наперед известна. В один прекрасный день, между нами говоря, э... перебить до единого... Тут двух мнений быть не могло. Данная мера касалась и казахов, и киргизов, и уйгуров. В этом Сивый Загривок утвердился.

Бунт между тем разгорался. Налеты на почту, на военные обозы, поджоги, убийства... Куда же больше? Похоже, что наступал час расправы. В город Верный из Санкт-Петербурга прибыл жандармский генерал. Прибыл он, конечно, не целовать ручки и не подносить букеты, хотя в Верном задавались и балы...

Казахи тотчас об этом узнали. «Крупная шишка... жандарал...» И до киргизских гор, до синьзянских рубежей, до Тургая и Оренбурга донеслись его слова. Вот как крылато сказал жандарал, едва прибыл и осушил пиалу кумыса: «Там, где пролилась кровь царского чиновника, трава не должна расти!» Эти слова звучали как стрѣфа из Корана.

* * *

В тюрьме в Караколе было по-прежнему глухо и жутко, как в заброшенном колодце. С воли приходила только еда. К кумалакам больше не прикасались.

В тот день с утра к тюремным воротам близко не подпускали никого из казахов или киргизов. Прогоняли и тех, кто задерживался поодаль в надежде, что пустят. Прогоняли далеко; упирившихся били прикладами, хлестали нагайками, как скотину не хлещут.

В тот день и в тюрьме было строже обычного. Из соседней камеры изредка доносился упорный тупой стук. Точно дятел прилетал и улетал. Кто-то там забавлялся скуки ради, от нечего делать, как здесь в кумалаки... И больше ни звука... А в дверном глазке то и дело — светлые глаза...

— Что-то нынче у нас не так,— сказал старый Карибоз.— Нехорошо у нас... К чему бы это?

В душе у Карибоза словно бы раскидывали кумалаки. Они ложись то лучше, то хуже, и он не мог вздохнуть полной грудью от неумного волнения. А долгом старшего было предостеречь.

Но и молодые были не в своей тарелке.

— Что-то делается по всей тюрьме,— сказал Нуке.— Всегда знаешь, что происходит в ауле, по лаю собак. А сейчас у меня в ушах собачья свора...

С самого утра все узники-каркаринцы не находили себе места, как будто заражались друг от друга необъяснимой, гнетущей тревогой.

Наконец Узак, лежавший на нарах в углу, на ложе Жамеке, и уже несколько суток не проронивший ни слова, встал и подошел к двери. Дождался, когда откроется глазок, и уткнулся в него носом, словно нюхая, чем там пахнет.

— Эй, чего не выгоняешь на прогулку? И чего наших с воли не пускаешь с едой? Что сегодня за день? Почему такой пост?

Светлые глаза вытаращились, потом прищурились, и в камере услышали:

— Обождешь... В шесть часов будет манифест.

Глазок захлопнулся.

— Манапас...— проговорил Узак упавшим голосом, приваливаясь спиной к двери.

Ничего хорошего это не предвещало. О чем мог быть в шесть часов неожиданный манапас? О помиловании заключенных? Узак в это не верил. Об освобождении от реквизиции? А в это не верил никто.

Глядя на Узака, Аубакир похолодел, побелел, в памяти всплыло гаданье в день смерти Жамеке, и он тоже привалился спиной к стене, глухо бормоча:

— Не то он сказал... Что-то за этим кроется... Боюсь, что остается последнее — прощаться. Пусть старики начинают молитву.

Все молчали, замерев на нарах. Узак лег. А Карибоз, набожно сложив руки, тихо начал погребальное заупокойное чтение. Руки его дрожали, и голос дрожал, надламывался, и в лице было больше боязни, чем благолепия. Но он пересилил себя, ладонями стер со своего лица житейское, суетное, и потек голос гнусаво-заунывный, чистый от всяких страстей. И сразу камера обратилась в склеп, а люди лежавшие — словно бы в мертвецов, а сидевшие и стоявшие — в бесплотных призраков. Все были готовы к встрече с вечностью, как будто молитва придала им мужества.

Лишь Аубакир не мог совладать с собой, хотя сам затеял все это. Рассудок его мутился от животного ощущения нависшей опасности, от ее близости, от ее медленного приближения. Страх дышал ему

в лицо, как птице перед сильной бурей, как зверю накануне землетрясения.

За ним знали эту нечеловечью чуткость и потому так верили в его гаданья и предсказания, а сейчас смотрели с сочувствием, как на женщину, которой трудней в беде, чем мужчине, и которую нечем утешить.

Вдруг Нуке с мягкостью кошки распластался у ног Аубакира, положив ему голову на колени.

— Прикорнем-ка мы к нашему сыночку... — сказал он писклявым женским голоском.

Смешное слово всегда мудрей сердитого. Нуке был зятем Аубакира... Аубакир улыбнулся и стал помахивать ладонью у лица Нуке, как бы отгоняя от него мух.

Вышло это совсем по-ребячески у обоих, и хотя в душе ни у кого не было и тени игривой беспечности, простецкая эта шалость оказалась нужна всем, как будто поднимала людей на крыльях детской чистоты.

Потом Аубакир прислушался, и стали прислушиваться все.

Издали наплывал неясный слабый шум. Он усиливался.

А через минуту уже вся маленькая каракольская тюремка содрогалась от топота множества сапог, скрипа и хлопанья дверей, лязга засовов и замков и гулких выстрелов, которые туго хлопали и грохотали в тесноте коридоров и камер. Еще через минуту стали слышны и людские голоса, дикие, истошные вопли, крики ужаса и боли, проклятья и стоны.

Узники-каркариинцы сбились в кучу, то вытягивая шеи, то пригибаясь от гула стрельбы, затем рассыпались, прижались к стенам, не спуская глаз с узкой темной двери. Сквозь тонкую щель под ней по ночам обычно проникала нитка света, а теперь сочился струйками синий пороховой дым.

Щелкнул дверной глазок. Показались два светлых глаза и исчезли. С треском распахнулась маленькая дверца, в которую был вделан глазок, и в нее всунулись два гладких вороненых ружейных дула. Они посмотрели не мигая, как светлые глаза, и изрыгнули огонь и дым с оглушительным громом. А потом стали поворачиваться и всматриваться то вправо, то влево, то вниз, туда, где нары, где люди, бегло и часто плюясь короткими пучками дымного огня и незримым длинным свинцом. Смерть вбежала в камеру и стала свирепо кидаться во все стороны и кусаться жадно и бессмысленно, как бешеный волк.

И вот забились в четырех стенах человечьи крики:

— О, предки, о, предки... Прощай! Братья, прощайте...

Аубакир видел, как упали Карибоз и Нуке. Оба — наповал... Раненые скорчились и замерли, иные ползли. На одежде, на полу, на стенах кровь.

Уцелевшие бросились под нары, потащили за собой раненых, стараясь укрыться и укрыть их от взгляда вороненых дул. Узак, Аубакир и Сыбанкул втиснулись за печь сбоку от двери. Узак и Аубакир были окровавлены: у старшего пуля в груди, младшему проколола плечо.

А стрельба не кончалась, она грохотала, превращая камеру в ад. Камера полна клубами дыма, и уже не разглядеть, где нары, где люди. Свет из маленького окна высоко в стене слабо полоскался поверх дыма. Зато пучки ружейного огня вспыхивали ярче.

— О, господи! О, святой дух!..

— Неужто нам конец?

— Погибнем все. Алла, алла...

Аубакир локтем толкнул Узака, тот вскинул голову и кивнул. В тюрьме что-то опять переменялось.

Вдали стрельба утихла, и оттуда все громче и громче доносились уже другие, новые голоса, яростные, бодрые, зовущие. Там была большая камера. Там были киргизы. Это их голоса.

— Выходи, беги! Скорей...

— Бей их! Ломай, круши все!

— Умри молодой, собака! На тебе, подыхай!

— Не подходи, убью! Я тебя первый...

Тогда Узак выступил из-за печи, подошел к двери, не оберегаясь огня, схватил оба ружья за стволы своими железными пятернями и выдернул их из рук стреляющих, втащил в камеру. Из-за двери доносился беспорядочный топот убегающих.

Узак выглянул в дверцу. По коридору бежали заключенные. Тюремщиков не видно было. Но камера была на железном засове и замке.

— Разбирай нары, ломай дверь,— сказал Узак, прислоня ружья к стене.

Люди стали вылезать из-под нар, оттаскивать раненых в сторону и отдирать доски.

Узак вырвал из-под нар тяжелые козлы, поднял их над головой и обрушил на дверь. Она загудела, как дубленая бычья шкура. Узак поднял козлы и ударил еще раз. Дверь затрещала. И в третий раз ударил батыр. Козлы разлетелись на части, а средняя доска двери проломилась как раз над засовом. Узак упал, зажимая рану на груди. Ладонь его залилась кровью.

Тогда Аубакир, словно не чувствуя боли в плече, стал долбить дверь тяжелой толстой доской, упрекая и заклиная всевидящего, но молчащего бога:

— Если одна из трех высших сил язык — заговори. Неужели из восемнадцати человек не выпустишь хоть одного?

И все другие, кто мог стоять на ногах, принялись долбить дверь досками, бревнами из-под козел, прикладами ружей, и она стала ощеряться гвоздями, железными завесками, дощатыми зубьями.

Разломали, отодрали обломки; остался лишь засов на замке. Со звериным воем, с проклятьями и молениями полезли в пролом и побежали, спотыкаясь и падая, поползли на карачках, потащили друг друга по дымящемуся, измазанному кровью тюремному коридору вон, на волю.

В тюрьме стражи уже не было. Когда вырвались из своей камеры киргизы, окровавленные, недобитые, обманувшие смерть, и повалили толпой, точно мертвецы, вставшие из могил, которых не берет пуля, побежали от них и тюремщики и солдаты, себя не помня. Одни побросали оружие, у других его отняли, и они запрыгали, как козы, чтобы их не подстрелили.

Но в тюремном дворе десятка полтора стражников, сохранивших оружие, собрались у железных ворот, построились в цепь и стали палить в упор по тем, кто выбегал из дверей, лез через тюремный забор и метался по двору, призывая на помощь создателя и святое воинство.

Был вечер, небо заволочли тучи, быстро сгущались сумерки, и они спасли тех, кому это было суждено.

Аубакир и Сыбанкул, поддерживая под руки Узака, истекающего кровью, выбежали в тюремный двор вместе. Бежавший впереди молодой уйгур взобрался на забор и свалился по ту сторону. Они кинулись за ним. Аубакир и Сыбанкул посадили Узака; Аубакир полез следом и потащил за собой повисшего на заборе, обессиленного Узака. И тут хлопнул рядом выстрел. Аубакир услышал, как тихо вскрикнул Сыбанкул:

— А-а... Остался я. Прощайте.— Он медленно сполз с забора и рухнул на булыжник тюремного двора.

Аубакир со стоном подхватил отяжелевшего, хрипящего Узак, взвалил себе на спину и, мыча от боли, поволок прочь от забора, на широкий пустырь, заросший сорняком. Раненое плечо Аубакира занемело, кровоточило, ноги подламывались. Вскоре он сам захрипел и повалился вместе с Узак на холодную, покрытую росой землю, ничего не видя.

Когда же он обрел способность видеть, уже стемнело и на земле и в небе. Неподалеку за тюремным забором стреляли. Батыр Узак лежал грудью на спине Аубакира, раскинув руки, словно стараясь прикрыть от пуль его и землю. Спина Аубакира была мокра от его крови.

Батыр был жив и в сознании, но не мог двигаться, а Аубакир не мог его нести. Наступила, может быть, самая трудная минута в жизни Аубакира.

Выстрелы стали реже, но отчетливей. Видно, тюремщики вышли за ворота. Может, они шли вдоль забора.

— Иди,— сказал Узак.— Постарайся уйти. Мне нельзя... Я еще обниму того, кто придет меня добить, унесу с собой в могилу.

Он лежал на спине, раскинув руки и ноги, точно воин, сраженный на поле боя, и казался огромным, как сказочный дух.

— Иди...— повторил Узак.— И не засекайся в жизни, как я... Умри за то, чтобы народу жилось. И вот что: против царя ищи друзей русских. Запомни — русских.

Аубакир склонился над Узак, с мукой вглядываясь в его лицо.

— Я не забуду... Отец, дорогой, прощай, прости... Прости, отец...

— Не жалею ни о чем,— сказал Узак.— Бекей меня ждет.

Аубакир ткнулся лицом в густую липкую лужу на его опавшей груди, встал и, шатаясь, пошел в темноту.

Неподалеку он наткнулся на троих незнакомых. Но по тому, как они схватили его и увели в глухой проулок, он понял — это свои; двое уйгуров и киргиз. Вчетвером задворками и закоулками они ушли из тюрьмы и укрылись в каком-то заброшенном доме с заколоченными окнами. Здесь Аубакиру перевязали плечо. Рана его была сквозная, чистая.

Они дождались, когда Каракол уснет, и побежали в сторону гор.

Собаки нагнали на них страху. Брехали как бешеные на полверсты в округе от беглецов и гнались за ними неотступно. По счастью, люди на брех не выходили. И еще мешали телеги, уставленные поперек улиц в несколько рядов, связанные задками и оглоблями, закрепленные на кольях. Это были заграждения на случай набегов с гор диких каменных киргизов, как их тогда называли.

На окраине Аубакир и его спутники чуть не провалились в глубокую яму, пошли в обход и поняли, что это не яма, а длинный большой ров, свежевыкопанный. Для конников западня! Вот как, стало быть, боялись набегов. Такие западни, говорят, предстояло копать жигитам, взятым по реквизиции, против самого Кермана... Ров был по всем правилам, как на войне, против большой силы.

Аубакир сел передохнуть и горестно задумался. Стало быть, есть тут, под Караколом, такая сила? Почему же она не пришла, не перепрыгнула через ров и щетину телег на крыльях мести и героизма? Почему не вломилась в тюрьму и не вырвала из лап смерти лучших, самых нужных народу, таких, как Узак? Почему не раздавила карателей, палачей на месте их страшного преступления? Почему так тихо в Караколе в эту роковую ночь, когда Узак встречается с Бекей, а собаки брешут на одиноких, чудом спасшихся беглецов? Где она, эта сила?

Молча подошли уйгуры и киргиз, подняли Аубакира и повели дальше, в степное предгорье...

Аубакир шел и видел перед собой угрюмое лицо Узака с выпуклыми висками. Шел и с содроганием утирал ладонью усы и губы, с которых еще не стерлась засохшая кровь Узака. Шел и мысленно повторял его последние заветные слова.

В эту ночь, только в эту ночь Аубакир, кажется, понял до конца, с каким сердцем провожал могучего старца Жамеке, а следом и сам уходил из жизни батыр Узак.

Глава одиннадцатая

Чаша людского горя была полна. Кровавопролитие в Караколе ее расплескало. Капли крови Узака падали на травы Каркары, воспаляя ненависть. Как будто мгновенно выгорели доверчивость, благодушие смиренного рода албан. Все бывшие упования вызывали теперь злой смех. Никто больше не верил в мир и спасение. Одна страсть обуяла людей впервые за это бурное лето: воздать извергам-правителям и уйти с этой земли, на которую легло проклятие, уйти в отчаянии, как ушли красношапочники куда глаза глядят.

Судьба красношапочников стала известна в Каркаре. В одну ночь они поднялись и побежали, как дикий зверь бежит от степного пожара, но днем их настигли солдаты. Люди бросали скот, бросали скарб, ускользая ночами, спасая детей и женщин. Что дальше случилось с ними, знала лишь степь и птицы, которые высоко летают.

Говорили глухо, что один конокрад по имени Ибрай и его товарищи, тоже конокрады, дали клятву отомстить и что Ибрай ходил по степи, как ангел смерти, и убивал.

Узнав про это, увидели черные шапки перед собой пропасть и все же говорили: уйдем... Они не знали иных путей. А пока были в родном гнезде, пока не сорваны с корней и не рассеяны, проклинали свое стародавнее смирение, хваленое терпение и выплескивали ненависть, как будто связанные обетом: все дни, что им остались, лить кровь, жечь добро, губить живое.

С этим настроением ели хлеб, баюкали детей. Кусок становился поперек горла, пугались дети в колыбелях, но ничего другого албаны не знали и знать не умели. И потому мужчины готовили дубины и топоры, а женщины увязывали узлы, один-два, не больше, как будто и не были женщинами.

Всем, что имеешь, пожертвуешь ради жизни, а если нет жизни, зачем тебе все? И скот, и очаг, и земля хороши, когда жив-здоров твой защитник, твой сын, и когда ты хоронишь умерших, а не живых... Так судили и те, кому выпало отдать жигита, и те, кому некого было отдать.

Были головы, которые думали иначе, не по-людски. Но это были не люди. Это Тунгатар, Даулетбек и им подобные баи и их холопы. Им беспокойно было этим летом, как Тунгатару при встрече с братом Узак, но они молчали, как молчал почтенный Даулетбек в белой юрте Клубницкого, и таились, как таился Рахимбай в день ареста Узака и Жамеке. Бунт, как джут,— одно для овцы, другое для волка...

Что знал старик, знал и ребенок. Что говорил один, говорили все. Но никто не мог сказать, что же там, на дне той пропасти, в которую их влекло... Есть ли там земля? Есть ли там воля? И есть ли оттуда возврат? Этого никто не ведал. Об этом спрашивали все.

Немногие помнили, какое жестокое слово сказал об этом Узак — в день, когда пронесся над Каркарой дух великого предка в образе

смерча. Главные из тех, кто его слышал, были далеко — одни в узилище, другие в могиле, а малые, рядовые не смели и вымолвить слово Узака: отцам в кабалу, а детям в рабство... Нынче за это побили бы, оплевали бы как трусов и еретиков. Нынче в памяти был Каракол.

Как и накануне, когда черные шапки обрушились на ярмарку, оплакивая Жамеке, и родила лавина... депешу в город Верный, не было в роде албан человека, который мог бы возглавить его мудростью и красноречием, и вел людей по-прежнему не разум, вело сердце, крик боли из Каракола. Но на этот раз не оплакивали покойных и не страдали оттого, что те не похоронены. И молитв было меньше, и угроз, и благословений, и вообще всяких слов. И черные шапки дивились себе, как дивятся детям, начавшим ходить.

Клич к отмщению слышен был повсюду без слов и речей.

Весть из Каракола пришла днем, а ночью сотни жигитов налетели на мелкие деревни в окрестностях ярмарки, и осветилась степь новым факелом, и на ярмарке увидели красное зарево.

Действовали в эту ночь разрозненно, каждый аул выбирал деревеньку по соседству, но в уме держали одно: первым долгом прикупить ружей и патронов. Потому что завтра (это знали все без уговора), завтра идти на ярмарку!

До рассвета висело зарево близ аулов Акбеит, Желкар, Танбалы; горели избы, сараи на близлежащих заимках, ревел угоняемый скот. Ни один жигит не был ни убит, ни ранен, только под пятерыми подстрелили коней. Под утро разохотились и напали на Жалканаш. Но это была старая станица, казачья. Тут жигитов ждали давно и не подпустили близко. Жалканаш огрызался залпами, огоньки выстрелов светились, как волчьи глаза, и кони и люди на них не пошли. Неподалеку в лощине в утренних сумерках увидели повозку с припозднившимися путниками. У них были винтовки. Их убили.

И поскакали прочь с криками:

— Ярмарка, ярмарка! Гауптвахта!

* * *

Настал день большой решимости. Грозный той, начавшийся ночью, приближался к ярмарке. Теперь собрались в кулак, всей людской силой. И тот, кто сегодня сберегал свою шкуру, был чужак. Все, что имелось хорошего в роде албан, готовили для нынешнего дела, нынешнего тоя.

Женщины в аулах не цеплялись за стремяна, старики не читали траурных стихов. Только кормили сытней, а вернувшихся из ночных набегов укладывали на часок поспать. Не было и слез умиления, таких обычных на степном ветру. Все думали о тех, кто был на волоске от гибели в лапах у Сивого Загровка; все с отвращением вспоминали, как хотели, чтобы пристав стал хорошим начальником.

К полудню Кокжота, Зеленый холм, к западу от ярмарки, открылся тучей черных шапок. А позади их было еще больше. Тысячи.

Многие на выездных жеребцах — самых резвых, гнедых и чалых, рыже-гнедых, сиво-чалых, пегих. Масти играли на солнце золотистой красниной и белыми пятнами-лаптами.

Холм огибал быстрый чистый ручей, приток Каркаринки. Здесь поили и остужали коней те, кто с ночи не успел побывать дома. Подтягивали подпруги, оглаживая, лаская тонконогих любимых своих друзей, втайне вручая им свою жизнь.

Держались отрядами человек по сто; меж ними непрестанно сновали посыльные. Командиров, кажется, было не меньше, чем посыльных, и оттого не было покоя посыльным.

Вооружены, как обычно, дубинами, копьями и лукообразными

топорами-секирами. Топоры сверкали, сияли, как луны, копыя торчали, как волосы на богатырской груди. Были еще соилы (это помесь дубины с оглоблей), незаменимые в рукопашной. Соил для казака — то же, что сабля для казака, возлюбленная сестра.

Но понятно, что сегодня взяли и ружья, все, что добыли. Винтовок было немного. Большею частью берданки и охотничьи одностволки, двустволки, заряженные дробью и жаканом — на птицу и архара. Взяли и револьверы, их держали за пазухой; из этой штуки далеко не достанешь, камень и тот дальше запустишь, однако она стреляла. А сегодня нужно, чтобы побольше было стрельбы.

Нужно нагнать страху... И уж жигитам, как пробьет час, лететь пулей, чтобы не успели кони испугаться огня. Иначе не подступишься, как к Жалканашу...

Что еще будет нужно — не знали. Но сегодня люди верили в себя и рвались в бой. Хотели посмотреть в глаза косой, как давно обещались.

Среди вожаков нашлись все же такие, которые объезжали все отряды, все воинство. Это Баймагамбет, Жансеит, Кокбай, Картбай. Их можно было принять и за штаб... Что же они делали? Говорили речи.

Долго, пламенно, с воодушевлением говорил дерзкий малый Картбай, зажигая людей. Он к месту вспомнил, как упустили жигиты конвой, увозивший в Каракол Узака, Жамеке, Аубакира...

Однако лучше всех сказал веселый могучий Кокбай, и его слушали потому, что он последний увидел Узака у Меченого Камня и видел Серекбая, за которым его послал Узак.

— Уа, жигиты, пусть поведут нас духи предков, да будет удачным наше дело... Сегодня все тут, все заодно. И стар и млад. Неужели не выдюжим вместе? В самое сердце ударили нас в Караколе. Нет больше мочи терпеть надругательство, иго воловье, кнут воловий. Пока мы вместе, как жили вместе, умрем вместе! Биться до последнего! Умрет тот, кому суждено. А умирать, так на этой нашей земле, за нашу волю, за нашу честь, как хотел Узак! Кто из нас лучше тех, кто гибнет и гибнет за нас? Кто из нас может так дальше жить? Не будем драться — не видеть нам светлого дня. Никогда мы так низко не падали, как вчера, никогда так не возвышались, как сегодня. В добрый путь, братья! — закричал Кокбай и по-старинному воззвал к древним славным казахским родам: — Где вы, уйсуну, албаны, кипчаки, аргынцы, керей и канлы?.. Где вы, духи предков Раимбека, Саурука?.. В добрый путь с нами!

И так это было всем понятно, близко и дорого, что тысячи голосов подхватили клич Кокбая. И в ту же минуту словно бы незримый полководец махнул рукой, сказав: вперед. Все тронулись, подняв знамена...

Черные шапки с глухим, низким, будто подземным гулом переваляли через Зеленый холм, развернулись пошире, покрылатей, в одну минуту разогнались и теперь уже с высоким раскатистым грохотом понеслись во весь опор, во всю мощь своих боевых коней вниз, на кучку спичечных коробков, которая называлась ярмаркой.

Стена пыли до гор, до неба поднялась над степью.

Хорошо шли кони, прирожденные скакуны, выкормленные не в конюшнях, а в вольных диких косяках своих отцов, отобранных самой природой, на буйных травах Каркары! Эти кони любили и от роду знали такой ураганный, звериный, бездорожный гон, как будто наперегонки с волком, когда сам бог-всадник отдается тебе. И хотя они не чувствовали узды, все же нравно взмахивали головами, чтобы гривы летели, и со злостью клевали мордами, словно грызя себе колени.

Какой, к черту, выстрел или залп услышишь сквозь этот гром, когда земля раскалывается, как в час землетрясения, и кажется, скалы катятся с крутизны, срываясь, как беркуты на взлете, заслоняя и изламывая степной горизонт.

Ее и не слышно было, стрельбы. И не видно было дымков от выстрелов. Ярмарка была нема и словно пуста. Ярмарка не стреляла! А до нее уже с полверсты, не больше...

Так и не услышали жигиты ни одного выстрела. Лишь кони услышали сбоку, правым ухом, ровную, мерную, частую стукотню, похожую на сердитый клекот, и не испугались ее. Но перед лавиной всадников повисли невидимые, остро свистящие нити. Точно ветром подуло... И передние пятеро, десятеро жигитов вдруг полетели на всем скаку через головы кувырком, как игрушечные. А следом еще пять, десять. И еще и еще...

Длинный беспорядочный пятнистый вал лежащих и бьющихся коней и людей вытянулся на зеленых травах в полуверсте от ярмарки. Многие проскакивали эту полосу, с ужасом оглядываясь, а она все расширялась и поваленных коней и людей все прибавлялось. Долгое горькое конское ржанье...

И еще не осознавая, что это значит, не видя, что это за сила валит и валит передних, лава всадников стала круто сворачивать влево от ярмарки, немислимо теснясь, чтобы не затоптать лежащих.

Осаживая коней, посыпались назад и жигиты, проскочившие страшную полосу. И они-то увидели, что лежат неподвижно убитые, а бьются раненые.

* * *

Пристав знал про себя, что у него в голове в одно и то же время умещается лишь одно соображение. А у следователя, каналы, несколько! Этим летом пристав научился слушаться советов, а у следователя их был полон рот.

По этой причине Сивый Загривок загодя, еще до экзекуции в Караколе, сделал три дела.

Прежде всего собрал телеги, брички, возки и арбы, кои имелись на ярмарке, конфисковал их у купечества, собравшегося было в отъезд, как военное имущество и загородил ими проезды и проходы к базару, канцелярии и гауптвахте, связав ремнями и заякорив кольями, в точности как на улицах Каракола. Опясался двумя рядами. Управился в один день. Запряг в это дело господ и слуг, как фельдмаршал.

Другое дело было двоякое. Во-первых, послал он надежных ребят из казахов пригнать отару-другую овец из любого ближнего аула. Это на случай осады ярмарки — кормить. Во-вторых, послал пригнать табун лошадей. ездových пополнить свою конюшню, чтобы было кого впрягать в телеги, брички, возки и арбы. Это на другой случай, если примстится вдруг бежать поспешно. Следователь именовал это ретирадой.

Третье дело было такое, за которое вполне могли отозвать с должности. Дешу в Верный, пренаглейшую, сочинял следователь. И в ней просил... просил невозможного! Но из города Верного последовала чисто генеральская милость: необыкновенная, из вороненой стали вещичка в брезентовом чехле, в повозке с сеном, под усиленным конвоем, и казенная бумага о том, что за утрату этой вещички, в том числе в бою, равно как и за порчу ее, в том числе неумышленную, господин пристав подлежит военно-полевому суду-с.

— Сей же час спрячу,— сказал пристав, с оторопью глядя на генеральский дар.

— Сей же час донесу.— пригрозил следователь, протирая очки.

Но когда на другой день впервые в жизни увидел Сивый Загри-вок, что творят длинные пулеметные очереди, как кувыркаются конники и отступает конная лава, возвеселился, возликовал, запрыгал за телегами.

— Руби! Коси! Вали! — орал он. — Повернули... Отходят... Бей их в спину, гони... Ах, боже ты мой! Стучишь в час по чайной ложке... тянешь, как псаломщик...

— Грех тебе, барин, ваше благородие, — сквозь зубы выговорил первый номер, старый казак. И тут же уткнулся лицом в вороненый короб.

Он был убит пулей в голову.

Все, кто торчал за телегами, сели. И военные и невоенные понимали, что это не шальная пуля, а из метких меткая — но откуда же выстрел? Вплоть до дальних лощин, вплоть до обрыва над Каркаринкой была зеленая гладь.

— Это русский... — крестясь, сказал пристав.

* * *

Кокбай скакал впереди всех на своем длинном коне, крича во все горло, когда его конь грохнулся оземь и он сам вылетел из седла вверх, в небо, как душа из тела в смертный час. Очнулся на земле. Тишина, в башке конское ржанье. Спросил бога, берет ли он его. Нет, как будто бы живой. Нашел глазами своего коня — тот уже оскалился навек. Встал кряхтя, раскорячась, как старый дед. Огыскал в пыльной траве свое ружье. Огляделся — лежат, стонут люди, кони.

Откуда-то кричал злой голос:

— Иди сюда! Беги сюда! Пригнись... Ложись...

Кокбай понял, что кричат ему и что по нему стреляют. Ноги подломились, он свалился.

В стороне Каркаринки серо светились голые камни. Из-за них выглядывал незнакомый жигит с красным, как медь, лицом. Это он кричал. Кокбай пополз к нему на карачках.

За камнями были еще десятеро незнакомых, и Кокбай поразился: все с ружьями!

В башке стихло конское ржанье, Кокбай вдруг снова услышал тяжелый топот и увидел справа от себя изогнутую дугой лаву конников. Она откатывалась, но кони, люди все падали и падали. Лава оставляла за собой широкий пятнистый след конских и людских тел.

— Что это? Отчего это? — завизжал Кокбай, как баба.

Краснолицый не отвечал, а другие повернули Кокбая лицом к ярмарке, показывая на свои уши. И тогда Кокбай услышал стук, похожий на клекот.

Все смотрели на краснолицего. Тот лежал за камнем и целился в самый дальний левый угол ярмарки. В руках у него была настоящая винтовка. Целился он долго.

Выстрел! Клекот умолк...

— Ага! — вскрикнули десятеро негромко.

Краснолицый оскалил волчьи зубы и сказал Кокбаю, показывая на лаву (там перестали валиться конники):

— Поломот называется. Махсум. Уа... Кабы не прыгал за телегами ваш Сивый Загривок, я бы этого Махсума не нашел... Поломот! Тыща пуль за одну минуту. Кермана хорошо бьет.

— Кто ты? — спросил Кокбай.

— Узнаешь... Ходить можешь? Беги низом, Каркаринкой, к своим. Пусть подберут раненых. Но чтоб на конях, летом. И все врозь, с разных сторон. Каждый подсаживает одного. Понял? Скажешь — будут по ним стрелять, не бойся, мы прикроем. Мы для них тоже поломот... Но

чтоб как я говорю! Пока пристав сидит под телегой... Ступай.— И пригнул Кокбая головой к земле.

Кокбай ящерицей дополз до реки и под высоким берегом побегал к Зеленому холму, отыскал в невообразимой сутолоке Баймагамбета.

Они оба отлично умели исполнять приказы, много лучше, чем их отдавать. Не прошло и четверти часа, как выскочили несколько десятков жигитов и редкой цепью понеслись к страшной полосе и стали подхватывать раненых, как велел краснолицый. Брали людей с ходу, с ловкостью и быстротой жигитовщиков, как козла на козлодрании.

На ярмарке под телегами не сразу смекнули, что там за беготня посреди поля, а смекнув, подняли стрельбу, беглую, раздраженную, но им внезапно ответил такой собранный, прицельный и меткий огонь, что под телегами прижались к земле.

Огонь не давал поднять головы. Огонь был неизвестно откуда.

Кокбай, и Баймагамбет, и другие жигиты тоже стреляли — с коня, и на скаку, и с места, и казалось, это они задавили стрелков под телегами. Но казаки, старшие, бывавшие в деле под Мукденом и Лаояном, искали противника не на коне и не на горке, ибо тут где-то был истинный противник.

— Винтовки, ваше благородие... Окопались, ваше благородие...— В голосах слышалось уважение.

Пристава это взбесило, он заорал, но тут же убрался в ближайший дом, услышав:

— Погон твой, как риза, ваше благородие, далеко видать...

Это его и спасло.

Жигиты унесли раненых без потерь. Их, впрочем, не преследовали.

За щиток пулемета лег новый первый номер, тщательно выцелил серо светящиеся камешки в стороне Каркаринки и нажал гашетку. Пулеметчик трясся и матерился, удерживая прицел, пока не вышла вся лента. Над камнями взлетел вихрь осколков... Но там уже не было людей.

Краснолицый все предвидел и не стал дожидаться — ушел, сам одиннадцатый, цел и невредим, как и пришел.

Пулемет пощупал своими свинцовыми плетями еще обрыв над Каркаринкой, дальние лощины, кустики, бугорки, но не нашел того, кого искал. Хлестнул он и по Зеленому холму, где виднелись черные шапки, достал одного, другого, но оставил лишь синяки и теплые, остывающие в руке пульки на память. В такой дали огонь терял убойную силу.

Долго искали краснолицего и жигиты и уже думали, что погиб, когда он опять окликнул у реки Кокбая точно из-под земли:

— Чего бродите? Чего надо?

— Тебя надо...

— Не ходи ко мне, иди прочь!

Кокбай понял, ушел и подобрался к нему сзади незаметно. Краснолицый и его десятеро оказались на месте, где жигиты их и не искали, но отсюда ярмарка была видна до самой канцелярии... Лежали эти люди за мягкой морщиной земли точно за каменной стеной.

— Ладно, — сказал краснолицый. — Ходить-то можете? Спешиться пора! Поломот конного глотает, пешего жует пополам с землей. Понял? Пусть конные не трогаются с места. До них дело дойдет... Возьми только пеших с ружьями. Обойдешь с ними ярмарку, встанешь на всех дорогах. Побольше ставь на этой, которая в Жаркент. Но чтобы как я! Не видно, не слышно. И чтобы не бухали в белый свет. Выстрелом его не пугнешь, он не лошадь, — пулей пугай! Надо бы продер-

жать их до вечера. Чтобы и в голову не стукнуло развязывать повозки. А ночью поломот слепой! Вот тогда садись на коня и ломи... Так я говорю?

— Так! Вот это дело! Где ты был раньше?

— Я везде... Я тут...

— Слушай, а хватит у вас зарядов до вечера?

— Свои сосчитай. Мы пулять зря не будем. За нас не беспокойся. Кокбай почтительно крякнул.

— А вы... а вы и есть настоящий мужчина! Любуюсь вами! В добрый путь...

— Ладно. Хвалить будешь после. Ночью посмотрим... Иди живей. Иди.— И опять с силой пригнул Кокбая головой к земле.

С этой минуты Кокбай забыл про коня и стал ползать со злым удовольствием, чего раньше стеснялся бы, над чем от души посмеялся бы как прирожденный конник, начавший ездить верхом прежде, чем ходить.

И Баймагамбет, и Картбай, и смешливый Жансеит дивились краснолицему.

— Ходить-то можете? Спешиться пора! Ну и ну... Поломот! Конного глотает, пешего жует... А? Шайтан!

Его слова приняли как приказ. Со всех отрядов набралось шестьдесят стрелков. Их ссадили с коней, развели и расставили скрытно по пяткѹ, по полдюжине со стороны девяти дорог, а больше с той, которая в Жаркент, точно так, как он велел.

И вскоре после полудня на ярмарке почувствовали, что она окружена. Отовсюду стреляли, особенно с севера и запада. Огонь был не сильный, но расчетливый, не на испуг, а по цели. Правда, винтовок почти что не слышно, но и стрелков не видать, а и дробь и жакан тоже не сахар. Теперь повсюду стоял противник — на огневых позициях...

Пулеметчик потерялся. Куда смотреть? Кого подавлять? На ярмарке не было человека, который мог бы назначить ему цель. Рассыпались и солдаты и казаки, ведя огонь вкруговую, по своему выбору и рассуждению.

Пристав сидел в канцелярии, потому что среди тех немаканных был один такой дьявол, что страсть... А может, он и не один? Он стрелял редко, из разных мест, но под телегами утыкался лицом в землю то один, то другой, то третий. Окна в канцелярии были разбиты вдребезги.

Кокбаю хотелось бы найти краснолицего, спросить, доволен ли он. Но что ж его отрывать от дела? Да и не найдешь, пока он не окликнет. Надо думать, что доволен, раз не окликает...

* * *

С ружьями ушли лучшие, самые стойкие, ушли и вожаки. Там, вокруг ярмарки, были десятки, здесь, у Зеленого холма, тысячи. Там воевали и видели врага под телегами, прижатого к земле огнем. Здесь ждали ночи и видели своих раненых, кричащих, умирающих. Одних увезли в аулы, других страшно было тронуть, нельзя поднять на коня — в каждой кишке у человека по пуле.

Сотни и сотни жигитов говорили о том, что им суждено было пережить в полдень.

— И что же это такое стреляло? Это и есть ихняя пушка? Наверняка она самая, пушка...

— Треклятая, ни на миг не умолкала. Хоть бы чуть-чуть передохнула. Да нет!

— Как треснет, так пуля... Как треснет, так пуля... Как будто ее слабит.

- Молись богу, что спаслись. Как мы все не полегли?
- Один, говорят, красный заткнул ей глотку.
- Какой еще красный? Болтай! Чем ты ее заткнешь? А как она потом жарила, видел?
- А это она по тому красному, по одному... со злости...
- А что же от него, одного-то, осталось?
- Кто его знает... Каша красная...
- А говорили, нет у него никакой пушки. Сам слышал: пушку не спрячешь, она как юрта... Видать, наш пес, хороший начальник, уж постарался для нас, дураков.
- Нет у нас ни у кого даже берданки. На худой случай — голы и сиры перед ним, как перед богом. Разве его голыми руками возьмешь?
- Да, не похоже, что он дастся нам в руки. Хоть нас сотни, хоть и тысячи — всех перебьет его пушка.
- Уа, говорят, не пушка... Кто выдумал, что пушка?
- И впрямь не она. У пушки одна пуля. Куда бухнет, там яма. А тут что-то другое.
- Что же другое? Как тогда называется эта собака? Знает кто-нибудь?
- Говорят, что поломот...
- Чего, чего? Милый... Такого не бывает!
- А все-таки говорят. Будто бы как он ни страшен, а пешего боится...
- Сказал! Видели мы, как он боится... Ты-то пешего боишься? Порешь что попало.
- А тебе не все равно, как он называется? Хоть бы и не пушка, что из этого? Режет по десятку, по два разом, как коса... Это тебе не яма?
- Да я что... я как скажут...

Один из отрядов держался особняком от других. Он и в лаве шел последним. Теперь же отмалчивался. Отряд большой.

Это альжаны; они входили в род албан, как и красношапочники, но тех любили, почитали, а эти были не в чести, а стало быть, и в обиде. Красношапочники жили кучно, на богатой Асе, альжаны — разрозненно, в разных волостях, жили бедно и сами себя считали слабыми, хотя было их много и звались они крепкими душами. Поговаривали давно, что вовсе они и не албаны; их чурались.

Худо тому в роду, кто не свой кровный. Недаром из двух толмачей ярмарки Оспана слушали, а Жебирбаева нет — все же подлец Оспан албан, а подлец Жебирбаев не албан...

В свою очередь, и альжаны сторонились черношапочников, шли за ними с оглядкой и были себе на уме. «Где черным шапкам сливки, нам сыворотка. Делаем одно дело, а нам пот, им слава. Сделаешь хорошо, скажут — албан; сделаешь похуже — альжан!» Так они говорили, и говорили правду. Так оно и было.

И потому сегодня после полудня, когда Кокбай стал собирать и уводить людей с ружьями, из отряда альжан не спешил ни один человек. Там не было ружей, не было и желающих идти пешком в засады, как велел некий никому не известный красный, которому, однако, верили как однородцу, а альжанам нет. Позднее, когда стали томиться, ожидая ночи, — все ее ждали, чтобы налететь на ярмарку, а альжаны — чтобы уйти. Может, подались бы они и днем, кабы ведать, что пристав не догонит их из своей пушки. Как выскочишь из-за холма, тут и споткнешься. Пушка, она достает на три версты; от нее не ускачешь.

В споры альжаны не ввязывались. Отворачивались, отходили. Что

проку? Тебя же облают. Скажут — альжан! А когда оставались одни, говорили вполголоса, безучастно, безнадежно:

— Бесплезное дело. Лезем на рожон. Не о том надо думать.

— Пусть другие как знают. У них своя голова. Вон их сколько!.. А много ли нас? Уйдем, пока целы.

— Верно, уйдем. И не заметят... Что им до нас? Мы для них — сорняк.

— Все равно худо и так и этак. Ну, ушибем этого правителя — всех правителей не ушибешь. Оттого, что воюем, мира не будет. Ну, скажем, тут победили, а дальше? На ярмарке и всего-то человек сто — двести, а там?

— Попробуй сперва одолей этих...

— То-то что вряд ли. Скорей они нас. Бог знает кто кого.

И так же, как в перепалках альжан задевали черные шапки, принялись они сами задевать за живое токтасынов, которые были в их отряде. Этих бедняков не наберешь и полтора десятка, они не албаны и не альжаны... Вот и клевали их, как гуси уток. Альжаны допытывались, с кем останутся токтасыны. Все же совесть была нечиста, стыдно было.

Тем временем перестрелка вокруг ярмарки ослабела. Обе стороны словно испытали друг друга. Солнце ниже, выстрелы реже. С гор наплывала вечерняя тень.

Кокбай и Жансеит вернулись к Зеленому холму покрытые солдатским потом, с жадностью напился из ручья, осушив его наполовину, окунули в него горячие головы. Дула их ружей были закопчены, а сердца обожжены первым, желанным и нечаянным воинским успехом.

Их окружили жигиты, стали тискать, трясти, как после долгой разлуки. Но странное дело: о чем они расспрашивали? Как будто бы Кокбай и Жансеит ходили пить чай к господину приставу, а за чаем выпытывали, что у него за оружие...

— Что с вами такое? — удивился Кокбай. — Ни один не поздравил... У нас, почитай, на всех чапаны, шапки порваны пулями.

— А что? А как? Из этой самой пушки? — посыпались вопросы.

И тут же все закричали наперебой:

— Я говорил, это что-то заклятое! Как вы живы-то остались?

— Небось они двое одни и остались... Будто мы сами не видели своими глазами?

— Много ты видел, спал тут под кустом задницей кверху!

— А ты где спал? Нашлись тоже учителя божьи на наши головы!

Теперь кричали и альжаны со старой, накипевшей обидой, словно ища в ней оправдание своему неверию, малодушию.

— Сами знаем, может, и не пушка, да одного с ней рода, богом проклятого...

— Во, во! Пушка албан, а это альжан...

— Эх! — сказал Кокбай, тряся над головой ружьем. — Вояки... Жаль, нет здесь того краснолицего... Не видели вы настоящего жигита! Он там... Он один держит Сивого Загривка на свинцовом аркане! Некогда ему с вами чесаться...

Жигиты притихли. Тогда принялся за дело Жансеит. Сегодня он был весел и язык его остер, как в прежние времена. Казалось, он опять влез в свою шкуру и кололся как еж. Он в два счета высмеял все страхи и всю дурь и толково объяснил, что такое «поломот», зачем спешивались с ружьями и зачем сядут на коня ночью. Кстати обрисовал, как красный побил стекла у пристава и, говорят, очки у следователя...

— Жду нынешней ночи, как после свадебного тоя. Кровь в жилах

стоит, ей-богу! Эту вот ярмарку в пепел! Сварим в огне. Я не переко-чую отсюда, пока не выпью ее черного супа.

Неожиданное зрелище отвлекло их. Не далеко и не близко, со стороны Ширганака вдоль лощины не быстро и не медленно шел табун лошадей... Не сразу жигиты сообразили, что табун идет к ярмарке, потому что никто его вроде бы не гнал. А как сообразили, закричали:

— Это же они! Солдаты! Идут по лощине!

— Они гонят, они. Вот они.

— Разграбили Ширганак...

И в самом деле это был наряд пристава, посланный за тяглом. В наряде пятнадцать нижних чинов во главе с самим урядником Плотниковым.

Еще утром он был на ближайшей летовке, где теснилось в удобном месте с десятков аулов. Урядник, старый кавалерист, сам вызвался в этот наряд и лично отобрал в аулах отменно выезженных коней, жеребцов, сытых яловых кобыл — всего голов около ста. Между делом попался ему на глаза, конечно случайно — такое добро прячут, как ларцы с золотом, — редкостной стати конь; Плотников велел его оседлать. Видно, хозяина не было дома, а то бы как знать... вряд ли взяли бы... За такого коня можно и жизнью рискнуть.

В полдень, услышав пулеметные очереди, Плотников смекнул, где хозяин коня, и несколько часов отсиживался в горах. Когда же стрельба поутихла, решил он проскользнуть мимо Зеленого холма. И глядишь, проскользнул бы, если бы не пожадничал — бросил табун...

Бросить его пришлось все равно. Наперерез летела сотня жигитов.

Вся надежда была на пулемет. И он говорил, но больше для острастки. Пулеметчику было не с руки... Он пытался открыть отсечный огонь, но урядник и его люди сами пошли на огонь, боясь, что их оттеснят в степь. А потом жигиты и солдаты смешались.

Кинулись было на выручку казаки с ярмарки, но недружно, не готовы были... Первых, самых расторопных и шустрых, перемахнувших на конях через телеги, завернули стрелки из засад, люди Баймагамбета и краснолицего, а дальше уже поздно было.

Скоро сделалось дело. На виду у ярмарки, в чистом поле, при свете дня заварилась рукопашная, наконец-то рукопашная, долгожданная, когда человек, и конь, и дубина, и земля под ними одно живое целое.

Поначалу было все чин чином, никакого беспорядка. Урядник скомандовал, пошли шашки вон, и его ребята, орелики, лихо привстали на стременах с клинками на вытянутой руке — люди, тоже не лыком шитые, мастера рубки, которых толпой не испугаешь, хоть и сотенной. На них и не шли толпой, чтобы не мешать друг другу, впереди было десятка два... Выбирай!

Но попробуй достать клинком всадника с соилом, если его дурацкая оглобля не подпускает тебя на удар, вертится, мелькает, как мельничные крылья, и лупит, лупит, подлая, точно привязанного. Дерется бес, убегай! Он бежит, а из тебя дух вон.

Кокбай влез в драку первым, вылез последним, без шапки. Ухо, что ли, было у него рассечено?

Прорвался на ярмарку только один бородач с глазами сокола, ранивший пятерых жигитов. Он рубился двумя клинками — с правой и с левой...

И еще удрал урядник.

В самый разгар схватки вдруг закричали: «Матай-улы! Матай-улы», — увидев его известного всем албанам жеребца, рыжего, с белой гривой и с белым хвостом, победителя всех скачек, и аульных и ярмарочных. Однако в седле был не Матай, а Двухбородый!

За ним погналась половина сотни. Жансеит — на лучшем скакуне из табуна толмача Оспана. Шли вплотную, а по краям — заметно впереди урядника, окружая... Но красавец конь привык уходить от соперников; ушел и теперь играючи, как от пеших.

Все это видели жигиты с Зеленого холма. Видели рукопашную, и у многих чесались руки. Видели, что полomot, который все время бешено стучал, никого не скосил, зря стучал. Застоялись кони, засиделись люди... И когда Жансеит погнался за урядником, не выдержали. Что такое полверсты для конника? Несколько шальных голов бросились вперед, вдогонку. За ними хлынули остальные...

Тщетно кричал не своим голосом Кокбай, скача им навстречу. Они не понимали его и растоптали бы, если бы он не пошел впереди них...

На ярмарку! На ярмарку! Опять покатила конная лава...

Дорого обошлась эта вылазка, дороже, чем в полдень. Обманул полomot... Человек пятьдесят — шестьдесят остались лежать на лугу в крови, в черной пыли, и среди них Кокбай.

Остальные спешили за холмом — ни живые ни мертвые.

Все было потеряно, все потухло — и порыв, и бесстрашие, и вера. Под вечер Баймагамбет и Картбай вернулись из засады и с ними самые сильные, самые храбрые. Но и их слушали — иные молчком, а иные ропща. Многие плакали — кто по брату, кто по отцу, кто по сыну. Эти уже в бой не пойдут. Глядя на них, жить не хотелось. Были повстанцы, стали плакальщики, смиренные, богобоязненные.

Альжаны нетерпеливо поглядывали на закат, торопили вечернюю зарю. Но когда стемнело, недосчитались не только их, зашевелились все отряды, и на Зеленом холме осталась, может быть, одна треть из тех тысяч, что были утром.

Сошлись командиры оставшихся отрядов и повели такой разговор:

— Для первого раза не хватит ли? Сыты по горло и люди и кони. Давай лучше завтра утром, пораньше. Тут и пожрать нечего... и поспать негде... И раненых надо увезти. Лучше бы завтра. Всего лучше — завтра!

— А мы что, сюда спать пришли? Зачем мы ждали ночи? — вскрипел Жансеит.

Но Баймагамбет и Картбай молчали.

С Милым Сеитом заспорили вяло, неохотно и, так ни к чему не придя, ни о чем не сговорившись на завтра, препираясь на ходу, стали разъезжаться. Раненых подобрали их близкие.

К тому времени, как должно людям ложиться спать, у Зеленого холма не осталось ни одного казаха.

Ночью, когда вошла луна, прежде других отыскал на лугу Кокбая человек с красным лицом и с винтовкой.

— Ты? Жансеит? — прохрипел Кокбай.

— Эх, брат... Своих не признаешь? Загордился, как оседлал ярмарку. А мы с перевала Аса...

Кокбай схватил его за плечи, за голову, притягивая к себе, обнимая.

— Ибрай! — вскрикнул он перед своим последним вздохом.

* * *

На ярмарке крепко перетрухнули в тот день и штатские и военные.

Начать с того, что хватило у повстанцев пороху — палить целый день! По всему судя, оружия много... И стрелки были упорные, настырные, бог знает кем обученные. А какая свирепость, дикость! Даже на

пулеметный огонь рвались толпами, сотнями... Дьяволы, а не люди. Какое там смирное племя! Конечно, у страха глаза велики, но ведь их и вправду тьма...

Господин пристав был на грани истерики. Скрепя сердце умирив гордыню, он накинул на плечи какую-то крылатку без всяких знаков различия, ибо погон у него как риза, а канцелярия засыпана стекольными осколками... За ним охотились, как за царем-освободителем Александром II... И что там ни говорите, стрелок был русский, каторжник, студент! Тут пахло такой политикой, что боже упаси. Не нашего рассуждения-с.

Помимо того, раненых на ярмарке полно, а при них один фельдшериска и тот татарин.

Увидев, как чудом унес ноги урядник Плотников, пристав захныкал, просто так сел и захныкал, и денщик подал ему носовой платок. Одним словом — бежать! Дотянуть как-нибудь с грехом пополам до ночи и, так сказать, под покровом... Иных соображений в голове пристава не имелось.

Следователь бубнил ему в уши что-то свое, кажется, что ночью будет то и се, прошу прощения, атака. Пристав отмахивался от него платочком.

Ничего ночью не было. Все стихло, все замерло. Замерла и ярмарка. Час битый после того, как стемнело, пристав еще ждал и скулил, жалуясь на разврат, поскольку следователь, почему-то с биноклем в руках, и урядник стояли рядом и не давали ему встать с плетеного, очень жесткого кресла. Никакой атаки, однако, не дождалось.

Тогда ярмарка ожила, завозилась, закопошилась, впрочем не шумно и не зажигая огней. Развязанные телеги, брички, возки и арбы живо разошлись по рукам. Их заложили. Погрузили имущество, железный ящик с бумагами и кое-какими казенными и личными ценностями, устроили в отдельном экипаже при эскорте, точно их превосходительство, пулемет и хорошенько смазали все оси и рессоры, чтобы не скрипели.

Образовался длинный обоз. Потихоньку по бодрящему ночному холодку выбрались на темную дорогу, ведущую в Жаркент, и покатали с богом.

Опустела канцелярия. Опустела и гауптвахта.

* * *

Накануне добрый Оспан ездил, сопровождая следователя, в Саржаз. Следователь прихватил с собой и толмача Жебирбаева. В Саржазе был убит важный чин — член правительственной комиссии, которая отбирала лошадей для государственных военных нужд. Какой-то безумец разможил ему голову, когда он выходил ночью по малой нужде. Четырехглазый расследовал это дело, но не нашел преступника, а нашел преступников, как он сам сказал.

Нюх у следователя был собачий. Он почуял, что назревает в аулах, и быстренько убрался из Саржаза, свернув допросы и попрощавшись с преступниками елико возможно любезней.

На обратном пути на одном из пикетов следователь отделался от толмачей под тем предлогом, что им будто бы не хватило перекладных. Смысл был — испытать молодцов, дав им отстать вдвоем без охраны.

Они отстали на сутки, но поехали на ярмарку и были уже по эту сторону Каркаринки в полдень, когда повстанцы пошли с Зеленого холма в первый налет. Толмачи умчались прочь в степь.

Встретились им знакомые, кое о чем рассказали, расспросили. У всех на языке было одно:

— Ярмарке крышка... Поедете туда? Или домой?

Оспан и Жебирбаев бормотали себе под нос всякую несурязицу, сказать им было нечего, а когда знакомые отъехали, погнали коней назад и проскочили на ярмарку прежде, чем жигиты окружили ее за-садами.

Сивый Загривок давно уже косо смотрел на толмачей, не подпус-кал к себе, как ни старались они попасться ему на глаза. Теперь же, увидев Оспана, похлопал его по плечу, потом по щеке.

— Смотри-ка... А я думал, ты сбежал к своим. Ты здесь, оказы-вается? Ах ты стерва... Смотри-ка!

Вечером, когда стрельба вокруг ярмарки утихла, к Оспану подошел следователь.

— Желательно бы знать из первых рук, что они там затевают. Не исключаю, что ждут только ночи... только ночи... Вы поняли меня? Жебирбаев не годится. Ни на кого больше не полагаюсь...

— Я с радостью! Я узнаю,— сказал Оспан.

— Я так и думал. Если они готовятся и хотят напасть, спокойно удалитесь и в течение часа жгите костер слева от холма, подальше, небольшой... У меня бинокль, я ваш огонь увижу. А сами скачите назад лощиной...

Оспан влез на коня и поехал кружным путем, готовясь врать не на жизнь, а на смерть. Но когда он добрался до Зеленого холма, там уже никого не было, а когда опять кружным путем вернулся (под конец ползком, отогнав от себя коня, потому что с луга кто-то его окликнул и погнался за ним), никого не было на ярмарке.

Страшная картина представилась Оспану в лунном свете на базар-ной площади.

Пристав припас на случай осады отару овец голов в пятьсот. Перед отъездом в Жаркент он распорядился:

— Ну, гнать их некому... и это медленно... Режьте, да порезвей, сколько кому нужно. Всем разрешаю!

И началась бойня. Каждый служащий, торговец, слуга — все, кро-ме солдат, хватали по одной, по две, по три овцы и задирали им морды.

Так только волки режут жалкую, пугливую животину, которой не дано ни куснуть, ни убежать, а только блеять, да и то в зимнюю голод-ную пору, в sleпящую метель, когда нет близко пастуха и пса и волчья свора, осатаневшая от многодневного голода, безнаказанно врывается в отару и, упиваясь кровью, терзает направо и налево — иной волк по тридцать голов подряд, в тридцать раз больше, чем может унести и со-жрать.

Увезти все с собой в Жаркент, конечно, не смогли. Разделать, сва-рить — когда же? Так и бросили окровавленные, вываленные в пыли тушки где попало, где пришлось. И их уже рвали вмиг одичавшие ярмарочные псы.

Без дрожи заколет пастух барашка в котел, но и без дрожи своим телом прикроет от волка, согреет в метель и стужу новорожденного, выходит его ослабевшую мать. То, что было сотворено на базарной площади, было не просто низостью, а кощунством.

Даже очерствевшее сердце Оспана вознегодовало.

— Псу под хвост... Пропало все зря.

Но затем потянулось это сердце все-таки в Жаркент. Хотелось Оспану поскорей глянуть на пристава, на следователя подобостраст-ным взглядом, схватить на лету их высокомерный кивок, не замечая, что они его сторонятся как поганы и заразы, будто он не человек, буд-то он не служащий! Честолюбив был Оспан, отнюдь не безволен, но этого ему хотелось, как жене, брошенной мужем, — догнать, кинуться в ноги, под пинок и плевок.

И наверно, небо вняло его молениям. Перед утром въехал на ярмарку какой-то заблудившийся, перепуганный купец-татарин. У него язык отнялся от того, что увидел он там, на лугу... Телега у купца, однако, была исправная, конь сытый. Оспан без лишних слов подобрал две овечьи тушки посвежей, подсел в телегу и повернул коня на дорогу в Жаркент.

С ярмарки укатили благополучно.

Верст через пять-шесть увидели пообочь дороги трупы людей. Одни лежали в пяти шагах, другие в пятнадцати, как будто пытались бежать перед смертью, одни поврозь, другие по двое, по трое, как будто умирали, обнявшись.

На спине лицом на восток лежал Серекбай. В него стреляли, видимо, в упор. и короткие его волосы на правом виске были опалены. Дырка величиной с медяк зияла на черепе. Запекшаяся кровь почернела. Но на лице ни следа страха и смятения. Брови насуплены. Между бровями стрелой прочертилась длинная морщина. Это морщина гнева и достоинства. В сжатых губах решимость — суровая, холодная. Во всем лице, еще молодом, не постаревшем после смерти, сила правоты и чистота.

Кто-то покрыл его тело серым чапаном. Чьи-то почтительные добрые руки. Этот человек обещал в час беды раздать свое имущество, но час беды настал, а он мертв; ему нечего больше отдать.

Рядом лежал Турлыгожа, который своим трубным голосом мог свалить быка, друг и соперник Серекбая в мужестве, чести и красноречии. Лежал он лицом вниз, открыв рот, словно хотел поведать родной земле свое последнее, заветное. Наверно, его недобили и он еще долго ворочался, говорил с ней, умирая.

Смерть схватила этих людей безобразная, предательская, как и их братьев в Караколе, но они умирали с верой, что гибнут за народное дело. Дерзкие у них были мечтания... Их красноречие вдохновляло... Жертвами народного клича называли этих людей.

Мимо них, мертвых, без остановки проехал Оспан, и теперь в его сердце не было негодованья, как при виде зарезанных овец. Он ехал в телеге торгаша, волочась за теми, кто превратил этих людей в трупы. Это было издевкой над мертвыми. Он марал их тела, как стервятник.

Сейчас он спасал свою шкуру, ибо он предал, и об этом кричали ему убитые, но совесть его молчала, он не раскаивался. Благолепно, молитвенно он огладил ладонями лицо, но лицо его было спокойно, чудовищно спокойно. Ни тени сострадания, скорее любопытство. С интересом он вглядывался в лица, точно в лица спящих. Ага, говорили его кроткие глаза, я еду, а вы лежите, и далеко уеду, пока вы лежите. Лошадь храпела, и он подстегнул ее вожжами.

* * *

Утром на месте каркаринской ярмарки горел грандиозный костер. Ослепительные мечи пламени взлетали к небу, степь застилала драконовы клубы дыма. Горел он долго, жарко, стреляя огромными пылающими головнями, поджигая луга вокруг себя, и к нему нельзя было подступиться ближе чем на полверсты. Треск и гул сотрясали окрестные горы.

А в аулах уже разбирали юрты, нагружали арбы, навьючивали верблюдов.

Повстанцы были на ярмарочной площади на утренней заре. Впервые за много лет на высоком шесте не колыхался белый флаг с двуглавым орлом. И не было здесь царской власти. Не было его благородия по имени Сивый Загривок, двухбородого урядника и хитрого четы-

рехглазого следователя, не было судьи, надзирателя и жирных толмачей. Канцелярия была пуста. Перед ней валялись не догрызенные собаками бараньи тушки.

Но пуста была и гауптвахта.

Купцы уехали, бросив в домах и на улицах много разных вещей, а в лавках и ларях много разных товаров. Домашние вещи валялись как попало, а товары в полном порядке — ткани, платье, сапоги, посуда, сбруя, мазут, керосин, ковры, кольца, бусы, граммофоны... Очень много товаров. Никто из повстанцев на них не смотрел.

Ярмарка была безлюдна. Но в загонах блеяли уцелевшие овцы. А в одном дворе нашли старую подслеповатую клячу. Овец выгнали в степь. Клячу вывели под уздцы за околицу. В торговых рядах залиvisto пела канарейка. Ее выпустили из клетки. И еще походили, посмотрели, чтобы на ярмарке не осталось ничего живого.

А затем подожгли ее с девяти сторон, не взяв ни одной нитки из вещей и товаров. Ярмарка была деревянная, хорошо высушенная жгучими степными ветрами, и запылала, как хворост.

Много лет она ненасытно заглатывала и пожирала все вокруг себя и была толстобрюха и спесива, как купец. Теперь она давилась черным вонючим дымом, исчезая с лица земли.

С ней было покончено. Поквитались и с ней...

Пожарище еще тлело и курилось пеплом, когда смиренный род албан откочевал из благодатной и благословенной Каркары. Тысячи людей потянулись длинными вереницами, подобно перелетным птицам, диким гусям, уходящим от зимы.

Обезлюдели горные пастбища Алатау. В лощинах, укрытых от ветров, остались бесчисленные беспризорные отары овец. И со скалистых и лесных высот испуганно вслушивались в их жалобное блеяние архары, лоси, козули...

Добрая, щедрая, милая земля. С тех пор, как албаны стали албанами, она не дала им испытать ни джута зимой, ни засухи летом. И вот она брошена, и казалось, стелется над ней от края до края безутешный сиротский стон.

Позади был белый царь, впереди воля. Люди проклинали все, что было позади, но больше всего этот роковой час, в который уходили. И думали они о том, как вернуться, думали о том, что следом за зимой, пока не затмилось солнце, приходит весна... И лили, и лили слезы. Отчаяние погоняло, надежда вела.

Шли в пустыню, во мрак, в неизвестность. Искали воли, а отдавались во власть неизвестности, на ее произвол.

И так же, как от красных шапок отстал бай Даулетбек, поддельный святой, так и от черных шапок отстал и спрятался в горах Текеса и Сырта бай Тунгатар, темный убийца, — оба богачи, нищие души. Остались с царем и приставом Рахимбай, добрый Оспан и Обиралов.

Перевел с казахского АЛЕКСЕЙ ПАНТИЕЛЕВ.

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

Летом 1960 года, за год до смерти Мухтара Ауэзова, я гостил у него на даче, у озера Иссык-Куль. Тем летом было задумано перевести на русский язык его повести «Выстрел на перевале» и «Лихая година». Повести эти широко известны, если не сказать — знамениты в Казахстане, но так сложилось, что почти все написанное Ауэзовым до эпопеи об Абае переводилось после того, как была опубликована эпопея. Я начинал перевод первой из повестей, и Ауэзов весьма своеобразно вводил меня в свой творческий «дом».

Обыкновенно он начинал издалека:

— Вы знаете, чем я больше всего удивлял за рубежом политических оппонентов, которые винили наше искусство в конформизме, утилитаризме и прочих «смертных грехах»? Я просто рассказывал, что Ленинскую премию у нас получил художник Коненков за свой автопортрет... кстати, похожий на библейского Моисея! Никто не смел заикнуться, что это пропаганда... Но, пожалуй, самое сильное впечатление и на западе и на востоке, в Германии, в Японии, производило мое заявление, что я, современный писатель, родился и вырос в юрте кочевника, в полигамной семье. И стало быть, помимо родной матери, у меня могло быть еще несколько матерей — старшая, младшая и так далее... Оказывается, это нелегко сразу понять. До умов просто не доходило, как это можно человеку в течение одной жизни, а тем более народу на протяжении жизни одного поколения пройти фантастический путь — через три социальных формации!

Собственно о повестях «Выстрел на перевале» и «Лихая година» Ауэзов говорил сдержанно, как о ранних своих сочинениях «Быть может, в тексте есть устаревшие строки?» — спрашивал он себя и своих друзей. Ауэзов не уставал взвешивать каждое слово, был и щедр и ревнив в работе, всегда масштабен и остросовременен, как истинный художник.

«Лихая година» живописует то время, о котором крылато сказано: в терновом венце революций грянет шестнадцатый год. Повесть написана в конце 20-х годов, но по своей концепции она целиком на уровне современной исторической науки.

— Вы почувствуете, надеюсь, какая боль заложена в этой вещи,— говорил Ауэзов — Ныне страшно подумать, из какой социальной бездны поднялся казахский народ. Имя этой бездне — патриархальщина. Восстание 1916 года в Средней Азии переросло в революцию, но развивалось не везде равномерно. В Тургае оно выдвинуло Амангельды Иманова и Алибея Джангильдина, которые позднее стали героями гражданской войны. Мои герои Узак Сауруков и Жамеке Мамбетов — тоже исторические лица, народные вожаки, но судьбы у них иные, ибо дело происходит не в «громком» Тургае, а в «тихой» Каркаре, в Семиречье, в родовом гнезде «смирного рода албан», в той самой бездне социальной отсталости, которая порождала лишь стихийный порыв, ибо в основе была вопиющая политическая наивность, неопытность, детская доверчивость, предрассудки и иллюзии, патриархальная темнота и беспомощность... Если искать здесь историческую аналогию, уместно было бы вспомнить годы первой русской революции и ту доверчивость, те иллюзии, которые были рассеяны на Дворцовой площади в Петербурге Девятого января 1905 года. Как пятый год в центре России, так шестнадцатый год на ее окраинах был генеральной репетицией...

Ауэзов говорил, что задумал «Лихую годину» как первую часть трилогии. Героem второй части должен был стать сын Серекбая, участник гражданской войны, а третьей — внук Серекбая, ветеран Отечественной войны; все они тоже реально существовавшие лица, как батыр Узак и старец Жамеке.

И еще говорил Ауэзов, вновь и вновь возвращаясь к своей ключевой мысли, что вот к этому феномену (к тому, каковы были казахи накануне революции и каковы они сегодня) еще будут годы и годы присматриваться народы Африки, Азии и Латинской Америки.

Год спустя Ауэзова не стало, и то, что при его жизни воспринималось как размышление, ныне приобретает силу заветного слова, творческого завещания.



ИГОРЬ ШКЛЯРЕВСКИЙ

★

ИЗ НОВОЙ КНИГИ

* *
* *

В Карелии чай с комарами!
В Карелии день облаками
завален, как грузчик мешками.
В Карелии резко, свежо
и радостно пахнет дубами,
березами, хвоей, цветами...
В Карелии ночью светло!
В Карелии легкой байдаркой
рука управляет с трудом,
где хариус синим пером
работает, как циркуляркой,
гоняясь за бабочкой яркой.
Опомнись! Слепая отвага,
как лошадь, порвет удила —
и в черном стекле водопада
мелькает обломок весла.
Держись! Расслабляться опасно.
Зевать на привалах нельзя.
Как будто из тюбика паста,
скользит, извиваясь, змея!
Доверишься теплему ветру
и озеру, полному звезд,—
и держит сигнальщик ракету
за синий дымящийся хвост!
И душит вода ледяная,
и ты побеждаешь струю,
тревогами жизнь сокращая,
но юность продляя свою!

РЫЖИКИ ДЕТСТВА

Приснились мне рыжики детства.
Проснулся в четыре утра
и вспомнил заветное место,
где зябкая почва добра.

Поеду, поеду, поеду!
Роса, паутина, рассвет...
Приехал, а рыжиков нету:
ведь леса любимого нет.

Я радость твою не нарушу,
но ты за язык не тяни.
Не надо заглядывать в душу,
в корзину мою загляни.

Избитое «годы промчались»
скажу и пойду наугад.
Все рыжики в детстве остались,
зато привалило опят.

* *

Последняя любовь прекрасней первой.
Так обмелевший Днепр с последнею мареной
душе дороже, чем Березина.
Взаимность первым чувствам не нужна.

Последняя любовь прекрасней первой —
свиданья под завейною вербой,
и на лету истаявший снежок,
и поцелуй, как затяжной прыжок.

Последняя... А вдруг не навсегда?
Последний раз люблю тебя навеки,
последний раз в долине ото льда
так звонко-молодо освободились реки.

И транспарант надуло ветром так,
что город мой поплыл в простор весенний.
Опять грачи, и музыка, и тени,
и на валу в черемухе сквозняк!

И я живу единственной тобой,
и ты горда своей любовью верной.
За все уже заплачено с лихвой —
последняя любовь прекрасней первой.

СЕЛЬСКОЕ КЛАДБИЩЕ

Когда над кладбищем бушует листопад,
когда деревья, падая в объятия,
как наши сестры, бабушки и братья,
бегут ко мне оттуда, где закат,

я не могу на суетный язык
перевести твой вечный шум, природа,
и пусть я тайну смерти не постиг,
но приоткрылась мне душа народа,—

о, сколько их, печальных островов,
среди полей Пропойска и Браславля,
без черных плит, высокопарных слов,
без призрачного жалкого тщеславья.

А там, где пар летит из-под колес
и скорбь увита розой жестяною,
уже не просто стать родной землею
и дотянуться ветками до звезд...

* * *

Заныли росой обожженные нервы,
и сгнули в утренней роще химеры
тяжелой и долгой зимы городской —
березы парили зеленой стеной!
Пока мои ноги в росе утопали,
березы морщинки мои разобрали...
Я видел, что в роще прибавилось пней,
и все же какая-то цепкая радость
была моей грусти намного сильнее
и в дальние дали с надеждой впивалась!
Я вышел к реке — обмелела река.
Но синюю бездну она отражала,
и радость, как прежде, была глубока
и снова над жалостью верх одержала!
И думал я, теплым туманом дыша,
что беды земли — поправимое дело,
покуда не выдохлась, не обмелела
и не очерствела живая душа!

* * *

Осенний вечер. Еще светло в березах.
Но в ельниках уже темно. Пора домой.
Опять он весь в твоих мучительных вопросах —
глухонемой простор, подкрашенный зарей!

Бог уходящих дней позолотил пилюлю.
Тончайшей желтизной незримая рука
покрыла редкий лес, пустые берега
и чудом уцелевшую косулю...

Так воду пьет она из родника,
что отраженные не дрогнут облака!

Тревожно... Нет, не за тебя тревожно,
уже не за тебя, всегда счастливый друг,
а вообще за все, за все вокруг,
за все, что уберечь для будущего должно.

За атмосферу — прозой говоря!
Банально говоря — за воды и за сушу.
За мир живой души. Ты слышишь эту душу
в глухонемом просторе сентября?..



ВЕРА КЕТЛИНСКАЯ

★

ВЕЧЕР. ОКНА. ЛЮДИ *

Видлицкие уроки

Прохладная рука ложится на мой лоб.
— Мама! — бормочу я.

Гихий не мамин голос соглашается: мама, мама,— и в сторону что-то быстро говорит по-карельски, а рука по-прежнему оглаживает мой лоб. Рука тоже не мамина, мягкая и шершавенькая, безошибочная в своих облегчающих движениях. Вот она оторвалась ото лба, просунулась под шею, приподняла мою тяжелую голову, к губам прижат край чашки. кисленькая влага касается губ, я с наслаждением втягиваю ее, смакую, пью большими глотками, и тот же голос на чужом языке поощряет меня, а рука поддерживает удобно и сильно.

Приоткрыв глаза, я вижу чужое лицо, не старое и не молодое, лицо крестьянки с непроходящим загаром и жесткими морщинками от солнца и ветра, участливое лицо со светлыми до прозрачности Гошинными глазами, и вспоминаю, что это мама Тани и Гоши, или, как здесь говорят, Ёши, Егора Терентьева, я в доме Терентьевых, в Видлице, прямо с первомайского вечера Таня привела меня домой и вдвоем с матерью раздела, уложила, напоила горячим чаем с клюквой... И сейчас питье клюквенное, только холодное. А я заболела. Нелепо! — в чужой деревне, в чужом доме, и как раз тогда, когда никак нельзя болеть...

— Ты усни, усни,— говорит другой голос; я догадываюсь — Танин. Свет в комнате тусклый. Что это — раннее утро? Или вечер?

— Таня!

— Я здесь, Верочка.

— Это вечер?

— Что ты! Пять утра. Ты поспи, полегчает.

— Я посплю и встану.

— Конечно, встанешь. А теперь спи.

Закрываю глаза и слышу, как они на цыпочках отходят от кровати. Не сплю, а стараюсь понять, что же со мной произошло. Ведь приехала здоровая, и почти сразу Таня повела меня знакомиться со всеми подряд — с партийным организатором, с председателем сельсовета, с начальником ЧОНа, с комсомольцами, и я удивлялась, что комсомольцев — около сотни и коммунистов больше сорока, а было больше ста, но многие погибли в боях с белофиннами или еще не вернулись из Красной Армии. Никто не смотрел на меня как на девчонку, приняли уважительно — «товарищ из центра», парторганизатор сразу записал меня в список выступающих на первомайском вечере и на

* Окончание. Начало см. «Новый мир» №№ 3, 4, 5 с. г.

митинге у братской могилы, а кроме того, попросил, чтобы в середине мая я сделала доклад о международном и внутреннем положении: «К нам лектора давно не приезжали». Затем все сельское начальство по очереди и вместе предупредило меня, что сразу после праздника они уйдут на сплав, — и подсобить надо, пока высокая вода, да и заработок... «а ты уж как-нибудь останься за всех, никаких особых дел, разве что срочная директива из Олонца...». Я кивала: конечно, останусь, конечно, если срочная директива — сделаю. Мне льстило такое доверие. Но странно — их лица и голоса были как бы отделены стеклом, приходилось напрягаться, чтобы разглядеть и услышать.

Три дня — через стекло.

...Идем демонстрацией на митинг. Комсомольцев много, мы поем песню за песней, но песни тоже — за стеклом, глухо и невнятно. У надгробного камня с именами погибших видличан — небольшая трибуна. Я на трибуне, чувствую дуновение ветра с реки, меня прохватывает дрожь оттого, что по реке еще плывут льдины и льдинки, ветер гонит их в Ладогу, поторапливает — пора сплавливать лес, стоит «высокая вода». Высокая вода уже подступила к порогам бань, затопила низины. Хо-лод-на-я!..

... На митинге говорят и по-карельски и по-русски. Вчера вечером я сложила и заучила целую речь, но сейчас понимаю, что она длинна, стоять на ветру слишком холодно, всем, должно быть, холодно... Я выкрикиваю свою речь, на ходу сокращая ее, и почему-то не слышу своего голоса.

— Ты не заболела, Верочка?

— Нет, Танюша, просто охрипла.

...Вечер. За сценой клуба комсомольцы наряжаются для концерта, музыканты продувают трубы, настраивают балалайки и мандолины, гармонист перебирает лады... Но все лица и звуки по-прежнему — за стеклом.

...Стол президиума. И темный зал, где одно к одному — лица, лица, лица. Зал почему-то покачивается, я понимаю, что этого не может быть, но он покачивается.

— Товарищ Кетлинская, идите же!

Оказывается, меня уже несколько раз выкликали, в зале ждут — «товарищ из центра»! Я выхожу к трибуне и сразу хватаюсь за нее, потому что зал качается. И все лица плывут как по медленной волне... Свою речь я довожу до конца, но голос будто и не мой, то бьет в уши, то звучит далеко-далеко. Когда я возвращаюсь на свое место, рядом оказывается Таня:

— Может, сразу пойдешь домой, ляжешь?

Я мотаю головой, у меня нет сил встать. Начальник ЧОНа, худой и длинный-предлинный, перегибается ко мне через двух человек и шептывает указания:

— Получай все, что адресовано ЧОНу, будет что срочное, пусть Таня кликнет моего Ванюшку, он достанет лошадь, только если срочное и секретное, мальчишке не давай, привези сама!

Я обещаю — конечно, привезу сама. А потом... потом как в закопченном стекле — улица, меня ведут под руки, с одной стороны Таня говорит: «Надо же, вся горит!» — а с другой кто-то неведомый советует баском: «Баньку затопите, пропариться нужно!»

И почти сразу — прохладная рука ложится на лоб, я в постели, кисленькая освежающая вода... «Ты поспи...» Надо поспать, мне нельзя болеть. Одна за всех... если что срочное и секретное...

А оно тут как тут. «Весьма срочно и секретно». Я бегу и достаю лошадь, понимаю, что это во сне и в то же время тревожусь, потому что везде вода, вода и ледяной ветер, мы въезжаем на мост, вода пе-

репрыгивает через белеющие в темноте перила, лошадь шагает сквозь поток, мы уже на середине моста, и вдруг раздается ужасающий треск — мост запрокидывается, мы летим прямо в kloкочущий поток, я кричу изо всей силы:

— Ма-а-а-ма!..

— Что ты, Верочка, что ты!

Голос Танин, а рука, которая легла на мой лоб, материнская, мягкая и шершавенькая. Лицо Матери склоняется надо мной, и успокаивающий голос на непонятном языке говорит очень понятное — я тут, с тобой, я тут...

Под успокаивающее бормотание я засыпаю и во сне борюсь с наплывающим бредом. Это бред, я понимаю, от высокой температуры — бред. Вот только надо принять телеграмму. «Срочно, секретно»... Я обязана доставить ее, вот и лошадь и сани, мы несемся вoсю по накатанной дороге, но впереди — вода, снежное месиво, ехать нельзя... Я бегу, ноги проваливаются в мокрую жижу, спотыкаются об узловатые корни... а там, вдали, черная фигура старикана, он раскинул руки и кричит: «Гие пуцу! Хоть сиди, хоть вертайся! Не пуцу!» Но раз он против, тем более нужно донести телеграмму! Я проскакиваю под его рукой, с разбега влетаю в kloкочущий поток и хочу ухватиться за белеющие перила, но снова раздается ужасающий треск, мост запрокидывается и отбрасывает меня в поток, накрывает с головой... Ма-ма!

— Мама, мама,— соглашается голос Матери, и ее облегчающая рука ложится на взмокший лоб.

Утром Таня сбегала к фельдшеру, но фельдшер тоже ушел на сплав, его жена дала градусник и порошки «от простуды».

— Сорок и шесть десятых,— сказала возле меня Таня.

— Таня,— позвала я,— телеграммы есть?

— Ой, да какие там телеграммы! Лежи.

Я засыпала и вновь просыпалась, искала глазами Мать и уже с трудом узнавала ее, потому что вокруг суетились, лопотали по-своему, спорили между собой и с Таней еще какие-то женщины.

В середине дня меня начали одевать. Я не понимала зачем, я не могла никуда идти, искала глазами Таню, но Тани не было, а женщины в несколько пар уверенных рук натягивали на меня белье, платье, чулки, всунули мои ноги в подшитые кожей валенки, закутали меня в вязаный платок и полушубок.

— Байня, байня,— говорили мне.

Баня?!

Женщины вывели меня во двор и маленькой, но озабоченной, говорливой процессией перевели через улицу, кое-как спустили по скользкому склону и втокнули в предбанник. Я почти упала на лавку, привалилась к стене и увидела в дверном проеме наплывающую на меня реку с редкими льдинами и противоположный берег с такими же покосившимися баньками без дверей. Высокая вода билась у самого порога, верховой ветер залетал в дверной проем и приятно освежал воспаленное лицо и пересохшие губы, но от ветра знобило, прямо-таки трясло.

А женщины раздели меня догола тут же, в предбаннике, подняли и впихнули в баню. От невыносимого жара я повалилась на пол и с ужасом смотрела, как женщины зачерпывают ковшами воду и выплескивают ее на горячие кирпичи — белые клубы пара с шипением взмывают над топкой, заполняют баню, а женщинам все мало, они плещут еще. Потом меня начали обливать горячей водой и шлепать венниками. Хотели поднять на полок, но это сражение я выиграла, не далась, и меня уложили на нижнюю полку и продолжали шлепать венниками и обливать почти что кипятком.

Из бани меня уже не вели, а несли на руках.

Что было потом, доходило клочками: Таня заставляет меня пить горячий напиток с незнакомым вкусом и приговаривает: «Пей, пей до конца, пропотеешь!..» На меня наваливает, наваливает что-то тяжелое и жаркое, и под этим грузом я валяюсь в душную яму... Мягкие и шершавенькие руки Матери стягивают с моего потного тела совершенно мокрую рубашку и натягивают другую, охлаждающую, а Таня, приговаривая: «Вот и хорошо», подсовывает под меня сухую простыню... и опять — руки Матери, меняющие на мне рубаху, и Танин успокаивающий говорок, и сухая простыня, и новое забытьё... и опять то же...

Меня разбудил громкий мужской голос.

Я открыла глаза. Было рано — солнце пронизывало комнату от окошек до дальней стенки прямыми лучами. Тело было легкое, хоть лети, и голова легкая, ясная, только где-то внутри еле-еле слышно, под сурдину, позванивали самые высокие, дискантовые клавиши...

А за приоткрытой дверью мужской голос перешел с карельского на русский.

— А ты, ты! — возмущенно выкрикнул он. — Комсомолка, грамотный человек — и допустила, чтобы городскую девушку!.. Варварскими методами!.. Не всякий мужик выдержит!.. Вы же ее угробили!..

— Ваня!..

Мой голос прозвучал слабо, он не услышал.

— Разве их переспоришь! — всхлипывая, говорила за дверью Таня. — И фельдшера нет, а его жена тоже советовала — пропарить!..

— Ваня! — изо всех сил крикнула я.

Теперь они услышали. И вошли все сразу — я улыбнулась на встречу тревожным глазам Матери и сказала Ване:

— Я жива.

А клавиши все названивали и названивали.

Мне смерили температуру: тридцать пять и восемь.

— Ну вот видишь! Я хочу встать.

Мать поняла и покачала головой. Затем она отправила прочь Ваню, дала мне помыться и принесла чаю и миску с необычным кушаньем: что-то лилово-розовое, кисловатое и пресное одновременно. Этим кушаньем она меня потом откармливала — по два раза в день, утром и вечером. Клюква с толокном, вот оно что такое!

После еды ко мне впустили Ваню. Я так и не поняла, почему он «проездом» оказался в Видлице, вероятно, Таня сообщила о моей болезни брату, Гоша приехать не мог, а Ваня и мог и хотел. Рассказав все олонецкие новости, он вспомнил, что Соколов просил передать: через месяц меня вызовут обратно в Петрозаводск для посылки на учебу. Еще немного погодя он вспомнил, что Соколов послал с ним записку. Долго шарил по карманам, наконец нашел порядком смятый листок.

Палька задавал нелепый вопрос: «Что же ты болеешь?» — сообщал о вызове, потом шли приятные слова: «А ты все-таки молодец!» (почему «все-таки»?), а кончалась записка совсем уж нелепо: «Ну да ладно, остаюсь Павел Соколов», — одно под другим, лесенкой.

— Женился он?

— Павел? С чего ты взяла? Домой поехал.

Весть была хорошая, но записка меня рассердила.

На другой день я выпросила разрешение встать — и упала. Ноги не держали. Кружилась голова, звонкие клавиши заклацали неистово, словно безумный пианист безостановочно бил по ним всей пятерней.

Меня заново учили ходить — это было смешно. Меня откармливали — я не заставляла себя уговаривать. Не выпускали из дому — это

было хуже. Но стойкой приходили навестить комсомольцы, получался небольшой клуб, и в этом клубе было решено к концу мая обязательно поставить спектакль. Подходящей пьесы не было, и я взялась написать инсценировку. Сочиняли тогда бесстрашно, а для меня это было оправданием моего бесполезного сидения дома.

Таня убегала на работу с утра и приходила вечером — часов в семь, а то и в восемь. Весь день я прилежно сочиняла инсценировку, а когда воображение иссякало, готовилась к предстоящему докладу: шутка сказать, доклад о международном и внутреннем положении! До сих пор я только слушала подобные доклады, стараясь разобраться во всех сложностях послевоенного мира. К счастью, в Илькиной тетради, с другого конца, я кое-что записывала — интересные цифры, поразившие меня мысли и факты, наиболее впечатляющие места из речей Ленина. Таня принесла мне подшивку «Коммуны» за последние месяцы и сшитые вместе номера «Правды» с отчетами о недавнем XI партийном съезде. Мне казалось, что материала достаточно, тревожил только вопрос о деревне, тут я «плавала», а доклад — для крестьян, значит, нужно подробно и толково сказать о деревенских проблемах, да и вопросы будут, конечно, о том же...

И еще у меня было одно непрерывное, хотя и не осознанное занятие: я жила рядом с Матерью, с рассвета до темноты видела ее, наблюдала, что и как она делает, общалась с нею языком жестов и улыбок. Как в немом кино без титров — душевная суть через внешние проявления.

Как бы рано я ни проснулась, Мать уже была на ногах и привычно, без суеты, делала свои ежедневные дела: топила русскую печь, месила тесто, пекла хлебы или калитки, доила корову, кормила ее и поросенка, варила кашу и суп к обеду, жарила картошку к завтраку. Попутно, стоило мне встать и умыться, она ставила передо мной миску клюквы с толокном — ешь! Я садилась в уголку кухни и смотрела, как она делает вкусные карельские калитки: на выскобленном и присыпанном мукою столе замешивает пресное ржаное тесто, молниеносными движениями разделяет его на множество катышков, так же молниеносно раскатывает катышки тончайшими листами, выкладывает на каждый ложку картофельного пюре или разваренной пшенной каши, как бы небрежно, хотя и точно загибает края — и на противень. Противни с калитками постепенно занимали всю кухню — столы, табуретки, скамьи, их было у нее штук двадцать или даже больше. Когда все противни были подготовлены, она петушиным пером быстро, как бы не касаясь начинки, смазывала или сбрызгивала калитки растопленным маслом. К этому времени печь уже вытопилась, Мать выгребала угли, оставляя их на железном листе возле зева печи, а в печь сажала первую партию противней и тут же, прикрыв зев заслонкой, ставила на угли большую сковороду и кидала на нее кусочки сала, а затем начищенную неведомо когда картошку. В уголку, окруженные горячими угольями, томились горшки с супом и с кашей. Я следила и никак не могла уследить за последовательностью и безошибочностью действий Матери — она вынимала противни как раз тогда, когда калитки поспели, размягчились, но не пересохли, тут же сажала в печь новую партию, картошка и сало шипели, распространяя по дому зазывный аромат, Мать как будто и не обращала на них внимания, но не было случая, чтобы картошка подгорела или шкварки излишне вытопились, потеряли сочность. Поначалу мне казалось, что испечь такую грудку калиток нужно бог знает сколько времени, но вдруг оказывалось, что вынуты последние противни, калитки выложены горками на доске и прикрыты полотенцами, Мать подцепляет ухватом горшки с супом и кашей и ставит их в печь — до-

ходить, туда же отправляется сковорода с картошкой, а на угольях уже закипает чайник, и Мать идет будить Таню — Тане по утрам спится.

Прошло часа полтора после того, как я наелась клюквы с толокном, но когда мы садимся завтракать, я с аппетитом ем румяную картошку, запивая ее парным молоком. Мать подсаживается к нам поздней, когда сковорода уже очищена и мы улетаем калитки; она выпивает две чашки чая и съедает одну калитку. Мне всегда неловко, я норовлю оставить часть картошки для нее, но Таня объясняет, что мама по утрам не любит есть, «ей потом тяжело», она поест плотнее в обед, когда домашние дела переделаны.

Таня убегает на работу, я сажусь сочинять инсценировку или делаю выписки из газет. Через стенку я слышу, как Мать легко ходит по кухне, выходит на крытый двор к скотине, толчет картофельные очистки — они пойдут в пойло для поросенка. Потом начинается плеск и шарканье — мать моет посуду и противни, моет столы и табуреты, моет пол в кухне. Я предлагаю свою помощь, Мать с улыбкой машет рукой и что-то насмешливо-ласково говорит, я понимаю так: иди, какой из тебя теперь работник, занимайся своим сидячим делом, а в мое не встревай. Часа через два она ставит передо мною на стол кружку молока и калитки, я отказываюсь, Мать начинает быстро и властно говорить, я понимаю: не спорь, я лучше знаю, что тебе нужно и сколько ты можешь съесть, гляди, какая ты худышка, одни кости, пока ты у меня, я тебя должна откормить! И я съедаю все что поставлено. Силы прибывают с каждым днем: уже не клацают дискантовые клавиши — даже если я наклоняюсь, уже твердо ступают нсги, а когда Мать требует, чтобы я поставила градусник, на нем уже не тридцать пять с десятыми, а тридцать шесть и две, тридцать шесть и четыре...

На шестой день я выхожу на работу. Инсценировка готова, и мы ее тут же начинаем репетировать.

Комсомольцы, приезжавшие с жалобами в уездком, немного преувеличили: комсомол неплохо работает и в клубе и в школе, по первому зову собрались ребята и девушки из драмкружка. Но «головы» в организации действительно нет — после ухода в Красную Армию Саши Веледеева и еще нескольких активистов заседаний бюро почти не было, плана нет. Нужны перевыборы. А для этого нужно присмотреться, кого из комсомольцев стоит выбрать в бюро, кого поставить во главе.

Никаких срочных директив из Олонца не поступало, чувство единоличной ответственности за партийные, советские и военные дела постепенно притушилось, иной день я даже забывала наведаться на почту — нет ли чего? Но жена почтаря (он тоже ушел на сплав) сама разыскала меня — пакет для начальника ЧОНа, на пакете надпись: срочно, секретно. Что там, в пакете? Может, где-нибудь на границе, рядом с нами, опять зашевелились белобандиты? Может, нужно немедленно собрать в отряд всех, кто записан в видлицкую часть особого назначения?!

Ванюшке, сыну начальника, было не больше двенадцати, но паренек выглядел толковым и разбитным, он немедленно предложил «слетать» к отцу. Но я помнила наказ: если срочное и секретное, привези сама!

— Ладно, — сказал Ванюшка, — пойду достану лошадь.

Мы с Таней побежали домой, Таня и Мать о чем-то поговорили, с неодобрением поглядывая на мои ветхие ботинки, потом Мать принесла из кладовки сапоги, дала мне портянки и с милой, но непрекаемой властью заставила переобуться, а мой мальчишковые с

наметившимися дырами завернула в тряпку и что-то приказала Тане, я поняла: снесешь починить!

Затем Мать собрала в котомку хлеба, калиток, крутых яиц, отсыпала в бумажку немного соли и показала мне — надень лямки, котомку на спину! Я пыталась возражать — зачем? Я еще не понимала, что меня ждет.

— А вот и Ванюшка с лошадьми, — сказала Таня.

Я глянула в окошко и обомлела — Ванюшка сидит на лошади, а вторую, оседланную, держит за повод. Как я не поняла раньше — мы поедем верхом!

Мать поправляла на моих плечах лямки и что-то тревожно спрашивала. Таня перевела: приходилось ли мне ездить верхом?

— Ну конечно, — ответила я.

О, золотисто-рыжая Пулька моего детства, это тебя я имела в виду, тебя — под изящным дамским седлом, тебя, смиренно шествующую по симеизским улицам за поцокивающим проводником!..

Мне случалось видеть, как лихо вскакивают в седло, я старалась повторить подсмотренное движение, каким наездник вставляет левую ногу в стремя, берется за луку и ловко взбрасывает послушное тело, одновременно занося правую ногу над крупом коня. Но лошадь была для меня высока и стоять на месте категорически не хотела. Увильнув как раз в ту секунду, когда я целилась ногою в стремя, она косила на меня умным глазом и застывала на месте — садись, если умеешь! Но стоило мне прицелиться ногой к стремени, она снова уворачивалась.

Таня взяла лошадь под уздцы и подвела ее к лавочке у ворот. На пустой деревенской улице моментально оказалось немало зрителей — от малышей до старых стариков. Недостатка в советах не было. В насмешках тоже. Но срочный и секретный пакет лежал в котомке поверх запаса снеди, пришлось у всех на глазах вставать на лавочку и оттуда карабкаться на лошадь.

Усевшись в седле, я как можно крепче сжала ногами бока лошади и вцепилась в повод, чтобы она меня не сбросила. Но лошадка обмахнула меня хвостом и спокойно пошла рядом с лошадью Ванюшки. По селу мы проехали тихо, но как только миновали последние дома, Ванюшка начал гикать, лошади побежали быстрее, это было приятно... нет, было бы приятно, если б не так подбрасывало и не так натирало ноги. Впрочем, в начале поездки я и не подозревала, что будет с моими ногами и со всем моим бранным телом к концу ее! Понять это может только человек, которому довелось впервые сесть верхом и тут же отправиться верст за двадцать — двадцать пять.

Мы скакали, подпрыгивая в седлах, по вполне сносной дороге, следующей за извилами реки Видлицы, потом свернули на узкую тропу через лес, в лесу было мокро, кое-где еще держался снег, попадались на пути и корни, и разливы талой воды, и броды через ручьи, но по тропам мы укорачивали путь. Время от времени мы снова выезжали к реке, по которой, толкаясь и мешая одно другому, густо плыли бревна. Когда мы в третий раз увидели Видлицу, а может быть, и другую реку, я потеряла представление, где мы находимся, — вся река была запружена бревнами, они сцепились, налезали одно на другое и не давали ходу тем, что наплывали сзади.

— Ого! — сказал Ванюшка и остановил лошадей.

Несколько мужчин в высоких резиновых сапогах прыгали по бревнам, добираясь баграми до тех, что как бы сцепили всю массу, образовав затор. В памяти уже не сохранились подробности той работы сплавщиков, но и много лет спустя на Дальнем Востоке и на

Кольском полуострове я видела, как разбирают заторы, и каждый раз меня охватывало восхищение и глубокое уважение к людям, которые так храбро и ловко, балансируя на вертких бревнах, оскользаясь на их мокрой коре, подбираются к месту затора, цепляют и толкают баграми сцепившиеся бревна и как раз в нужную минуту, когда течение готово довершить их усилия, отбегают назад, прочь от смертельной опасности, а за их спинами вся масса приходит в движение, выталкивает тяжеловесную пробку — и вот уже пошло, завертело, закрутило, попадешь туда — забьет насмерть да еще утянет под воду, не скоро и найдут...

Поглядев на грозное зрелище, Ванюшка на карельском поговорил с одним из сплавщиков, сказал мне: «Отец дальше!» — и мы снова въехали в лес, в сумеречную его тишину.

— Может, хотите есть? — спросил Ванюшка.

Да, поесть я была непрочь, но слезать с лошади?! А потом снова унижаться, влезая на нее с какой-нибудь лесной коряги? Нет уж!

В сумерках мы наконец доехали до небольшой деревеньки, где, по словам Ванюшки, ночуют сплавщики. Сплавщики как раз возвращались с реки — усталой походкой, свесив наработавшиеся тяжелые руки. В одном из дворов на очаге кипел их ужин — крышка на котле подпрыгивала, из-под нее выбивался пар и запах, от которого у меня свело пустой желудок.

— Приехали, — сказал Ванюшка и соскочил с лошади.

Я все еще не понимала, что у меня делается с ногами, понимала только, что не могу ни согнуть их, ни разогнуть, ни пошевелить корпусом. И что мне больно, очень больно. Но тут подошли сплавщики, и я как-то соскочила — с помощью самолюбия и только самолюбия, оно иногда обладает недюжинной силой.

Начальника ЧОНа я издали узнала по росту, хотела подбежать к нему, но о беге — и даже о медленном шаге — не могло быть и речи. Он подошел сам:

— Случилось что?

Я протянула пакет. Начальник вскрыл его, развернул грубую желтоватую бумагу (я увидела, что она разлинована под копирку на машинке), прочитал сопроводительную бумажку и плюнул с досады:

— Ерунда! Новая форма отчетности. Могла бы и полежать.

Поглядев на меня — вероятно, была хороша! — он спохватился:

— Замучилась? Растрясло? Пойдем к хозяйке, умоешься, отдохнешь. А там и ужин.

Я бы сразу легла, вытянула одеревеневшие, ноющие ноги, а там и пожевала бы то, что припасла Мать, но о ночлеге пока разговора не было, да и Ванюшка, умывшись, поторопил:

— Идемте, нас ждут.

Ужинали во дворе. На узких, в две доски, столах были расставлены большие горшки с наваристой похлебкой — по одному на шесть человек. Начальник ЧОНа нарезал хлеб и роздал всем поровну, потом разделил отварное мясо.

— Ребят-то не обдели, начальник, — сказал самый пожилой сплавщик.

Мне и Ванюшке дали столько же, сколько всем. И мы в очередь со всеми запускали деревянные ложки в горшок, подставляя под ложку хлеб, чтобы не капать на стол.

Меня приравнили к Ванюшке? Двое ребят? Ах, не все ли равно, поесть — и лечь, где угодно — лечь... Но у начальника ЧОНа были свои соображения, он и усадил меня среди комсомольцев, и представил меня громогласно — товарищ из центра! Сплавщики искоса разглядывали столь несолидного представителя, пожилой улыбался — рот

до ушей — и поглаживал бороду точь-в-точь как те бородачи на партийной конференции, молодежь заинтересовалась, для чего я приехала в Видлицу, долго ли пробуду и верно ли говорят, что готовится спектакль...

— Кстати, Вера, ты обещала сделать доклад в Видлице, — вмешался начальник ЧОНа. — Может, сделаешь для начала нам? Все равно раньше утра обратно не поедешь, а нам какая-никакая пища для мозгов, ведь дичаем тут.

Я обалдела молчала. А предложение понравилось, только самый пожилой укоризненно возразил:

— Устала ж она, какой там доклад!

Молодежь зашумела:

— Ну, не доклад, а хоть беседу!

— Бревна катаем да спим, что за жизнь!

— Хоть немного расскажи, что на свете делается!

— Спать все одно рано!

Где-то в глубине закипала слезы обиды — никто не понимает, как я намучилась и как мне сейчас плохо. Но идеальная, чертовски сознательная комсомолка, какую я хотела быть, прикрикнула на эгоистичную девчонку, думающую только о своих болячках, и девчонка устыдилась и заглотнула слезы, потому что сама ведь требовала — надо добираться до молодежи, работающей на лесозаготовках и сплаве, и вот сама добралась, и тебя просят... а ты сдрейфила?!

— Но у меня ни материалов, ни записей... без подготовки...

— Дак тут же все свои!

Свой?.. Поглядела — совсем незнакомые, пропахшие потом и махоркой бородатые люди сидят вокруг, даже молодые парни из-за полуотросших бородок и усов кажутся старыми, и ничего-то я о них не знаю и они обо мне... И все-таки свои? «Сомкнуться с крестьянской массой... и начать двигаться вперед неизмеримо, бесконечно медленнее, чем мы мечтали...» Эти ленинские слова теперь у всех на языке, у меня они записаны крупными буквами в Илькиной тетради. Как же я откажусь? Пусть не очень-то могу и умею — дол ж на.

Это было самое диковинное выступление за всю мою жизнь. Даже в блокаде, когда случалось выступать под боком у гаубичной батареи, которая вела огонь, или в бомбоубежище перед лежащими ранеными, не было так удивительно, потому что я знала куда еду и была готова ко всему. А тут...

Скамьи и табуреты подтащили поближе к концу стола, за которым я сидела, раскорячившись и обмирая от робости. Белая ночь скудно и загадочно высвечивала бородатые лица, любопытные или насмешливые глаза. Ушли человека три, остальные были здесь, даже самые пожилые. И все помахивали ветками, так как нещадно зудели и жалили комары. А от реки доносились смягченные водой удары и шуршание коры о кору — это плыли с верховой, сталкивались и терлись одно о другое бревна.

Судорожно вспоминая все, что читала в дни болезни, и доклад Христофора Дорошина, который слушала накануне отъезда из Петрозаводска, я кое-как обрисовала наше международное положение: всяческие интервенции провалились, белофинская тоже, теперь капиталисты вынуждены вступать с нами в торговые отношения, хотя признавать нас официально не хотят. Антанта пустилась на новые хитрости — признаём, если заплатите царские долги... Знала я об этом больше, чем рассказала, но мне казалось, что международные дела будут непонятны, уж очень они далеки, бесконечно далеки от Видлицы и вот этой затерянной в лесах деревушки!.. И я поскорее перешла к тому, что считала наиболее важным для крестьян, — к нэпу и

политике партии в деревне. Чувствуя, что говорю по-школярски и все более косноязычно, я скороговоркой миновала малознакомые вопросы о сельской кооперации и торговле. Пересказала по памяти недавние слова Ленина, что пока частный рынок оказался сильнее нас, и совсем уж недавние его слова о том, что отступление кончилось и мы готовимся перейти в прочное наступление и что никаких уступок больше не будет!.. Вспоминала эти слова с радостью, в нашей комсомольской среде само слово отступление воспринималось тягостно,— и вдруг сообразила, что передо мной как раз и сидят те, кому уступки делались, ради кого отступали,— мелкая буржуазия, частный рынок... Я смутилась, сбилась, усиленно замахала руками, отгоняя комаров, и пробормотала, что если есть вопросы, постараюсь ответить.

И тут я получила урок, ох какой основательный урок!

По деревенским проблемам ни одного вопроса мне не задали, мои слушатели отлично поняли, что я в них ничего не смыслю. Зато по международным делам вопросы так и сыпались: что происходит на Генуэзской конференции и не обведут ли вокруг пальца советских дипломатов? где находится Рапалло и что за договор мы подписали с германцами? что такое фашисты и чего они хотят? кто такой товарищ Кингисепп, которого расстреляли в Эстонии? как наши дела на Дальнем Востоке и продолжаются ли переговоры с японцем?.. Кроме того, спрашивали о патриархе Тихоне, согласился ли он отдать церковные ценности для голодающих Поволжья, и о суде над священниками, прятавшими ценности, о том, велика ли Каширская электростанция, которую запустили к Первому мая, и какая будет станция на Волхове, верно ли, что крутить машины будет вода, а угля совсем не понадобится? В заключение от меня потребовали, чтобы товарищам Ленина ни за что не пускали в эту самую Геную, к империалистам в капкан, они его туда заманивают нарочно, а там арестуют или убьют.

Спрашивали по-разному: и с подлинной заинтересованностью, и с желанием проверить, действительно ли я кое-что знаю, и с подковыркой, ехидно. Я выкручивалась как умела, но уже не терялась: как ни смешно, но осмелела я оттого, что почувствовала себя повзрослевшей на год! Отвечая на вопрос о меморандуме, предьявленном Советскому правительству в Генуе, я обстоятельно пересказала наш ответ от 11 мая, я его читала в газете за день до поездки сюда. Меня радовало, что я могу так обстоятельно ответить, а где-то в глубине души звучало: 11 мая... 11 мая... Да это же мой день рождения, как я могла забыть?! Мне уже шестнадцать! Я уже не девчонка, не ребенок, мне шестнадцать лет!..

Но и шестнадцатилетие не помогло ответить на вопрос, который я сама охотно задала бы знающему человеку: кто такие фашисты и чего они хотят? В газетах иногда мелькали слова — фашисты, фашизм. Что-то реакционное. В Италии. И еще, кажется, в Германии... Не разузнала вовремя, а теперь что делать? Отговориться общими словами? Но мой доклад и без того оказался слишком общим, неконкретным! Честно признаться, что не знаю? Но какое же будет доверие к докладчику, если он сам чего-то не знает! И ведь могу же я ответить хотя бы приблизительно верно — что реакционное... что в Италии... даже фамилия мельзешит в памяти — Мазолини или Музолини... Да, но я и так на многие вопросы отвечала лишь «приблизительно верно»!..

— Насчет фашистов, товарищи, ответить сейчас не могу. Но разузнаю и в Видлице, когда вернетесь, отвечу.

Боялась, что доверие поколеблется, а оно с этой минуты и возникло. Спрашивали еще про разные международные дела, но спрашивали и о том, откуда я взялась, и откуда столько знаю, и есть ли

родители, и как это мама отпустила одну мотаться по дальнему уезду, по деревням, мало ли что может случиться в такое-то время! И о себе рассказывали — между прочим, объясняя, что и почему их интересует. Безликое понятие «крестьяне» распалось, вокруг меня были очень разные люди с жизненным опытом несравненно большим, чем мой, почти все они познали войну и побывали в местах, о которых я и понятия не имела, — в далекой Маньчжурии и в Сибири, в Мазурских болотах, в украинских степях, а один, самый пожилой, побывал даже в Германии, в плену. А уж в войне против белофиннов они так или иначе участвовали все. «Происки Антантъ» были для них собственной судьбой, смертью товарищей, голодом, разорением хозяйства, потому и занимало их, что происходит в мире, кто за нас, кто против нас и чего ждать в будущем.

Хозяйка дома, молчаливая женщина, будто запеленатая в строгий черный платок, то подходила послушать, то загоняла в дом ребятишек, потом вышла с малышом на руках и, укачивая его, снова слушала. Малыш принимался плакать, она отходила, чтобы не мешать, а под конец подошла и спросила отчаянным голосом:

— Ну, а война? Войны не будет больше?!

И такая в ней чувствовалась безмерная тоска, что я ответила без колебаний:

— Нет, не будет.

Меня поддержали: не должно быть! Куда уж, не мы одни, все устали! И только самый пожилой промолчал и усмехнулся как человек, который знает больше других, но никого не хочет пугать.

Ночевала я у хозяйки. В большой комнате вползку на полатях и на полу улеглись спавщики. Меня хозяйка повела в маленькую боковушку, где спали — кто где — пятеро ее ребят. Тут же на лавке она постелила мне шубейку, дала подушку. И сказала застывшим, лишенным выражения голосом:

— Тесно живем, почти весь год то одна артель, то другая. Их кормлю и сама кормлюсь. Иначе мне с пятью ребятами не прожить.

Муж ее погиб этой зимой под Реболами. Отец — в германскую, два брата — в гражданскую, старший под Питером, когда наступал Юденич, а младший неведомо где, ушел еще в Красную гвардию и пропал без вести.

— Хоть бы детям дали вырасти.

Она не знала, как уважительней назвать меня, и сказала:

— Ну, спите, товарищ барышня. — И поколебавшись: — Это вы правду сказали — не будет войны?

Что я могла ответить? Подтвердила: не будет.

Вернувшись в Видлицу, я в тот же день написала Гоше Терентьеву: немедленно разузнай и сообщи, что такое фашизм и фашисты. Отправила с попутчиком и через несколько дней с тем же попутчиком получила справку-исследование на шести страничках. Перепечатала на машинке и поместила в стенгазете под заголовком «Отвечаем на вопросы читателей». Как в настоящих газетах!

Вероятно, в наши дни ответ Гоши показался бы наивным и недальновидным, но тогда, читая его, я впервые испытала тревожное недоумение — новая, странная опасность появилась в мире, какая-то в ней разнужданная дикость, взывает она к самым темным силам человеческой души... К чему это приведет?.. И права ли я была, так твердо ответив женщине, измученной нищетой и утратами: не будет!..

Тревога возникла — и прошла. Забылась. Ведь мы и отдаленно не представляли себе размеров надвигающегося бедствия, хотя в том же месяце (газета со справкой Гоши еще висела в видлицком клубе!) фашисты совершили ряд нападений на коммунистов и по всей Италии

происходили кровавые схватки, в августе всеобщая забастовка протеста против фашизма привела к новым кровавым столкновениям, а еще через два месяца, в октябре, к власти пришло фашистское правительство во главе с Муссолини. Еще через год, в сентябре 1923-го, произошел профашистский переворот в Испании, а в ноябре в германском городе Мюнхене во время неудавшегося фашистского путча впервые прозвучало имя какого-то Гитлера.

Да, мы еще не предчувствовали ни размеров, ни варварской жестокости фашизма. Но одно мы знали твердо: в мире идет напряженнейшая борьба, мы — бойцы и должны быть готовы к боям и к жертвам.

О боях, о жертвах был и наш спектакль.

Дни последних репетиций, суеты, спешки, волнений... И вот долгожданный спектакль идет к концу, режиссерские тревоги одна за другой отпускают меня: все исполнители пришли задолго до начала и успели одеться и загримироваться, они вовремя выходили на сцену и почти не путали реплики, они не задели и не повалили ни одной декорации, наш звуковик очень похоже гремел железным листом, изображая грохот боя... занавес ни разу не заело, а когда он закрывался, в зале дружно рукоплескали, а потом громко обсуждали, кто кого играл, и уточняли, кто что говорил и что на сцене происходило.

И вот — последняя картина, героически гибнут и падают ранеными бойцы-комсомольцы, не пропустившие врага. Я уже не режиссер, я — исполнитель финальной короткой, но очень важной символической роли. Поначалу считалось, что я выйду как есть, только повяжусь по-деревенски платком, чтоб изменить свой облик. Но когда Мать дала мне большой темный платок, он как бы подтолкнул к иному образу, который все больше трогал и волновал меня. Готовясь к выходу, я наложила на лицо морщинки, сажеей провела горестные круги под глазами и закуталась в темный платок, но не так, как это делала Мать — свободно открывая милое лицо, а до подбородка, как та женщина в дальней деревушке, — строже и символичней.

Я стою за кулисой и под громыхание железного листа слежу, как стреляет из пулемета и затем падает моя героиня — ее играет Таня, — а ее возлюбленный, раненный раньше, обнимает ее и очень правдоподобно заглядывает в ее запрокинутое лицо (очень хорошо, отмечаю я, гораздо лучше, чем на репетициях!).

— Наши подходят! Наши! — кричит, падая, еще один герой, а за сценой раздается «ур-ра»: это подоспевшие красноармейцы пошли в атаку на отступающих белобандитов. Победа?.. Считаю до десяти — такова пауза — и выхожу на сцену. Медленно иду, наклоняясь над каждым убитым, облегчающим движением проводя по лбу каждого раненого... Когда я наклоняюсь над Таней, Таня приоткрывает один глаз и шепчет:

— Слышишь, плачут?

До сих пор от волнения я не слышала ничего, но теперь до меня доходит жизнь за пределами рампы — в темном зале плачут, кто-то рыдает взхлеб, кто-то успокаивает: «Не надо, не надо, тише!»

Восторг, удивление, боязнь что-то забыть или напутать... о-о, только не забыть и не напутать в эти последние минуты, которые должны мощным аккордом завершить спектакль и его успех, его совершенно неожиданное по силе воздействие!..

Пугаюсь: где же знамя, без которого пропадет весь эффект? Вот оно. Степа, неудачно падая, придавил его своим телом. Приходится отодвигать «мертвое» тело, Степа потихоньку помогает мне. Знамя

у меня в руках. Я поднимаю его, склоняю над жертвами боя и начинаю речь, обращаясь прямо в зал,— так задумано. Один за другим приподнимают головы раненые — так тоже задумано. Из-за кулис, как бы из удачного боя, выходят и становятся в ряд все участники спектакля — их немного (где взять больше, и так весь драмкружок занят!), — но в зале понимают: их много, это Красная Армия, это — Народ! И в зале — Народ, к ним ко всем обращены слова Женщины со знаменем: будем бороться до полной победы! По замыслу, после этих слов она должна запеть «Интернационал», но мы не нашли исполнительницы на такую роль, пришлось играть мне, а у меня ни слуха, ни голоса. Решили, что запоем все сразу. Запели — не очень в лад начали, но тут же выправились. В зале встает ряд за рядом, и тоже поют, поют и плачут. Я беззвучно открываю рот и, потрясенная до полной немоты, смотрю, смотрю, смотрю на взволнованные и заплаканные лица, — господи, вот она, сила искусства! И вот оно, счастье, двойное счастье мое — авторское и актерское!..

Мы с Таней возвращаемся домой по уже затихшему селу. Поблескивает, отражая занимающуюся зарю, спокойная, вошедшая в свои берега Видлица. Дышу как можно глубже, вбираю прелесть белой ночи — и даже говорить не хочется, так я переполнена новым ощущением: я могу писать, буду писать — большое, главное, поднимающее людей, чтобы вот так, как сегодня!.. Так, как сегодня!..

— Ты слышала, Верочка, во втором акте кричали: «Не ходи!»?

— Да. «Веня, не ходи!»

Комсомолец шел в дом, где засели бандиты. Из разных концов зала понеслись выкрики: «Веня, не ходи! Не ходи, Ве-ня-я!» Веней звали исполнителя роли, по пьесе у него было другое имя.

— А ты видела, Таня, когда зажгли свет, у каждого второго — слезы!

— Да,— вздохнула Таня,— может, и зря мы такой конец сделали.. убитые, раненые...

— Почему?!

— Разбередили. Горе-то свежее.

Увидев мое недоумение, Таня терпеливо пояснила:

— Говоришь, каждый второй? Так ведь у каждого второго кто-то родной погиб вот так же, а то и страшней. Когда беляки тут были, знаешь, как они лютовали! Узнают, что из семьи хоть отец, хоть сын или племянник в красных,— всю семью расстреливали, даже малых детей. А разве скроешь? Деревня! Все обо всех знают. И они знали. Все наше кулачье с ними было.

Молча дошли до дому. Мать уже спала, постанывая и вскрикивая во сне. Таня подошла к ней, погладила по голове, сказала:

— Ничего, ничего, спи!

Я не решилась спросить: может, и у них в семье?.. Может, отец?..

— А ведь мы сегодня не обедали! — вспомнила Таня.— Садись-ка, поедим за все дни.

Не зажигая лампу, сели к окошку, за ним уже полыхала полуночная заря. Таня выставила на стол шаньги с творогом, упревшую в печи, еще теплую кашу, кринку молока, и мы принялись уплетать все подряд.

— Ты все же молодец, Верочка. Полтора года у нас спектаклей не было. Только, знаешь... не обижайся, но ты уж очень часто свои «так сказать» сыплешь!

— Я?!

— Не говорили тебе? И на собраньях чуть что и сегодня — такая зажигательная речь, а ты заплнешься и сразу «так сказать» вставляешь.

Она дружески посмеивалась, ей и в голову не приходило, что во мне все еще не утих трепет пережитого восторга.

— Последи за собой — отучись. И не огорчайся, никто и не заметил, ты же видела, как принимали.

Таня опытная. Еще при Саше Веледееве играла первые роли — даже «Бесприданницу». У нее дарование. Вот и сегодня как естественно она перевязывала раненых, какие у нее были точные движения и слова — не по роли, а от себя успокаивающе приговаривала что-нибудь доброе каждому раненому... А потом так же естественно задела у пулемета.

Я похвалила ее вслух. Таня усмехнулась:

— Ну, это что, я же в нашем отряде санитаркой была.

— Ты?? Когда?

— В девятнадцатом. Партизанский отряд у нас был.

— И стреляла?

— Ой, что ты! Изучала, конечно, что и как, но стрелять нам не давали, патроны жалели. А в бою, когда Кавайно освобождали, нам с Настей Шелиной да с нашим фельдшером дел хватало — перевязывали. Многих тогда поранило. И убитые были.

— В той братской могиле, где митинг был, — ваши?

Таня вдруг насупилась:

— А еще выступала на митинге! Группа Розенштейна там. В церкви они оборонялись. Как раз под пасху белофинны налетели... на вторые сутки боя церковь взорвали, расстреляли всех кого захватили, даже раненых... разве не слышала? — Она тут же подобрела: — Да ты совсем больная была. Ну, давай спать.

Не спать мне хотелось, а подумать наедине, разобраться в том, что так неожиданно, сменив недавний восторг, засвербило в душе. С тем и легла, но мгновенно уснула.

Наутро, потешив себя похвалами и поздравлениями всех встречных, зашла к партийному волорганизатору. Память не удержала его фамилии, комсомольцы его прозвали Подумай-ка («пойдем к Подумай-ке», «надо согласовать с Подумайкой!»). Это был мрачноватый мужчина неясного возраста — вроде и молодой, а в волосах проседь и возле рта морщины как две канавки. Когда его о чем-либо спрашивали, он говорил: «А ты сам подумай-ка!» Обязательно заставит поискать ответа или решения, а уж потом выскажется. Его уважали, но побаивались — мрачноват.

Согласовав с ним предложения по комсомольским перевыборам, уже назначенным, я как бы между прочим спросила, знал ли он Розенштейна и кем он был.

— Михаил Евстафьевич? Да вот он.

На стене в черной рамке, окруженной еловыми веточками, висела небольшая мутноватая фотография, вероятно, увеличенная со скороспелого снимка для документов. Расплывчатость линий и тонов не могла затушевать, она еще подчеркивала энергическую неистовость худого лица с высочайшим лбом и жаркими глазами, с темными усами над резким ртом — такие люди не бывают пассивными, их доля быть не ведомыми, а ведущими, они живут в борьбе и умирают в борьбе.

— Питерский он, с Путиловского завода. А к нам приехал в семнадцатом году — наш чугунолитейный завод был вроде филиала Путиловского.

— В Видлице — завод?

— А ты и не видала? Старый завод, чуть ли не с петровских времен. Был! В войну его разрушило до основания. Я на нем, кстати сказать, три года на печах работал... Хочешь, взглядеть — ну, не завод,

так Ладогу? Сегодня поеду туда. За корюшкой. Корюшка пошла. Могу прихватить.

— А далеко?

— Ладога-то? Версты три будет.

Так... Около месяца прожила и только сегодня узнала, что Ладожское озеро в трех верстах, а в Видлице был старинный завод!

— У нас в партию коммунистов вступило больше ста мужиков, и все — его крестники. Вот и подумай-ка, что он за человек.

Он смолк, чтоб я подумала, но, видно, ему уж очень не терпелось рассказать приезжей то, что все видлицкие знали.

— Михаил Евстафьевич в Видлице — начало всему. Первый коллектив большевиков он создал. Комитет бедноты — он. Первый отряд защитников революции — тоже он. В Совете поначалу засели эсеры, он с ними борьбу повел в открытую, при всем народе: чего эсеры хотят, чего большевики хотят, что эсеры делают, что — большевики. Слушайте, люди, и подумайте, кто вам нужен. А когда Михаил Евстафьевич говорил-объяснял, правда — как на ладони. И не то чтоб такой оратор, нет, убежденность в нем была и понимание, потому что большевик с подпольных времен, в тюрьмах и ссылках его школа! Подумали мужики и избрали в новый Совет — сплошь большевиков и сочувствующих. И конечно, Михаила Евстафьевича первым номером. Зато уж кулачье да лесопромышленники ненавидели его! По-своему они, конечно, правы были — им с Михаилом Евстафьевичем по одной земле не ходить.

Вот так или примерно так — через столько лет каждое слово не вспомнишь! — рассказал мне Подумай-ка, кто такой Розенштейн. Говорил он страстно, видно было, что говорит об очень любимом человеке. А потом потемнел лицом, и глаза потемнели, почернели даже, хотя были серые.

— Когда напали белобандиты, а с ними заодно наши кулаки да купцы, сволочь на сволочи, первая мечта у них была — поймать Розенштейна, растерзать, повесить. Если б он на той проклятой колокольне последний патрон для себя не сберег, они б над ним потешились!.. — Круго оборвал рассказ: — Так жди после шести. Заеду.

Заехал он на телеге, на которой звякали пустые ведра, и повез меня сначала к остаткам церкви — груды закопченных и расстрелянных камней. Полуобвалившаяся стена колокольни жалостно и беззащитно возвышалась над этой грудой. Я смотрела ошеломленная — двадцать лет спустя я нагладелась на всяческие развалины, куда более жуткие, одна уцелевшая стена шестизэтажного дома — с приметамы недавнего уюта, с кокетливыми обоями и семейными фотографиями, даже с венником в углу над пропастью — до сих пор стоит перед глазами. Но те видлицкие руины были первыми.

— Тут и держались сколько могли, — раздался рядом глухой голос. — А вон там, видишь, пролом в ограде... Он велел прорываться! И часть бойцов сумела.

Дернул вожжи, причмокнул — поехали дальше. Но опять не к Ладоге, а к братской могиле. Без толпы вокруг, без знамен и плакатов бесконечно одиноким показался надгробный камень.

Мы соскочили с телеги и пошли к надгробью. Мой спутник остановился перед ним, склонив голову с частой проседью, поднес руку ко лбу, словно хотел перекреститься, но не перекрестился, а приставил ладонь козырьком и из-под козырька всматривался во что-то — не понять во что. Я читала скорбный перечень расстрелянных: фамилия, имя, возраст... Имена мне ничего не говорили, но возраст!.. Девятнадцать лет. Двадцать два года. Восемнадцать лет. Двадцать лет...

— Коля Соловьев, учитель, — снова глухо раздалось рядом со

мною, — двадцать два ему. А какой парень!.. Гоша Поташев, почтарь наш, теперь называется — начальник почты... Володя Трофимов, видишь, девятнадцать лет. Первый секретарь нашей партячейки. Израненного схватили, издевались, он весь в крови, а его — на допрос. Офицер ему: «Хочешь милости? Проси, будешь живой!» А Володя ему: «Не нужна мне ваша милость. Советская власть будет жить, а вам, палачам, смерть!» — Он всхлипнул сдавленно, страшно. — Лежат как один. А я живой. Смогрю — будто вижу, что и я тут записан.

Повернулся и пошел к телеге.

Молча выехали за село, миновали поле, лесок, дорога пошла кружить среди дюн, поросших соснами, тут и там виднелись крестьянские домишки, потом остов выгоревшего и разбитого большого каменного дома, еще какие-то черные развалины, и совсем неожиданно перед глазами распахнулся темно-серый взбаламученный простор моря — нет, озера, подобного морю! — и дунул в лицо разбежавшийся на просторе не земной, а морской, шалый от воли, влажный ветер, а с ним — запахи воды, гниющих водорослей, рыбы, мокрого песка, — знаю, педанты могут сказать, что песок не пахнет, но я ручаюсь, что в терпком смешанном запахе побережий есть и особый запах мокрого песка, даже камня, обкатанного волнами, — кто его не чувствует, пусть пеняет на себя.

Ладога!

Я ждала, что мой мрачный спутник покажет следы завода и следы войны, что он будет рассказывать о событиях, совсем недавно происходивших тут, на озерном берегу, но он, кажется, забыл обо мне совсем, покричал рыбаку, подходившему с озера, они о чем-то бодро переговорили по-карельски, даже посмеялись, затем Подумай-ка пошел крупными шагами между сосен, я побрела за ним, увязая в песке, и вдруг увидела устье реки, запруженное до отказа бревнами, и могучие плоты из тех же бревен, которые вытягивал в озеро маленький пыхтящий буксир.

— В Питер потопали, — сказал мой спутник, не оглядываясь на меня.

— Прямо в Питер?

— Когда прямо, а когда — буря налетит, растреплет, а то и вовсе выбросит на берег.

В Питер! Слова о буре прошли мимо моего слуха. Зато ясно представилось, что мы с Палькой едем в Питер, вместе едем и поступим там учиться, и во всем Питере нас будет всего двое...

Влажный, теплый ветер дул мне в лицо и посвистывал о том же.

— Иди-ка сюда, Вера. Вот это сvezешь Терентьевым.

У меня в руке оказалось ведро блестящей пошевеливающейся корюшки. Подумай-ка держал второе ведро и продолжал говорить с рыбаком по-карельски. Рыбак был пожилой, в мокрой куртке и высоких сапогах с отворотами, он закуривал короткую трубочку, прикрывая огонек спички коричневыми морщинистыми руками, — ну, заправский рыбак с картинки!

А в лодке в большой посудине или корзине, не разглядеть, пошевеливалась, блестя серебристыми боками, корюшка — масса корюшки. Ее острый запах, напоминающий запах свежего огурца, забил все другие запахи, даже табачного дыма.

— Знакомься, Вера.

Что он сообщил обо мне рыбаку, я понять не могла, но рыбак улыбнулся и показал ладони — дескать, грязные, не для рукопожатий.

— Сколько рыбы! — сказала я, чтобы доставить ему удовольствие.

— Уж когда она идет, так идет, — сказал рыбак.

— Между прочим, вот этот товарищ был разведчиком, когда готовился десант на Видлицу,— сказал мой спутник,— самое важное задание они выполнили — промеры глубины в реке, чтоб знать, докуда наши корабли могут войти в устье. Расскажи ей, друг. Она в газетах пишет.

Я покраснела, все невыносимей казалось мне звание журналистки — будто я самозванка. Но рыбак не обратил на это никакого внимания, он сам выглядел смущенным, ответил скупой:

— А чего рассказывать? Вышли как на рыбную ловлю, незаметно промерили.

— Вот такие люди здесь,— сказал Подумай-ка, когда мы ехали обратно, придерживая ведра с корюшкой.

Больше он ничего не говорил, и я молчала, думала. Люди действительно так и е, написать бы о каждом из них, неужели Витя Клишко не напечатает, если дать небольшой очерк о гибели Володи Трофимова или об этом рыбаке, который делал промеры глубин для десанта... Надо написать Вите, предложить темы на выбор... Вот о чем я думала, а в душе опять что-то свербило, царапало, как вчера ночью, и сама я не понимала что и почему.

Я очнулась от мыслей, потому что мой спутник, оказывается, снова говорил, начало я пропустила, а когда вслушалась...

— Был приказ прорываться, и прорвались,— говорил он с горечью.— Виноват я в чем? Нет. Без винтовки ни одного дня не был, не прятался, сразу к отряду Филиппа Егорова прибился и воевал до конца. А вроде виноватый, потому что он в могиле, а я живой.

Что тут скажешь? Вздохала, слушала. И еще выслушала его длинное неторопливое размышление о том, что человек человеку неровня, хотя мы и боремся за равенство, но не может быть равенства в таланте или в авторитете.

— Вот был Михаил Евстафьевич, а вот я, и я сижу на его должности, такая комедия,— говорил он отнюдь не весело.— Это ведь если человек дурак или пустомеля, он думает: раз я на должности, значит, меня должны уважать, значит, я умный. Ну, у меня есть совесть, так проверку себе устраиваю: что я такое? и как бы Михаил Евстафьевич поступил на моем месте? что бы он сказал, посоветовал, решил? Так ведь он был весь как искра, от него люди зажигались, а я, как ни старайся, першерон, есть такие лошади, нагрузи — вытянет, а резвости от нее не жди.

Вечер этого длинного-длинного дня был похож на праздник, потому что по-праздничному приняла корюшку Мать, она раскраснелась, засияла, быстро и весело затараторила по-карельски, я поняла: пусть некому у нас рыбачить, а без рыбки и мы не остались, добрые люди о нас не забывают! Это ли она говорила? Не успела я оглянуться, как у нее уже топилась плита, ее быстрые руки чистили корюшку, на плите стояла самая большая чугунная сковорода... и вскоре из окошек нашего дома струей потянулся запах жареной рыбы и смешался с такими же духовитыми потоками воздуха, гулявшими по всему селу,— корюшка пошла!

В тот вечер я была уверена, что ни в морях, ни в океанах нет рыбы вкуснее корюшки. Мы вгрозем опустошили всю сковороду, кусками хлеба досуха очистили ее от поджаристых рыбных крох, Мать— на равных с нами, я еще не видала ее такой оживленной, даже шаловливой, она своим куском отталкивала наши и смеялась так молодо, что я впервые поняла — совсем она не старая, наверно, только-только перевалило за сорок...

Потом мы долго и с наслаждением пили чай, вернее, то, что тогда заваривали вместо него, чай мало кто покупал, один фунт китайского

чая стоил на рынка два — два с половиной миллиона рублей. Но что бы там ни парилось в заварочном чайнике, сушеные ягоды или смородинные листья, поющий на столе самовар и славные люди вокруг стола придавали прелесть любому напитку.

Когда я легла в постель, блаженно усталая и сытая, в сонном сознании поплыли отрывки пережитого за сутки — спектакль, я выпрастываю знамя из-под Степы... в зале плачут и поют... «Если дурак или пустомеля на должности»... рыбак с лодкой, где шевелится серебристая масса рыбок... «А чего рассказывать? Вышли как на рыбную ловлю и промерили»... И снова спектакль... аплодисменты... люди поют и плачут... «Милость ваша мне не нужна, Советская власть будет жить, а вам, палачам, смерть!»... «Они лежат. А я живой»...

Должно быть, я уже задремала, когда меня вдруг сильнеешим толчком разбудил стыд. Накапливался, накапливался целые сутки, свербил душу — и прорвался. Да так, что сна — ни в одном глазу.

«Дурак или пустомеля»... Пустомеля! — вот я кто. А еще радовалась — успех! Сочинила, сыграла — двойной успех! Могу писать! А при чем тут я? Разбередили свежее горе, наемкнули на пережитое — и все. За это и хлопали, оттого и плакали...

«Инсценировка!» — а что я инсценировала? Я же ничего не сумела и даже не пыталась сделать по-настоящему! Припомнила пьеску, которую наскоро сочинила в Петрозаводске и, переписывая от руки, давала волостным драмкружкам, присочинила еще, похватав вскользь услышанное... Ох, как стыдно!.. Около месяца прожила рядом с Таней, выдумывала своих героев и героинь, а не потрудилась узнать, что делала эта живая деревенская комсомолка в дни недавних боев! Речь на митинге закатила, погибших героев славил, призывала быть такими же, как они, — а какими они были? как погибли? — не расспросила!.. Понаслышке сочинила кулака, выдавшего комсомольцев, а когда Генка, исполнитель этой роли, спорил со мной на репетициях, даже не задумалась, что Генка больше меня знает, своих видлицких кулаков помнит и ненавидит, все их повадки изучил в жизни!.. Генка пытался говорить тихим, вкрадчивым голосом, а я требовала грубости и властности, я даже пыталась одеть его в жилетку поверх рубахи на выпуск, как купца из пьесы Островского!.. И только накануне спектакля совершенно случайно узнала, что клуб, где мы будем играть, оборудован в доме видлицкого богатея Никитина, выдавшего многих коммунистов и комсомольцев, а потом убежавшего с беляками в Финляндию!.. Верхогляд и пустомеля — вот я кто. Вместо жизни — плакатные фигуры, приблизительность ситуаций, избитые эффекты...

Лежа с открытыми глазами и рассеянно следя за тем, как нежные отсветы зари передвигаются по стене и потолку, я не давала себе поблажки ни в чем. Хватит! Шестнадцать лет, а что я знаю? Что умею?! Сделала «доклад» серьезным работающим людям, крестьянам, бойцам двух войн... а много ли я могла им сообщить, «товарищ из центра»?! Ну, о фашизме хватило совести признаться — не знаю, а как я ответила на вопрос о Волховстрое? Повторила то, что рассказали ребята-плотники в поезде, а они говорили со слов земляка, — ничего себе, точная информация! А ведь план ГОЭЛРО напечатан, Ленин назвал его второй программой партии, но я не изучила его, даже не читала... Стыдно. Все, что я наговорила, — с лету, со слуха, все «приблизительно верно», и только. Да ведь и то, что я написала, тоже приблизительно — и не больше.

Я корчилась от этих самообвинений, но и тянулась к ним, получала мучительную усладу от их беспощадной прямоты. Да, да, да, правду — до конца! Вот я досаую, что у Пальки — выкрутасы, вранье, а что я писала ему на фронт? Первая начала врать про какого-то лю-

бимого человека на самом крайнем севере фронта! А вокруг нас — так и е люди. Прямые как стрела. Есть цель жизни, и все подчинено одному — цели! Даже смерть...

Палька прав — надо стать кем-то. А для этого — учиться. Ох, как я буду учиться! Знать, знать, как можно больше и основательней — знать! И писать я буду, наверное — буду. Но только никогда больше — никогда — ни в чем — ни разу — никакой приблизительности, никакого пустомелья! «У меня есть совесть, и я себе проверку устраиваю»... Главней этого ничего нет: совесть и проверка самой себя. Чтоб не давать поблажек, не заниматься чепухой. Быть прямой, как те люди. Без выкрутасов...

Вот так на северной полуночной заре я занималась самокритикой и принимала суровейшие решения, пока сон не подобрался ко мне, смягчая их суровость.

ОТГОЛОСКИ НОВОГО ПУТЕШЕСТВИЯ

Пока я выстраивала во времени, обрабатывала и дописывала карельские главы, я твердо знала, что вслед за ними, с этой вот страницы, начнется мое «третье путешествие через пятьдесят лет» — по местам юности. Для того и ездила в Карелию совсем недавно, ранней весной, когда в реках и речках — высокая вода, в лесах еще белеют наметы снега, но он тает, тает, заливая низины и обмывая белы ноженьки березкам, и каждая березка двоятся — одна тянется вверх, к солнышку, а другая упала навзничь, на воду, и дрожит-подрагивает от каждого дуновенья. А на проселочных дорогах — та самая «распутя», когда — ни на полозьях, ни на колесах.

В такое вот время я вглядывалась в родные места, изучала, записывала, вспоминала и запоминала... А подошла пора писать — не пишется, не складывается. Почему? Сама не понимаю. В нашем труде так случается нередко — вроде бы продумано, материал в руках, есть живое, собственное ощущение материала, ну, садись и пиши. Так нет, что-то мешает, какое-то внутреннее, еще не осознанное сопротивление. «Какое-то» — а поди знай какое! Несколько дней бродила вокруг да около — ясней не стало. Попыталась заставить себя — вдруг в процессе работы все пройдет или хотя бы определится? Но когда сама себя за шиворот тянешь к столу, ничего хорошего не выходит.

И как раз в эти дни внутренней смуты долетел до меня будоражающий слух — пошли грибы, да не какие-нибудь, а белые! Махнула рукой на работу, на сроки — и в лес.

Какое ж это ни с чем не сравнимое удовольствие!

Приятное волнение начинается еще до того, как выехали из дому. Что надеть — старую легкую обувь или резиновые сапоги? Какие брать корзины — маленькие или большие? Если маленькие — вдруг некуда будет класть, а если возьмешь большие, но грибов не будет, с какой физиономией вернешься домой и каких насмешек послушаешься, начиная с классического вопроса: «Не помочь ли донести?» Наконец — куда ехать? Пусть знакомы грибные места в радиусе ста километров, но вот сегодня — где больше шансов? Воображение тянет в сосновые боры, где из-под голубоватого ягеля приманчиво выглядывают, горбатаясь, грибные аристократы — боровики. Но выглядывают ли?.. Можно поехать на наши излюбленные лесистые холмы, где в урожайный год тут и там краснеют в траве подосиновики, а возле ледниковых валунов попадают и белые, но красных, говорят, нынче мало. Можно по приморскому шоссе махнуть в прибрежный смешанный лес, где мы находили всякую всячину, от волнушек до белых, а

на травяных полянках бывало желто от маслят. Наконец, есть тенистые, болотистые низины, где уж чего-чего, но сыроежек наберешь.

Как известно, решаться надо сразу. И мы решились. Но пока наш «жигуленок» мчался по шоссе, сомнения нет-нет да и закрадывались в душу: а если... а если... Но вот мы свернули на знакомую лесную дорожку, увидели на вершинке ближайшего холма голубую «Волгу», а поодаль из-за деревьев ехидно улыбнулся такой же, как у нас, белый «жигуленок» — улыбнулся и выехал навстречу; то ли наши конкуренты с рассвета набрали полные кузовки и, счастливые, едут домой, то ли разочаровались и решили поискать счастья в другом месте. Мы разминулись с ними и поехали дальше, приглядываясь к окружающим склонам, — ох, какой мох, какие уютные впадинки, какой пряный сосновый, мшистый, грибной дух сочится в приоткрытые окна машины!..

Остановились. И тотчас моя двоюродная сестра издает победный вопль: подберезовик! Это лес заманивает. Как русалка моряка. Чем меньше грибов, тем обязательней вот эта первая находка: стоит торчком возле самой машины аккуратненький, чрезвычайно независимый гриб на длинной ножке, с небольшой черной шапочкой, стоит и как бы приговаривает: это что! это только начало! вы дальше пойдите!..

Похватав корзины и ножики, бросаемся врассыпную на полной скорости: в начале похода всегда чудится, что грибы — вон там, под той березой, или на краю той воронки, или на том тенистом склоне, и надо только первой добежать, разглядеть, наклониться и осторожно, ножичком, чуть выше корня...

Если грибов много, азарт нарастает с каждой минутой, и ты скачиваешься по крутому склону, потому что где-то внизу зазывно краснеет не то шляпка подосиновика, не то осиновый лист, ты шлепаешь по болоту (ничего, что сапоги не надела!), устремляешься в пленительный распадок, где по краю канавки должны быть — и находятся — подберезовики и суховатые маслята, а иной раз вопреки собственным обычаям рыжеватый бугорком высунется из песка белый. Если грибов мало, делаешь все то же, но азарт снижается, походка становится тяжелой, смотришь не только вниз, но и по сторонам — благодать-то в лесу! — и на небо взглянешь — какое же оно ясное, тихое, медлительные белые облака то отделят солнышко от земли, то пройдут стороной и лишь тонким краем затуманят его, и тогда в лесу становится еще спокойней, без слепящего блеска все видно отчетливей, и как бы в поощрение тебе, приподнимая рыжие иголки прошлогодней хвои, подмигнет белой губкой из-под завернувшейся набок шапки — гриб!.. Шапка на нем белесая, еще не покрасневшая, завернулась она оттого, что сбоку придавил сучок, но все же это отличный подосиновик, ни червоточинки.

Грибов было мало, и мы с Кирой шли все ленивей. Кира сказала: — Мы же не с промышленной целью, погулять и подышать!

Вот и гуляли, и дышали, и присаживались на поваленные стволы покурить. Я призналась, что не пишется новая глава, заколодило, она улыбнулась: «Не в первый раз»; и действительно — не в первый, сколько раз бывало, что заколодит, хоть бросай писать вообще, а пройдет время — и все найдется, придумается, напишется.

Перекурили это дело, снова подышали и пошли к машине. У Киры было четыре белых, у меня ни одного.

— Это хорошо, что у тебя, — сказала я, — а то бы ты стонала, что вот зрение подводит, а я чувствовала бы свою ответственность — звала по грибы, а их и нету.

— Ты чуткий, отзывчивый товарищ, — сказала Кира, — с повышенным чувством ответственности.

— Скромный товарищ,— добавила я.

«Жигуленок» был уже виден, мы неторопливо шли к нему по склону холма и не очень поглядывали вокруг — где уж, на этом холме голубая «Волга» стояла, кругом следы людей — затоптанный костер, грибные срезы и, конечно, консервные банки.

И вдруг...

У подножия тонкой сосенки, среди негустого зеленого мха, но не прячась, а свободно, у всех на виду, на юру,— две бархатистые темные-темные коричневато-красные шляпки на таких плотных, толстых, мясистых ногах, какие бывают только у боровиков. Один большой, второй поменьше, и почти срослись у корня. Стоят себе, гордецы, ничем не маскируясь, в нескольких шагах от затоптанного костра.

— Кира! — закричала я, медля срезать их, чтоб показать такую красоту сестре. И тут же увидела выпирающую из-под мха еще одну бархатно-темную шапку.— Кира! Еще один!

— Это тебе за чуткость,— сказала Кира, любуясь срезанными грибами,— этот за отзывчивость. А самый большой — за чувство ответственности.

Поискали вокруг, нет ли четвертого — за скромность. Не нашли. Ну, раз за скромность нету, я понесла свои трофеи в руках и, захлебываясь от восторга, рассказала нашим, как я неожиданно нашла их, как позвала сестру и тут же увидела третий и закричала: еще один!..

— Ты закричала не «еще один», а срывающимся голосом: «Чур, мой!»,— поправила Кира.

Неужели?.. Выходит, не зря четвертого, за скромность, нету.

Посмеиваясь, сели в машину. Поехали.

Почему-то вспомнилось, как много лет назад, когда Сережке было лет двенадцать, мы его тщетно будили на рассвете, он лягался и отпихивал наши руки, а потом проворчал, еле разлепив сонные глаза: «Глупо в век макарон и сосисок искать земные отростки!» Но поехал, искал их и набрал больше всех.

И впрямь, на что они нам сдались, эти земные отростки?! Говорят, наши северные соседи совсем не едят грибы, стоят себе отличные боровики, а финны равнодушно проходят мимо. И на русских гостей, бросающихся собирать их, смотрят с удивлением. А у нас — азарт. Страсть. Вкусны? Что ж, они и жареные неплохи, а маринованный грибок — отличная закуска, если есть что закусывать, и соленые сыроежки или грузди — прекрасная штука. Но и купить их в грибной сезон нетрудно, на рынке — целые грибные ряды. Да разве дело в еде! Нашу тетю Лину и не заставить было поесть грибов, а собирать их она была великая охотница. Прелесть именно в том, чтобы встать пораньше, когда только-только светает, и час за часом ходить по тихому, просыпающемуся лесу, и устать так, что уж и ноги не идут, и корзину тащить — если удача,— кособочась от ее немалой тяжести... Пусть и работы по горло, и выспаться не успела, если пошли грибы — ни за что не откажешься. Дождь зарядит — все равно идешь, под дождичком и гриб любит покрасоваться глянцевиной шляпой.

Вот так я смягчала свою вину, что махнула рукой на работу и на сроки. Но от себя не уйдешь, и под еле слышное гудение мотора я незаметно вернулась к своей недремлющей заботе,— связь была, хотя и зыбкая,— задумалась о недающемся третьем путешествии и как-то сразу поняла, что писать его не нужно. Откуда-то выплыло сухое слово — неконтактность. Да, может нарушиться контакт между авторским настроением и восприятием читателя. Для меня путешествие по местам юности — трепетное узнавание полузабытого и на каждом шагу открытия: вот что тут выросло, вот как изменилось, отстроилось, похорошело! Первое, мурманское путешествие было мне совершенно

необходимо, я же рассказывала о планах развития края, намеченных отцом и первыми мурманскими большевиками, тогда это были всего лишь мечты, они оказались преждевременными, хотя и дальновидными, и никто из мечтателей не дождался их осуществления... Как же не взглянуть, что сделали — и с лихвой — следующие поколения?! К сожалению, я не могла избежать беглости, очерковости рассказа — взгляд-то короткий и к тому же растроганный! А читателю нет дела до ахов и охов растроганного автора, взгляд у него современный, требовательный — такой же, как у меня самой в любой другой поездке, когда я приглядываюсь к новому краю не только заинтересованно, но и взыскательно, не умиляясь тем, что естественно.

Ну, скажем, дороги... После давних юношеских скитаний было восхитительно мчаться на легковой машине по прямому шоссе Петрозаводск — Олонец. Четыре часа вместо суток! Кругом — та самая «распута», месиво снега и грязи, озера талой воды, а у нас под колесами — асфальт. И от Олонца до Видлицы — то же, я лишь изредка узнавала, вернее — догадывалась, что мелькнувший сбоку от шоссе отрезок извилистой лесной дороги, затопленной до обочин, — остаток той, по которой я когда-то в потемках плелась за санями, а новый крепкий мост поставлен вместо того, что мы форсировали вброд. Меня это возбуждало, радовало, но, строго говоря, иначе и быть не могло, местных руководителей сняли бы за нерадивость, если б они до сих пор не проложили хорошие дороги. Впрочем, чуть отступи от шоссе — работы им и теперь хватает!

Посторонний человек, заметив подходящий к Олонцу железнодорожный путь, принял бы его как должное и, возможно, удивился бы: только теперь прокладывают железную дорогу? А уж если б ему пришлось ехать машиной из Олонца в Лодейное Поле и внезапно надолго застрять на берегу Свири, пока медлительный паром швартуется у другого берега, принимает на борт автобус, грузовики и легковушки, не спеша перевозит их через реку, а потом по очереди («Осади назад!», «Еще немного!», «Давай, давай!») выпускает их в дальнейший путь... тут уж посторонний путешественник наверняка ругнулся бы: что за допотопная техника в наш век скоростей! Патриоты края, хотя они сами томятся и бранятся в ожидании парома, поспешили бы показать заезжему человеку — вон там, выше по течению, уже заканчивается строительство первоклассного железнодорожно-автомобильного моста, к праздникам пойдут первые составы, первые машины. «Наконец-то! — скажет заезжий гость. — Долго же до вас очередь не доходила!»

Было бы наивно восхищаться, что Петрозаводск деревянный стал Петрозаводском каменным и многоэтажным, что в городе — университет и несколько вузов, несколько театров, Дворец пионеров и Дворец культуры Онежского завода, что не только в Петрозаводске, но и в Олонце созданы и любовно пополняются краеведческие музеи, что... да многое еще можно бы перечислить, но все это в порядке вещей, все это — естественный ход нашего социалистического строительства.

Пятьдесят лет. Половина века, да еще такого стремительного, как двадцатый!

Вот так, по пути из короткого грибного «отпуска», я отказалась от рассказа о своем третьем путешествии. Но оно живет во мне, потому что те места мне интересны и милы. Отголосками встречи с Карелией нет-нет да и возникают картины и мысли — то, что отсеклось из множества впечатлений, то, что запало в душу. И я подчиняюсь этому естественному отбору.

Почему меня неудержимо тянуло в Кондопогу, обязательно — в Кондопогу? Объясняла товарищам и самой себе: хочу на месте убедиться, что именно там произошла история с запиской: «Пусть комсомолка уйдет!» — а для этого проверю, там ли жил и работал Гриша Пеппоев, его я запомнила точно. Скажу сразу, что в Петрозаводске в областном партархиве я без труда нашла нужные сведения — комсомольским волорганом в Кондопоге был Григорий Пеппоев, железнодорожник двадцать девятого околотка, нам с Гришей Пеппоевым поручили проведение волостной конференции молодежи, провести ее намечалось 25 сентября 1921 года. Для таких уточнений незачем было ехать в Кондопогу. А тянуло меня, потому что... да, потому что та ночь на крыльце волкома была одним из сильнейших переживаний юности и научила меня не только умению перебороть страх. Так, наверно, солдата влечет на бывшее поле боя, где он получил боевое крещение. Так, наверно, пожилой человек, попав на улицу своего детства, замрет на месте, где когда-то впервые победил в честной мальчишеской драке. Меня притягивали Кондопога и Видлица, Видлица и Кондопога.

В Кондопоге на ее дальней окраине я нашла остатки того села, где провела ночь на крыльце волкома, увидела старинную церковку на мыске, омываемом онежскими водами, и вогнутую линию берега, вдоль которого — мимо крепких домов, мимо покосившихся банек — мы шагали с Гришей Пеппоевым в поисках ночлега. Я сразу узнала по форме дуги широкую бухту, обстроенную все теми же домами и баньками, но это именно окраинные остатки села, потому что Кондопога уже давно — солидный промышленный центр с гидроэлектростанцией, построенной одной из первых по плану ГОЭЛРО, с первым советским целлюлозно-бумажным комбинатом и любопытной новинкой — заводом каменного литья, чьи литые трубопроводы на диво прочны и не боятся коррозии. На этот завод я так и не попала — в поездках роковым образом не хватает времени на то, что тебя интересует! На бумкомбинат имени Кирова мы тоже попали поздно и второпях, хотя он привлекал особенно: бумага! Сколько мы живем и работаем, столько и ощущаем бумажный голод — начиная с решения 1922 года о закрытии нашей молодежной газеты «из-за недостатка бумаги» и по сию пору. Как будто большими тиражами выходят наши книги, а в магазинах их нет, на библиотечной полке тоже редко увидишь. Прикинем тиражи на «душу населения» или хотя бы на количество библиотек: читателей у нас миллионы, библиотек около четырехсот тысяч, а тираж книги — хорошо, если сто или двести тысяч!..

Конечно, мы полюбовались новой громадной бумагоделательной машиной, поглощающей сырую древесную массу с одного конца и выпускающей на другом конце чисто-белую бумажную ленту, которая плавно сматывается рулоном. Механизм снимает и откатывает полный рулон, а машина уже наматывает следующий. Оценили мы и мини-мини-сарафанчики девушек, столь уместные в тропической атмосфере цехов, и выносливость мужчин, для которых пока не придумали прохладной и легкой прозодежды. С удовольствием узнали, что на этом старом (уже старом, первых пятилеток!) комбинате производство обновляется и расширяется — бумага! Больше будет бумаги! Но...

В цехах первоначальной обработки древесины мы смотрели, как зубья машин ненасытно втягивают стволы, стволы, стволы... а на лесном рейде, ожидая своей очереди, теснились неиссякающие массы сплавного леса — стволы карельских елей, будущая бумага, будущие наши книги!..

И нужно. И жалко.

Когда мы выезжали из Петрозаводска, я все поглядывала по сторонам — именно сюда мы когда-то ходили и ездили по грибы. Вокруг тянулись сквозные березо-осиновые перелески с разбросанными тут и там елками-недоростками. Забыла я об этих сквозных, просматриваемых в даль перелесках — или их не было? А вот эти елки-недоростки — были они в те года или не были?.. Ведь для человека пятьдесят лет — почти вся жизнь, а для ели это не возраст, она еще и невысока и вширь не раздалась, она доверчиво простирает сочные ветви над родимой землей, как мы — ладони над камельком; каждую весну на концах ветвей светло сияют нежнейше зеленые молодые приросты, на игольчатом задном торчке макушки во все стороны вразлет отрастают веточки — еще год отсчитан новым кольцом ветвей! — а свеженький торчок уже тянется выше, предвещая рост будущего года. Она еще несовершеннолетняя, эта ель, если она проклюнулась из семечка пятьдесят лет назад, когда я тут бродила девчонкой, теперь она только-только входит в пору крепкой молодости... э-эх, мне бы так!..

— Да... — сказал шофер и вздохнул. — Лес не поторопишь...

В беседах с самыми разными людьми — от рядовых горожан и сельчан до ответственных советских и партийных работников — я ощущала тревогу и заботу о карельских лесах, о том, чтобы восполнить убыль...

В мире частного предпринимательства хищническое отношение к природе преодолеть трудно, а часто и невозможно. «Давай, давай! Побольше прибыли, а после нас хоть потоп!»

Ну, а мы как? В нашем плановом, централизованном народном хозяйстве? Будем откровенны и самокритичны. Мы тоже не всегда удерживались. С лесами — в частности. Почему? Вспомним: сперва необходимо было преодолеть страшнейшую, похожую на паралич разруху, а для этого нужны были деньги, валюта, и если у нас брали за нее лес, мы давали лес, лишь бы получить станки, паровозы, турбины, автомобили, вопрос стоял или — или, жизнь или гибель!.. В крови, в поту, в старых обносках, не жалуясь и не мечтая о сытости и покое, мы выбрались из войны, из разрухи, из нищеты. Всем миром — выбрались! Но встала задача посложней — в самые сжатые сроки, потому что передышку мы вырвали с боем (и надолго ли?!), преодолеть страшную российскую отсталость — экономическую, техническую, культурную. А для этого нужно было многое покупать за границей на золото и покупать наличными, нам не очень-то шли навстречу с займами и кредитами, нас еще надеялись свалить, в наши созидательные силы не верили, наши первые пятилетки высмеивали: блеф! пропаганда! большевистские сказочки! Им нужен был лес? Мы давали лес... Они считали, что русские иваны никогда не сумеют освоить технику, а русские иваны были действительно неграмотны, нужно было учиться и учить, нужны были тысячи школ, институтов, техникумов, нужны были миллионы учебников и книг, газет и тетрадей... Строились бумажные комбинаты — торопливо строились, там, где выгодней, там, где еловые леса — рядом. Правильно? Конечно, правильно, а как же!.. Что бы мы делали без Кондопоги и других наших первенцев?! И для строительства нужен лес, и для мебели, и от экспорта мы не могли и не можем отказаться. Все — необходимо.

Но теперь мы можем — и мы обязаны! — хозяйствовать в наших богатейших лесах рачительно, умно, помня о завтрашнем и послезавтрашнем дне, мы должны привить всему молодому поколению нежную заботу о лесах, о природе...

Лес не поторопишь? Да нет, оказывается, можно и поторопить. Немножко — но можно.

Молодые! Вы видели лесное поле?

Странное сочетание слов, не правда ли? Лесное поле. А между тем так оно и называется. Я была на одном из многих карельских лесных полей под Олонцом, и оно до сих пор стоит перед глазами.

Обычное вспаханное поле с длинными, во всю его ширину, грядами, так что можно даже сказать — огород. Лесной огород. На грядах — не овощи, а лес. Крохотные ели, крохотные сосны, крохотные лиственницы. Помните, я писала о зеленом шарике новорожденной сосенки? Таких шариков тут миллионы — в ряд, один к одному. И елочек миллионы, во младенчестве елочка чуть темней и стоит игольчатой веточкой, как ежик несвернувшийся, — да и зачем ему сворачиваться, еловому ежику, когда здесь ему ничто не угрожает, посадили его в хорошо удобренную почву, поливают и холят. А лиственница и во младенчестве к осени желтеет, глубокой осенью стряхивает сухие иголки, а весной обрастает свежими, ярко-зелеными, как большая, но всего-то их, иголок, — на пальцах пересчитать!

Лесное поле — это детский сад будущего леса.

Когда они подрастут, эти лесные жители, заботливые руки лесоводов-энтузиастов (тут все энтузиасты) выкопают их и уложат в полиэтиленовые мешки — в 1971-м их выкопали четыре миллиона! — и отправят в коллективное путешествие к месту постоянного жительства. На расчищенных старых вырубках, на осушенных мелиораторами болотах, сделав для каждого малыша косую лунку специальным мечом, их высадят длинными рядами и скажут: растите!

— Ну, и как они приживаются?

— Хорошо приживаются, примерно девяносто семь процентов. И подрастают дружно.

— И много таких посадок?

— Пятьдесят тысяч гектаров в год. Но этого мало. Мы все время расширяем свои лесные комбинаты.

Это — из разговора с главным инженером лесного поля (интересно звучит, правда?) Алексеем Ивановичем Абрамовым и приехавшим из Петрозаводска ученым-лесоводом Анатолием Артемьевичем Мордусем. Разобраться в коротком разговоре, что за люди, невозможно, но что они любят лес и увлечены своим делом — это улавливаешь с лету.

Здесь не только высевают семена и растят всходы — здесь ведется экспериментальная научная работа, и цель ее одна: ускорить! Ускорить рост новых лесов!

Меня ведут в обширную теплицу с полиэтиленовыми стенками и крышей. Это лесные детские ясли. Гряды хорошо заправлены торфом и минеральными удобрениями, дождевальные установки равномерно поливают их. От молоденьких всходов гряды густо-зелены. Теплица — эксперимент, и очень удачный: вместо трех лет посадочный материал поспевает за год. Научились тут и хранить выкопанные сеянцы на льду: посадочная пора — время горячее, во всех лесничествах люди работают без передышки, сеянцам приходится ждать своей очереди, вот и лежат они в мешках на льду, прекрасно сохраняются, это помогает продлить посадочную пору.

Научились лесоводы и прямо в поле ускорять рост сеянцев. Приемы самые обычные — заправка гряд торфом и удобрениями, поливка, прополка, рыхление, подкормка... Превосходный посадочный мате-

риал вырос за два года вместо четырех-пяти лет, с каждого гектара по полтора миллиона будущих деревьев!..

Странно это было — стоять на краю будущего огромного леса, где пока что деревца — хоть в лупу разглядывай. Стоять над миллионами крохотных ростков — и мысленно воображать себе карельские ели и сосны, подпирающие облака, и ощущать их глубокую тень и благодатный смолистый запах.

Все это разрастающееся дело, требующее немалых средств, труда, заботы, исканий, не для себя и даже не для своих детей. Ель и сосна растут девяносто, сто, сто двадцать лет — до совершеннолетия. Вот эти ростки с жизнерадостными иголочками будут взрослыми во второй половине XXI века!.. В семидесятых годах XXI века!..

Значит, не я и не вы, мои сыновья, и не вы, Оленька и Катюшка, а дети детей ваших или их внуки когда-нибудь, возможно, приедут по следам своей прапрапра... и с почтением войдут под сумеречные и душистые своды могучего карельского леса, будут собирать выпирающие из-под зеленого мха грибы и вряд ли поверят, что каждое из этих вековых деревьев когда-то выращивали на огородной грядке, как морковку.

Кондопожская церковка. Та самая, что полвека назад мимолетно восхитила меня благородством очертаний и местом, на которое ее так удачно поставили, — мысок, венчающий дугу берега и с трех сторон омываемый водами Онеги, создавал для нее окружение, лучшее из возможных: откуда ни посмотри, чистые тона неба и воды.

Она и теперь стоит. Уже двести лет, а все так же крепки и навечно сцеплены между собою толстенные бревна ее стен, потемнели от времени, но на солнце по-прежнему сияют мягкой золотистостью, какую дает только дерево, его естественная фактура.

Она не так уж мала, эта церковка, какую кажется издали, — скромная, подбористая, вся — порыв ввысь. Ее остроконечный шатер возносит маковку с крестом на высоту сорока двух метров, что, конечно, много, если вспомнить, что строена она с помощью плотницкого топора, умелых рук и мускульной мужицкой силы. Да еще острого глаза и удивительного художественного чутья, благодаря которым все в постройке соразмерно и нет ничего лишнего.

Знатоки русского деревянного зодчества любят повторять слова, записанные в старину в одной из подрядных записей, определявших, что и как должна построить плотницкая артель: «Рубить высотой, как мера и красота скажут». Вдумайтесь в это обязательство, подписанное малограмотными, а чаще крестиком вместо имени и вовсе неграмотными мужиками: «как мера и красота скажут»!..

И ведь без проектов, разработанных НИИ, без чертежей — получалось.

Внутри этой церкви, в трапезной (трапезные, кстати сказать, были весьма мирским помещением, где судили-рядили, обсуждали деревенские дела, составляли договоры, отдыхали и даже пировали, трапезничали), я познакомилась с Василием Осиповичем Сметаниным, кондопожским крестьянином. Старинная церковь охраняется государством, Василий Осипович — сторож при ней и пришел впустить нас, гремя солидными ключами. Малого роста, кряжистый старичок, он посматривал лукавыми глазами, наперед зная, чем мы восхитимся и что спросим, и старался опередить вопросы, сообщая те общие сведения, которые экскурсоводы заученно повторяют экскурсантам. Но стоило проявить интерес к самому деревянному строительству,

к плотницкому умению, его лукавые глазки загорелись воодушевлением.

Показывая на доски пола, широкие, чистые и такие крепкие, слово и не пролежали тут двести лет, Василий Осипович рассказывал:

— Перво-наперво надо выбрать дерево. Чтоб росло на сухом месте и ровное было и чтобы само сердце было прямое.

Выбрать, чтоб сердце было прямое. До чего ж хорошо сказано! Но он — о сердцевине.

— Приглянешь дерево, счисти немного коры и поведи по чистому месту острием топора: если поведет ровно или поведет вправо — можно рубить. Если поведет влево — не годится.

— Почему?

— А уж так известно. И без такой пробы дерево выбрать нельзя.

Затем он уточнил, что ширина доски — тридцать пять сантиметров, а толщина ее — семнадцать сантиметров.

— Из одного ствола выходит две таких доски. А раскалывали ствол вручную, лесопилок-то не было. Да и без лесопилки, если надо доску — ну, по своему хозяйству, — так берешь клин металлический, а раньше был обыкновенный деревянный. Это тоже наука, как разрубить ствол на доски, чтоб не повело и не растрескалось.

Усиленно помогая себе руками и рисуя огрызком карандаша на доске, он показывал, как закреплять ствол, как забивать клин, как спрямлять... Очень это было интересно, с точным знанием, но пересказать я не в силах. Василий Осипович говорил быстро, глотая слова от удовольствия, заменяя их движениями рук... Надо бы медленней и обстоятельней, слушать и записывать его речь, пересыпанную профессиональными плотницкими словечками, и расспросить, где и когда он плотничал, что строил, от кого воспринял старинные секреты... Но — вечное проклятие! — времени было в обрез, мои спутники, топчась у выхода, постукивали пальцами по циферблатам часов.

Я все же успела узнать, что тут, в Кондопоге, Василий Осипович родился и прожил жизнь. Значит, мог быть и на нашей встрече молодежи? Нет, этого он не помнит, а вот гражданскую войну хорошо запомнил, хотя был мальчишкой. Вместо матери выполнял повинность для Красной Армии, на своей подводе возил красноармейцам снаряды на передовую, хлеб печеный — в деревне бабы пекли, — ну и все что надо было. Ближе ли была передовая?

— А как же! Значит, отсюда к северу Лижма, деревня, слышали? Там была война. И от нас к западу меньше чем двадцать пять километров по-современному — тогда на версты считали, еще меньше выходило, — там тоже война была. К югу вдоль Онеги дорога, не асфальт, конечно, обычная лесная дорога — на Петрозаводск, а там в семи километрах — у Сулажгоры — белогвардеец стоял и белофинны тоже, а у Кивача — знаете водопад? его все знают! — там англичанин был. Хошь не хошь — войей или помирай!

Я спросила, тут ли он был в Отечественную войну. Василий Осипович очень обиделся, даже рассердился:

— То есть как это — тут? Всю войну как есть прошел. Вот только в самом Берлине не довелось, так ведь не всем же повезло, чтоб именно в Берлин. А так — везде был.

Почудилось ли мне или и впрямь из-за морщин и сивой бородки выглянул постаревший Василий Теркин, неунывающий, выносливый, нигде не теряющийся, надежный и в солдатском быту, и в походе, и в бою, и на гулянке, и прежде всего в труде, который навсегда — главное. святое дело!

Будто подтверждая, Василий Осипович погладил жесткой ладонью безукоризненно обструганную доску широкой лавки, на которой мы сидели.

— Вот это работа! Еще двести лет простоит.

И первым поднялся, так как давно приметил сигналы моих спутников.

Я с запозданием подумала, что надо бы послать к черту весь намеченный план, остаться тут или напроситься к Василию Осиповичу в гости, сидеть бы у певучего самовара (да и водочка не помешала бы) — и слушать, слушать неторопливые рассказы хозяина — с байками пополам, не без этого! — и о плотницких стародавних секретах, и о военных путях-дорогах... Но мы уже распрощались с Василием Осиповичем и спешили к машине, дети машинного, стремительного века, подчиненные планам и срокам, разучившиеся отдаваться случаю.

Вот ведь никогда не конфликтовала со своим веком и его немислимими темпами и ритмами, тем более никогда не оглядывалась с грустью на дальнее-предальнее прошлое, а в тот день оглянулась и загоревала — не о прошлом, нет, а о том, что нельзя удержать, протянуть в новое время то прекрасное, что светит из прошлого, — молодечье, удалое, почти интуитивное, но поколениями накопленное индивидуальное мастерство, безошибочное народное умельство!.. Как их сочетать с безудержностью научно-технического прогресса, с его автоматикой, телемеханикой, кибернетикой и всем прочим, что само по себе — высочайшее мастерство, высшая победа человеческого гения?.. У каждого века свое лицо и свой стиль. Бессмысленно украшать искусно вырезанными петухами здание из бетона и стекла или наряжать сверхсовременных заносчивых официанток в старинные сарафаны и кокошники, — когда я вижу эти реставраторские потуги, мне вспоминаются балалайки и лаковые шкатулки с росписями «под старину», продающиеся в гостиницах для интуристов, а затем, по горькой ассоциации, — облезлые, примирившиеся со своей участью верблюды под «роскошными» седлами, лежащие в пыли у подножия египетских пирамид, — их хозяева настырно зазывают туристов покататься на верблюде или хотя бы сфотографироваться на нем...

Нет, конечно, не внешние приметы прошлого, а добрые народные традиции надо пестовать, ведь традиции — порождение глубинных свойств народного характера. И первая традиция — гордость мастерством, любованье сделанным, уважение к умелости, доведенной до щегольства — «блоху подковать может»! Да и теперь — как только возникают жизненные условия, на ударной стройке или на выполнении важного заказа, — ни размашистой силы, ни азартной увлеченности, ни трудовой ссорки нашему народу не занимать. А если наш машинный век, массовая штамповка иной раз вываливают на прилавки неряшливые изделия и унылую безвкусицу, запущенные бездарями, сидящими не на своем месте, — это ж вопреки традиции и характеру народа! Взять бы этих бракоделов и бездарных подельщиков да свести лицом к лицу с их предками, рубившими здания, «как мера и красота скажут»!

Но гореванье не в моем обычае, оптимист пробился сквозь досаду, и стало мне мысленно свести современников и далеких предков, представилось мне совсем иное: стоят мужички-лесовички на берегу озера Онега и во все глаза глядят на диво дивное — летит по озеру будто над волнами крылатый катер невиданных, безупречно выверенных, летучих очертаний... А вот мужички-лесовички всей артелью — в моем родном городе, на мосту Ушакова — скинули шапки, чтоб не

сронить, и застыли, охваченные сладким ужасом: вонзилась в облака башня не башня — воздушная, сквозная, вроде бы хрупкая, порыв ветра повалит! — а несгибаемая, прочнейшая из прочных, стальная стрела телевышки... Да и в город незачем! Вот тут, в Кондопоге, где по ухабам громыхали их телеги, на раскинутой асфальтовой холстине остановить, чтоб рассмотрели и потрогали, ну, хотя бы вот эту «Волгу», — разве художнический глаз не оценит экономную прелесть ее формы, точно найденные «меру и красоту»?!

Оказывается, я ревнитель нашего машинного века. Но, поклонившись ему, я тут же взбунтовалась против того, с чем совсем было смирилась еще вчера. Не попасть в Кижы, где старинное народное зодчество создало лучшее, на что оно было способно? Теперь, после Кондопоги, когда возникло в душе что-то, требующее продолжения?.. Не доплыть — не долететь из-за капризов медлительной весны?! В наш-то безудержный век?! Быть того не может.

Летим!

Маленький вертолет отпрыгнул от земли и почти по вертикали ввинчивается в высоту. Кусок летного поля остается не позади, а под нами, и здание аэровокзала не отходит назад, а как бы проваливается. Непривычно. Перешли в горизонтальный полет, но ощущение все равно непривычное: в дребезжащей кабине под разогнавшимся винтом, придавив мешок с почтой, вдвоем на узкой скамеечке за спиной летчика, мы зависли в воздухе, как в люльке. Из люльки видно далеко окрест.

Стараюсь скрыть восторг, чтоб не вызвать насмешек летчика и моей то ли флегматичной, то ли испуганной спутницы. Дело в том, что в разные годы я летала на всевозможных самолетах, начиная с открытых всем ветрам «шаврушек» и «уточек» и до современных лайнеров, в войну довелось и на бомбардировщике... а на вертолете не летала! Этот пробел мне давно хотелось заполнить. А тут, в Петрозаводске, давнее желание сплелось с новым — попасть на остров Кижы. Опекавший меня в поездке по Карелии поэт Марат Тарасов узнавал: Онежское озеро еще забито плавающими льдинами, ни катеров, ни теплоходов не выпускают... Так что же, он необитаемый, этот остров? Или люди отрезаны «от материка», как зимовщики? И никакой связи с островом?!

— Никакой. Разве что вертолетом. Но не полетите же вы...

— Марат Васильевич! Полечу на вертолете, именно на вертолете и ни на чем другом! Можно это устроить?

Дни шли за днями. Как я боялась, что полет сорвется! То нету кого-то, кто должен разрешить, то погода нелетная...

Но я живу под счастливой звездой Вегой — все устроилось. В спутницы-шефини мне дали девушку, которая сама попросилась, очень милую девушку, но без малейших признаков организаторских способностей. На аэродроме провожающие дразнили ее в два голоса: «А плавать умеешь? Если вертолет упадет в озеро, плыви к берегу и на ходу сбрасывай пальто, иначе пойдешь ко дну! И зачем ты вчера новые туфли купила? Хоть завещай их кому-нибудь...» — ну, и все в таком роде. Моя шефиня вяло отмахивалась и улыбалась.

Авиация есть авиация. Вылет назначили на девять, но мы прождали полчаса, прождали час... Наконец к нам подвели высокого молодого летчика.

— Воздушный извозчик Поздникин, — представился он.

Самолубивый, видать, человек. Ему бы лайнер, а не воздушную

таратайку! Хотя именно на ней он делает очень важные, неотложные дела, в чем мы скоро убедились.

Летим. Справа то рядом, то в отдалении — серая, рябая от ветра ширь Онеги с белыми пятнами льдин. Под нами и слева — леса, болота, печальные вырубki с пеньками и молодой березовой порослью, озера и озёрки — их в Карелии, не считая Онеги и Ладоги, около пятидесяти тысяч! И деревушки не деревушки — два-три дома с баньками да лодками на берегу... Кажется, летим над островами. Узкие или широкие протоки отделяют один остров от другого, длинные языки шхер вдаются глубоко в сушу, и всюду у берегов — ледяной припай или застрявшее на мелководье крошево льда. Картины прелестные и несколько однообразные в своей неброской красоте, в северной тусклости красок — пастельные тона, еще смягченные пасмурным днем.

Но что это? Что?

Ведь знала — через сорок минут Кижь. Рассматривала заранее альбом с десятками фотографий. Ждала — сейчас увижу. А увидела — вдали — среди пастельных красок неба, зелени, воды — и невольное а-а-ах! — и показалось — не реальное, не настоящее, а драгоценная деревянная игрушка с десятками серо-лиловых маковок... Какое же оно маленькое — гораздо меньше, чем представлялось, — сказочное видение, нежная краса, затейливый вымысел чистой души. Чистой и веселой души — могло так быть в далекие времена, когда плотники-умельцы ставили эти церкви?..

Всё ближе, ближе... Поздникин — мастер понятливый: прежде чем посадить вертолет, он описал полный круг над самым погостом на уровне церковных маковок. Как же оно умно и ловко продумано! Строения Кижского погоста расположены так, что с каждой точки все три видны в новом ракурсе и с каждой по-новому прекрасны, а игра света (даже в нынешний пасмурный день) неуловимо изменяет благородные тона не тронутого краской дерева. Две церкви и колокольня будто поворачивались перед нами, чтобы мы оценили, как массивные бревна стен розово-золотисты на более ярком свете, тронуты налетом темной бронзы на теневой стороне, а под скатами кровель и крылец почти черны. Зато узорные, округло выгнутые осиновые пластины-лемешины, которыми обшиты двадцать два купола Преображенской, девять куполов Покровской церкви и одинокая главка колокольни, — они поблескивают серебром на свету, все гуще лиловеют в тени и переливаются перламутровыми оттенками. Можно ли сотворить лучше?!

Уже с земли, изнутри погоста и со стороны, с разных мест, близких и отдаленных, я снова и снова всматривалась в чудесное видение Преображенской церкви — именно она царит на погосте, остальные два строения аккомпанируют ей. Поставленная на взгорок в середине узкого, вытянутого в длину островка, она победно взмывает в небо своими двадцатью двумя перламутровыми маковками. Впечатление взлета еще усиливается милой, непринужденной асимметричностью — игрой свободного творчества мастеров. Большие и меньшие купола, чередуясь по ярусам, сочетаются в дивной гармонии и создают форму пирамиды — от яруса к ярусу — вверх! Как ликующий голос от ноты к ноте — все звончей.

Про архитектуру часто говорят — застывшая музыка. Кижь, конечно же, воплощенная в дерево музыка. Не песня и не религиозный хорал, нет, что-то вроде финала бетховенской Девятой симфонии, «оды радости»! — но русской оды, русской каждым звуком и сочетанием звуков.

Уже поздней, в Ленинграде, я прочитала, что Преображенскую церковь строили в годы, когда Петр, разгромив шведов, «ногою твердой стал при море», и впервые за многие десятилетия от Заонежья отодвинулась опасность вражеских нашествий, и пошел слух, что царь Петр — «хороший царь», сам плотничает и кует железо, и может быть, при нем полегчает крестьянам, может, смогут они трудиться на земле, рыбачить, мирно жить «со женушками и детишками»... Вот откуда — веселая душа мастеров, возвышенность дивного замысла, вот откуда — победная ода к радости!..

Музей под открытым небом — это Кижы сегодня. Сюда свезли и удачно расположили по острову старинные крестьянские дома с предметами домашнего обихода, амбар, ветряную мельницу и водяную, крошечные часовенки...

Работники музея рассказывали, что еще будет сделано и что делается, чтобы сберечь ценнейшие памятники народного зодчества. Это было интересно, но время шло, а вертолета все не было, хотя Поздниковин должен был вернуться за нами через два часа. Впрочем, авиация есть авиация. А в пять часов — встреча с читателями Онег-завода.

И тут моя флегматичная и прозябшая на холодном ветру спутница вдруг развернула неожиданную для нее самой энергию. Никакой флегмы! Преодолевая удручающие трудности местной телефонной связи, через телефонистку Великогубского Конца она упорно звонила, звонила, терпела неудачу за неудачей и снова звонила: Великая! Великая? Аэропорт!

Дозвонилась. В Суоярви умирает человек, Поздниковин вылетел туда с врачом... Что тут скажешь? Очень хорошо, конечно, лишь бы врач прилетел вовремя... Пришлете другой вертолет? Спасибо, ждем.

Прошло еще два часа звонков, ожидания, новых звонков... То и дело пролетали то в Петрозаводск, то из Петрозаводска вертолеты, неся свою напряженную службу. Но все — мимо. Наконец, когда мы уже отчаялись, нам сообщили, что за нами вылетел летчик Чаплыгин. Опоздаем или не опоздаем?.. Никакого запаса времени уже не оставалось, когда над погостом победоносно затарахтел вертолетик. Сел он прямо у конторы, летчик махнул нам рукой — дескать, давайте скорей, если торопитесь! — мы юркнули под пугающе вертящиеся над головами лопасти винта, взобрались в кабину, и летчик тут же сорвал свою стрекозу с места — никаких кругов для прощальных любований! — напрямик, через озеро, кратчайшим расстоянием между двумя точками.

Поглядела на свою спутницу, ведь ее как раз и пугали: опасней всего лететь над озером, если откажет мотор, вертолет сразу — бух в воду, а ты — буль-буль-буль!.. Бойтся? Нет, тихо и безмятежно улыбается.

Попробовала поглядеть назад, где еще могли быть видны перламутровые маковки... Какое там! И тут меня вдруг прямо-таки потрянуло — нет, с вертолетом все было в порядке, потрянула мысль: да как же это могло быть?! Два года жила в Петрозаводске и года три приезжала на каникулы, проплывала Онежским озером в Пудож и Повенец... как же я не видела и даже не знала, что совсем неподалеку такая краса?!

Ну, а могли бы мы, могла бы я в то время оценить такую красу?..

...Они были тогда действую щ и е, и действующие против нас, — церкви и церквушки, религия, попы. Они проклинали нас как исчадие

ада, эти церковники, и благословляли белогвардейцев и белобандитов всех мастей и интервентов любых вероисповеданий — вплоть до японцев... Тысячи людей умирали от голода, а накормить их было нечем. Умирали дети. Только в блокаду я увидела, как умирают от голода дети — будто фитилек угасает. А тогда мы только представляли себе: в раскаленных лютым солнцем деревнях, у станций и волжских пристаней — умирают дети... Собирали все, что имело хоть какую-нибудь цену. Хлеба, хлеба!.. А Тихон, патриарх всея Руси, отказался сдать в фонд помощи голодающим огромные церковные ценности, попы прятали эти ценности в хитроумных тайниках, хоронили в земле, в лжемогилах...

Мы смотрели на церковь враждебными глазами. И нужно было окончательно победить, чтобы в один спокойный день без предубеждения взглянуть на старинную церковку и понять, что она — прекрасна, что ее бывшее назначение — дань времени, а непреходящая ценность ее в том, что она — деяние народа, выражение его таланта, мастерства и упорной, неунывающей души. Что она — наша, эта церковка, и ее нужно сберечь.

...Был в давние-предавние времена такой грек — Герострат. Обуревала его гордыня, страх забвения и жажда остаться на века. Чтоб остаться, он сжег прекраснейшее творение той поры — храм Артемиды, одно из «семи чудес света». И что же? Прошло двадцать четыре века, а имя его живет? Да нет, остался лишь звук — позорная кличка, пример дикого и неумного тщеславия. А от человека — ничего.

Остается только творческое деяние, только в нем — истинное бессмертие, иного нет. Имена забываются. Мы храним дорогие имена, но они все же постепенно стираются, а историческое деяние живет. Сколько безвестных жертв схоронено под плитами Пискаревского кладбища! Терпеливое мужество их останется на веки веков. Горят в Ленинграде, в Москве, в Петрозаводске и многих других городах вечные огни. Стоят обелиски и памятники отдавшим жизнь за революцию, за советскую родину, за свой народ. Многие имена неизвестны, но эти люди остались.

...И сделанная вещь, построенное здание, нужное людям слово, песня, которая пришлась по душе, — остаются. Навсегда?.. Ну, может, и не навсегда в своем первоизданном виде, но есть ступеньки познания, одно на другое опирается, одно из другого вытекает. Непрерывное движение и развитие — по цепочке, по ступенькам. И хорошо, если сделанное тобою хотя бы крупинками войдет в делаемое теми, кто идет за тобой.

«Вас устраивает роль удобрения?» — слышу тот молодой голос. На набережной, белой ночью. Было это или — померещилось?.. Злой голос. А от вопроса никуда не денешься. Хотела бы — чтоб надолго, хотя бы до времени, когда вырастут те ели и сосны, но...

Честная работа не пропадает зря, что-то да войдет из нее в души и создания других.

И еще остается любовь. Семенами добра — во многих душах. Как у Леонида Мартынова: «Скажи: какой ты след оставишь? След, чтобы вытерли паркет и посмотрели косо вслед, или незримый прочный след в чужой душе на много лет?» Вы, старые пенсионеры и молодые работницы, создавшие при рабочих общежитиях Кондопоги библиотеку на общественных началах и гордящиеся тем, что среди шестисот ваших читателей большинство стало читателями именно у вас, — вы оставите след незримый и прочный! Первый мой взрослый друг, Коля Ларионов, давно уже нет тебя на земле, но в скольких душах — твой

изначальный след!.. И ты, откровение мое, товарищ Михаил, скольких людей ты высмотрел своими добрыми близорукими глазами, и помог им поверить в самих себя, и остался в них — грея, ведя, наполняя светом убежденности?... И ты, тетя Лина, почти неграмотная русская женщина, разве семена добра и чести, посеянные тобою, не выросли во многих душах?.. И ты, карельская Мать из далекой Видлицы, — разве ты не живешь в основе основ жизни, в самом продолжении твоего народа?!

Вот так я размышляла под свист ветра, обдувающего нашу подвесную люльку, и уже, кажется, почти разрешила проблему славы и бессмертия, когда вертолет начал круто проваливаться... ой, как екнуло сердце!.. да куда он не провалился, попросту сел на аэродроме, и уже видна ожидающая нас машина и улыбающееся лицо Марата Тарасова. Летчик распахивает дверцу:

— Ну как, поспеете?

— Здорово у вас вышло, товарищ Чаплыгин, — за двадцать три минуты!

* * * * *

Две интересные встречи — в один день. Очень разные, вот только обе связаны так или иначе с историей.

Пока молод, за твоими удалыми плечами — никого и ничего. Тебе мало дела до прошлого, мир населен молодыми, время начинает свой отсчет сегодня. Чувство истории дается зрелостью и причастностью к событиям истории. Начинаешь понимать усилия тех, кто был до тебя, и видишь место своего поколения в общей цепочке движения, история оживает и говорит с тобою все более внятно — о прошлом и о будущем.

В видлицкий рассветный час, когда я сделала первый крохотный шаг к зрелости, чувство истории впервые шевельнулось во мне — внезапным стыдом и тревожным интересом: кто же они были, какие они были, те, что до меня?.. Стоило захотеть — и сколько нашлось людей, которым было что рассказать! Как из рассеивающегося поутру тумана начали проступать очертания событий, лица и судьбы... Но тут подоспел вызов на учебу, а потом Питер, институт, Палька Соколов — целиком забирающая, сегодняшняя жизнь!

До и после нынешней поездки в Карелию я кое-что читала о ней, заглянула в ее историю — ближнюю и дальнюю. Как и многие люди моего поколения, я тщательней изучала «экономические формации», чем конкретные исторические факты, поэтому считала само собою разумеющимся, что продвижение «господина Великого Новгорода» на север есть акт колонизации и эксплуатации, а ведь город Олонец впервые упоминается в новгородской летописи 1137 года, новгородские владения простирались на все Заонежье вплоть до Терского берега Белого моря! Вдумываясь во всю сложность исторических событий восьми веков, я поняла, что судила слишком примитивно. Были со стороны новгородцев, а затем и представителей крепнущего государства Российского притеснения, эксплуатации, поборы? Были, конечно, и очень тяжелые, крестьянам и «работным людям» выпадало много страданий — и карельским и русским, но карельским доставалось несколько меньше: добираться до них было трудно и опасно, леса, озера, болота и бездорожье были естественным заслоном, а позднее, когда в России установилось жесточайшее крепостное право, в Карелии его не было, над карелами не стояли помещики, они все же чувствовали себя свободными людьми. Зато развитие торговли с Рос-

сией, создание торговых путей помогало развитию промыслов, разработке горных и лесных богатств севера. Начальника, проводившего по селам рекрутский набор, или горнозаводчика, гнавшего окрестных крестьян на добычу железной руды или тивдийского мрамора, карелы, конечно, боялись и не любили, не раз бунтовали против них — в частности, известны крупные и длительные бунты в Кондопоге и в Кижях. Но гораздо страшнее для карел были кровавые нашествия сильного и в те времена весьма воинственного соседа — Швеции. И тут русские воины были для них опорой и защитой. Крепкой опорой, надежной защитой. Так говорят факты.

Что мы знали, что я знала о борьбе русского государства против воинственных шведских королей, пытавшихся не только единолично владеть Балтийским морем, но и подчинить себе русские земли далеко к югу? Ну, конечно, Невскую битву 1240 года, принесшую победу новгородскому ополчению во главе с князем Александром, с тех пор прозванным Александром Невским. Еще помнилось, что шведы участвовали в польской интервенции, которой дали отпор Минин и Пожарский, — это уже начало XVII века. А спустя столетие — Северная война. Петр Первый со всей своей неукротимой энергией и государственной зоркостью пробивает для России выход на Балтику, закладывает город у устья Невы — «отсель грозить мы будем шведу», — и наконец решающая битва с войсками Карла XII, вторгшегося в глубь России и разгромленного под Полтавой. Знали мы и слова Энгельса о том, что Карл XII «погубил Швецию и показал всем неуязвимость России»...

И все? Пожалуй, все. Средний набор исторических сведений, которым, смею сказать, только и владеет большинство образованных людей, не занимавшихся специально историей. «Координаты» событий — от Невы до Полтавы. Время — три даты с перескоками через века.

А вот ведь весь север — и особенно Карелия — подвергался постоянным нашествиям шведов и подвассальных им финнов, и карелы отбивались от них вместе с русскими воинами, хотя уже в те давние века применяли и свои особые методы борьбы — партизанские действия лыжных отрядов, ловко и неожиданно налетавших на захватчиков по тайным тропам среди лесных чащ и непроходимых болот; как не вспомнить, что и в годы гражданской войны и в годы Великой Отечественной смелые рейды лыжников наносили ощутимые удары по врагу! Но одними лыжными налетами не защитишься, для защиты городов и важных — теперь сказали бы, стратегических — дорог строили крепости. Одна из таких крепостей была сооружена в Олонце между двух сливающихся рек, Олонки и Мегреги: стены рублены из неохватных бревен, их сторожат девятнадцать дозорных башен, со стороны суши — глубокий ров (его следы можно заметить и теперь). Значение крепости понятно: Видлица—Олоонец—Лодейное Поле — наиудобнейший путь для вторжения по межозерью на юг — к Неве и дальше. Тем же путем вражья полчища прорывались и в 1919-м и в 1941-м!

Этим небольшим отступлением в глубь времен я подбираюсь к запомнившейся встрече. Пора бы прямо перейти к ней, но вот уже сколько дней передо мною то и дело возникает неведомый городок Корела, эта Корела томит мою душу своей судьбой и совсем иными, не затухающими в памяти картинами... Ну, пусть меня осудят критики за разбросанность, за нечеткую композицию... принимаю все упреки, но — но не могу умолчать о том, что жжет душу.

Корела, Корела, приозерный ладожский городок, связующее зве-

но между карелами и русскими! Уже в X веке упоминают Корелу новгородские летописи, именно от Корелы начинался водный торговый путь через Ладогу — по Свири — в Онегу, и в Кореле кончался водный путь карельских товаров, идущих в Россию. Поначалу был и другой путь — в самый клинышек Финского залива, но в конце XIII века шведы построили там крепость Выборг, запечатав дорогу, и тогда роль Корелы стала расти, и городок рос. Шведы попытались и Корелу прибрать к рукам, но потерпели поражение от новгородского войска и вынужденно отступили. А новгородцы в 1310 году построили в Кореле каменную крепость, и эта каменная крепость на три века обеспечила покой жителям города и проезжим торговым людям... Но в 1610 году шведы решили с Корелой покончить.

Корела, Корела! Обложили тебя со всех сторон, и с суши и с озера, — разве что птица перелетит через кольцо мучительной осады. Не так уж много известно о том, что пережили осажденные, но уж мыто, ленинградцы, представляем себе доподлинно, что это такое — полная блокада! С дрожью сострадания и даже как бы соучастья — через три с половиной века — всматриваюсь я в судьбу маленькой храброй Корелы, которая отказалась сдаться врагу. Не совсем точно представляю себе, как они были одеты, ее защитники, и чем вооружены, но вижу, будто и сама заперта вместе с ними в каменном мешке, вижу совсем близко их лица — мягкие и упрямые, неистовые и терпеливые русские лица. Вижу, как голод накрывает их своей страшной тенью, как западают глаза и рты, как дрябнет и мертвеет их кожа, физически ощущаю их шаткие движения, когда они всползают, сменяя друг друга, на пронизываемые ветрами дозорные башни, чтобы устеречь, не пропустить врага... И вижу, как они падают, чтобы больше не встать, потому что жизненная сила израсходовалась — вся.

Когда спустя много месяцев шведы ворвались в крепость, из двух тысяч ее защитников было живо меньше ста человек...

Корела, Корела, ты тоже — кусочек истории нашей Родины, и хорошо иметь такую историю и такую Родину. Бывает трудно, бывает и Родина неласкова, но как жить без нее?!

.....

Перед поездкой в Видлицу хотелось разобраться в событиях, к которым я чуть прикоснулась в юности. Борьба за Видлицу, Видлицкий десант...

Есть интересное свидетельство Бонч-Бруевича — не бывшего генерала, а затем начальника штаба Красной Армии Михаила Дмитриевича, о котором я рассказывала в одной из глав, а брата его, Владимира Дмитриевича, большевика, соратника Ленина и бессменного управляющего делами Совнаркома первых лет революции.

Вот что он пишет в связи с Видлицкой операцией 1919 года:

«Официальное донесение было настолько неожиданное и потрясающее, что Владимир Ильич, словно не веря своим глазам, несколько раз перечитывал подробную телеграмму, сейчас же бросился к карте и разъяснял всем к нему приходившим колоссальное значение этой новой победы, этой замечательной операции.

— И как прекрасно задумана! — восклицал Владимир Ильич, — и как выполнена!»

Видлицкая операция принесла действительно важнейшую победу — интервенты в панике бежали за границу не только из района Олонца — Видлицы, откуда они угрожали Лодейному Полю, а затем и Петрограду, но и с петрозаводского направления, — освобождена была вся южная Карелия. Удар был нанесен умело и точно соединенными усилиями флота и армии. Идея и выполнение были превосходны.

Кто же ее задумал и кто выполнил?

Одного из главных участников операции, командующего Онежской военной флотилией (а впоследствии начальника Морских сил республики) Э. С. Панцержанского, я уже упоминала среди бывших морских офицеров, ставших на сторону Советской власти. Судя по всему, интереснейшая личность! Талантливый, яркий, темпераментный, он по совести и убеждению пошел в революцию и служил ей с воинской храбростью, глубоко и страстно — уж таков характер! — пережил разрыв со своим классом, со своей прежней средой. Об этом, уже в тридцатые годы, он написал пьесу «Девятый вал». Недавно я прочитала ее. Должно быть, в ней немало недостатков, но я как-то не замечала их, потому что она жарко дышит жизнью тех бурных дней. Пьеса явно автобиографична и воссоздает подлинные события. В зверски жестоком адмирале Морене легко угадывается адмирал Вирен, с которым балтийцы расправились после революции. Возможно, драматургии ради конфликт между героем пьесы, его невестой и его товарищем-офицером доведен до прямого их столкновения в боевой обстановке, но ведь в годы гражданской войны одноклассники-офицеры часто встречались лицом к лицу в бою — бывшие друзья, ставшие врагами. И уж несомненно правдива десантная операция озерной флотилии, руководимая героем пьесы, — это и есть Видлицкий десант 27 июня 1919 года.

Панцержанский действительно руководил десантом и действиями кораблей флотилии. Ему ли принадлежала сама идея десанта? Нет. В краеведческом музее мне показали портрет молодого военного: высокий лоб подчеркивает сосредоточенную строгость умных глаз, черты лица красивые и мужественны. Машаров Ф. Ф., начальник штаба Олонецкого боевого участка, автор Видлицкой операции. Я начала расспрашивать, кто он такой...

— Федор Федорович? Да вы сходите к нему сами, — сказали мне.

— Как? Он жив-здоров и в Петрозаводске?

— Жив-здоров, в двух шагах от гостиницы, на улице Ленина.

Дать вам его телефон?

Вот неожиданная удача!

Когда я спешила вниз по улице Ленина к Машарову, я уже знала, что Федор Федорович — бывший офицер-артиллерист, успевший повоевать в первую мировую войну, что он прибыл в Карелию как начальник штаба отряда Петроградских финских командных курсов, что после окончания гражданской войны он демобилизовался и был лесоустроителем, во время белофинской авантюры в 1921 году был снова призван в армию и как лесничий помогал наметить маршрут для знаменитого лыжного похода Тойво Антикайнена на Кимасозеро, в годы Великой Отечественной войны опять был на фронте... И что уже много лет он работает во Дворце пионеров. «Руководителем военной секции?» — «Нет, шахматной!..»

И вот — большая комната в первом этаже, широкое окно выходит во двор, на юг, сквозь молоденькую зелень свободно проникают в комнату солнечные лучи. Тепло, хозяин в белой рубашке, повязанной галстуком, но, впустив меня, торопливо надевает пиджак и застегивает его на все пуговицы — военная привычка к подтянутости. Разговор налаживается не сразу, я вглядываюсь в сухонькое, морщинистое лицо человека, которому перевалило за восемьдесят... Говорит он вяло, будто неохотно... Но вот я спрашиваю напрямик, как зародилась идея Видлицкой операции... И куда девалась вялость? Он бросает на меня исподлобья умный, оценивающий взгляд — дескать, стоит ли об этом с нею, с женщиной, — и уж не знаю: то ли он решил, что стоит, то ли вопрос затронул навсегда дорогие воспоминания...

— Я ведь шахматист,— говорит он,— а потому люблю штабную работу. Разработка плана военной операции очень схожа с разработкой плана шахматной партии. Надо мыслить и за себя и за противника. Псжалуй, в первую очередь за противника, чтобы предусмотреть и возможные ходы и психологию... да, обязательно — психологию, это и в военном деле и в шахматах имеет огромное значение. Больше, чем иногда думают. Вот, поглядите!

Он быстрыми шагами идет к книжному шкафу и достает свернутые рулонами карты. Через его плечо успеваю взглянуть: книги по истории гражданской и Отечественной войн, по военному делу — командирская библиотека. А он уже разворачивает на столе карту, прижимая ее края пельницей, книжками, пачкой «Беломора». Между двух голубых полукружий Ладоги и Онеги — межозерье с зелеными пятнами лесов и голубыми — бесчисленных озер, с синими штришками болот, с редкими извилистыми линиями дорог и кружками селений. Вот Лодейное Поле у голубой полоски Свири, вот Олонец, Видлица и заштрихованная линия старой финской границы... От Видлицы широкие, постепенно сужающиеся темные стрелы нацелены на восток — к Петрозаводску и на юг — к Лодейному Полю и Петрограду. Им навстречу — подковки с обозначением обороняющихся частей Красной Армии: значки и сокращения, знакомые по картам военных лет.

— Когда доклады приходится делать, карта помогает,— вскользь поясняет Федор Федорович и энергично ударяет тупым концом карандаша по Видлице.— Здесь был их штаб, руководивший обоими направлениями. Кроме того, здесь же были сосредоточены склады боеприпасов и продовольствия. Победа или поражение под Видлицей решали судьбу всего карельского фронта.

Он отворачивается от карты и морщится с досадой, сохранившейся в нем, несмотря на прошедшие полвека:

— Была до нас одна попытка наступления. Я тогда крепко поспорил с начальником штаба Олонецкого боевого участка. Он уверял, что за три дня можно подготовить наступление, я говорил — не меньше десяти дней, надо же прощупать противника разведкой, отвести его глаза от мест прорыва! Ну, он вроде согласился, а затем предложил мне возглавить штаб этой группы. Посмотрел я на него внимательно... Знаете, в шахматах по лицу противника иногда прочитаешь больше, чем увидишь на доске. Вот я и прочитал: уговорит, я соглашусь, а когда назначение будет оформлено, даст приказ наступать через три дня!.. Отказываюсь наотрез. Он спрашивает: почему? Говорю: шахматный опыт подсказал.— Он усмехается, но тотчас мрачнеет: — Провел он все-таки наступление. Неудачное, конечно. Сняли его. А временно исполняющим его обязанности назначили меня. Штаба, в общем-то, и не было. Начали с простого — подробные карты-двухверстки изготовили для командиров частей, чтоб они не блуждали в потемках, разведчиков заслали из местных карел — уточнить расположение частей, артбатареи, складов. Под видом рыбаков разведчики сумели даже промерить глубины реки Видлицы, чтобы узнать, до какого места могут войти десантные суда.

Я вспомнила давнюю встречу с рыбаком, возвращавшимся с Ладоги на лодке, полной серебристой корюшки. И слова моего спутника: «Между прочим, вот этот товарищ был разведчиком, когда готовился десант на Видлицу, самое важное задание они выполнили — промеры глубин...» Прошлое и настоящее сблизилось.

— Федор Федорович, вы с самого начала задумали операцию совместно с флотом?

— Не с самого начала, а после учета задачи и возможностей,— четко отвечает он.— Задача была в чем? Нанести удар сразу и по штабу и по войскам, посеять панику и отбросить их за пределы нашей границы. Сил у нас было меньше, чем у них. Значит, нужно было побеждать внезапностью и дерзостью. У нас были на Ладоге и Онеге военные корабли — правда, переоборудованные из буксиров, но с пушками. А у них не было кораблей. Как не использовать такую выгодную ситуацию?

Он показывает по карте весь план операции: вот на эту линию выйдут корабли, здесь и здесь, в устье рек Видлица и Тулокса, высадка десантов, а отсюда, с суши, армейские части ударяют во фланг петрозаводской группировке...

— Прекрасный план, который вы полностью осуществили?

Он сворачивает карту, педантично укладывает ее на прежнее место, закуривает беломорину и смотрит не на меня, а сквозь меня — в те дни.

— Не я,— говорит он,— все вместе. И больше всех Эйно Рахья. Слышали это имя? Эйно Рахья, один из тех, кто обеспечивал безопасность Ленина летом семнадцатого... Рахья был у нас комиссаром. Именно ему я доложил свой план. И всю подготовку, обработку разведанных, согласование с моряками — все делал он. И на саму операцию пошел вместе с Панцержанским, с флотилией.

По интонациям его потеплевшего голоса чувствую — он не только отдает должное памяти Эйно Рахья, он его глубоко уважал, любил и любит.

— Было одно осложняющее обстоятельство,— говорит Федор Федорович.— В штабе армии сидел предатель. Самые секретные сведения становились известны противнику. Я подозревал одного — полковник, аристократ, швед по происхождению... но пока не пойман, как утверждать? Потом, кстати, поймали, он целую агентуру развел. А тогда просто пришлось все засекретить, до последней минуты даже армейское и флотское начальство не знало.— Он улыбается воспоминаниям.— Вот с кораблями. Схитрили мы, несколько раз посылали корабли обстреливать побережья от Тулоксы до Видлицы, чтобы финны привыкли — постреляют корабли и уйдут. Финны действительно привыкли, вплоть до высадки десанта ничего не подозревали. А вот штаб морских сил запротестовал: урон наносите пустяковый, а тратите драгоценные снаряды и суда не бережете. Промолчали, не стали объяснять свою хитрость. И на суше мы схитрили — послали в наступление один Сорок седьмой полк, по дороге переименовали его в Третий, вражеская разведка, конечно, донесла — новый полк подброшен на усиление! Они и дрогнули...

Он смолкает. Рассказывает кратко, а в памяти, наверно, всеживает в подробностях, расцветивается картинами незабываемыми. Отсветы этих картин проходят по его помолодевшему лицу.

Я спрашиваю о походе Тойво Антикайнена — верно ли, что он составлял для него маршрут.

— Не маршрут, а несколько вариантов маршрута,— быстро откликается Федор Федорович.— Я лесничим работал, узнал карельские леса. А с белофиннами воевать трудно, они в лесах, на болотах, среди озер — дома. И лыжники первоклассные. Значит, Антикайнену надо было перехитрить их и провести свой отряд там, откуда его никто не ждет. Боевые условия могут быть разные. Поэтому мы и наметили варианты. А уж в походе он сам решал как идти. Результат — блестящий!

Мне уже надо было уходить, когда Федор Федорович спросил свежим, счастливым голосом:

— А вы знаете, что в Отечественную войну был повторен Видлицкий десант? И тоже успешно!

— Да, видела карту с планом операции. Очень похоже! Мне говорили, что в Видлице торжественно отмечали годовщины обоих десантов?

— Да,— как-то вдруг потускнев, ответил Машаров,— пятидесятилетие первого и двадцатипятилетие второго.

И тут выяснилось, что его.. забыли пригласить. Во всех музеях, во многих книгах помещены его портреты, биография, сведения о его роли в проведении Видлицкой операции, а пригласить забыли! Правда, девочки из видлицкой школы, красные следопыты, написали ему: приезжайте к нам на празднование годовщин! — но как пускаться в путь в его возрасте по приглашению детей, если организаторы торжеств не зовут?..

— Ну, ничего. Может, не думали, что я жив.

Он вышел проводить меня. Прямой, подтянутый, уже преодолевший недолгую горечь. Военный человек с сосредоточенным взглядом шахматиста.

* * * * *

Лучшая из аудиторий — студенческая, да и вообще молодежная. В зале полным-полно, а тишина — слышно, когда скрипнет стул. Зато уж если скажешь что-нибудь смешное, смех покатится из конца в конец — без удержу. А дойдет до вопросов — записки так и летят, и каких только вопросов там нет, в этих листках, вырванных из тетрадей и блокнотов! Тут все — и юное любопытство, и страстное желание докопаться до наиглавнейшей правды жизни, и «учебные» цели (это у студентов филфака), и, уж конечно, несколько вопросов «с подковыркой»: прочитаешь этакую «подковырку» вслух, и вся аудитория замрет — как-то выкрутишься? Но если иной задира перехлестнет, зарвется, сразу поднимется гул неодобрения.

На встрече в Петрозаводском университете все это было, я отвечала и краем глаза поглядывала на председателя встречи, проректора Михаила Ильича.

Председатели на таких встречах бывают двух родов: одни — я их окрестила «регулирующими» — настырно руководят порядком, больше всего боятся острых вопросов и, если за ними не следить, иную неудобную записку отложат в сторону; другие радуются, когда собравшиеся ведут себя непринужденно и возникает острый разговор о том, что волнует молодежь.

Михаил Ильич радовался, слушал с интересом, сам смеялся, если по залу прокатывался смех,— он жил вместе с аудиторией. А я все старалась припомнить, почему он мне знаком. По годам юности? Да нет, он значительно моложе. И вдруг сообразила: он представился — Шумилов. Это же тот самый М. И. Шумилов, доктор исторических наук! Он занимался историей революции на Мурмане и выступил в печати с критикой неверной концепции своих предшественников в отношении мурманских организаций, а также роли и обстоятельств гибели моего отца.

— Я давно хочу с вами встретиться,— сказала я после окончания вечера.

— Я тоже,— ответил он,— в Ленинграде собирался позвонить вам, но постеснялся отрываться от дела.

...И вот мы у него дома, он знакомит меня со своей женой, она научный работник, экономист, милейший, жизнерадостный и энергичный человек, трое детей самого неугомонного возраста то убегают

по своим делам. то прибегают со двора, похватывают чего-нибудь наскоро и убегают снова. Не нужно особой наблюдательности, чтобы понять: тут — семья, семья в полном и лучшем смысле слова, с дружбой, теплом и взаимопониманием.

Ужинаем в уютной кухне. За окном — крыши, крыши, а за ними — синеватая полоска Онеги. Под окном гомонят ребята и пощелкивают шарики настольного тенниса. Северная весна все продлевает, продлевает день — уже десятый час, а светло.

Разговор шел на самые разные темы, мне было приятно и интересно с хорошими людьми, и я уже почти наверняка знала ответ, когда наконец-то спросила:

— Скажите, Михаил Ильич, как это вышло, что вы отвергли существовавшую тогда оценку роли Кетлинского?

Он улыбнулся и сказал:

— Понял, что она неверна.

Затем он рассказал: было трудно, когда начал собирать материалы для диссертации, принял то, что писали до него, никаких сомнений не было. Но, читая документ за документом, увидел, что предшественники обходят очень важные документы, представляют события однобоко. Скажем, обнаружил он протокол объединенного заседания Центромура и Совета от 29 ноября 1917 года, где Самохин поставил вопрос о главнамуре. Казалось — находка! Никто еще не заметил этого протокола, полностью опровергавшего утверждения ряда историков!

Михаил Ильич как-то стыдливо поежился:

— А потом увидел, что используют начало протокола и обходят все самое главное: мнение аскольдовцев о Кетлинском, решение оставить его главнамуром...

Долг ученого заставил его проверять, сопоставлять, читать и перечитывать знакомые документы и свидетельства современников... Документы и свидетельства заговорили, события и люди стали проясняться и оказались совсем иными, чем их трактовали, зато гораздо более характерными для революционной эпохи. Так сложилась новая концепция, которую он был готов отстаивать на защите своей диссертации.

— И как прошла защита?

— Разумеется, была и критика моей точки зрения. Но я подготовился к ней. Помогла вся совокупность документов, вы их знаете, они убедительны и опровергнуть их нечем.— Он улыбнулся.— Правда тем и хороша, что она правда.

Я спросила, выльются ли его исследования в книгу.

— Да, конечно. Пишу, и сроки поджимают. Но... проректорство!

Когда я шла домой по опустелой улице под медленно темнеющим небом, я думала: как хорошо для студентов, аспирантов, преподавателей, что у них такой проректор! И как все же обидно, что Михаила Ильича назначили проректором, отнимает эта работа уйму времени и сил, а ему бы без помех отдаться исследованиям, ведь он обладает главным качеством ученого — он ищет истину.

.....

Размахнулась Ладога серой шевелящейся громадой почти на всю окружность горизонта, все меньше и дальше полоска берега, ветер порывами, упругими как мяч, щелкает в спину, разгульная волна раскачивает рыболовецкий катерок,— хорошо! Моя душа, с детства пристрастная к морю, взыграла, будто Ладога и впрямь море неоглядное, вот и чайки режут воздух белым крылом, баражируя над нашим

катером и над приметными то ли домиками, то ли буйками, не знаю, как их называют, эти белеющие тут и там бугорки, обозначающие заброшенные сети. Спросить название не догадалась, а вот что чаек маловато, заметила и знаю почему. Утром побывала в Видлицком звероводческом хозяйстве, где под длиннющими навесами в два ряда крутятся в своих клетушках тысячи норок всех расцветок — белых, рыжих, жемчужных, а над рядами кормушек вьются сотни чаек — если зазевается норка, утащут ее обед, а то подберут на земле всякие остатки, норок кормят на славу.

— Ничего,— смеется моторист, которому я рассказываю об отхожем промысле чаек,— будем выбирать сети, все тут окажутся. Они за двумя расписаньями следят.

Холодяга жуткая, меня греет только предельная, до отвала, сытость. Такой уж у меня спутник, предупредительный и заботливый — Виктор Степанов, олонецкий комсомольский секретарь. На мою удачу, он видлицкий уроженец, привез меня в Видлицу прямо к маме на калитки. Мне очень хотелось снова отведать настоящих карельских калиток, Виктор по телефону предупредил мать, и хлопотливая Александра Степановна напекла их целую гору; это был изысканный вариант калиток, в тесто добавлены белая мука, яйца и молоко, пшеничная начинка тоже распарена на молоке, масляная корочка нежная и румяная — то да не то, но до чего же вкусно! Сколько мы их съели, сидя за самоваром, не знаю, но подвижность моя уменьшилась и походка приобрела не свойственную мне степенность. А Виктор хотел после визита к норкам вести меня еще и в столовую — обедать. Но тут и я взмолилась, и Александра Степановна запротестовала:

— Ну какой там обед, в столовой?! Корюшка же пошла! Вон целое ведро корюшки, нажарю сковороду, разве не лучше?

Корюшка пошла!.. И правда, что может быть лучше жареной корюшки, да еще приправленной воспоминаниями!.. Надо ли говорить, что сковороды оказалась громаднейшей. А тут подъехал хозяин дома, Николай Егорович, и, как я ни отговаривала его, слетал на велосипеде в сельпо и привез бутылку вина, правда, из уважения к моему полу и возрасту красного и сладкого. Но все вместе — корюшка, калитки и вино — было славно, и сама атмосфера дома была славная, и мало что напоминало крестьянские дома, в каких мне приходилось бывать здесь же полвека назад. Дом-то такой же, с крытым двором и пристроенными сбоку сенями-крыльцом, на крытом дворе квохчут куры, но парадная комната дома разделена искусно обработанной раздвижной стеной (два сына хозяев — студенты-строители, архитекторы), на шкафах и книжных полках стоят модели кораблей (Виктор увлекался, когда учился в здешней школе), на стене — портрет старой женщины (один из сыновей нарисовал бабушку, ну, как живая — так говорит Александра Степановна). Николай Егорович — человек бывалый, воевал всю Отечественную, дважды попадал в плен и бежал, большую часть войны партизанил в Белоруссии. Теперь он председатель сельпо. И ворчит на потребителей, хотя, видимо, гордится их запросами, и все это высказывается характерным северным говорком, с частыми «значитца».

— Значитца, раньше покупали велосипеды, а теперь каждый покупает мотоцикл, и не какой-нибудь, а давай ему «Яву». На автомобили тоже спрос, если бы нам отрядили их сюда — продавать сколько, значитца, отрядили бы, столько б и расхватали в один день. Зарабатывают у нас хорошо, особенно механизаторы и звероводы, у девушек-звероводов после осеннего пушного аукциона большие премии, и каждой, значитца, подавай импортную обувь, разные английские

или югославские сапожки. Ну, значитца, купила одна такие щегольские сапожки и пошла на ферму, дождь, грязь, за два дня сапожки, значитца, разъехались, так она прибежала: достань еще такие же!..

После обеда Николай Егорович заторопился на работу, а мы поехали на Ладогу, но по дороге решили завернуть к одной старушке, бывшей комсомолке двадцатых годов, — хотелось выяснить судьбу Терентьевых — Матери, Тани и Гоши.

Я сразу узнала тот ряд домов над рекой, где жили Терентьевы, но теперь в селе не было никого с такой фамилией. Старушки мы не застали дома, принял нас ее старик, ввел в дом, усадил, расспросил кто да что, но сам ничего не мог припомнить, потому что приехал в Видлицу позже, а про жену с доброй насмешливостью сказал, что она «побежала в обход», вроде «утренней газеты», за новостями, и пока не обегаёт половину села и не узнает все новости, до тех пор домой ее не жди, не может она без новостей ни съесть, ни хозяйничать.

Ждать ее из обхода мы не стали. Присоединившийся к нам председатель сельсовета Алексей Иванович Семенов перебрал в памяти своих сельчан и повез нас на другой конец села к Анне Михайловне Силиной, тоже бывшей комсомолке и одной из главных сельских активисток. Анна Михайловна нянчила внучку и жаловалась, что болят, отказывают ноги, но когда мы спросили про Терентьевых, сразу вспомнила:

— А-а, Терентьевы! Палоккахат!

Снова это загадочное слово, слышанное еще в юности! Что же оно значит — палоккахат? Оказывается, погорельцы. Но я не помню, чтобы Терентьевы пострадали от пожара, жили они в своем, достаточно старом доме.

— А это не имеет значения, — беспечно откликнулась Анна Михайловна. — Может, погорели деды или прадеды, а кличка прилеплась.

Мать умерла давно. Про Ёшу она ничего не слыхала, а Таня вышла замуж... да, его звали Мишкой, Михаилом, фамилия, кажется, Пиккорайнен или похожая. Из Петрозаводска. Адреса она не знает. Если бы съездить в Петрозаводск, нашла бы по памяти и улицу и дом, а почтовый адрес и точная фамилия были ей ни к чему... Эх, Таня-Танюша, по таким данным тебя не разыскать, может, сама отзовешься?!

Анна Михайловна хотела, как полагается гостеприимной хозяйке, угощать нас чаем, но мы поспешно откланялись — куда уж еще!.. Промелькнул знакомый путь по окраине села и через лес (именно тут Подумай-ка с горечью говорил, что равенства в таланте и авторитете быть не может, и о пустомелях, и о том, что «есть совесть, так проверку себе устраиваю: что я такое?»). Дорога пошла петлять среди дюн, поросших соснами, тут и там виднелись домики — покрупней и понарядней прежних, и так же неожиданно, как и раньше, распахнулся темно-серый взбаламученный простор Ладоги, и дунул в лицо разбежавшийся на просторе влажный ветер, а с ним — запахи воды, гниющих водорослей, рыбы, мокрого песка — неповторимый запах побережья. Все было такое же, как тогда, и немного другое — ноги вязли в рыхлом песке, но на месте развалин старого завода встал завод рыбоконсервный, где в парной духоте, пропитанной стойкими запахами сырой рыбы, обрабатывают корюшку, лосося и даже получаемых из Мурманска треску и скумбрию. Устье реки Видлицы было так же забито сплавным лесом, и так же сколачивали его в прочные

плоты для долгого путешествия по коварной Ладоге. И рыбаки, пришедшие с озера, выгружали трепещущую серебристую корюшку, только ходили они за нею не в старых лодках, а на моторных катерах.

На одном из катеров нас ждали, чтобы выйти... чуть не сказала — в море!.. выйти на Ладогу и оттуда с места, где стояла флотилия Панцержанского, поглядеть, где высаживались десанты. Признаться, мне это не было необходимо, я и на берегу, припомнив карту с обозначениями Машарова, ясно представила себе, где стояли суда, где был белофинский штаб и батареи, где высаживались десантники. Да и не собираюсь же я писать исследование военной операции! А вот выйти на взбаламученный простор Ладоги, подышать ее упоительно-вольным ветром...

— Придется подождать,— почему-то заговорщицким шепотом сказал Виктор.

На катере началась суета, из каюты вымахнул здоровенный парень с грязными мисками и, перегнувшись через борт, начал до блеска отмывать их в реке, другой парень вынес из каюты газету с обедками и смахнул их в воду мгновенно налетевшим чайкам. Моторист катера подошел знакомиться, пригласил отведать ухи из лосося и тотчас юркнул по трапу вниз, в каюту,— вероятно, кинуть хозяйский взгляд, все ли там ладно.

Съесть что бы то ни было еще я не могла и попробовала искать защиты у своего спутника, но Виктор в первый и последний раз защитил на меня:

— И не думайте отказываться! Обидите! Специально для вас варили!

Уха была прямо-таки из крыловской басни: душиста и жирна, подернута янтарным гляncем, и в каждую миску был положен огромный нежно-розовый, легко расслаивающийся кусок лосося. Я предупредила, что съем только маленький кусочек. Съела. Отломил еще кусочек. И еще. И съела все дочиста. Так что конец вышел не по Крылову.

И вот — Ладога.

Мы идем от видлицкого берега прямо на запад, и где-то там, в невидимой дальней дали,— маленькая храбрая Корела, теперь — крупный порт Приозерск. Если взять немного южнее, в каких-нибудь ста двадцати километрах от него — Ленинград, навеки родной город, земля, с которой вместе мерзла и голодала. Как мы молились в блокаде на Ладогу, как мы бредили ею, защитницей и спасительницей! Вверяли ее волнам и льдам своих матерей и детей — вывези, спаси! Благословляли и хранили как могли узенькую, изрытую бомбовыми воронками, трещиноватую ледовую дорогу среди торосов и сугробов — Дорогу жизни, по которой страна нам слала все, что могла выкроить для нас,— и снаряды и хлеб, «сто двадцать пять блокадных грамм с огнем и кровью пополам»... В июле 1942-го, вывезя в тыл двухлетнего Сережку, я летела через Ладогу домой, в осажденный Ленинград. Самолет был военный, прямо передо мною торчали ноги стрелка, принявшего к турельному пулемету, а под нами были зловеще-серые волны Ладоги, и на этих волнах покачивались почернелые от огня и дыма обломки баржи, одной из тех, что везла нам спасение — и не довезла. А самолет наш вдруг резко пошел вниз, на бреющем, на бреющем — над самыми волнами, закрутился со своей турелью стрелок, весь напряженный готовностью к бою, я прикинула к окошку и увидела — высоко в небе и чуть поодаль сопровождающие нас истребители ведут бой с несколькими «мессерами» — о, знакомые

хищные очертания этих «мессеров»!.. А мы все прижимались, прижимались к бурно дышащей Ладоге, сливаясь с нею... потом совсем рядом — кажется, рукой достанешь! — замелькали верхушки сосен, мы и к ним прижимались, стараясь раствориться в их защитной зелени... Но вот поле, затухающее движение колес по земле,— Ленинград. И первый ленинградец, все равно кто,— ленинградец! «Какие новости в Ленинграде, товарищ?» — «Милиционер появился на углу Невского и Садовой в белых перчатках!» Разве такое забудешь?!

Странно, почти невысказано, но многое, пережитое тогда среди неслыханных бед, вспоминается как счастье. Счастье преодоления?.. Счастье полного использования всех сил и возможностей?.. Счастье безостаточного слияния личной судьбы — с общей?..

Вот с этого видлицкого рубежа так и тянет взглянуть в прожитые полвека. Не я ли еще в детстве, тяготясь монотонностью благополучного существования, повторяла как заклинание: «Таких две жизни за одну, но только полную тревог...» Что ж, вот и получила полную тревогу, бед, труда, боев, любви, разлук, горя — ну, всего, что в целом и есть ж и з н ь. И если не это, что же оно тогда — счастье?! Да разве я променяла бы свою бурную, трудную, со всеми ее тумакми и потерями — на тихую, безмятежную? Нет. Даже теперь, когда я до конца узнала, как это тяжело, изменила бы я хоть что-то в решениях, принятых здесь, в Видлице, в бессонный рассветный час? Нет.

— Глядите,— сказал моторист.— Я ж говорил, за двумя расписаньями следят.

Поглядела — режут, режут воздух белыми крыльями сотни чаек, грудью принимают удары ветра и гортанно переговариваются между собой: пора бы рыбакам выбирать сети, пора бы, пора бы!..

...А вечером была встреча с видличанами в помещении новой школы, в просторном зале, где обычно бегают на переменках, делают зарядку, проводят пионерские линейки. В этот вечер зал тесно уставили скамьями, а для почетных гостей и опоздавших все носили и носили стулья из учительской, из классов, из кабинетов директора и завуча. Впереди сплоченной стайкой уселись мальчишки и девчущки, директор сказал: наш десятый, выпускной класс! Младших школьников пускать не хотели, но разве их выгонишь, если они хотят туг быть — в своей-то школе! Они уместились на подоконниках, на полу — где придется.

За долгую литературную жизнь я привыкла к выступлениям перед читателями, но встреча на встречу не похожа. Бывает, говоришь все то же, а какой-то холодок то ли в тебе самой, то ли в зале, полного контакта нет, и надо перебарывать эту отчужденность — устаешь, как от тяжелой работы. А иногда сразу, с первой минуты, из зала к тебе и от тебя в зал идут добрые токи доверия и сердечности, как они возникают, не знаю, но тогда говоришь легко и с удовольствием, мысль течет свободно и слова для ее выражения приходят сами, без пустот, так что крамольные «так сказать» не срываются с языка. Встреча в Видлице была именно такой, и неожиданно для себя я как бы исповедалась перед теми, кто слушает, и перед собою — давнишней и сегодняшней. Вряд ли кто-нибудь заметил эту исповедальность, я шутливо рассказывала о шестнадцатилетней комсомолке, добравшейся в Видлицу по весенней распутице с важным заданием «укрепить работу», в забавных местах рассказа все смеялись, а потом с интересом слушали о том, как та же девчонка поехала в Питер учиться — постигать разные науки, а еще больше науку жизни и борьбы, и как она стала писать о том, чем жило ее поколение, и о людях, борцах и делателях, которые ей дороже всего. Вероятно, ничего

особенного я не говорила, но я выбирала темы, нужные мне самой, я отвечала на свои собственные сомнения — те, на набережной Невы в белую ночь, и утверждала свое — да, каждый идет своим путем, каждый таков, каким его сформовала и закалила жизнь, и самое страшное — изменить своему пути и своей душевной сути, тогда — конец, тогда лучше лечь и помереть. Кому я говорила? Читателям? Себе? Или вот этим мальчишкам и девчонкам, завтрашним выпускникам, которые — пойдут ли они в звероводы и механизаторы или поедут учиться на агрономов, врачей, педагогов — скоро-скоро начнут постигать главную науку — жизнь?

По окончании беседы, как повелось, прихлынули любители автографов. Растолкав мальчишек, первыми окружили стол девчушки. Моих книг почти ни у кого нет, протягивают что попало — учебник, блокнот, тетрадку по физике... У одной спросила, кому надписать, чтобы автограф не был безымянным, это понравилось, протягивая какой-то листок, вторая сама отчеканивает имя и фамилию, да так бойко и радостно, что я поднимаю глаза от ее листка, — ну и славная же девчушка, ну и бедовая, наверно!

— А лет сколько?

— Шестнадцать! — И запнувшись, из честности добавляет: — Скоро будет.

Как удары звонкого колокола — шестнадцать! Скоро! Будет!.. Да неужели ж я была тогда вот такую, как эта девчушка?

Вглядываюсь в ее ребячливое лицо, а в глазах у нее так и прыгают огонечки, веселые чертики. Куда они поведут тебя, девочка? Как бы я хотела заглянуть в твою душу, детскую и уже недетскую, и узнать, как ты прошагаешь по жизни! И о чем уже сегодня мечтаешь и тревожишься, чего хочешь от себя самой, настиг ли уже тебя, шестнадцатилетнюю, беспощадный час переоценок и решений, рассветный час, когда с трезвой ясностью судишь себя? О чем ты думала в этот час, а если он еще впереди — о чем будешь думать, бедовая, в свой рассветный час?

Конец первой книги



О ЧИЕ РЖИ НАШИ ИХ ДЖЕ Й

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

ГАЛИНА ФИЛЯШИНА,

бригадир комсомольско-молодежной бригады

★

МОЯ БРИГАДА

Плыла я в Набережные Челны на пароходе. Настроение такое... Ну, как бы сказать? Все, думаю, это в последний раз! Буду жить как люди. Пароход в Челны рано утром приходит, ночью сидела на палубе, смотрела, как звезды падают. Не каждую ночь не спишь, сидя на пароходной палубе. Мне казалось, что звезды особенно густо падают.

Выгружались с парохода в темноте. Поднялись от Камы по улице в город. Город черный, деревянный. Автобусы мимо идут, таблички на них какие-то странные: «Вахта». Поднимаем руку — они не останавливаются. Нам объяснили, что нам нужен маршрутный автобус, а «вахтовые» развозят рабочих. На маршрутном приехали в центр прямо к отделу кадров. Посмотрела я — шесть часов утра, а столовые открыты и отдел кадров уже работает. Возле отдела кадров толпа с чемоданами человек в двести — триста. В такой толпе быстро знакомишься — у каждого свои вопросы, свои надежды. Я позавтракала в соседней столовой, и моя очередь подошла. А в отделе кадров как только прочли в моей трудовой книжке, что я штукатуром работала, так сразу и вцепились в меня:

— Направим тебя в Жилстрой.

А это была самая первая моя специальность, и так у меня с ней все плохо получилось, что я думала никогда в жизни к ней не возвращаться. Штукатуром работала на строительстве Иркутской ГЭС. В пятьдесят четвертом году после десятого класса собралась и поехала туда, как теперь в газетах пишут, «по зову сердца, по комсомольской путевке». Мать меня не удержала, и классная руководительница не уговорила: «Тебе учиться надо, у тебя светлая голова». А мне хотелось в Иркутск. В классе у нас было такое «течение» — ехать в Иркутск. Приехала, а ГЭС так и не увидела вблизи. Это только пока едешь на стройку, думаешь, что будешь строить гидростанцию или автосборочный, а когда приезжаешь, оказывается, что люди нужны совсем в другом месте. Направили меня дома строить в поселках Мельниково и Лесиха. И сразу мне там так тяжело и неуютно показалось, что скоро по дому затосковала. И не то чтобы работа особенно тяжела — я этого уже тогда не очень боялась, — просто страшновато было жить одной молодой девчонке.

Вернулась в Свердловск, мать думала, что я учиться поступлю, а я пошла к своему дядьке в цех на Уралмашзавод. Пропустили меня к нему, а я по заводу целый день ходила, присматривалась. Решила на заводе остаться. Тогда там осваивались прогрессивные методы электросварки, и я решила стать электросварщицей. На учителей и руководителей мне необыкновенно повезло. Уралмаш — завод огромный, там и конструкторские бюро и научно-исследовательский институт.

Преподавали нам знаменитые люди, которые сами разрабатывали и внедряли эти новые тогда методы, они сами легко зажигались и зажигали нас. Бывают люди, которые любят свою профессию, а, например, наш инструктор производственного обучения Георгий Лукич Усенко своей профессией жил. Он различал швы «профессиональные», «чистые» и «благородные». Сам он делал только благородные швы. Начальником смены у нас был молодой инженер Николай Иванович Рыжков. Через несколько лет он стал директором Уралмашзавода. Как-то во время первомайской демонстрации он шел во главе колонны, а мы с мужем смотрели на уралмашевцев с обочины тротуара — я тогда на другом заводе работала. Николай Иванович узнал меня, подошел и спросил:

— Ну что, Галина, ты все кипишь? Ох и было у меня с тобой забот!

Когда у нас на КамАЗе заговорили о том, что стройке не хватает нескольких позиций металла, я даже хотела написать ему на Уралмашзавод. Неужели не ответил бы рабочему человеку? Но не написала.

13 июля 1970 года в отделе кадров КамГЭССтроя я получила направление в бригаду штукатуров, а квартиру мне определили в деревне Верхние Пенячи, в 30 километрах от Набережных Челнов. И это еще можно было считать удачей, потому что другим на работу приходилось ездить за 50 и 70 километров. Все деревни вокруг Набережных Челнов в радиусе 50 километров были заселены строителями.

И в бригаде меня встретили не очень-то ласково. Бригадир Маша Шишкина, не глядя на меня, взяла направление и сказала начальнику участка, как будто меня тут не было:

— Присылают! Своих не знаешь чем кормить! Фронта работ не дают! Куда я их дену?

И пошла! Я слушала, слушала, вижу — роток у нее дай боже, и говорю ей:

— Ты что, мать моя, кричишь? Я к тебе не в батраки пришла наниматься. Ты все это скажи в другом месте, где толк от этого будет. А при мне зачем кричишь?

Она и замолчала. Удивилась. А была она из тех бригадиров, которые горлом берут. Четыре класса образования, напор такой, что кто-то испугается, а кто-то даст, чтобы отвязаться. А работу она организовать не могла. Я это сразу увидела. И еще одна у нее привычка была — закроет наряды по 2 рубля 60 копеек и молчит. Никому в бригаде слова не скажет, как будто ее же кто обидел. Бросит наряды прорабу на стол, а сама уходит на больничный.

И в бригаде не коллектив — группа людей. Саратовские жмутся к саратовским, горьковские к горьковским, из бригады в бригаду норовят перейти — ищут, где лучше. Один горьковский перейдет — других перетягивает. Не чувствуют, что все от них самих зависит. Не понимают еще этого.

Каждый день на работу я ездила «вахтовым» автобусом. Общежитие в Набережных Челнах мне пообещали один раз, а потом еще пять раз обещали:

— Приди в понедельник... Приди в пятницу...

Я пришла один раз, пришла второй, а потом сказала заместителю начальника отдела кадров СМУ Бокареву:

— Вы что меня, как семнадцатилетнюю девчонку, гоняете? Приди сегодня, приди завтра! Вы мне скажите один раз: «Приди через два месяца. Скажем, десятого сентября». И я вас за это время ни разу не потревожу. И у меня и у вас голова не будет болеть.

У него, конечно, было много забот. Каждый день приезжали десятки и сотни людей, и всех надо было устроить. Но меня он запомнил. У нас с ним потом неплохие отношения установились.

Шишкиной я сама сказала:

— Поставь меня в пару к кому-нибудь, у кого я могла бы поучиться. Я уже давно с раствором не работала.

Она меня поставила с опытным штукатуром Верой Волковой. Я у нее многому научилась. Мы с ней до сих пор дружим.

А на первом же партийном собрании — в партию меня приняли в 1964 году — я выступила. Думала, рано мне выступать, новичок я на этой стройке, но не удержалась, не смогла. Насмотрелась за это время на «бородатые» объекты, на то, как трудно достается фронт работ. Никто меня не знал, фамилию еще правильно не могли произнести. А я сказала:

— Мои родители строили Уралмаш. Отец мой говорил, что я «открывала» роддом. Но мы-то не строители тридцатых годов. Даже не пятидесятых. Стыдно нам эксплуатировать энтузиазм. Время не то. Нет газеты, которая не писала бы о научной организации труда. Можно ли представить себе тот же Уралмаш, который бы так лихорадило? А где у нас эта организация? Чем мы, строители, хуже?

А я люблю говорить на собраниях и в газете охотно выступаю. Если я не скажу или не напишу, мне это все равно покою не дает, в голове крутится. Я знаю, как люди на собрании от живого слова оживают. Сонное выражение пропадает, толкают друг друга: слышал, мол?

Меня заметили, стали посылать на конференции строителей:

— Скажи им, Галина, по-рабочему!

С Шишкиной у нас отношения все хуже. Зарботки низкие. Смену в любой бригаде колышет: кто-то заболел, та в декретный отпуск ушла, эту родители домой вызвали — дело житейское. Но нас просто лихорадит. А в бригаде не пять, не десять, а сорок человек. И все разные. Вместе бригада работой держится. А мы штурмуем, а не работаем. Но оно ведь и штурмовать можно только тогда, когда коллектив дружный. А Шишкина ни с плотниками, ни с каменщиками, ни с управлением малой механизации, ни с нами договориться толком не может. И у всех к ней претензии. Я ругаю девчонок:

— Вы с ней давно работаете, почему не поговорите, требований своих не предъявите? Шумите, когда ее нет, а когда придет, воды в рот набираете.

А у них веры нет в свои силы, уверенности, что все можно изменить. Но все-таки решили с Шишкиной поговорить.

— Кто ее позовет? — спрашиваю.

Молчат.

— Ну, хорошо, — говорю, — раз вы такие, я пойду.

А мы работали на пятом этаже. Я спустилась вниз:

— Маша, зайди к нам, разговор есть.

Она пришла. Все расселись. Девочки на подоконниках, я на козлах. И все ждут, кто первый начнет. Она спрашивает:

— Что случилось?

Вижу, что мне надо начинать. Я и сказала ей все. Она изумилась — не ожидала, что вопрос можно так ставить. Ее-то, может быть, и винить было нельзя. Она так работала, другого себе не представляла. И покатила Маша на меня такие слова, что повторить их нельзя.

— Тебе бригада нужна? Бери ее! Пробуй!

Я и сама такие слова знаю, но это же не для такого разговора. Я говорю:

— Ты что на меня свою собаку спустила? Ты лучше послушай, что тебе другие скажут.

А тут девочки зашевелились. Вначале одна, потом вторая. Шишкина-то умела людей обижать. Она только поворачивалась к ним. Их слушала, но винила только меня. Ушла, ничего на себя не приняв, ни в чем не повинившись, пообещала разговор этот повторить при большом начальстве. Несколько дней ее не было — то ли болела, то ли просто в бригаде не появлялась. А работать каждый день надо, и получилось как-то так, что бригадирские обязанности девочки переложили пока на меня. Не очень-то это хорошо получилось, как будто Шишкина оказалась права, будто я этих бригадирских обязанностей добивалась. А тут она пришла и привела с собой начальника СМУ, прораба, и разговор этот прямо на работе и повторился. Но тут уж я молчала, а девочки говорили. Осмелели они за эти дни, уверенность у них появилась, Шишкиной они вспоминали такое, чего я и не знала, о чем и не догадывалась. Разговор получился не как на собрании — беспорядоч-

ный, женский. Работу для него прервали. Шишкина такие слова выдает, что мужики отмахиваются. И во всем меня обвиняет. Бригада, мол, мне потребовалась.

Бригадирская должность не выборная. Бригадиров назначают. Но тут начальник СМУ спрашивает девочек:

— Кого хотите бригадиром?

Они и назвали меня. Я отказывалась, но Шишкина совсем сдержанность потеряла и так разожгла и себя и меня, что я тут же согласилась. Начальник СМУ даже вздохнул облегченно, что все наконец закончилось. А я девочкам сказала:

— Хотите меня бригадиром? Тогда принимайте мои условия. Рабочую дисциплину я буду требовать самым жестоким образом.

Но ведь одно дело поставить условия, а другое — их выполнять. Сгоряча можно принять какие угодно обязательства, что хочешь пообещать, а я впервые в жизни стала бригадиром. Наряды закрывать ходила учиться к нормировщику. Работа у нас начинается в семь утра, а я вставала в пять, шла на растворный узел, чтобы обеспечить девочек раствором. Добивалась, чтобы к семи утра штукатурные станции на объекте работали. А станции эти различаются по мощности насосов — два, три, шесть кубометров в час. Мощные станции могут подавать раствор и на верхние этажи, а слабые и на второй этаж не подадут. Рукава забиваются, раствор приходится на носилках носить. Лестницы узкие, ступени крутые, народу по лестницам ходит много — не одни штукатуры в доме работают. А мощную станцию не так-то легко получить. Каждый раз с управлением малой механизации приходится воевать. И на растворном узле воевать приходится. Пока на стройке фронт работ — узкое место, бригадир слишком часто, пожалуй, приходится вступать в конфликты с начальством, отстаивать интересы бригады.

Есть бригадиры (у нас два таких нытика недавно уволились): им один раз откажут, второй — в третий они сами не пойдут. Боятся с начальством отношения портить. Боятся, что начальство любить не будет. Нет у них уверенности, что они не себе дом строят, не себе дачу делают. Они и начинают бригаду разогревать. Мол, я не пойду, а вы, ребята, идите, требуйте. Я считаю, это неправильно. Бригадир и поставлен для того, чтобы осуществлять связь между начальством и бригадой. Ведь как получается? За брак начальство с меня спросит. А заработка не будет — бригада с меня потребует.

Я иду к прорабу, а он мне говорит:

— Да мне уж сказали, чтобы я готовился. Филяшина идет!

Когда я приехала на стройку и стала всюду свой нос совать, меня не очень-то любили. История с Машей Шишкиной тоже не всем понравилась. Люди разное говорили. Особенно те, кто не знал положения дел в бригаде, кто со стороны смотрел. За выскочку меня считали, в лицо мне это говорили. Была такая первая волна:

— Тебе больше всех надо?

Они с палаток начинали, а я только приехала. И штукатуры были в бригаде такие, которых иначе чем талантами не назовешь. Маша Сулейманова, например. Как выглядит дом, в который входим мы, штукатуры? Лестницы, заваленные строительным мусором, полы в комнатах будут стелить после нас, а мы пока ходим по гидроизоляционному битуму. Пол черный, стены серые, множество недоработок. Маша входит в комнату хозяйкой. Работает так, будто ей в этой комнате предстоит справлять новоселье. Нет раствора — она готовит себе фронт работ: уберет мусор, что-то затрет, зашпаклюет, чтобы потом не отвлекаться, не останавливаться. В бригаде нас теперь 30 женщин и два парня. С ребятами всегда сложнее. Они всегда чего-то хотят, куда-то их тянет, а куда — они сами точно не знают. Я это очень хорошо вижу. Спрашиваю:

— Чего тебе?

— Я бы спортом занялся.

— Давай запишу тебя в лыжную секцию.

Отведу его раз, второй. Но ведь каждый день за руку водить не будешь. Строишь, а он уже куда-то подался. Женщины всегда лучше знают, чего они хотят, и в комнаты они входят хозяйками. Но у Маши Сулеймановой это по-особому получается. У нее, конечно, и опыт и мастерство. Но одной выучки тут мало, человек она цельный, добросовестный во всем, никакой мелочи не упустит, ничего другим не оставит. После нее чистота, как в больнице. Я девочкам говорю:

— Хотите посмотреть, как надо работать? Пойдите в комнату к Маше Сулеймановой.

И бригадиром она была бы прекрасным, а вот назначили меня. И конечно, ко мне присматривались настороженно. Но вот теперь прораб говорит: «Я готовился» — значит, уважает маленько.

Сейчас у нас начальником СМУ Рукин Николай Сергеевич. А тогда был другой человек. Человек он был квалифицированный, знающий, но угрюмоватый и разговаривать с рабочими не умел. Спросишь у него что-нибудь, а он буркнет: «Работать надо» — и пойдет. Особенно он не любил вопросы, которые его самого мучили. Он сам бы их кому-нибудь охотно задал, а тут у него рабочие спрашивают. Он и отмахивался. Но от меня так просто не отмахнешься. Про то, что «работать надо», это мы сами хорошо знаем. Я его за полу схвачу и держу:

— Почему не отвечаешь? Я тебе обезьяна, что ли?

Он видит, что не вырвется, остановится, начнет объяснять.

— Вот теперь хорошо.

А у меня свои заботы. Мне надо, чтобы бригада начала работать ровно в семь. Если девочки придут и сядут потому, что у них фронта нет, это на всем рабочем дне скажется. То, что с утра уходит на раскачку, отравляет весь день. 30 человек — и все разные. Даже сидят по-разному. У Маши Сулеймановой раствора нет — она все равно найдет себе дело. Но ведь и такие есть — языками сцепятся, потом их не растащишь. Я уже говорила, что бригада работой держится. Когда нам фронта не дают, я стараюсь, чтобы нам какую угодно работу нашли, это уж мое дело, как я ее потом сумею оплатить. И качества я от девочек добиваюсь не только потому, что работу у нас только качественную принимают. Качественная работа дисциплинирует, добросовестность воспитывает. Тот, кто заботится о качестве, и работает быстрее и устает меньше, как это ни странно покажется на первый взгляд. Качественная работа дает человеку удовлетворение, поддерживает в нем огонек. Тут мои интересы с интересами приемной комиссии полностью совпадают.

Я знаю, например, что кое у кого из моих штукатуров появляется соблазн побыстрее пройти санузелы. Мол, это не самая главная комната в квартире. Картину тут хозяин вешать не станет. Было бы прочно, а красиво ли, никто не заметит. Но я и тут девочкам спуску не даю.

— Будь хозяйкой, — вот что я им говорю. — Вошла в квартиру, будь здесь хозяйкой.

Трудно штукатурить стену за радиаторами парового отопления, особенно когда они горячие, но и здесь все надо сделать хорошо. Я, конечно, не могу сказать, что мы даем только отличное качество. Этого, к сожалению, нет. Но хотя, быть может, тут и не следовало бы на кого-то ссылаться, оправдываться объективными причинами, все же совсем их не заметить никак нельзя.

Строительство у нас гигантское, людей приезжает великое множество. Магазины, столовые, больницы, жилые дома нужны сегодня, завтра. Они были нужны вчера.

Бригадир, добивающемуся, чтобы штукатурный раствор с растворного узла был в первую очередь направлен в его бригаду, приходится доказывать, что объект, который ведет его бригада, самый главный. А что у нас не главное? И вот тут из главного начинают выбирать главнейшее. Вот мы делали дирекцию КамАЗа — остановили. У нынешней дирекции есть пока крыша над головой. Делаем родильный дом. Казалось бы, что главнее? Но родить пока можно и в старом челнинском роддоме. Главное ведь не это. Главное — куда ты придешь с ребенком

из роддома. Если его некуда принести, зачем было рожать? Главнейшее у нас — жилье. А самые большие наши враги — «бородатые» объекты. То есть дома, строительство которых по каким-то причинам заморожено. Плохая организация труда бьет прежде всего нас. Нет сегодня фронта работ — завтра придется штурмовать. Летний дом может стать зимним. Штукатурку можно класть только на стену, которая нагрета до пяти градусов. А если на улице минус тридцать? Зимы у нас суровые. Здания разогревают огнеметами — печами, в которых сгорает солярка. Зимой дом, в котором работают отделочники, можно узнать по этим огнеметам. Огнеметы ревут, гонят горячий воздух прямо в парадное. По одному огнемету на парадное. Однако здание может быть «вытяжным» — где-то разбито окно, открыта дверь. Еще что-то в этом роде. А летом другое. Кровельщики не успевают накрывать дома. Днем мы оштукатурили, а ночью дождь смыл нашу работу. Не только для самой работы, для самочувствия бригады всякий разрыв в технологической цепи — несчастье.

Скажу больше. Бригадирский характер тоже обстоятельствами воспитывается. Напор, который у Маши Шишкиной появлялся, когда она выбивала бригаде фронт работ, не от хорошей жизни. Меня ведь тоже многие считают грубой женщиной. И, признаюсь, разговаривать приходится иногда так, что и кулаком по столу начальника стукнешь...

Когда Николая Сергеевича Рукина назначили начальником нашего СМУ, он собрал всех нас, чтобы поговорить об этих проблемах. Обещал работать в контакте с нами, бороться с обстоятельствами, которые и порождают «бородатые» объекты. Приятно, когда руководитель хорошо говорит. Николай Сергеевич — человек молодой, энергичный, он нам понравился. А это не такое уж маловажное обстоятельство. Я тогда выступила и сказала:

— Приятно, что наш новый начальник оптимист. На нас он может положиться. Но мы знаем, как быстро на стройке повышают способных людей. Так пусть пообещает нам, что он от нас не уйдет.

Это, конечно, была шутка. Но ведь действительно очень важно, чтобы строители знали своих руководителей и доверяли им.

У нас в бригаде доверие стало устанавливаться после того, как я в первый же месяц закрыла наряды по 7 рублей. 7 рублей и 2 рубля 60 копеек — это такая разница, которую каждый способен оценить. А через год я смогла закрыть наряды своим девочкам по 14 рублей. Они шутят:

— Галя, через год ты опять зарботки удвоишь?

А я отвечаю:

— Все зависит от того, как будем работать.

Когда я хвалю своих девочек, то хвалю до слез. Однако и ссориться мне с ними случалось до сердечных приступов.

Вообще бранные слова на стройке, к сожалению, приходится слышать часто. В доме рядом с нами работают плотники, кровельщики, сантехники, механизаторы. Услышать тут можно всякое. Я никому спуска не даю. Какому-нибудь такому сквернослову я говорю:

— Ты ж, негодяй, дома небось дочери своей говоришь, что «дура» — слово ругательное. А тут что себе позволяешь? Тут — не дома? Тут ты не видишь, что рядом с тобой работают девочки, которые не старше твоей дочери? На них у тебя отцовского чувства не хватает?

Многие прислушиваются. Но есть и такие, с которыми воевать приходится.

Хуже, что в такой обстановке мы и сами распускаемся. И может быть, хуже всех тут выгляжу я. Мне-то чаще других приходится воевать за интересы бригады. У нас был даже такой договор: кто выругается, тот лишний квадрат штукатурит. Так девочки мне говорят:

— Тебе, Галина, надо весь КамАЗ оштукатурить.

Однако ссоры у нас, конечно, не из-за этого бывают. Однажды я в три часа дня захожу в комнату, где работает Рамзия Валеева. Вижу, она уходит уже собралась, а раствор из растворного ящика не весь израсходован.

— Что ж ты делаешь?

А три часа — это конец смены. Оставить раствор в ящике нельзя, закаменеет. А она его оставляет.

Я ей сказала все, что о ней думала. Заставила работать до тех пор, пока раствор не кончится. В тот раз она обиделась на меня. Когда мне пришлось уехать в командировку, я ее за себя оставила. Она походила на растворный узел, почувствовала, как мне этот штукатурный раствор каждый день достается, и сказала мне:

— Ой, Галина, ты была права.

Но я ей этого так не простила. Когда я составляю ведомость на зарплату, я учитываю не только разряды штукатуров, но и то, что у нас называется КТУ — коэффициент трудового участия. Ведомость мы утверждаем всей бригадой.

— Согласна?

— Согласна.

— Подписывай.

Только после того, как все согласятся и распишутся, ведомость идет в бухгалтерию.

Валеевой я поставила самый низкий коэффициент трудового участия.

— Помнишь? — спросила я. — Правильно?

И она согласилась:

— Правильно.

Когда в бригаде заработки низкие, коэффициент трудового участия не очень мощный стимул. Но когда заработки растут, разница в оплате может достигнуть 30—40 рублей. А 30—40 рублей — это не такие деньги, которые могут показаться лишними. Раньше не одна Валеева оставляла к концу смены раствор. Теперь у нас никто не уйдет, пока в ящике есть раствор. Все очень хорошо чувствуют, что заработки в бригаде завясят от того, как работает каждая.

У меня спрашивают, бывают ли конфликты в бригаде, когда определяется КТУ. Не бывают. Все мы хорошо знаем друг друга. Можно ли притвориться, когда работаешь на глазах у 30 человек? Если вы принесли пять носилок, а я три, можно ли это скрыть? Самый высокий КТУ у Маши Сулеймановой — и все знают, что это только справедливо.

Я не считаю, что мелочная опека способствует укреплению дисциплины. Я могу «не заметить», если кто-то случайно опоздал. На КТУ это, во всяком случае, не отразится. Девушкам, живущим далеко, трудно добираться к семи утра на «вахтовых» или маршрутных автобусах. Если они опоздают, распутицу, плохую зимнюю погоду можно учесть им в качестве уважительной причины. Но когда Марина Абдрахимова каждый день приходит на работу позже меня, я ей снижаю КТУ, и она не возражает.

— Правильно? — спрашиваю я.

И она вздыхает:

— Правильно.

Мы с ней соседи по общежитию. Рассчитывать свое время Марина никак не может, однако цену деньгам она знает очень хорошо. Теперь это аккуратный работник, и я ей охотно ставлю КТУ 1,1.

Бывало и так, что разом подвергались испытанию мое отношение к бригаде и отношение бригады ко мне.

Работали мы на двух объектах. Половина бригады, в которой старшей была Маша Сулейманова, штурмовала потихоньку дом в поселке ЗЯБ — такое не совсем привычное уху слово получается от сокращения названия завода ячеистых бетонов. К Маше пожаловало самое высокое тогда на стройке начальство — Аркадий Владимирович Эгинбург. Когда он шел, всегда издали было слышно.

Девочки, конечно, заробели. Посетили их разом начальник участка, начальник городского строительства Юрий Данилович Чечин, Эгинбург — не каждый день это случается. Спросили меня. Меня не было. Тогда Аркадий Владимирович сказал, что нужно переходить на новый срочный объект. Недавно на стройке побывала высокая комиссия или ожидалась такая комиссия — я уж точно не помню, — нужно было сдавать комплекс, а столовая, детский садик не были еще го-

товы. Бросать незаконченным старый объект невыгодно. Но моя дисциплинированная бригада готова была забрать свои инструменты, мастерки и идти туда, куда посылают. Смущало девочек только то, что меня там нет.

— А как же без бригадира? — спросили они.

Но Эгинбург их убедил:

— Филяшина не будет возражать. Филяшину я беру на себя. Главное, темп. Главное, быстро переориентироваться.

Пообещал высокие заработки, и девочки пошли на новое место.

Эгинбург действительно увидел меня в тот же день и сказал:

— Галина, я немного нахулиганил. Перевел твою бригаду на другой объект. Без твоего согласия. Я, конечно, поторопился. Но дело не терпит. Дело срочное.

— Как, — сказала я, — и они перешли?

— Перешли.

Не могу передать, как мне стало обидно. Я бросилась на ЗЯБ. Гляжу, мои дурочки выносят мусор. Фронта работ им не дают, штукатурного раствора нет, так они сами себе работу находят, чтобы даром не сидеть. Кроме того, у них уже привычка выработалась — начинать только на чистом месте.

Увидели меня, смутились. Не было у них уверенности, как я на это посмотрю. А я им говорю:

— Думали, вытащили фант. А фантик-то пустой! Без меня переходили, без меня работайте. Вы больше не в моей бригаде.

И уехала. А у самой сердце не на месте. Думала, у нас уже полное взаимопонимание, доверие, а вот как получилось. Сами перешли, не стали меня разыскивать. Хотели бы — сразу бы нашли.

А мои девочки, когда я уехала, опять собрали свои инструменты и вернулись на старое место. И на следующий день вышли на старое место. Работают, молчат, ждут, что я скажу. Тут уж начальство стало меня теревить:

— Галина, переводи бригаду.

— Сами, — говорю, — переводите. Один раз без меня управились — управляйтесь еще раз.

Юрий Данилович Чечин мне говорил:

— Это же упрямство. Что ж ты воюешь с самим Эгинбургом? Конечно, получилось не очень хорошо, но бригаду все равно надо переводить.

Потом и Эгинбург извинился. Увидел меня как-то:

— Публично признаю, что был не прав.

Но я еще выдерживала характер, а потом перевела бригаду.

— Это у тебя вождистские настроения на бригадном уровне, — говорили мне.

Или:

— Женское упрямство.

Но, во-первых, я женщина и работаю с женской бригадой. А во-вторых, мы только начали чувствовать себя коллективом. Когда на стройке бригаду называют по имени бригадира, что-то же имеют в виду. Бригада Филимонова, бригада Шатунова, Пермякова. Бригада ведь не с начальником КамГЭС работает. И не с начальником строительства города. У нас свои проблемы, в которые ни Эгинбург, ни Чечин входить не будут. У каждого свои масштабы. Нельзя добиваться производственной дисциплины, игнорируя бригадира. Я так понимаю, что это прекрасно знал и Аркадий Владимирович Эгинбург. Поэтому он и терпел то, что другие называли «вызывающим поведением». Давал мне остыть, разобраться в своих бригадных делах. Хотя очень торопился и время на минуты считал.

Не знаю, как оценивать эту историю, но уверена, что бригаду она сплотила.

Это не значит, конечно, что у нас потом все шло гладко.

Бывали у меня и потом черные дни. Заканчивали мы дом, надо было штукатурить парадные. А работать на лестничных клетках всегда трудно. Люди ходят — не остановишь. Целый день — плотники, электрики, сантехники. Лучше всего штукатурить утром, еще до начала смены. Я договорилась в управлении малой механизации.

— Вы, конечно, цари и боги. Мы без вас как без рук. Дайте хорошую растворную станцию раствор на пятый этаж подавать.

Дали мне станцию, но сами рано утром приходиться отказались. Стала я за эту машину сама. Поработал мой агрегат немного, а потом не идет раствор наверх — и все тут! Насос как будто бы мощный, исправно качает. А раствор не идет — пузырится только. Билась я, билась. Кричала девчатам наверх:

— Что у вас там?

Они в окна выглядывают. Лица веселые:

— Не знаем.

Пошла я наверх посмотреть. А там девчонки просто перебросили шланг с места на место. В одном месте они закончили, он им мешал. Шланг и перегнулся пополам, загнулся так, что раствор не проходил. А им и горя мало.

Я тогда бросила все, ушла домой. Думала, вся жизнь моя на глазах у них проходит. Вся без остатка. Все для них отдаю, себе ничего не оставляю. А всю без остатка себя отдавать нельзя. В общем, как говорят в этих случаях, психанула. Вечером гляжу, ко мне идет делегация...

В общем, скоро нашу бригаду стали замечать и отмечать. 31 декабря 1970 года к дому, где мы работали, подошел автобус с радиоборудованием. Мы работали, а нам крутили музыку: «Концерт по заявкам штукатуров бригады Филяшиной».

И когда на стройке в начале апреля семьдесят первого года случилось ЧП, тоже к нам обратились.

А тогда в первых числах апреля в восьмом комплексе Набережных Челнов должны были сдавать много домов. Люди с ордерами на изолированные квартиры, на малосемейки, как у нас говорят, на общежитие сидели на чемоданах, ждали сигнала. А заселять дома нельзя — нет воды. Представляете, заселить дома, в которых не работает водопровод, не работает канализация! Огромные современные дома. Это значит сразу же их погубить, вывести из строя все коммуникации. Люди раздражены, их можно понять — так долго ждали, а тут такая неувязка, какая-то грандиозная нехорошая первоапрельская шутка! — из двух новых водозаборов ушла вода. Водозаборы эти были вырыты и забетонированы на берегу Камы. Два огромных железобетонных куба глубиной в шесть метров. Сквозь этот толстенный железобетон вода и просочилась. То ли ошибка в расчетах, то ли сделано что-то не так. Однако выяснять уже поздно. Можно себе представить, что испытывал в эти дни Юрий Данилович Чечин и другие руководители стройки. Решено было покрыть цементом, оштукатурить изнутри эти водозаборы. Пригласили из Нижнекамска опытную бригаду мужчин-штукатуров. Они взялись сделать один куб за две недели, но поставили условия: наряды закрывать по десять рублей.

Второй куб решили отдать нашей бригаде.

— Галина, — сказали мне, — по десять рублей наряды мы тебе не будем закрывать. Нижнекамцы эти просто используют наше затруднительное положение. Но мы надеемся на вашу комсомольскую добросовестность.

Повели меня на берег Камы, показали водозабор.

— За сколько дней сделаете?

Я заглянула в люк, а там такая гулкая, сырая темнота, такое пространство — никогда нам еще в таких местах не приходилось работать!

Я говорю:

— Дней за десять. Если бесперебойно будет идти штукатурный раствор, если мне не надо будет ругаться с плотниками и управлением малой механизации.

— Плотники уже работают, электричество проведено, раствор пойдет бесперебойно, но десять дней — это много. Шесть дней — больше дать не можем. Справишься за шесть дней — премируем, если, конечно, вода не уйдет... А вода уйдет...

В общем, положение у них, конечно, безвыходное, но вижу, не очень они нам доверяют. А тут нижнекамцы подошли, посмеиваются:

— Вот кто, значит, у нас будет напарником.

Собрала я бригаду, поговорила с девочками.

— Готовьтесь,— говорю,— утром выходить на водозабор. Фронт работ нам полностью обеспечат. К утру плотники поставят леса. От нас требуется прочность, выносливость и совесть.

Ночь мы просидели с комсоргом и профоргом бригады, считали, писали плакаты. Написали большой такой плакат: ДИП! Догнать и перегнать нижекамцев! А утром сказали Чечину:

— Вот наши встречные условия. Если вы нас всем будете хорошо обеспечивать, мы сделаем водозабор за трое суток.

А у водозабора собралось много начальства — ЧП! Мол, смотрите, сейчас это первоочередной объект — обеспечьте бесперебойную работу. И в этой группе огромный такой человек в сапогах. Он мне говорит:

— Нет, трое суток — это нереально. За трое суток вам такую площадь не освоить. Нам же не только быстрота, но и тщательность нужна. Иначе вода опять уйдет.

Я маленькая, в стеганке, в платочке, а он огромный, широкий, седой и дышит тяжело. Так я тогда впервые познакомилась с Евгением Никаноровичем Батенчуком, который сменил Эгинбурга. Евгений Никанорович руководил строительством Вилюйской ГЭС и оттуда приехал к нам на КамАЗ.

А я уже слышала о нем, и слышала только хорошее. Мне он тоже понравился.

— Вы,— говорит,— подсчитали, какую площадь вам придется оштукатурить?

— Считала.

— За трое суток вам не справиться.

Я стою на своем. Подошел Чечин. Порешили на том, что срок остается все-таки шесть дней, а если бригада справится быстрее, то за каждый выигранный день нам положена премия. Батенчук мне говорит:

— Я слышал, Галина, у тебя с мужем что-то не сладилось.

Нервы у меня были напряжены, ночью я почти не спала, народу собралось много, и как он это сказал, так я ткнулась ему в грудь и заплакала. Ни он, ни я сама этого не ожидали...

Вот так 5 апреля мы спустились в люк водозабора под землю, стали на леса, которые приготовили нам плотники. Сверху по шлангу нам подавали раствор, обед нам тоже подавали сверху. Первое время к нам заглядывали с шуточками нижекамцы, а потом перестали заглядывать. В раствор стекло добавляли в жидком виде сами, а потом железники. Электричество в нем отражалось. Внутренность водозабора стала напоминать внутренность огромного кувшина. Никогда мы так не работали, почти не выходили дышать. Но все же к концу вторых суток Батенчук сказал мне:

— Все-таки, Галина, по моим расчетам, за трое суток тебе не справиться.

И правда, вижу, не укладываемся. Объем работы оказался огромным. Только на днище водозабора ушло восемь «МАЗов» бетона.

В ночь с 7-го на 8-е я сказала:

— Остаются комсомольцы.

17 человек нас осталось. Утром к тому времени, когда мы должны были выходить из-под земли, нам решено было устроить торжественную встречу. Но встреча не состоялась. Потому что когда пришли встречающие, нас в водозаборе уже не было. Закончили мы еще до четырех часов утра. Когда уходили, весь водозабор блестел, как огромный кувшин.

А нижекамцы с горя и от унижения запили, день на работе не появлялись. Вот так закончилось наше соревнование с этой мужской бригадой, которую специально привезли на стройку из соседнего города.

Конечно, когда водозабор наполняли водой, мы страшно волновались. Но ни капли воды из него не ушло. Он и сейчас прекрасно работает.

Нам и потом, конечно, приходилось штурмовать. Школу мы, например, к 1

сентября сделали за семнадцать дней. Но эпизод с водозабором остался самым ярким в памяти нашей бригады.

У меня спрашивают, каким должен быть бригадир, какие бывают бригадиры. Я отвечаю: сколько есть людей, столько может быть и бригадиров. Самые худшие те, кто все делает по старинке. Не работу, а кусок хлеба — это они могут выбить. Если человек стал бригадиром и, как говорится, не вырос морально, не почувствовал, как он обязался перед людьми, — это очень плохо. Ведь в бригаде как? Бригадир любит песни петь — и бригада поет. Бригадир Есенина любит — и в бригаде будут Есенина читать. Все знают, что коллектив влияет на человека, но и человек влияет на коллектив. Так ведь? Сколько я знаю бригад, которые не могут выйти «в люди» потому, что у них нет хорошего бригадира.

Не очень мне по душе тот бригадир, с которым человек начинает штукатуром средней руки и заканчивает в той же роли. Конечно, в бригаде штукатуров работают штукатуры. И когда ко мне приходит новичок, я говорю:

— Я не знаю, кем ты станешь. Может, ты будешь директором КамАЗа. А сейчас давай делать то, что надо бригаде.

Я всегда знаю, к кому его поставить, чтобы он научился работать и ощутил себя членом нашей бригады. Главное, чтобы у него был порыв. Все мы рождаемся голенькими и красненькими. Меня не смущает то, что новичок мало знает и мало умеет. Когда-то я сама просилась, чтобы меня поставили в напарницы к Вере Волковой. А станет штукатуром — пусть учится дальше. Я сама учусь в вечернем институте, штурмую, как на объекте. И девочки у меня в бригаде учатся.

Но можно и штукатуром всю жизнь проработать — и книги читать, музыку любить.

И еще плох тот бригадир, который больше всего славу любит. Этому уже не заработок нужен, не хлеб, а слава. Чтобы слава при нем и он при славе. Есть у нас один знаменитый каменщик. Он много домов сложил. А нам за ним приходится иногда штукатурить. Я в газету заметку написала, что стены в одном из его домов сложены плохо. Что тут было! В партком жаловался, комиссию специальную создали, дом еще раз принимали. Человек он темпераментный, усики у него прыгают, чуть в драку не кидается. Грозил:

— Или я, или Филяшина!

Я ему прямо сказала:

— У тебя по жилам не кровь, а слава течет!

Он уже всех к славе ревнует. Смотрит, чтобы на собрании его обязательно в президиум посадили. А я секретарю парткома говорю:

— Зачем меня каждый раз в президиум сажать? Пусть другие на этом месте посидят, а я на президиум хочу из зала посмотреть.

Дело это прошлое, каменщик он настоящий. Как-то меня вызывают в коридор общежития:

— Галя, к тебе.

А это он пришел выпить мировую. Я просто хочу сказать, что славой нас часто обеспечивают лучше, чем штукатурным раствором. Кинохроника, телевидение, журналы тонкие и толстые, газеты местные, областные и союзные. Если ты чего-нибудь стоишь, тебя никто в тени держать не будет. В этих обстоятельствах возможно и такое смещение, о котором я говорила, — не хлеб, а слава. Возможна и ревность к чужой славе. Я и сама ведь не против славы и от ревности не свободна. Но ведь нельзя же за славу платить чем угодно.

У меня спрашивают, уходят ли со стройки, переходят ли из моей бригады в другую. По каким причинам? Со стройки бегут те, кто не сам приехал. Это самый болезненный у нас в бригаде вопрос. Морозы у нас долгие, природные условия суровые. Работа тоже нелегкая. О малой механизации много говорят, но слишком часто нам еще приходится обходиться своими силами. А присылают нам выпускников ГПТУ. Им по шестнадцать--семнадцать лет. Возраст, в котором еще много детского. Я их, конечно, стараюсь не очень загружать, однако работа есть работа. Никуда от этого не денешься. Их не со стройки тянет, а просто домой, к маме, к

папе. Всего год или два их отделяет от бывших десятиклассниц. Но эти уже совсем другое дело. Они сами приехали. Романтики! «Хочу туда, где труднее». Я уже говорила, что с женщинами легче работать, чем с мужчинами. У меня в бригаде много девушек, приехавших на стройку из местных сел, из ближайших городов. Разные природные способности, быстрота реакции, хватка, выносливость. Но и Шура Федорова, и Тамара Лазарева, и Рая Бутина, и Люба Забродова быстро вживаются в работу, накапливают опыт, учатся. Все это нас роднит, делает близкими друг другу. Поэтому на вопрос: с кем вы в бригаде особенно дружите? — я отвечаю всегда так: со всеми. Все они мои друзья. И еще отвечаю: из нашей бригады в другие не переходят. Рабочий ценит ведь не только саму работу и заработок, который она дает, но психологический настрой, психологическую атмосферу в своем коллективе. За всю историю нашей бригады только три человека захотели поменять наш коллектив на другой. Одна уже вернулась к нам. И вернула ее как раз гяга к привычной психологической атмосфере, к нашему привычному рабочему ритму. Она это так и объяснила:

— Не могу я там...

Две другие — Альфрида Мухаметова и Агафья Иванова — ушли от нас совсем недавно. Эти девочки (Альфриде восемнадцать, Агафье семнадцать лет), не могу скрыть, очень сильно меня обидели. Они только появились у нас в бригаде, пришли к нам из ГПТУ. Должно быть, я не смогла их по-настоящему внимательно встретить, хорошо им все объяснить. Не сумела им объяснить, что на такую зарплату, как у Маши Сулеймановой, они еще не могут рассчитывать. Не могут они сравниться в мастерстве и с другими опытными штукатурами. Государство дает им право после окончания училища выполнять производственную норму на 60 процентов, как бы продлевать им ученический стаж. Однако Альфриде, которая имеет третий разряд, и Агафье, имеющей второй производственный разряд, зарплата в 175 и в 160 рублей оказалась слишком маленькой.

Эти две девушки — моя бригадирская недоработка.

Есть у меня на стройке и еще друзья. В комнате женского общежития нас живет три Гали. Галя-младшая — якутянка. Она приехала к нам с Севера и не боится наших камских морозов. Галя вторая постарше. По отчеству она, как и я, Васильевна. Когда-то она закончила педагогический институт по отделению русского языка и литературы. На стройке она в профессиональном училище преподает штукатурам теорию. Когда-то она сама работала штукатуром. Как это соединилось в ее судьбе — рассказ особый. Я об этом говорить не буду. У нас с ней есть о чем поговорить. Мы очень хорошо понимаем друг друга.

Корреспонденты в нашей комнате частые гости. Вопросы они нам задают одни и те же, но сами говорят интересно, любят читать стихи, а некоторые поют под гитару. И мы их охотно принимаем.

В комнате у нас бывает холодновато, но Галя-младшая говорит:

— Это даже хорошо, что холодно. В тепле сны разные начинают сниться. Вон я вчера Галину Васильевну будила, а она говорит: «Не мешай. Вторую серию досматриваю».

Две моих Гали два месяца спали на одной койке — ждали, когда я получу квартиру, чтобы полностью обосноваться в нашей общежитийской комнате.

...Новая квартира! Просторная, с окнами на Каму. Это же большая радость!

Перед нашей бригадой открывается новый фронт работ. Стройка набирает темпы, наполняется новой силой. Впереди нас ждут и творческие удачи, и новые душевные напряжения. Что ж тут можно сказать? Жить мне интересно. Я вернулась к своей самой первой профессии и теперь уже с ней никогда не расстаюсь. Я строитель. Закончу институт и останусь строителем.



ПУБЛИЦИСТИКА

ДИАЛОГ: «КОРТАРШ» — «НОВЫЙ МИР»

Венгерские и советские писатели о проблемах войны и мира

Более четверти века назад кончилась вторая мировая война, двадцать седьмой год живет Европа в мире. Европа, но не все континенты: идет война во Вьетнаме, на Ближнем Востоке.

1972 год — год новых усилий в борьбе за прочный мир. В июне этого года в Брюсселе состоится ассамблея общественных сил, она заявит о стремлении народов к европейской безопасности и сотрудничеству, к миру на всей земле.

Мы тоже хотим принять участие в подготовке к этой ассамблее. Мы — будапештский «Кортарш» и московский «Новый мир» — обратились с несколькими вопросами к венгерским и советским писателям. Необязательно было отвечать на все поставленные вопросы, каждый мог выбрать для себя наиболее интересующие его темы.

Вот эти вопросы и ответы, которые печатаются одновременно на страницах журналов «Кортарш» и «Новый мир».

Насколько важна для вас тема войны в литературе и как она отразилась в ваших произведениях? Какие, по вашему мнению, произведения последних лет советской и венгерской литературы о войне являются наиболее значительными и выдержат проверку временем? Что качественно нового в этих произведениях в отличие от военной литературы первых послевоенных лет?

Как вы помните, после первой мировой войны возникло новое литературное направление — так называемая литература «потерянного поколения». Чем вы объясните тот факт, что после второй мировой войны подобной литературы не было? Не есть ли это осознание широчайшими массами права решать судьбу мира?

Какая литература о войне может заинтересовать сегодня молодежь? Могут ли произведения о войне учить сегодня молодежь, как надо жить? Какими качествами должны обладать такие произведения? Какие, по вашему мнению, произведения о войне современных писателей обладают этими качествами?

Каким бы вы хотели видеть мир? Самые выразительные, по вашему мнению, символы мира, созданные человеческой цивилизацией? Как будет развиваться литература в мире без войн?

Какие этапы, события движения за мир вы считаете наиболее значительными? Ваше мнение о перспективах развития движения за мир?

Помещая ответы венгерских и советских писателей, редакции не считают исчерпанной тему разговора и предполагают в последующем продолжить этот диалог.

ИШТВАН ШИМОН

Я отношусь к тому поколению, которое на собственном опыте познало весь ужас мирового пожара, к тому последнему призыву 1926 года рождения, которое было втянуто в военные действия в самом конце войны. Хотя непосредственно мне и не пришлось участвовать в больших сражениях, непривычный мундир сам по

себе, неуверенность и чувство страха и, наконец, зрелище военных бедствий вконец меня измучили. Я не созрел еще тогда для того, чтобы осознать всю чудовищность моего положения, но в этот важный для себя период раздумий о жизни я был, по-видимому, все же достаточно впечатлителен, чтобы жуть войны оставила навеки свой след во мне. Можно даже сказать — рану, которая под влиянием воспоминаний нет-нет да и откроется вновь.

И может быть, именно поэтому война как литературно-поэтическая тема никогда не привлекала меня. Однако, когда я перебрал поток моих стихотворений за более чем четверть века, то оказалось, что все они все же несут на себе отпечаток воспоминаний тех тяжелых лет. Меня это самого поразило. Ни критики, ни читатели мои, право же, не относят меня в разряд пессимистов, и сам я не чувствую себя таковым, но какая глубокая грусть заложена в, казалось бы, на первый взгляд столь жизнерадостных произведениях! Я всегда прежде замечаю прекрасное, живое, а не безобразное и печальное. Но тяжелые переживания прошлого словно контрастом всплывают за тем радостным, что приподнимает человека над жизнью. И главное, меня больше всего удручает то, что я никак не могу свести счеты со своей загубленной юностью, с тем, что уже свершилось и невозвратно. Сквозь это мне приходится смотреть на человечество, с этим соразмерять происходящее. Оценивая человечество с позиций нравственных, а в истории человечества безумие фашизма было самым аморальным коллективным проявлением, мы невольно соотносим успехи, достигнутые в борьбе, с этой жуткой пропастью в истории человечества. Униженность человека — со свободой человека. Развивая эту мысль дальше — с потребностью полного освобождения человека и общества, с надеждой на мир.

Следовательно, для меня вторая мировая война не является серией сюжетов волнующих сражений, богатых коллизий; война для меня — становление нового мировоззрения, возможность через творчество выразить мысли, которые могут содействовать моральному очищению. Даже если встречаюсь в произведениях с пережитым. Это я понял, читая «Судьбу человека» Шолохова, если ограничиться одним конкретным именем и произведением. И если поразмыслить, то и сейчас, более четверти века спустя после окончания, война продолжает довольно щедро предоставлять литературный материал, хотя со временем из нее стали черпать свои темы уже те поколения, которые и помнить-то войну не могут, более того — их тогда еще не было на свете. Этот факт уже сам по себе свидетельствует о том, что в данном случае речь идет не просто о теме, а о чем-то большем. Если бы писатели (да и читатели тоже) искали и находили в военных годах лишь волнующие сюжеты, литература о войне давно бы стала затасканной, неинтересной. В действительности мы убеждаемся в том, что до сего дня европейская литература и связанный с ней кинематограф создали и создают самые волнующие, самые памятные произведения именно о войне. Отодвинувшись во времени, рассматривая события издали, литература глубже исследовала моральную суть, помогала понять, что же такое гуманизм.

Думаю, что по сравнению с литературой о войне периода после первой мировой войны это то качественно новое, что можно отметить в литературе прошедших двух десятилетий. Как я уже говорил, наше военное поколение после пережитого ужаса до сего дня еще не полностью пришло в себя, находится еще в состоянии катарсиса. Так называемая «литература потерянного поколения» после первой мировой войны отразила разочарование, подавленное состояние неудовлетворенности жизнью, миром. Империалистическая война хоть и была развенчана, но мир быстро перешагнул через проблемы совести, так как в нравственном смысле многое не получило разрешения, более того — казалось, что всей Западной Европой овладело настроение всего лишь перемирия. Поэтому-то военное поколение сочло себя «потерянным». Если вспомнить непосредственные предпосылки второй мировой войны, то вспомним и то, что многие считали вспышку ее на деле лишь продолжением первой, фатальной неизбежностью. Однако сущность ее сильно изменилась из-за фашизма. Гитлеризм в этой войне явил полное банкротство морали, капитализм превратился окончательно в бесчеловечность. Это до глубины души потрясло

наше поколение — поколение второй мировой войны. Лишившись всех иллюзий, оно, ужаснувшись, решило проверить само себя: до чего же дошел, до чего может прийти человек? Ответственность со страшной силой стала давить на его плечи, и оно поняло, в чем его ответственность. То есть люди начали верить в то, что их судьбы являются одновременно и судьбами мира. Поэтому, между прочим, в наши дни война стала с полной отчетливостью моральной проблемой и теперь уже нельзя себе представить безразличия к ней литературы. Думаю, не было еще эпохи, когда литература и вообще искусство, сделав соответствующие выводы из войны, настолько ясно осознали бы значение общей нашей ответственности, как это произошло в наши дни. Слово человечество, пережив тяжелую повальную эпидемию, все время торопит с необходимостью принятия профилактических мер, в том числе и привлекая на помощь честных художников, писателей, которым ясны причины катастрофы.

И в литературе и в искусстве положение значительно отличается от того, каким оно было после первой мировой войны. Буржуазная гуманистическая литература отражала разочарованность войной, но в то же время и свою писательскую беспомощность. Она видела лишь фатальность войны. Были, разумеется, и выдающиеся писатели, прежде всего социалисты, коммунисты, но разочарованность «потерянного поколения» привела к тому, что буржуазные литераторы в большинстве своем отказались принять на себя ответственность за судьбу мира. Они, дескать, фактически все равно бессильны, все решают политические и экономические факторы. Достаточно того, что они защищают гуманизм. Писатель может быть лишь моральным судьей, считали они, действовать он не в состоянии. Однако нынче и буржуазные писатели поразились бы, если бы кто-нибудь усомнился в их компетентности выступить, допустим, с осуждением фашизма.

Вопрос войны и мира меня занимает не как определенная писательская проблема. Если я хочу помочь пером своим — а я хочу, — то хочу помочь как человек человеку, как представитель военного поколения, прошедший тяжелые испытания и безусловно верящий в мир.

ВАСИЛЬ БЫКОВ

Тема минувшей войны с некоторых пор стала для меня основным и главным содержанием моего литературного творчества. Я не задавался целью определить, что явилось причиной этого писательского пристрастия: может быть, надолго запечатлевшиеся в сознании картины моей фронтовой юности (в том числе и несколько месяцев тяжелых боев в Венгрии у озера Балатон), а может, то обстоятельство, что я живу на земле, где, как ни в каком другом месте, все еще кровоточат раны войны и где слишком много от нее в делах, судьбах, жизни людей. В этом нет ничего удивительного, если иметь в виду, что за годы оккупации фашисты уничтожили 209 белорусских городов и городских поселков, 9200 сел и деревень, из них около 200 — вместе с их жителями. В огне беспримерной по жестокости борьбы погиб каждый четвертый житель республики, численность населения которой до сих пор еще не достигла довоенного уровня.

Советская литература о войне огромна и многообразна на всех языках Союза, многие ее произведения раскрывают различные стороны труднейшего испытания, свидетельствуя о величии народного подвига и беспредельности человеческого мужества. Правда, с некоторых пор свидетельства эти все в большей степени стали адресоваться читателю, выросшему после войны и знающему о ней лишь по опыту старших. Известная информационная заданность и частая тематическая повторяемость многих произведений явились, на мой взгляд, причиной некоторого снижения читательского интереса к этой теме, фактическое содержание которой к тому же основательно отработано другими видами искусства. Между тем время выдвигает новые проблемы, война все больше удаляется в историческое прошлое, меняются формы и условия жизни. Тем не менее в этой непрерывной и естественной смене событий некоторые качества все же остаются неизменными, и в их чис-

ле наша мораль и наша человеческая нравственность. Как и в годы войны, среди современной молодежи популярны все те же нравственные ценности — прямота, смелость, честность, способность к самопожертвованию, любовь к своей родине. Полагаю, что, как и на фронте, современные молодые люди одинаково ненавидят все еще имеющие место в жизни трусость, карьеризм, себялюбие. Но в отличие от мирной жизни вышеназванные качества на войне проявились ярче, нагляднее, предоставив тем известные возможности для литературы, которая не преминула ими воспользоваться. Были созданы замечательные книги о войне, круто замешанные на материале героики и тесно связанной с ней высокой человеческой нравственности. Что до меня лично, то я нахожу самой значительной и плодотворной в этом отношении линию, исходящую от «Окопов Сталинграда» В. Некрасова и через полтора десятка лет с блеском продолженную произведениями прежде всего таких авторов, как Г. Бакланов и Ю. Бондарев, чьи «Пядь земли» и «Батальоны просят огня», несомненно, надолго вошли в сокровищницу мировой литературы о войне. Сила и неотразимость их воздействия на читателя заключаются в высшей степени их достоверности, психологической точности и высокой нравственности, оказавшихся по плечу лишь авторам, чей незаурядный личный опыт войны счастливо соединился с недюжинным литературным талантом.

В этой связи мне видятся совершенно неправомерными идущие от чистойшего недоразумения противопоставления упомянутым произведениям книг некоторых других авторов, склонных к эпичности и генеральской широте охвата событий войны. Ведь должно быть совершенно бесспорно, что ни малый, ни большой охват сам по себе не имеет ровно никакого преимущества один перед другим, а каждый из авторов волен руководствоваться прежде всего собственным взглядом и личным опытом, ценность которого именно в том и состоит, что он индивидуален и не похож на опыт других. В конечном же итоге успех любой книги определяется прежде всего способностями ее автора независимо от того, что он избрал для обозрения — солдата, взвод, роту или несколько армий. Важно лишь, чтобы в поле его зрения была великая правда войны, а не сусальные красоты и вообще места, выраженные избитыми словами и кочующие из одного плохого произведения в другое.

Минувшая война, являясь громаднейшей по содержанию пережитого эпохой в истории человечества, еще долго будет питать искусство. Советская литература много написала о ней, но, очевидно, не меньше будет написано — с новым постижением глубины и новыми открытиями. Поэтому вряд ли разумно требовать от каждого произведения о войне полной и исчерпывающей правды о ней, что не по силам никакому даже самому одаренному художнику слова. Только все разнообразие литературы, все искусство в целом способно сообща создать эту великую, сложную и многообразную правду в ее необозримо громадном объеме. Обязанность же участников войны, литераторов, состоит в том, чтобы с наибольшей полнотой свидетельствовать о нашем военном опыте, разумеется, насколько это позволит наше мужество и наши, будем полагать, скромные литературные дарования.

ИВАН БОЛДИЖАР

Вопросы, заданные двумя журналами, настолько остры для моего поколения, что, отвечая на них, можно, по сути дела, писать автобиографию, да к тому же еще лирическую. Война осталась у меня в памяти прежде всего как сама война: фронт, бои, ужас, преодоление страха, кровь и грязь; а кроме того, она запечатлелась в произведениях — моих и других авторов.

Я убежден: настоящий венгерский роман о войне еще не написан. Причина тому кроется очень глубоко, скорее это неосознанная отсрочка, а не просто нежелание романистов, новеллистов и драматургов писать о войне. Те многие сотни тысяч венгров, кто был на фронте, физически пережили войну, точно так же как и советские солдаты. Но только физически. Каждый советский воин знал, что он сражается за правое дело, за свою родину и ради всего человечества. Большинст-

во венгерских солдат отдавали себе отчет в том, что идти на бойню во имя зла, вопреки интересам отчизны их вынудили враги человечества. Этот внутренний разлад даже изложить-то письменно трудно, не то что пережить все снова, создавая литературное произведение. Война коснулась меня настолько лично, что отвечать на заданный вопрос я могу исключительно с личных позиций. Я и сам пытаюсь описывать или, по крайней мере, приблизиться к описанию этого грозного исторического противоречия.

Мои друзья и мои критики (а в данной ситуации это одно и то же) говорят: лучшее произведение, которое я написал за свою жизнь, — рассказ «Женщина из Корочи». Оно появилось в феврале 1943 года, когда я был на фронте, в часы отдыха, при ужасном отступлении разгромленной венгерской армии. Речь в рассказе идет о том, как потрепанный в боях отряд раненых, упавших духом венгерских солдат прибывает в город Короча. Немцы бегут, Советская Армия преследует их по пятам. Хочется отдохнуть, хочется спать. На окраине города венгры заходят в просторный дом и не раздеваясь заваливаются спать. Старушка хозяйка полюбопытствовала: не немцы ли они? Узнав, что солдаты — венгры, она согрела воды и помогла помыться двум десяткам обмороженных, изможденных, грязных парней. Их командир, фельдфебель (сейчас, когда прошло с тех пор уже тридцать лет, признаюсь: им был я), спросил у женщины, почему она делает все это, и та ответила:

— Вы же так устали и перемерзли...

Рассказ был опубликован весной 1944 года в последнем номере антигерманского, антифашистского журнала «Мадьяр чиллаг» («Венгерская звезда») незадолго до конца оккупации Венгрии гитлеровцами.

В рассказе я пытался показать тот внутренний разлад, который ощущали венгерские парни, брошенные в войну против Советского Союза.

Но вопрос продолжал занимать меня. Занимает он меня и по сей день. Более того, он терзает меня. В начале 60-х годов я написал роман, но не вовремя. В ту пору тема войны не интересовала ни читателей, ни критиков. Я искал ответ на вопрос о том, почему люди прибегают к войне, зная, что мир-то лучше нее. Перед венгерским солдатом — рабочим пареньком, отставшим от своей части, открывается выбор: возвратиться в часть или примкнуть к борцам — участникам движения Сопротивления в Будапеште, в числе которых была его невеста, друзья. Но он боится ответственности, ему кажется, что необходимо выполнять приказы, хотя сердце и разум влекут его к подпольщикам. Он уже собирается вернуться в свое подразделение, но фашисты, раскрыв тайную организацию, первым убивают его.

В моей творческой биографии этого романа будто бы и не существует. Его не читали даже мои друзья, хотя он ничуть не хуже остальных моих произведений.

Здесь я вовсе не собираюсь высказывать свои обиды, а хочу лишь ответить на второй вопрос двух журналов: какая литература на военную тему может в наши дни вызвать у читателей интерес?

Сейчас, в начале 70-х годов, сдается мне, молодежь в Венгрии вообще не интересуется книгами о войне. Одна из причин, по-видимому, кроется в том, что впечатления, которые для нашего поколения были самыми острыми и сильными в жизни, юношам и девушкам наших дней преподносились в школе в качестве обязательного чтения. Нынешнюю молодежь интересует не мир переживаний прошедшей войны, а возможность, точнее говоря, невозможность войны следующей. Я говорю в первую очередь о венгерской молодежи, о поколении моих сыновей и дочери, но аналогичные мысли приходили мне в голову и во время моих поездок по многим городам Европы и Америки, на лекциях в тамошних университетах, в молодежных дискуссионных клубах. Юношам и девушкам кажется, что о второй мировой войне они знают все наизусть. Их жизни, быть может, угрожает третья война. Поэтому молодежь больше всего занимает вопрос об атомной войне. После «молниеносной» войны молодых людей тревожит опасность войны мгновенной.

Это страшное мгновение может стереть с лица земли род человеческий. Пылливая, беспокойная молодежь ожидает ответа на вопрос о том, что предпринимают взрослые и что надо делать молодежи, чтобы ни одному поколению не пришлось больше штудировать в школе историю войн. Говоря проще: чтобы было и последующее поколение — их дети.

Я имею в виду не научно-фантастическую литературу, не приключенческие путешествия во вселенную, а такие литературные труды, которые выразили бы гуманизм последних десятилетий века и надежды двухтысячелетия. Для этого, разумеется, мало повторять, дескать, мир — это хорошо. Для тех, кто не знает, что такое война, мир — естественная вещь, как, скажем, кислород в воздухе. Читатели на нашей планете ждут таких книг, пьес и фильмов, которые побуждают к раздумьям. Писателям же сейчас — как, впрочем, и всегда — необходимо то, что Толстой называл умным сердцем.

ГРИГОРИИ БАКЛАНОВ

Круг вопросов, выдвинутых двумя журналами—будапештским «Кортаршем» и московским «Новым миром», — весьма обширен, все эти вопросы, вместе взятые, так разносторонне затрагивают проблему, что литератор, литературовед, занявшийся изысканиями на эту тему, мог бы в итоге дать небезынтересное исследование. К сожалению, я не располагаю возможностью заняться подобным исследованием и ответы мои будут кратки.

Я не считаю все вопросы плодотворными. Публику всегда живо интересует все то, что может быть названо «проблемой чемпиона»: кто первый? кто лучший? кто останется на века? кто может стать символом? — и т. п. Литераторов, как мне представляется, подобные вопросы должны занимать в последнюю очередь.

Написав ряд книг о минувшей войне, я полагаю, что никогда не писал на так называемую «тему войны». Роман «Война и мир» Льва Толстого — быть может, высшее, что создано в литературе человеческим гением, — написан, как известно, не на «тему войны». Он написан о человечестве, и каждый серьезный литератор вне зависимости от размеров таланта пишет не на темы, а исследует все то, что связано с духовным миром, социальными связями людей его поколения, его народа, его времени, отвечает на вопросы времени. В этом отношении литератор, пишущий о войне, ничем не отличается от всех остальных литераторов. Ведь и вторая мировая война не была чем-то изолированным. Она явилась следствием многих и многих причин, которые не всегда были понятны современникам и которые с большей ясностью видны теперь, на отдалении лет. Будучи сама следствием, она в то же время является причиной многих сложных процессов, происходящих в нынешнем послевоенном мире.

Я подчеркнул это с единственной целью: чтобы еще раз сказать, что так называемая «тема войны» не является чем-то изолированным от остальной жизни народа, человечества, не является некоей отдельной ветвью мировой литературы, которая интересует ветеранов, а для молодежи должна изготавливаться в особой упаковке.

Весь круг вопросов, касающихся того, как заинтересовать молодежь произведениями о войне, какие придать им качества и т. п., у меня не вызывает большого энтузиазма. Искусство и литература — это не кулинария на все вкусы: закажите только — изготовим сей момент... Впрочем, и кулинария не столько потакает вкусам, сколько создает их и воспитывает. Иначе чем мы объяснили бы, например, тот факт, что венгры из поколения в поколение едят, наслаждаясь, знаменитый гулш и вкусы молодежи не расходятся со вкусами отцов, как вкусы отцов не расходились со вкусами их отцов? В своих детях мы воспитываем уважение к хлебу насущному и не переменяем за столом блюда по просьбам или избалованности юных отпрысков.

Пусть не сочтут все это упрощением, но хлеб духовный подобен хлебу насущному. Если он заслуживает вот этого высокого имени — хлеб.

Только в одном случае книга бывает хлебом духовным: когда она несет людям правду и говорит о главном, что волнует людей. Люди пожилые ко многому в жизни начинают относиться спокойней — и к хорошему и к плохому. Спокойствие это не всегда продиктовано мудростью, иногда в основе его лежат причины совсем иного порядка. Молодежь именно потому, что она молодежь, реагирует страстно. Если мы оказываемся на уровне вопросов своего времени, если они волнуют нас, являются смыслом нашей жизни, если мы честно и бескомпромиссно ставим их в своих книгах, мы всегда будем поняты молодежью, наши книги будут находить отклик в молодых сердцах. И тут граница времени и так называемая тема — не главное.

У молодежи непременно должно быть ощущение, что вся предыдущая жизнь была как бы подготовкой к тому главному, что началось теперь, когда она пришла в мир. С этим ощущением и мы пришли в мир, эта одержимость необходима, чтобы что-то свершить. У них еще будет время понять и увидеть, что труд их — лишь одно из звеньев общей цепи, начало которой затеряно во тьме минувших веков, конца которой нет, ибо цепь эта простирается в вечность. И если их звено кажется им самым главным во всей цепи, литература не должна разочаровывать их, а, наоборот, помогать и давать силы для свершений.

Такую литературу способны создавать только люди, которые не со стороны взирают на современность, а живут в ней. Такая литература всегда интересна молодежи, такие книги — ее книги. Литература о минувшей войне, разумеется, не только не исключение, а, наоборот, лишнее подтверждение тому. Если, повторяю, эта литература следует правилу, которое еще Лев Толстой сформулировал в своих знаменитых «Севастопольских рассказах», написав: «Герой же моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен, — правда».

Именно такого героя больше всего любит молодежь.

ШАНДОР ШОМОДИ ТОТ

Совершенно очевидно, что все посвященные войне произведения с горечью подтверждают: человек годен для войны. Годен на то, чтобы, вдохновленный своей идеей, превратиться в солдата и погибнуть, как Шандор Петефи. Он годен и на то, чтобы взяться за оружие вопреки своим убеждениям, как это было у Дона, где погибло предположительно несколько десятков тысяч солдат 2-й венгерской армии. И годен на то, чтобы по сердечному равнодушию, по невежеству или став жертвой обмана добросовестно убивать и дать себя убить. Мне уже слышится ошеломленный возглас: что же получается? Неужто война — это рок человеческий? Извечная форма существования людей? А наводящая на раздумья запись в военном билете: «Годен» — лишь фиксирует осознание того положения, что индивид независимо от своих воззрений, убеждений, конечно же, будет воевать, потому что годен. Как история, так и практика дают нам право на подобные размышления.

Высокая литература о войне от Гомера до Толстого, а в наши дни от Симона до Нормана Мейлера всегда представляла собою как раз постановку этого вопроса и показ того, как отвечает на него конкретная реальная действительность. В самом ли деле война — это дело «богов», или все же следует найти власть над нами самими? Может, я не прав и только приписываю собственное упрямое ненасытное желание книгам и документам о войне? Возможно. Мы не родились солдатами, точнее, мы рождаемся не для того, чтобы стать солдатами, заявляет Симон, и слова его многократно справедливы, потому что он говорит от имени советского народа, на само существование которого посягали, который боролся со сверхчеловеческим героизмом и в конечном счете одержал победу.

В моей памяти возникает потрясающий эпизод из «Нагих и мертвых» Нормана Мейлера. Американский солдат Галагер воюет на одном из тихоокеанских островов с японцами. К нему пришло страшное известие: его жена умерла от родов. Галагера парализует эта весть, вдобавок ему приходится выстрадать безликую иронию войны: еще многие месяцы продолжают систематически приходить к нему письма умершей жены. Письма жизни от мертвой. Не удивительно, что солдат не выдерживает. Норман Мейлер с железной логикой доказывает: да, человек «годен» к войне, этого нельзя отрицать, но человек все более нетерпимо переносит свою «пригодность». Можно добавить еще, что, пожалуй, и с сомнением. Во всяком случае, более осознавая ее, чем его предки, и это новая стихия.

Это более чем убедительно доказывают и наблюдаемые в наши дни раздвоенные сознания, моральное разложение или антимилитаристские выступления ветеранов, вернувшихся с поля черной вьетнамской войны.

Я утверждаю — и, может быть, это не просто честолюбивые рассуждения простака: можно бы процитировать сотни романов, научных трудов, мемуаров, произведений документального жанра, которые так или иначе, с большей или меньшей уверенностью, но в конечном счете внушают одно и то же — человека надо рассматривать и постигать как существо, в первую очередь и превыше всего годное для мира. То есть для жизни. С какой эффективностью? Этого я не знаю.

Это далеко не только литературный вопрос. Но, хочет он того или нет, писатель тоже разделяет эту тяжкую ответственность.

Могут ли произведения о войне учить сегодня молодежь, как нужно жить? Некоторые, разумеется, могут. Прежде всего шедевры.

Я хочу заметить, что этот вопрос может быть исследован лишь огромным научным аппаратом, тут я выскажу разве лишь некоторые личные соображения.

Вопрос этот рождает новые вопросы. Знают ли старшие поколения, как нужно жить по-человечески? Известно, что невозможно передать суть мудрости. А какую мудрость можно почерпнуть из второй мировой войны, когда миру открылись зверства фашизма и другие ужасы, считавшиеся прежде абсурдом, как, например, массовое убийство военнопленных. Или совсем недавний пример: американский писатель Курт Воннегут в своей книге «Бойня номер пять» описывает множество ужасов войны. Он рассказывает, например, об одном учителе из Индианополиса: «Его тело... насквозь изрешетили пули отряда, приводившего смертный приговор в исполнение». Смертный приговор за то, что он взял из разбомбленного дома чайник... И писатель с мрачной иронией добавляет: «Такие дела».

Такие дела? — спрашивает с раздражением молодежь. Почему такие? Они с полным основанием бросают нам в лицо свой наивный вопрос. В те страшные времена они были младенцами или даже еще не появились на свет. Все верно. Их раздражение закономерно. Они не могут быть ответственны за прошлое. Тем большее внимание обращено на них: как отнесутся они к ответственности, возлагаемой на них в нынешнее время, как разрешат наиболее значительные вопросы эпохи, в равной мере давние и новые: служение обществу или поиски личного благополучия? Я значительно упростил эту альтернативу, сознательно отменяя хитросплетения и взаимосвязи, потому что убежден: только на такую ясную альтернативу можно дать честный ответ. Думаю также, что важнейший вопрос поставит перед молодежью сама «будничная» жизнь в какой-то сокровенный момент осознания. Впрочем, решения надо будет принимать все время. Итак, не стоит останавливаться на примитивных мнениях, что одни, мол, «хорошо» решают, другие — «плохо». Впрочем, это тоже не такая простая проблема.

По-моему, на решения молодежи очень большое влияние оказывают воспоминания, документы, образ жизни, поведение поколения, хранящего еще в своей нервной системе переживания того периода. Сам я прочитываю все доступные мне произведения и документы о войне. Думается, что, помимо сопоставления этого

материала с моими впечатлениями, меня к этому подстегивает какой-то неутолимый интерес, потребность еще раз углубиться в исторические обстоятельства военной катастрофы и ее причины, насколько это вообще возможно. Допустим: какие причины принудили венгерский народ включиться в войну, в которой погибло более полумиллиона наших людей?.. Не стану перечислять все мучительные вопросы. Между тем, как показывает мой собственный опыт, подобные вопросы, обращенные в прошлое, являются редкостью среди подрастающего сейчас поколения, более того — со временем их становится все меньше. Естественно ли это? И да и нет.

Один лишь факт: сама венгерская литература — за исключением поэзии — была для молодежи школой войны с очень значительными пробелами. Несколько шедевров вроде «Холодных дней» Тибора Череша, несколько воспоминаний — и все. Нет необходимости доказывать, какое огромное воспитательное значение имеет война и литература, правдиво изображающая эту войну. С чем-то мы вновь опоздали. Но, пожалуй, это будет не просто самоутешением, если скажу, что и доступная для чтения зарубежная военная литература годна на то, чтобы дать ответ на некоторые вопросы современности. Призыв литературы и искусства созвучен вопросам, которые обращает к нам молодое поколение: почему так получилось? разве не для мира годен человек?

Правда, вопрос этот относится отнюдь не только к искусству, потому что он выражает очень важное сегодняшнее требование — современных идеалов, характеров современников, с которых можно было бы брать пример, их популяризацию. Таких идеалов, которые одновременно могли бы быть полезными как для самосовершенствования, так и для служения обществу.

Я могу лишь отметить, что в деле изучения такого характера, полного веры или сомнений, литература уже сказала свое слово — в том числе и венгерская — и имеет некоторые заслуги, а в будущем, по-видимому, еще приумножит их.

АНАТОЛИЙ АНАНЬЕВ

Впечатления молодости, как правило, самые сильные. Человек впервые познает, что такое добро и что зло, перед ним открывается мир; и совсем не безразлично, каков этот окружающий его в детстве и юности мир. Моя юность связана с войной. Я видел, как в наш далекий азиатский городок, расположенный в живописнейшей по красоте и удивительной по плодородию Ферганской долине, осенью сорок первого года начали прибывать эшелоны с беженцами. На подводах по булыжной мостовой их везли со станции в город и распределяли по квартирам — осиротелых, потерявших все: отцов, братьев, матерей и сестер, родной кров и все нажитое, вернее, все необходимое для жизни; и по той же булыжной мостовой, чеканя шаг, поблескивая трехгранными штыками, шагали батальоны и посадочным платформам, и — в тех же теплушках, в которых только что привезли беженцев, — уезжали солдаты на фронт защищать родную землю от нашествия фашистских полчищ. Я все это хорошо помню, помню и первых раненых, которых разместили в бывшем здании техникума, где я учился, и все-все, связанное с теми тревожными осенними днями: горе матерей, горе всей нашей социалистической отчизны. Вот так вместе с зимнею стужей входила в наши души и опаляла ледяным холодом война. Мы — я имею в виду своих сверстников, наше поколение — рано почувствовали себя взрослыми; рано пришлось нам надеть гимнастерки, взять автоматы. Мы рвались на фронт, в бой вовсе не потому, что не боялись смерти, нет, но сознание, что родную землю топчет враг, главное, сознание долга, гражданского долга перед страной и народом было выше страха. Да, я видел, как трудно было в тылу, какие усилия прилагали люди, отдавая все фронту, и видел войну — тяжелую, страшную; мне пришлось участвовать в одном из самых крупных сражений Великой Отечественной войны — в сражении на Курской дуге; потом — Белоруссия, Десна, Сож, Днепр... Мне также довелось участвовать в боях за освобож-

дение Венгрии. Как будто вот сейчас передо мною маленькая станция под Будапештом — Оча, на которой разгружался наш эшелон, и сразу же полки вступали в бой. Всем известно, какое тяжелейшее сражение развернулось на подступах к Будапешту, особенно у озера Балатон. Секешфехервар несколько раз переходил из рук в руки. Гитлеровцы во что бы то ни стало стремились задержать наступление наших войск и бросили в бой отборные свои танковые дивизии. Да, я видел Секешфехервар в развалинах и видел его... спустя двадцать с лишним лет отстроеным, красивым, цветущим, будто и не было здесь войны, не прокатывался ее всеиспеляющий огненный вал. Это хорошо, что город оставляет такое впечатление. Но город чтит и павших за его освобождение героев — советских воинов. Недалеко от вокзала, в небольшом тенистом сквере стоит памятник погибшим советским солдатам и офицерам. Я стоял и читал имена и фамилии павших: год рождения 1925... год рождения 1925... год рождения 1925... Год, в котором родился я. И я думал, что мог бы тоже лежать под этими холодными каменными плитами, но... К чему я все это рассказываю? А к тому, чтобы ответить на поставленный передо мною редакциями вопрос: насколько важна для нас тема войны и как она отразилась в наших произведениях? Да, тема войны для меня важна, и важна вовсе не потому, что дает возможность отбирать самые драматические ситуации, а прежде всего народным героизмом; кто, если не мы, очевидцы событий, передаст грядущим поколениям ту святую правду, расскажет о тех нечеловеческих трудностях, какие пришлось вынести советскому народу, Советской Армии, которую по праву называют освободительницей Европы?

Но, может быть, мы совершаем ошибку, говоря: «тема войны», «военная тема»... Может быть, вернее было бы называть произведения о минувшей войне антивоенными, просто-таки кричащими за мир, так как все то, что рассказывается в них, не может не вызывать ненависть к войне, вернее, к захватчикам, к тем, кто начинает, развязывает войны. Воспитание патриотизма, мужества, силы и воспитание ненависти к войне — вот две основные, на мой взгляд, задачи, которые решают книги о минувших сражениях. Они помогают любить жизнь, но в то же время учат: надо всегда быть готовым защитить эту прекрасную жизнь — что может быть прекраснее жизни! — защитить свободу, родную землю. И те книги, которые были написаны по горячим следам событий и которые писались позднее и пишутся теперь (да еще будут и будут писаться!), служат одному общему делу; я не вполне согласен с теми, кто утверждает, будто произведения последних лет о войне чем-то особенным отличаются от тех, что писались на фронте; книги о войне, по моему, различаются по степени одаренности их авторов, а не по времени, не по тому, когда и при каких обстоятельствах пишутся; знаменитая «Книга про бойца» Александра Твардовского писалась в те грозные дни, но по своим идейным и художественным качествам, по глубине проникновения в солдатскую психологию остается непревзойденной. Нельзя сказать также, что и после этой войны не появлялось произведений, в которых не звучала бы в той или иной степени тема «потерянного поколения». Она проскальзывала, и довольно отчетливо, в книгах разных западных литераторов. Но развития не получила даже там, на Западе. И потому можно, видимо, на основании этого сделать вывод, что произошло осознание широчайшими массами права самим решать судьбы мира.

Какая литература о войне может заинтересовать сегодня молодежь? Разумеется, литература правдивая, не искажающая события минувших лет; главное же, читатель тянется сейчас к масштабным, эпическим полотнам, ему хочется знать не только об отдельных подвигах, о тех или иных отдельных сражениях, пусть даже решающих, поворотных, но обо всей войне, хочется представить ее в той полноте, как, скажем, в «Войне и мире» Льва Толстого охвачены события всего наполеоновского нашествия. Оттого и у писателей, естественно, намечается стремление к созданию все более емких эпических полотен.

Произведения о войне могут учить сегодняшнюю молодежь, как надо жить. Учить смелости, героизму, патриотическому долгу перед родиной, наконец, просто чести и человеческому достоинству. А это уже немало.

Самый приятный вопрос — это, конечно же, каким бы хотелось видеть мир. Мирным. Разумеется, мирным, чтобы не лилась человеческая кровь, как она льется сейчас обильно на полях Вьетнама и на Ближнем Востоке; отчего бы не жить людям в мире и согласии, не выращивать хлеб, фрукты, исследовать Луну, Венеру, Марс, Вселенную, если хотите. В общем, делать добрые дела и не тратить энергию и средства на гонку вооружений. Человек от рождения призван делать добро, и, право же, лучше было бы писать о счастье человеческом, чем о трагедиях и драмах. Земле нужен мир, и это все более и более начинают понимать люди во всех странах. Движение за мир всех народов будет усиливаться, и я верю, что настанет наконец этот счастливый день, когда прогремит на земле последний выстрел и ветер унесет последний пепел с опаленных городов и деревьев.

МИКЛОШ ХУБАИ

Меня никогда не интересовала военная тематика. Скорее отпугивала. Мне все казалось, что бурные события войны отвлекают внимание от самой сути войны. Классический литературный пример: Фабрицио дель Донго во время сражения под Ватерлоо и не заметил, во что впутался, он не видел даже самого сражения. И тем более не понимал его смысла. Да и когда читаешь признания Наполеона, написанные им на острове Святой Елены, легко может возникнуть подозрение, что и самому Наполеону не очень-то были ясны цели войн, которые он вел. Он их просто вел, одерживая победы или терпя поражения.

Когда Эндре Ади в одном из своих стихотворений писал, что мировую войну для того обрушили на нас «гады проклятые и в могилах своих», чтобы заглушить мечту о революции в венгерском народе, Ади этим больше сказал про «антиисторическую необходимость» первой мировой войны, чем все самые наблюдательные военные корреспонденты и авторы фронтовых новелл, вместе взятые.

Меня интересует само возникновение войны, те секретные каналы, по которым война идет и в мирное время, та сфера, в которой заложены резервы войны; интересует игра случая в критические дни — будет война, не будет, — интересует и возмущает то явление, что войну, едва только она разразилась, часто начинают обряжать в видимость исторической необходимости, окружают ореолом предопределения. То есть война интересует меня в том состоянии, когда еще не видно или уже не видно, что это война.

Ведь каждый ребенок думает, что может у истоков задержать течение Дуная...

И в современной литературе я люблю больше Еврипида, чем Гомера. То есть тех писателей, которые изображают войну не воссоздавая картины сражений, а подсмотрев ее в какой-нибудь крайней ситуации, где война, возможно, и не выглядит войной. В качестве примера я упомяну здесь два таких романа и две драмы.

Прежде всего это роман Гезы Оттлика «Школа на границе». Классический стиль и современность редко соседствуют в одном произведении, в этом романе они счастливо слились. Оттлик описывает военное училище, где готовят будущих офицеров. В романе и слова нет о какой-либо войне. Но когда читаешь только что вышедшую книгу Иштвана Немешкюрти об истории венгерской армии, разбитой в январе 1943 года у излучины Дона, то не без основания испытываешь все время какое-то наваждение, будто из показаний офицеров, их дневников смотрят на тебя повзрослевшие лица юнцов того романа Оттлика.

Второй роман — «Холодные дни» Тибора Череша. Это прекрасное произведение потому, что оно развенчало призывы к ложному национальному чувству. Одновременно оно разделалось и с другим ложным убеждением личного плана: с убеждением, что убийцей является всегда другой. В этом романе жертвы точно так же не знают, что умрут через два часа, как и их убийцы не подозревают, что будут убивать. В жерновах рока, когда никто не может утверждать, что руки его не обгарены кровью, душевное очищение воплощено в образе офицерской жены,

которая по собственному побуждению встает в один ряд с обреченными на смерть. Ифигения взошла на костер, чтобы протестовать. Эта женщина, жена офицера, даже протестовать не хотела. Да и к кому ей было обращать свой протест? Те, кто знал ее, умерли вместе с ней. Но, может, она все же сделала это для них — хотела, чтобы в те последние пять минут, прежде чем исчезнуть навеки, они увидели и это.

А вот две драмы — Эркения и Ференца Каринти.

Мировая война редко могла получить такие четкие очертания, как в том далеком, наполненном сосновым ароматом и окончательно сбитом с толку войной селе, где жила семья Тоот — герои драмы Эркения. Каждому, кто мысленно наблюдал, как семья Тоот клеила коробочки, и следил за течением их жизни, весь Клаузевиц покажется просто пустынной болтовней. В драме Каринти «Мечта у горы Геллерт» вокруг двух молодых людей затягивается смертоносная петля, которую накинута на них война и фашизм. И тогда молодые люди начинают игру — они играют в жизнь. И вот по ходу этой игры, их мечтаний выясняется, как многое могли — смогли бы! — совершить в жизни эти двое. Они как бы олицетворяют собой все человечество, взлеты и трагедии его истории. И когда мы волнуемся за судьбу молодых людей, то понимаем, что в каждом убитом молодом человеке война убивала все человечество.

Какая разница между литературой, написанной после первой мировой войны, и созданной после второй?

Насколько помню, после первой мировой войны лучшие писатели выдвигали идею братства народов и надеялись провозглашением этого братства не допустить возникновения новой братоубийственной войны; после второй и после взрыва атомной бомбы на передний план выдвинулась идея единой ответственности всего человечества, иначе говоря: что бы ни случилось в любом уголке земного шара, это неизбежно повлияет на жизнь всего человечества. И тогда, отодвинув все остальные заботы, главной заботой станет отвести опасность, угрожающую единственному человечеству. Ведь единственное в случае гибели невозполнимо.

Каким бы я хотел видеть мир?

Таким, где исключена возможность эксплуатации и угнетения одного человека другим.

Таким, в котором опасения демографического взрыва, этот панический страх, не отравляли бы атмосферу вокруг поколений, которым еще только предстоит родиться.

Таким, в котором будет расширяться иммунитет против потопа товаров, вещей, сбывать которые стремятся любой ценой. Я не знаю более надежного и убедительного нет войне, чем высказанного теми, которые одновременно произносят и другое «нет» — бездуховному господству вещей.

Таким, в котором дети так усваивали бы в школах достижения человечества (в области естественных наук, языкотворчества, искусства), чтобы за это не приходилось жертвовать хорошим настроением и радостью творчества.

Таким, в котором люди вместо подлинной радости жизни не удовлетворялись бы мыслью, что они хоть плохо, но живут.

Самый выразительный символ мира, созданный человеческой цивилизацией?

Мать со своим ребенком на коленях — картина или скульптура.

Как будет развиваться литература без войн?

Разрешите мне процитировать самого себя. В пьесе «Три ночи одной любви» Балинта спрашивают — в то время, когда он укладывает вещи, чтобы ехать на фронт, где ему предстоит умереть: «Что будет через десять лет?» И поэт отвечает: «Будет мир. Люди будут счастливы. А молодые поэты будут петь о несчастьях. Хоть бы дело уже дошло до этого! С каким удовольствием, попивая крепкий черный кофе, читал бы я те бесчисленные скверные стихи о смерти. Вот будет здорово!»

Перспективы развития движения за мир?

В новой войне больше всего потеряет молодежь. Так пусть же в борьбе за мир возможно полнее выражается ее вера, думы, стиль жизни и присущее молодежи терпение и нетерпимость.

Иштван Ваш на пороге второй мировой войны признал адекватным ответом на то, что происходило, голос воющего в клетке волка. И он оказался прав: что стало к тому времени со знаменитыми прекрасными словами Ромена Роллана, Томаса Манна?

Язык агрессивности живуч и страшен. Голос мира, как мне кажется, в состоянии воздействовать, лишь непрерывно обновляясь. Он должен избегать риторики, внешних эффектов. Скучные передовицы и однообразные лозунги вредят делу мира. В лучшем случае дают душевное успокоение тому, кто их сочинил. Язык мира нуждается в постоянном обновлении, в изобретательном словотворчестве, в создании ярких и смелых образов лучшими нашими поэтами.

Развитие военной техники можно вычислить на десять лет вперед. Достижения искусства не могут предсказать даже на год вперед самые смелые футурологи. И в этом, может быть кроются преимущества мира перед войной.

ТИБОР ЧЕРЕШ

Антивоенным я считаю каждое хорошо написанное и гуманистическое произведение. Но в то же время каждое подлинно художественное произведение имеет двоякий смысл (а иной раз и много смыслов). Однако же эта многозначность исключает мотивы бесчеловечности и жестокости.

Когда произносишь слово «война», необходимо иметь в виду определенную военную организацию. И ее руководители, естественно, по-своему трактуют и произведения о войне.

Вот пример. Военачальники гитлеровского вермахта тщательно изучали труды Толстого и Шолохова — изучали их для безрассудного нападения на Советскую страну. А ведь могли бы сделать и вывод о собственном грядущем поражении. Так по-разному можно понимать одно и то же произведение.

Война и все написанное о ней для меня как тяжкий сон. Мне хочется избежать, забыть все, что связано с войной, что исходит от нее. И все же воспоминания о войне суть неотъемлемая пока что часть моей памяти. И стоит мне остаться с собой наедине, чтобы выполнить взятую на себя задачу — я сам добровольно возложил ее на себя — и сообщить миру нечто, о чем доселе могло быть неизвестно (иными словами, взяться за перо), каждый раз я невольно прохожу скалистыми пейзажами военных впечатлений, если попадаю в минувшие времена. Но натыкаюсь я на них, брожу по ним даже и тогда, когда ищущи вокруг себя наши дни.

Сегодня все меньше и меньше остается от того поколения, которое выходило из младенчества где-то на рубеже веков. Но, пожалуй, встретишь еще нескольких представителей его со здравым рассудком, хорошей памятью, с умением говорить правду. Вот бы спросить у них: сколько времени хранили они в памяти как реальность переживания военных лет, решавших судьбы людей, да сколько помнили события, предшествовавшие войне? А жизнь тем временем стала совсем иной.

Мы, кто начинал мыслить в эпоху между двумя мировыми войнами, считали прошлый век и пресловутый рубеж столетий этакой сказкой с ее вечным миром и покоем. И хотя многое могло бы подтвердить нам, что это именно сказка, на нас эти доказательства не действовали.

Но может быть, подобным образом мыслят и те нынешние двадцати- и тридцатилетние, те, кто стал разумным человеком у нас под боком в результате наших нравоучений. Те, кто и понятия не имеет о войне, а еще меньше о годах, ей предшествовавших, о действительности той поры. Если они и могут себе представить что-то о былом, то все это в неких сказочных образах незапамятных времен, в событиях, которые произошли или могут произойти на неведомой земле с неведомо-

мыми людьми, причем даже и в том случае, когда земля та была родной и пали на ней предшественники наши.

Но кто-кто, а мы, венгерские писатели, мое поколение, отлично знаем: все те перемены, что определяют сейчас нашу жизнь, практически родились, окрепли, превратились в монолитный сплав в годы войны. Поэтому, сколько ни ищи истоки — будь то начало судьбы лишь одного человека, траектория его взлета, обстоятельства его развития, — каждый раз вернешься назад, к войне, хочешь того или нет.

И если писатель хочет представить свое произведение на суд широкого круга читателей, хочет рассказать им об эпохе войны или поведать свои собственные воспоминания, он должен знать, что окажется лицом к лицу с новым или заново формирующимся человеком.

Молодые люди (от шестнадцати до шестидесяти лет) в литературном произведении ищут проблемы своей жизни. Что же именно? Ищут более широких возможностей своего проявления в обществе. Пытаются узнать, какую роль может сыграть их личная мораль, их индивидуальность, определить свою ответственность перед обществом. Иначе говоря, ищут свою роль в сложной сети взаимоотношений коллектива. Они ищут столкновений между трезвым, самостоятельным проявлением мысли и долгом, обязанностью, причем каждый раз применительно к самому себе. И все это они должны найти в литературе, потому что молодежь, о которой я говорю, ждет от литературы ответа на проблемы своей борьбы, на свои раздумья.

ЮРИИ ТРИФОНОВ

Тема войны неизбежно присутствует в книгах двадцатого века, ибо наш век оказался, к сожалению, веком страшных, небывалых в истории человечества войн. Даже в книгах о современности, о поколении, родившемся после сорок пятого года, война существует как грунтовка холста, на котором написана картина. Нет писателя, стремящегося правдиво исследовать жизнь сегодняшних людей, которому удалось бы избежать этой темы. Ибо характеры, сложнейшие обстоятельства жизни, мотивировки поступков берут свое начало там, в прошлом тридцатилетней давности. А может быть, не начало? Начала не существует. Движение начато давно. Но какие-то громадные толчки, сообщавшие движению новую силу, произошли тогда, в роковые годы.

Война пересекла каждую жизнь. У меня нет книг о войне впрямую, но почти в каждой, начиная со «Студентов», изображались люди, так или иначе войну пережившие, вернувшиеся с фронта, потерявшие на войне близких, изведавшие годы труда в военном тылу. Во время войны я работал на авиационном заводе в Москве. В 1942 году, когда я поступил на завод в качестве рабочего трубоволоочильного цеха (мы т я н у л и трубы для авиационных радиаторов), мне было семнадцать. В цехах были ребята моего возраста, были и моложе, шестнадцатилетние, были старики, больные, много женщин. В нашем цехе оказалось много людей, заброшенных в Москву волною эвакуации из западных областей. Они не имели заводских специальностей, были подавлены всем случившимся, рассказывали о гибели родных, о потерянных детях, о том, что стариков родителей пришлось оставить, у них не было сил ехать. Мастером трубоволоочильного цеха был пожилой коренастый человек, большоголовый, как гном. Имени его, кажется, никто не знал, кроме начальника цеха, а рабочие звали его Чума. Этот Чума работал в каком-то диком, постоянном угаре. Проводил в цехе дни и ночи, себя не жалел, но и нас гонял почему зря. Потом мы узнали, что все его близкие погибли. Ему было все равно где спать: в бараке общежития или на теплых досках возле горна, в цехе. На заводе в сорок втором году бушевало горе войны, хотя ничего страшного и кровавого не происходило. Мы работали по двенадцать, а то и по шестнадцать, со сверхурочными, часов в сутки. Всегда были голодны. Жили новостями с

фронта. Эта сторона войны — быт московских заводов — в литературе изображена мало. Вообще, жизнь была горчайшая, со смертями от болезней и недоедания, с нечеловеческим трудом, невзгодами эвакуации, передвижкой миллионов масс с неизбежными при этом ужасами, болью и героизмом — все эти как бы второстепенные бедствия войны не нашли еще настоящего выражения в литературе. Давно хотелось написать книгу о войне, как я ее помню: Москва сорок первого — сорок второго года, трагический, великий город, — но знаю, что это очень трудно, ведь время уходит, а прошлое забывается все прочней, непоправимей.

Из произведений о войне самым значительным, на мой взгляд, является поэма Твардовского «Василий Теркин». Эта книга выдержала проверку боем, временем, переменами времени и выдержит еще много всего. Почему я назвал поэму, а не какой-нибудь роман или повесть? Есть хорошие романы и повести о войне, правдивые, честные. Но поэма Твардовского — истинное искусство. К истинному искусству неприменимы в качестве определений слова «правдивое, честное». Это само собой разумеется, входит в понятие. Мы ведь не говорим о знакомом человеке: «Он очень хороший человек. Не ворует». Почему же эти определения в большой цене, когда речь идет о некоторых романах, повестях? Так вот, поэма Твардовского — истинное искусство.

Как «Евгений Онегин» рассказал о русской жизни первой половины прошлого века гораздо больше, чем многие романы и повести того времени, так и «Василий Теркин» рассказал о войне, о подвиге народа в лихолетье больше иных многошумных эпосов. Как бы ни были достоверны, правдивы, неподкупно-точные картины боев, описания атак и контратак, как бы ни были увлекательны интриги войны, противоборство тактических идей, боевые эпизоды, примеры мужества, самопожертвования и мастерства, которые запечатлены в записках военачальников, мемуарах, документально-исторических книгах о войне, ничто не заменит высочайшей задачи искусства — создания живого характера. Теркин — тип, по своей художественной силе не уступающий лучшим творениям мировой литературы.

Почему после второй мировой войны не было литературы «потерянного поколения»? По-видимому, потому, что не было «потерянного поколения». Война была иная. Фашизм все окрасил в зловещие тона заката человечества. Вообще, история не любит повторений. Ошибаются те, которые выскивают в истории сходные ситуации, чтобы делать прогнозы по аналогии. Другая война другим кончилась и родила другое поколение. После конца этой войны людей охватила гораздо большая радость победы, чем после войны четырнадцатого, ибо побежденным оказался не народ, не государство, а — фашизм, нечто более страшное, чем военная сила. Такому исходу радовалось и большинство побежденных немцев («Лучше ужасный конец, чем ужас без конца»), как ни горька была разруха и унижение.

Теперь, спустя тридцать лет, когда обновилось население земли и для громадного большинства людей события военной поры — легендарное прошлое, литература о войне может быть интересна только с одной точки зрения: что она раскрывает в нас, людях сегодняшнего дня, и чем обогащает нас? Еще раз доказывать, что война — ужасное дело, а мир — прекрасное, не имеет смысла, так как это всем известно. Никто не спорит как будто. Новые подробности давно прошедших событий? Новая информация? Новые иллюстрации героизма, служащие воспитательным целям? Со всем этим отлично справляется документалистика, которая, кстати, становится все более популярной среди читателей. О войне теперь больше читают мемуары, а не романы.

И когда я слышу, как некоторые писатели объявляют: «Сейчас я пишу повесть, где изображу такую-то битву» — или: «Пишу роман, где хочу изобразить операцию, неизвестную в литературе», — я недоумеваю. Неизвестных операций, героических сражений, подвигов было много в минувшей войне, и надо стремиться рассказать обо всех хотя бы ради памяти погибших героев, но — в документальном жанре, что убедительней и «честнее», если уж мы любим это слово. Да

и читателю хочется знать совершенно достоверную историю, а не подслащенную писательской фантазией.

Что же делать романистам? Идти дальше, в сегодняшний день, находить в военной теме болевые точки, которые болят до сих пор... Примеры удач есть — некоторые повести Быкова, в частности «Сотников».

Задачи писателей в борьбе за сохранение мира не расходятся с общими задачами литературы: стараться делать человека лучше.

Литература в мире без войн все силы бросит на главное дело — перестанет описывать танковые сражения и вой бомб и углубится в тайны человеческой психологии. Но пока существует величайшая опасность войны, а в некоторых частях мира, как, например, во Вьетнаме, война не утихает и гибнут под бомбами люди, литература обязана описывать и танковые сражения и вой бомб.

МИХАИ ШЮКЕШД

Война изображена в «Илиаде», войне посвящен крупнейший роман Толстого. Если рассматривать эпические произведения истекших трех тысячелетий, нетрудно заметить: война — это тема, которая постоянно присутствует на повестке дня, неизменно актуальная тема. О чем может повествовать, что новое может сообщать роман как средство передачи информации? Сегодня, вчера, пятьсот лет тому назад? О четко определенном, неизбежном процессе человеческой жизни (рождение, смерть); о поддержании бытия (голод, сытая жизнь); о продолжении рода (любовь); о нуждах группового существования (труд, творчество, игры); неожиданные перемены в групповом существовании (война). Однако подлинная литература лежит за этими схемами.

Иначе говоря, «Илиада», «Война и мир» повествуют не о войне. В них речь идет о взаимосвязях людей, об их жизни, в которой наряду с прочими факторами война играет особую роль.

Граница проходит между литературой, повествующей только лишь о данном историческом моменте, то есть литература может быть и полезной в период своего появления, но преходящей, и другой литературой, которая обобщает исторический момент и остается жить в веках.

Давайте вспомним знаменитые романы о двух мировых войнах двадцатого столетия, и станут очевидны две возможности, два типа произведений. Если автор стремится как можно детальнее, как можно более достоверно увековечить войну как тотальное явление, то ему лучше брать за солидный репортаж. Работа предостаточно немалая: от цвета и запахов вываливающихся кишков, визга гранатных осколков, гноя, крови, испражнений — все это чувствуешь во время чтения — получишь бессонницу, и притом надолго. К таким романам после первой мировой войны относится «На западном фронте без перемен» Ремарка, после второй мировой войны — «Молодые львы» Ирвина Шоу. Может появиться благородный, так сказать, пропагандистский роман, чтобы доказать: война-де ужасна, невыносима; каждого, оказавшегося в ее власти, она лишает всего человеческого. Об этом писал некогда Барбюс, так писали некоторые венгерские и советские писатели после 1945 года. Их произведения мы сейчас не очень-то помним, непосредственная информация о войне чрезмерно вытеснила из них прочие элементы, столь необходимые роману.

Едва ли можно назвать случайностью тот факт, что наиболее значительные произведения, посвященные войне, родились существенно позже исторических событий. Непосредственно же после войны достойное место среди шедевров заняла литература репортажного жанра, выходящая на русском, венгерском и других языках. Но потребовались долгие годы, прежде чем Шолохов написал «Судьбу человека», поколение Бакланова и Бондарева, отдалившись от непосредственных впечатлений, преобразовало в роман свою информацию о войне. Венгерской литературе тоже потребовалось двадцать лет, чтобы после средних романов и по-

лезных документов создать непреходящее произведение. Писатель Эркен в книге «Тоот, майор и другие», Череш в «Холодных днях» впервые выразили на специфическом языке искусства мысль о том, в чем же суть особой судьбы Венгрии и венгерского народа во второй мировой войне.

Эти произведения — и стоит обратить на это внимание — словно бы написаны и не о войне. Их авторов интересует не война как таковая, не набор натуралистических ужасов. Война для них лишь предлог для того, чтобы в тесных рамках ее писатель мог запечатлеть изменения в поведении личности, социальных групп мира.

После первой мировой войны казалось: можно написать полнокровный «военный роман». Это подтверждают примеры не только Ремарка, Барбюса, венгра Родиона Марковича. «Потерянное поколение» дало писателей, которые представляют ставшее ныне классическим направление американского романа. Фитцджеральд, Хемингуэй, Дос Пассос, молодой Фолкнер в 20-е годы чувствовали себя обманутыми, ограбленными. Их основное ощущение, что они на войне потеряли родину и самих себя, сейчас легко объяснить. Эти будущие писатели в качестве солдат своей страны принимали участие в такой войне, на фронтах которой стало ясно: ни одна из противостоящих сторон не сражается за правое дело.

Вторая мировая война, столкновение фашизма и антифашизма, представлялась борьбой не только в однозначном понимании слова. Виделась перспектива того, что после победы союзников начнется золотой век на земле, освобожденной от врагов человечества. К сожалению, так не произошло. Радостные часы триумфа вскоре сменились первыми днями холодной войны.

Здесь можно было бы искать причину того, почему не породила вторая мировая война «потерянного поколения». У писателей не было времени заниматься вопросами субъективной досады. Норман Мейлер весьма молодым и очень поспешно написал роман «Нагие и мертвые». Он как бы выплеснул его из себя чуть ли не на другой день после победы. Мейлер мог бы стать продолжателем «потерянного поколения», вождем новой группы писателей. Но не стал. И другие его современники уже в течение немногих лет являются жертвами холодной войны, они додолгу молчат или выступают с произведениями сомнительного толка. И пожалуй, не случайно, что сейчас, в наши дни, лучший роман о второй мировой войне написал в Америке не Мейлер, а тем более не Джеймс Джонс или Ирвин Шоу, а Джозеф Хеллер, причем спустя много лет после событий. В книге «Уловка-22» Хеллер как бы выдерживает ироническую дистанцию от собственной темы и создает своеобразную форму романа со своей стилистикой на том материале, который у Мейлера и его собратьев по перу занял сотни страниц детальных описаний.

Статистика показывает: литература о войне, военные фильмы у нас сейчас непопулярны. Тот, кто пережил войну, не желает тратить немногие часы своего досуга на тягостное ощущение от уже виденных ужасов. Тот, кто родился позднее, мечтает о более близкой ему информации, о более радужных сопереживаниях.

Хорошо, если писатель знает об этих сигналах социологов, изучающих аудиторию. Еще лучше, если он не позволяет сбить себя с пути этими сигналами. Тот, для кого война была великим переживанием, естественно, не желает, да и не может ограничивать себя в ее изображении. Несомненно одно: военную тематику можно многократно повторять с помощью натуралистических эпизодов, но смысла в этом нет. Произведение искусства лишь тогда выдержит проверку временем, если военные эпизоды дадут основу для художественного обобщения. Как в романе Клода Симона «Дорога во Фландрии». Как в фильмах Бергмана и Михалы Ромма.

Относительно уверенно я отвечал на предыдущие вопросы. На следующие же буду отвечать с запинками. Нет, не мечты мои расплывчаты, но желанный мир трудно завоевать, предстоит еще упорная борьба.

Войну изображает «Илиада», войне посвящен крупнейший роман Толстого. О писателе, который одобрял бы неправую войну, считал бы ее благотворной, мы

не вспоминаем. А войны начиная от времен Гомера до времен Толстого, от Толстого до наших дней тем не менее не прекращаются. Писательские старания не влияют на причины и мотивы войн. В той точке мира, где пишутся эти строки, вот уже четверть века нет войны. Но после сорок пятого не было ни единого года, когда не вспыхивали бы так называемые локальные войны то в одной, то в другой точке земли.

Вторую мировую войну я пережил мальчишкой, сидя в подвале. Семнадцать лет спустя я с тревогой в душе слушал сообщения радио о критическом положении в связи с Кубой. Третья мировая война тогда не началась.

Война не началась, и у нас есть основания надеяться, что не начнется и в будущем. Мы живем в условиях мира. Пишем романы, драмы, диалоги-выступления. О третьей мировой войне уже никто и ничего написать не сможет.

ОЛЕГ СМИРНОВ

Я ушел на войну юношей, а вернулся не то что постаревшим, но зрелым, взрослым человеком — это уж так. За четыре года я проделал путь к «взрослости», в мирных условиях на это потребовалось бы, может, четверть века. Потому что на фронте набрался такого социального и нравственного опыта, который с неизбежной быстротой и необратимостью научил смыслу бытия. А если выразиться чуть иначе, именно война сформировала меня как личность, как гражданина и, наконец, как писателя.

На моих глазах гибли прекрасные люди, друзья-ровесники, товарищи по оружию, и я, уцелевший, постоянно чувствую себя в неоплатном долгу перед ними. Память о павших велит писать. Хочу, чтобы старые поколения не забывали, а новые — знали, какой ценой завоевана победа в Великой Отечественной, кому мы обязаны тем, что живем, кто спас нашу родину и, в конечном счете, всю планету от фашизма, равнозначного рабству, одичанию, уничтожению. Этому и посвящены некоторые мои романы, повести, рассказы. Другое дело, насколько удалось воплотить замыслы...

На мой взгляд, современная военная проза — одна из сильнейших в советской литературе, да и не только в советской. Наиболее значительными произведениями последних лет о войне считаю трилогию Константина Симонова «Живые и мертвые» и повесть белорусского писателя Василя Быкова «Сотников». Если же ставить вопрос шире, то я бы назвал лучшие книги Михаила Шолохова и Константина Федина, Леонида Леонова и Олеса Гончара, Василия Гроссмана и Александра Чаковского, Эммануила Казакевича и Вадима Кожевникова, Григория Бакланова и Виктора Некрасова, Михаила Алексева, Анатолия Ананьева, Георгия Березко, Юрия Бондарева, Михаила Бубеннова... Представьте себе, если эти и другие книги о Великой Отечественной собрать воедино, какая грандиозная картина войны и мира предстанет перед вами!

Война и мир — это переплетено, завязано одним узлом. Своими книгами о войне мы боремся за мир, учим любить его, беречь, защищать, предостерегаем: человечество, будь бдительным, не дай возникнуть мировой войне, еще более страшной, чем минувшая. Хотя и та, минувшая, была достаточно страшна. Вспомните цифры: во время войны погибло двадцать миллионов моих сограждан, двадцать миллионов! Привожу эту цифру не для того, чтобы поугагать, а чтобы напомнить. И предостеречь.

Книги, авторов которых я называл поименно, уже выдержали проверку временем. Сейчас, мне кажется, не нужны десятилетия, чтобы определить, хорошая ли это книга или плохая, жить ли ей долго или быть забытой по прочтении.

Чем примечательны подлинно художественные произведения о войне? Прежде всего правдой, правдой и еще раз правдой. Лгать в любом произведении безнравственно, лгать в произведении, описывающем войну, — безнравственно вдвойне. Ну, пусть не лгать, но и сфальшивить, умолчать, приукрасить — недопустимо. Война вещь кровавая, тяжелая, суровая, и писать о ней надо сурово. Правдивая

суровость не оттолкнет читателя, не испугает, а заставит поверить в то, что описывает автор. Если в произведении будет правда обстоятельств, то и действующие в них герои будут вести себя соответственно правде, и тогда можно уже говорить об их жизненности, достоверности, убедительности, то есть о правде характеров. Среди достоинств таких произведений я бы отметил и большую психологическую глубину. В отличие от первых послевоенных лет теперь писатели поглубже заглядывают в душу человеческую, не уходят от сложностей и противоречий. Все правильно: эти сложности по плечу тем, чьими предшественниками в отечественной литературе были Толстой, Достоевский, Чехов. Конечно, это титаны, вершины литературы, но ведь и равняться нужно на самых высоких, правофланговых.

Иной раз мы спорим, что лучше — маленькая повесть или трехтомная эпопея, война, видимая из солдатского окопа, или война генеральская, штабная, или синтез той и другой и прочее. Мне эти споры представляются схоластическими. Важен не размер произведения, не место, откуда глядят на войну герои, — важен взгляд писателя. Можно многое увидеть и из солдатского окопа и ничего не увидеть с генеральского НП, и наоборот, — вся суть в том, насколько объемно зрение самого писателя.

В книгах последних лет советские писатели стали исторически зорче, они пытаются «прорисовать» картину войны, осмыслить ее в частностях и в целом. Даже в небольших по площади произведениях присутствует История, они наполнены «воздухом» нашего времени, нашей эпохи.

Советской литературе чужд пацифизм. Мы не вообще против войн, мы против войн захватнических, грабительских и признаем войны справедливые, освободительные. Когда нужно было, доказали это с оружием в руках, отстояв собственную страну и освободив многие страны от немецких оккупантов и японских милитаристов.

О литературе «потерянного поколения». Я согласен: после второй мировой войны положение в зарубежной литературе сложилось несколько иное, чем после первой мировой, породившей то, что мы условно именуем литературой «потерянного поколения». Но сказать, что после сорок пятого года подобных книг вовсе не было, значит допустить натяжку. Эта литература не получила размаха и мощи, как после восемнадцатого года, однако мотивы «потерянного поколения» все-таки звучали, скажем, в западногерманской, американской, японской прозе (например, у любимых мною Генриха Бёля, Курта Воннегута или Дж. Сэлинджера). А не набрали силу эти мотивы оттого, что характер второй мировой войны — после нападения Гитлера на Советский Союз — изменился и стал отличен от характера первой мировой. Ну и, разумеется, сказался тот факт, что народные массы осознали свое право и обязанность решать судьбу планеты, укреплять мир, противодействовать угрозе новой войны. Это движение не могло не повлиять и на писателей разных стран, не усилить их волю и желание внести вклад в сохранение мира в Европе и на остальных континентах. Я уже говорил: писатели борются за мир книгами. Более того: всей своей жизнью они борются за него. Многие из них отдали энергию и время, непосредственно организуя движение сторонников мира. В связи с этим я бы упомянул Александра Фадеева, Илью Эренбурга, Николая Тихонова, Александра Корнейчука.

Какая литература о войне может заинтересовать сегодня молодежь, научить ее, как надо жить? Высокая, большая литература, о которой я толковал выше. Твердо убежден, что эта литература в состоянии — без дидактики, без лобовых нравоучений — привить молодому читателю любовь к родине, к народу, благородство, мужество, убежденность в правоте того, что приходится или придется совершать. Качества эти пригодны ведь и в мирной жизни...

Я не очень верю, что придет однажды новый Лев Толстой и создаст о минувшей войне нечто грандиозное, эпохальное. Придет — хорошо, а ежели не скоро придет либо вообще не придет? Что тогда? Думаю, не стоит уповать на появление гениального писателя. Надо работать тем, кто живет сейчас. Тем, кто об-

ладает жизненным опытом и литературным талантом. Тем, кто жаждет сказать свое слово о войне и мире.

Не очень я также верю, что это слово скажет кто-то другой, а не те люди, которые сами прошли горнило Великой Отечественной. Чтобы создать значительное произведение о войне, необходимо прочувствовать ее собственной шкурой. Может быть, я пристрастен. Каждому его поколение кажется лучшим. И я, грешный, люблю свое поколение. Но я не об этом, я о другом: нельзя писать о войне, ведая о ней понаслышке, — ничего из этого не получится. Жаль лишь, что тех, кто пощупал войну собственноручно и кто мог писать про нее не вторичное, вычитанное из чужих книг, а сокровенное, личностное, — их остается все меньше и меньше: раны, болезни, возраст. Да, и возраст. Молодых среди военных писателей не найдешь.

Выдающийся поэт Александр Твардовский писал когда-то: бой идет не ради славы — ради жизни на земле. Именно ради этого шла Великая Отечественная. Никто, наверное, так не ценит мир, как бывшие фронтовики, ибо они воочию видели, что это такое — война, ибо они знают: без мира на земле не будет жизни, достойной Человека.

Тридцать лет назад я не предполагал, что буду писать когда-нибудь о войне. Я просто воевал. Делал то, что делали мои сверстники, — старался честно выполнить солдатский, мужской долг. На фронте я не любил загадывать о себе лично, не без основания опасаясь: загадаешь, а тебя убьют. Однако о будущем страны, народа я, двадцатилетний, загадывал: великолепная сложится жизнь, когда наступит вечный мир. К сожалению, вечный мир не наступил. Но он должен наступить! И пример здесь может подать Европа, та самая многоязычная, многострадальная, взрывчатая Европа, откуда дважды расплзлось по планете пламя мировой войны.

Теперь времена изменились. Как раз Европа-то и может проявить инициативу в налаживании мирного сосуществования, добрососедства и дружбы различных государств. Надеюсь, этому будет способствовать и общеевропейская ассамблея в Брюсселе. Она, уверен, явится еще одним шагом к европейской безопасности и деловому сотрудничеству, сотрудничеству во имя мира в Европе и на всем земном шаре. Пусть же потомки скажут о нас: эти люди жили в двадцатом столетии, когда мир победил войну.



ГЕНРИХ ВОЛКОВ

★

ТРИ ЛИКА КУЛЬТУРЫ

Искусство, философия, естествознание. Мы привыкли строго разграничивать эти три основные формы человеческой культуры. Написаны горы книг и статей, где обосновывается это разграничение и обстоятельно прослеживается, в чем и как оно проявляется.

Одной из самых известных на Западе книг на эту тему явилась публицистически острая работа английского ученого и писателя Чарльза Перси Сноу «Две культуры и научная революция», в которой автор фиксирует раскол между гуманитарной и естественнонаучной культурами на две части, являющих собой как бы два полюса, две «галактики».

Но почему, собственно, только две части? Ведь философия и гуманитарные науки, к ней тяготеющие, не укладываются ни в культуру естественнонаучную, ни в художественную, обладают своим специфическим способом освоения мира и потому составляют, пожалуй, не менее суверенную — третью «галактику». Однако, в конце концов, речь не о том, на две или на три части делить человеческую культуру. Важно, что она делится.

Сноу пишет: «...На одном полюсе — художественная интеллигенция, на другом — ученые, и как наиболее яркие представители этой группы — физики. Их разделяет стена непонимания и иногда (особенно среди молодежи) антипатии и вражды, но главное, конечно, непонимания. У них странное, извращенное представление друг о друге. Они настолько по-разному относятся к одним и тем же вещам, что не могут найти общий язык даже в области чувств».

Сноу имеет в виду западную, в частности английскую, интеллигенцию. В среде советской интеллигенции, конечно, нет такого антагонизма, враждебности и непонимания, но тем не менее возникает же на страницах и нашей печати спор философов и естественников, физиков и лириков по целому ряду важнейших проблем: о перспективах и возможностях развития кибернетики, о мировоззренческой интерпретации тех или иных открытий науки, о границах вивисекции, о моральной стороне медицинских и биогенетических экспериментов на человеке, о взаимоотношении индустрии и природы. Обсуждается же на страницах «Литературной газеты» горячо и страстно вопрос: не беднеют ли в век науки и техники наши чувства? И ведь раскололись же читатели на два лагеря — «рационалистов» и «эмоционалистов», в зависимости от ответа на него!

И разве не сталкиваемся мы порой с гуманитарно-философским высокомерием и пренебрежением к «профессиональной одичалости» и однобокости естественников, а с другой стороны — с тем физико-математическим чванством, для которого вся наука делится на «естественную и противоестественную», либо на «физику и коллекционирование марок»?

И вот в обстановке, когда раскол (или, если хотите, мягче — разграничение) стал, кажется, большинством признаваемым фактом жизни человеческой цивилизации, когда сомневаться в этом многим представляется столь же абсурдным, как в существовании миров и антимиров, я все же позволю себе усомниться. Более

того, я бы сказал, что ни двух, ни трех культур нет, а была, есть и будет лишь одна культура, ее единый феномен с тремя ликами — искусства, философии и частных наук.

При этом я вовсе не хочу заслужить традиционный упрек философам со стороны естественников в игнорировании фактов и следовать в этом отношении за молодым Гегелем, который, согласно легенде, воскликнул: «Тем хуже для фактов!» — когда планета, возможность существования которой он отрицал, исходя из пифагорейско-платоновской символики чисел, была все же открыта.

На мой взгляд, есть люди культуры и есть люди полукультуры, вот последнее и враждует с представителями «второй половины» культуры, вот для них существует китайская стена между культурами, вот они-то и поставляют факты и мнения о расколе, пропасти искусства и науки.

Когда я использую выражение «люди полукультуры», то не хочу сказать ничего обидного и оскорбительного. Ни для кого не секрет, что есть специалисты, прекрасно знающие, скажем, электронику и технологию, но глухие к музыке, поэзии, живописи. И напротив, есть писатели и поэты, имеющие более чем смутное представление о современной физической картине мира. Сноу, будучи сам человеком большой культуры, называет их представителями двух культур. Ничего подобного: это представители двух полукультур!

В искусстве, как и в науке, есть к тому же разные уровни деятельности. Есть творцы, «генераторы идей», и есть исполнители. Есть исследователи и последователи. Есть композиторы и есть рядовые исполнители и оранжировщики. Есть Ньютон, Кант и Гегель и есть ньютонианцы, кантианцы, гегельянцы. Есть поэты и есть подражатели, истолкователи, комментаторы.

Первые — это те, кто двигает культуру вперед. Вторые — те, кто способствует этому движению (либо его тормозит), обслуживает его. И уж конечно, вторых больше, чем первых, особенно в наше время массовой тяги к искусству и науке.

И как бы ни был необходим и полезен труд этой второй группы, но он имеет свои особенности, обусловленные как уровнем способностей, так и, главным образом, вспомогательным, подсобным, узкоспециализированным характером задач, стоящих перед ними. Гений никогда не бывает узким и ограниченным своей областью интересов профессионалом. Талант редко бывает им.

Сноу и его коллеги опросили 30—40 тысяч специалистов в области точных и естественных наук и инженеров, занятых прикладными исследованиями. Большинство из опрошенных было меньше сорока лет. По преимуществу эти люди заняты решением узкоспециальных, исполнительских, нетворческих функций.

Естественно, что среднестатистические данные этого исследования свидетельствовали о «полукультурности» опрошенных, о неразвитости их художественного вкуса: «Искусство занимает в этой культуре довольно скромное место, правда за одним, но весьма важным исключением — музыки. Обмен мнениями, напряженные дискуссии, долгоиграющие пластинки, цветная фотография. Кое-что для ушей, немного для глаз. Книг, тем не менее, очень мало. И почти ничего из того, что составляет повседневную пищу писателей — почти никаких психологических и исторических романов, стихов и пьес».

Полагаю, что если бы подобный опрос был проведен среди ученых первой величины, он дал бы совсем иные результаты (Сноу и сам признает, что некоторые из крупных ученых, обладающих широтой взглядов и интересов, читают все, что пишут писатели).

Но откуда же появляются «люди полукультуры»? Существуют же на это объективные причины? Да, существуют. Это и прогрессирующее разделение труда в науке, и перенесение в нее методов промышленного производства с коллективным трудом и мощной экспериментальной техникой. Это и издержки системы образования, которая во многих капиталистических странах носит слишком рационалистический, утилитарный, приземленный, узкопрофессиональный характер. В некоторых наших школах в последние годы также заметен крен к рационализму

и ранней профессионализации (школы с математическим, физическим уклоном), а художественная литература преподается нередко на таком уровне, что сызмальства притупляется интерес к ней.

Такое обучение исходит порой из предпосылки, что учить нужно прежде всего «делу», то есть тому, чем ученику потом предстоит заниматься, а все остальное лишь мешает «делу». И если мы готовим будущих физиков, то и учить их надо физике и математике, а литературу, историю искусства и эстетику пусть изучают будущие филологи и искусствоведы. Конечно, и физику не вредно знать немного об образах героев Пушкина и Достоевского, и филолог должен бы иметь представление о теории относительности и теории информации, но это уже в виде приправы к основному блюду: считается хорошим тоном, скажем, в книгу по молекулярной биологии вставить литературные реминисценции!

В основе подобного подхода лежит традиционное представление об искусстве и науке как о двух самостоятельных и независимых сферах деятельности. Чуть ли не с молоком матери впитываем мы убеждение, что существуют различные «предметы» и «дисциплины», что не только литература — это «особая статья» по сравнению с «наукой», но и последняя делится на строго разгороженные части: математику, физику, химию, биологию, философию, социологию, политическую экономию и т. д. Перед нами с детства раскладывают всю накопленную человечеством культуру по полочкам, по школьным предметам, а затем по курсам, кафедрам, секторам, библиографическим ящичкам, по учебникам, первая задача которых — строго ограничить свою тематическую «вотчину», привлечь к ней побольше «верноподанных» и оградить ее всеми средствами от посягательств извне.

Нам предлагают как можно раньше определиться: каким сегментом деятельности мы ограничим всю свою дальнейшую жизнь, в соответствии с какой полочкой и ящичком мы будем избирать свои духовные интересы. И мы привыкаем к этому как к естественному и изначальному ходу вещей. И забываем начисто, что все это лишь наше собственное, субъективное, насильственное каталогизирование, что сама-то природа, как внешняя, так и собственная наша природа, знает ничего не знает о том, как мы ее рассекли, на какие удельные княжества дисциплин мы ее разделили для собственного удобства рассмотрения; что сама-то природа живет не по законам феодального общества, а по законам единого и гармоничного целого, к реализации которых стремится и человеческое общество и отдельная личность.

Конечно, неременная предпосылка всякого творчества — это ограничение, ограничение кругом тех задач, которые берешься решить. Но безграничным должен быть тот духовный источник, из которого черпаются средства для их решения, универсальными познания и универсальными способности, развитые и искусством, и философией, и частными науками.

В противном же случае ограничение оборачивается ограниченностью. И мы имеем дело с человеком, который со школьных лет и до гробовой доски остается в рамках избранного им «ящичка» и не высовывается из него ни на вершок. Он кропотливо и самозабвенно трудится на своем участке, вспахивает и перепахивает его, сортирует, измеряет, считает, классифицирует, укладывает в таблицы каждый найденный факт, фактик, фактор. Его работа очень нужна и ценна, хотя часто он больше знает, чем понимает, больше слушает, чем улавливает мелодию, постигает краски, но не живопись, числа, но не математику, формулы веществ и соединений, но не химию.

Обществу импонировала «цеховая ученость» потому, что это так хорошо согласуется с многовековой практикой в области материальной деятельности: «Не может сапоги тачать пирожник, а пироги печи сапожник». И «цеховые ученые» с неодобрением относятся ко всякой попытке исследователя раздвинуть рамки своей деланки, обозреть соседние участки, а то и все поле науки. Они пренебрежительно морщат нос, когда химик пишет статью об эстетической красоте формулы бензола, когда социолог обращается к античности, а физик твердого тела — к структуре французского стихосложения времен Франсуа Вийона. Все это квали-

фицируется как дилетантизм и легкомыслие, как нарушение законов профессионализма, за которое виновный негласно изгоняется из соответствующей «гильдии». На деле же профессиональные способности исследователя от этого не страдают, а, как правило, только выигрывают.

Правда, само развитие науки в последние десятилетия нанесло сокрушительный (но далеко еще не смертельный!) удар этим традиционным представлениям. В ходе решения, например, различных кибернетических проблем переплетаются самым неожиданным образом такие науки и направления, которые никогда даже и близко не соседствовали друг с другом: эстетика и технология, социология и физиология, биология и приборостроение, физика и психология, лингвистика и математика. И столь же причудливую интеграцию дисциплин мы обнаруживаем при исследовании проблем овладения космосом, управления наследственностью, социального управления, управления природно-промышленным комплексом.

Несмотря на продолжающуюся дифференциацию наук, интегративные процессы в ней становятся ныне господствующими. И это обстоятельство предъявляет совершенно новые требования к системе образования. Сейчас все чаще и настойчивее звучат голоса в пользу подготовки специалистов широкого профиля (и в сфере материального производства, и особенно в сфере исследований) с умением владеть методами смежных наук, с гибким и незакоштенелым в рамках определенной суммы знаний и навыков мышлением, способным переключаться на новые проблемы, с интеллектом, ориентированным не столько на то, чтобы знать, сколько на то, чтобы уметь творчески и плодотворно мыслить.

Не накладывает ли это на нас уже сейчас обязанность произвести соответствующую переоценку ценностей? Ведь те дети, которые сейчас сидят за школьными партами в начальных классах, через двадцать пять—тридцать лет будут определять лицо науки.

И если сам ход развития науки толкает ныне ученых к многостороннему изучению и охвату действительности, если в своих внутренних связях наука перестраивается в направлении все более органичного единства, то и ее внешние связи, и прежде всего связи с искусством, претерпевают аналогичные, хотя и менее заметные на первый взгляд изменения. Собственно говоря, связи эти никогда и не порывались, но в эпоху мозаичной культуры, обособленного, отчужденного существования различных областей человеческой деятельности они, эти связи, действовали подспудно, как глобальные магматические и тектонические процессы под покровом земной коры со всей пестротой ее поверхности.

Мы почему-то привыкли считать, что универсальность — это исключительное и чуть ли не аномальное явление в истории развития общества. Если говорить о равнолентливой деятельности во всех основных сферах творчества, то это, возможно, и так. Но если вести речь об универсальном развитии способностей, то не обстоит ли дело совсем иначе? Не является ли этот универсализм на самом деле нормой, нарушаемой в силу тех или иных социальных условий, мешающих личности обнаружить полноту своих интересов и дарований? И лишь люди особой одаренности пробивались в прошлые времена через все препоны на пути к универсальному развитию своих способностей.

Да и так ли уж мало число многогранно и универсально развитых личностей в истории цивилизации, как это обычно представляется? Называются обычно имена Леонардо, Ломоносова, Гёте, после чего с грустью добавляется sacramентальная фраза, что затем «времена универсалов миновали».

Во-первых, почему только эти имена? Я уж не беру античную эпоху, где почти каждый крупный философ был и геометром, и физиком, и астрономом, и поэтом. И не беру эпоху арабской культуры, где мы видим то же самое. И также такие полнокровные и колоритные фигуры европейского средневековья, как Фома Аквинский, Роджер Бэкон, протопоп Аввакум, Якоб Бёме (они и богословы, и мистики, и алхимики, и великолепные стилисты, и философы, и ученые, и провидцы, и даже изобретатели-конструкторы).

Обратимся к более близким временам.

Вот Галилей — родоначальник механического естествознания. Будучи сыном известного в свое время музыканта и теоретика музыки, он вырос в атмосфере любви к искусству, которую пронес через все творчество. И не случайно именно он, Галилей, явился одним из творцов итальянского литературного языка. Ученый дружил с живописцами, скульпторами своего времени, в частности с известным флорентийским художником Л. Чиголи, и писал искусствоведческие работы. Так, он посвятил месяцы работы тщательному изучению и сравнению произведений Ариосто и Тассо.

Это ли не универсально развитая личность? И трудно не согласиться с известным историком науки Эрвином Панофским, который, анализируя взаимовлияние науки и искусства в творчестве Галилея, пишет: «Если подход Галилея к науке оказал влияние на его эстетические суждения, то не мог ли его подход к эстетическим проблемам повлиять на его научные теории? Или же, чтобы быть более точным, не подчинялся ли он и как ученый, и как критик искусства одним и тем же определяющим тенденциям?» Конечно, это так!

А Ньютон — этот нелюди и затворник, лишивший себя всяких человеческих радостей, этот механицист и индуктивист, не признававший никакого авторитета, кроме авторитета опыта, — уж он-то, наверное, был узким специалистом? Но помимо разносторонних научных занятий и изобретений, он продолжал и развивал атомистические идеи Демокрита на основе последовательного механицизма, был вместе с тем автором теологических трактатов. Он оказал такое влияние на философию и мировоззрение, как, наверно, ни один профессиональный философ того времени.

Человек, который сумел объединить в единую теорию факты падения яблока, движения планет, полеты метеоритов, приливы океанов, уж, конечно, не страдал отсутствием живого воображения. Эйнштейн писал, что Ньютон сочетает в себе экспериментатора и художника. О способности Ньютона воспринимать мир не только строго рационально, но и поэтически говорит ясный и местами очень образный язык его произведений. Незадолго до смерти он говорил о себе Спенсу: «Не знаю, чем я могу казаться миру, но сам себе я кажусь только мальчиком, играющим на морском берегу, развлекающимся тем, что до поры до времени отыскиваю камешек более цветистый, чем обыкновенно, или красную раковину, в то время как великий океан истины расстилается передо мной неисследованным».

А Лейбниц, независимо от Ньютона разработавший дифференциальное и интегральное исчисление? Философ, логик, историк, публицист, юрист, географ, педагог, путешественник, политик, дипломат, алхимик, организатор научной работы и библиотечного дела, лингвист. Он додумался до двоичной системы чисел и усовершенствовал одну из первых счетных машин.

И подобными же «целыми университетами» были Кеплер, Спиноза, Монтень, Паскаль. Это ему, Паскалю, философу и математику, публицисту и сатирику, моралисту и человеку государственного ума, мистик и провидцу, врагу ползучего эмпиризма и узости мысли, принадлежит глубоко верное определение великого человека: «Величие души обнаруживается не в том, что человек достигает какой-нибудь крайности, а в том, что он умеет сразу коснуться обеих крайностей и наполнить весь промежуток между ними».

Век XVIII также не был обижен универсально развитыми людьми: Вольтер, Бюффон, Дидро, Кант, Руссо, Лессинг... Век XIX — Гумбольдт, Гаусс, Гегель, Маркс, Энгельс, Герцен, Дарвин, Толстой, Бальзак, Максвелл...

Быть может, положение изменилось в нашем XX веке в связи с растущей специализацией, дроблением наук и научной проблематики, в связи с взрывоподобным ростом информации? Быть может, теперь оправдывается пропись, которой мы себя успокаиваем, что время универсалов миновало?

Не будем говорить об Эйнштейне. Его разносторонние интересы и способности (математика, физика, искусство, философия, история наук) хорошо известны. Но другие? Быть может, кто-нибудь назовет среди ученых первой величины чело-

века, не выходящего за пределы своей специальности? Нильс Бор? Но он автор оригинальных статей по вопросам философии, биологии, искусства, психологии, по социальным проблемам. Циолковский? Кому не известно, что в нем слились самобытный мыслитель, астроном, математик, литератор и публицист. Или Вернадский — геохимик, эколог, географ, биохимик, организатор исследований, философ, историк и социолог науки. Или А. Чижевский — в молодости литератор, поэт, переводчик, талантливый живописец, а затем создатель гелиомедицины. Или Лео Сциллард — один из творцов водородной бомбы и автор известных научно-фантастических рассказов. Или Ландау, о котором академик А. Б. Мигдал написал в весьма характерных строчках: «В наш век специализации науки это был, быть может, последний из ученых, занимавшихся всеми областями теоретической физики». (Строки эти окажутся справедливыми, если физика не подарит больше миру выдающихся ученых, что, согласитесь, весьма сомнительно.) Быть может, этот искомый тип ученого XX века — недавно умерший Джон Бернал, одна из универсальнейших голов за всю историю науки? Или Борн, Винер, Колмогоров, Семенов, Глушков? Где же он, узкий специалист?

Это, конечно, это касается парадоксально, но им являлся каждый из названных ученых. Каждый ученый в момент исследования конкретной проблемы действует как узкий специалист, то есть узко фокусирует для ее решения весь многообразный и разносторонний спектр своих знаний и способностей, развитых с помощью искусства, философии, частных наук.

Но если гений — это, как правило, универсально развитая личность, то не следует ли сделать отсюда и обратный вывод: многогранное развитие способностей на основе активного освоения целостной культуры — вот единственный путь к творческим свершениям.

И, конечно, это касается отнюдь не только «светил», но и каждого исследователя, инженера, изобретателя. Недавно я познакомился в редакции «Литературной газеты» с многочисленными читательскими письмами на тему о «рационализме» и «эмоциональности» в век научно-технической революции. Мне запомнилось очень верное наблюдение Ю. Томина из Красноярска. «Я не встречал, — пишет он, — сколько-нибудь интересного и талантливого инженера, конструктора и т. п. — короче, «физика», который бы не был прежде всего законченным поэтом по натуре». А инженер В. Райберг из Москвы раскрывает эту мысль на примере собственной конструкторской деятельности: «Разве не должен я, составляя расчетную схему конструкции, увидеть, почувствовать ее всю как живой организм, представить поведение каждого ее элемента?»

Нередко интеллектуальную культуру человека противопоставляют его эмоционально-художественному развитию, исходят из того представления, что мир высоких эмоций и мир интеллекта — это нечто вроде песочных часов с двумя резервуарами и узким отверстием между ними. Если прибавилось в одном, то непременно отсыпалось в другом, и наоборот: если интеллект развит, то это, конечно, за счет эмоций. Я убежден, что дело обстоит совсем не так. Прimitивный мир эмоционально-художественной культуры свидетельствует и о примитивном интеллекте, который если и развит, то в области рассудочных (запоминание, каталогизирование, счет, формально-логические операции), но не творческих способностей.

Человек усвоил какой-то минимум знаний в той узкоспециальной области, где ему предстоит работать: он хорошо разбирается, скажем, в технологических процессах своей отрасли. Он взял из необъятного моря духовных ценностей только то, что ему утилитарно, повседневно необходимо. При этом взял как уже готовое, чужое знание, только запомнил его, не подняв свой интеллект, свои творческие способности до такого уровня, когда возможно самостоятельное открытие для себя этого знания, а за этим возможно и открытие еще никем не открытого. Так появляется прилежный, но бездумный исполнитель, который со стороны может выглядеть «образованным», «знающим», «толковым», «деловым». И кажется, что вот только с миром эмоций у него не все в порядке. Вот если бы он еще заинтересовался и искусством!

И если, скажем, встречаются люди, знающие «всю математику», но не понимающие ее духа, не владеющие методами математического мышления, то нередко этих же самых людей отличает и также чисто внешняя образованность (натасканность) в области искусства, когда человек с апломбом рассуждает о музыке Вагнера и ее отличии от музыки Дебюсси, но не чувствует, не воспринимает ее резонансно всеми струнами своей души, не живет этой музыкой. Искусство в таком случае также не стало активным фактором формирования его личности, как не стала им и математика.

О роли искусства в творческом процессе стоит сказать особо.

Кому не приходилось читать биографии ученых, авторы которых прямо-таки умиляются, что свегила, несмотря на всю свою одержимость наукой, все же «находили время» еще и писать стихи, музицировать, баловаться с красками, что Торричелли писал комедии и эпиграммы, Норберт Винер — художественные романы, что Чарльз Дарвин в молодости увлекался Шекспиром, Мильтоном, Шелли, что Эйнштейн играл на скрипке и любил Моцарта, Баха и Достоевского, а Нильс Бор — Гёте, Шекспира и Кьеркегора.

Но поражаться стоило бы в том случае, если бы создателями теории атомного строения, теории относительности, теоретической кибернетики были сухие рационалисты, лишённые дара художественно-эстетического восприятия мира.

И дело вовсе не в том, что многие видные ученые сами что-то пытались делать на ниве искусства. Комедии Торричелли не создали ему славы, Эйнштейн плохо играл на скрипке, а Винер писал слабые в художественном отношении романы. Они могли бы и не заниматься этим самодеятельным творчеством, потому что искусство не только и не столько «хобби» в жизни ученого, как принято думать, не только и не столько форма приятного времяпрепровождения, не повод блеснуть своей многосторонностью, а то, что составляет закваску научного творчества, то, что двигает скрытую пружину мысли.

Искусство — не брег отдохновения, не островок забвения в стремнине научного творчества, а скорее сокровенный от глаз наблюдателя родник, из которого эта стремнина берет исток и которым она постоянно питается.

Именно оно, искусство, развивает и воспитывает такие драгоценные для исследователя качества, как воображение, фантазия, интуиция. Именно оно способствует формированию ассоциативного, гибкого, объемного (а не линейного) мышления, стимулирует вместе с тем такие способности личности, которые служат надежной гарантией против рассудочного окостенения и «склероза» мысли.

Что такое, например, «чудодейственная интуиция», порождающая научные открытия? Конечно, ничего мистического в ней нет. Интуиция — это способность человека дорисовывать в своем воображении целое, прежде чем установлены и исследованы все его части, способность на основе нескольких фактов и данных экспериментов воссоздать в воображении всю целостную теоретическую систему. Причем воссоздать не произвольно, а по определенным законам, выражающим внутреннюю сущность этого целого, его природу, его гармонию, его красоту. Иначе говоря, интуитивно схваченный образ целого строится в соответствии с тем эстетическим и общепhilosophическим представлением о мире, которое впитывалось исследователем на протяжении всей его жизни. И именно искусство воспитывает у ученого чувство гармонии и подсознательно напоминает о ней во время творческих исканий.

Великий французский математик Анри Пуанкаре очень верно подметил, что в процессе математического творчества «полезные комбинации — это самые красивые», что эстетическое чувство играет в этом процессе роль «тонкого решета», отсеивающего неверные решения.

Воображение, фантазия, интуиция — это крылья мысли, позволяющие ей сойти с традиционных троп, двинуться вперед. Познание, лишённое этих качеств, приобретает форму асфальтированного шоссе, по которому рассуждения и силлогизмы несутся с привычной легкостью заученного автоматизма и лишь утрамбовывают уже заезженные пути.

Мысль, отделенная от чувства, от эмоций, — мертвая, безжизненная, машинная мысль, голая рассудочная логистика, не ведущая к новому знанию. С другой стороны, эмоции, лишённые интеллекта, — это либо отрицательные, извращённые эмоции скряги, садиста, убийцы, либо бредовые и параноичные аффекты.

И если, как мы видели, искусство находится вовсе не вне научного творчества, а присутствует в нем самом, то и напротив: возможно ли подлинное искусство, бьющее только на чувства? Разве бессмертие трагедий Шекспира, например, не в удивительно пластичном единстве художественной образности и глубокой мысли? Не в том разве, что они побуждают нас смеяться и негодовать, иронизировать и страдать, быть насмешливыми и жестокими — переживать всю возможную гамму чувств — и в то же время побуждают размышлять, сомневаться, взвешивать на весах разума и эмоций величайшие вопросы жизни и смерти, цели и смысла человеческого бытия?

И разве не этой же полнокровностью, гармоничностью мировыражения велик и наш Пушкин? Какая необыкновенная, яркая многогранность в его «магическом кристалле»! В нем оказались словно соединенными в единую вспышку все последующие лучи нашей поэзии и литературы: тонкий музыкальный лиризм Блока, фарфоровое изящество и легкость Фета, мятущаяся тоска Лермонтова, язвительный сарказм Гоголя, эпический размах и историзм Толстого, глубокий духовный драматизм Достоевского. И кто скажет, что «Борис Годунов» — это произведение только поэта, но не мыслителя?

Разве романы Бальзака не блестящие социологические и социально-психологические исследования, дающие полное представление о жизни классов и слоев целого общества? И Фридрих Энгельс имел полное право сказать, что из описаний Бальзаком истории французского общества (почти год за годом с 1816-го по 1848-й) «я даже в смысле экономических деталей узнал больше (например, о перераспределении движимого и недвижимого имущества после революции), чем из книг всех специалистов — историков, экономистов, статистиков этого периода, вместе взятых»¹.

Что представляют из себя сократические диалоги Платона? К какому виду творчества их отнести — к философии или к искусству? А поэмы Парменида и Лукреция Кара? И куда отнести утопические произведения Мора и Кампанеллы? И как разложить между искусством и философией повести Вольтера, работы Кьеркегора, Ницше, Камю, Сартра?

Кто такой Антуан де Сент-Экзюпери? Писатель? Верно, но не он ли обогатил нас новым философским видением мира, глубокими размышлениями о личности и обществе, обзрев планету людей глазами летчика, ребенка, поэта и мыслителя?

И как отсечь писателя от мыслителя в творениях Томаса Манна? А Уолт Уитмен, этот названный сребробородый мудрец, порвавший с интимом поэзии и вдохновенно вещавший именем всего человечества — его страстью, его болью, его сердцем, его разумом. На какую полочку положить его книги?

Приведенные факты, в общем-то, не открывают Америки. Но не позволяют ли они постигнуть то, что всегда считалось тремя материками культуры, как единый континент? Не есть ли они одно из свидетельств внутренней целостности художественного, умозрительно-философского и строго рационального освоения мира, доставшейся нам в наследство еще от периода мифологического синкретизма культуры древних цивилизаций и пробивающей себе путь вопреки всем неминуемым однобокостям профессионализма и разделения труда?

* * *

Человечеству известна такая историческая эпоха, когда Зачатки искусства, философии и частных наук существовали в неразвитой слитности, а именно — в мифологии. Первобытная мифология (не путать с мифологией современной) — праматерь современной духовной культуры, ее первообраз, прафеномен, то зер-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 37, стр. 36.

нышко, из которого проклюнулось и развилось зрелое растение со стеблем, листьями, цветами.

Но если уж остановиться на этом незатейливом сравнении, то мы имеем дело со странным растением, которое сначала развилось из зернышка мифологии в цветок поэзии, затем пустило листья философии и лишь под конец образовало стебель точного научного знания. Растение не оставалось неизменным, все более удалялись друг от друга его части, но питались они тем не менее одними и теми же соками своего времени. Их роднило, связывало то общее, что может быть названо «духом эпохи», «стилем творчества».

Будем конкретными и обратимся к определенным историческим эпохам.

Первое, что бросается в глаза при взгляде на античную культуру, это поразительная идентичность бурного всплеска искусства и натурфилософии. К 550 году до н. э. относится создание крылатой богини Ники с острова Делос — это первая попытка заставить камень улыбаться, первая скульптурная улыбка греческого гения! И к этому же времени относятся первые шаги греческих философов на поприще умозрительного, рационального постижения устройства мира. Пройдет всего только столетие — и мы окажемся в Афинах Перикла, в эпоху высочайшего внутреннего расцвета Греции.

В этот период здесь была, очевидно, создана та социальная и духовная среда, которая наиболее благоприятствовала расцвету и искусства, и философии, и частных наук, а именно рабовладельческая демократия в ее наиболее «чистом» виде. Такой развитой демократии, которая была в Афинах Перикла, не знало в то время ни одно государство мира. Нигде свободному (существенная оговорка) человеку не дышалось так легко, нигде он не имел таких широких возможностей для проявления своей индивидуальности, как это было в Афинах и некоторых других государствах-полисах. Здесь человек почувствовал себя не безликой частью безликой машины деспотической государственности, а именно личностью, духовной неповторимостью.

Здесь вся социальная жизнь крайне неустойчива, полна смут, дискуссий, катаклизмов, политических переворотов. И не составляет ли главную особенность античной классической скульптуры по сравнению с египетской, например, этот динамизм, этот принцип движения и изменения, это радостно-чувственное удивление миру и желание удивить его пропорциями, гармонией, пластикой, неповторимостью черт индивидуального человеческого тела, неповторимостью его фигуры, его осанки, его позы, его улыбки?

И не видим ли мы также этот динамизм и антропоморфизм в качестве основных принципов философского истолкования мира у античных мыслителей от Гераклита до Сократа? Не предстал ли мир в воззрениях пифагорейцев, скажем, живым прообразом античных скульптур — телесным, гармоничным, страдающим и радующимся, мыслящим, разумно организованным в соответствии со строгими, математически измеримыми пропорциями? Не есть ли все мироздание в этих представлениях та же скульптура, созданная божественным резцом демидурга? И не подчинены ли также принципу гармонии поиски системности доказательств в геометрии?

Аналогичную взаимопронизанность форм творчества единым стилем мы наблюдаем и в другие эпохи. Выражением одного мироощущения являлась средневековая схоластика, готическая скульптура, мистика и алхимия. А столетиями позже — ренессансные тенденции в архитектуре, скульптуре, живописи, литературе и коперниканско-галилеевский переворот в понимании устройства Вселенной. Леонардо и Пино делла Мирандола, Рабле и Монтень, Кардано и Николай Кузанский разными средствами и жанрами выражали свободный от догматов, раскованный дух своего времени, устремленный в будущее, весь пронизанный трепетным ожиданием близкого небывалого обновления мира и человека.

Эпоха капиталистической индустрии принесла с собой и соответствующий духу времени стиль творчества. Человек, некогда стоявший в центре мироздания, бывший мерой познания самой природы, теряется вдруг в грохочущем мире машинной цивилизации и разветвленной системе бюрократической государствен-

ности. Он оказывается в словно вывороченном наизнанку мире, где вещи олицетворяют собой отношения людей, где собственные творения рук рабочего становятся отчужденной и чуждой силой, его угнетающей. Человек растерян, подавлен, но он и протестует, восстает против безликих циклопов, распоряжающихся его трудом, его жизнью, его судьбой. Все более неопределенным, иррациональным, непредсказуемым, не поддающимся оценке и контролю индивида становится ход событий, возрастает сложность социальных и технических систем, политических и экономических процессов, течение которых не подчиняется однозначным детерминантам.

И это мироощущение стало лейтмотивом искусства, философии и естествознания XIX и XX веков. Теория относительности, отказ от наглядных представлений в квантовой механике, вероятностные методы и принцип неопределенностей в физике — все это перекликается с соответствующими принципами поисков в современном искусстве, стремящемся отразить жизнь в ее сложных, глубинных, не выступающих на поверхности процессах, разглядеть за внешней данностью, очевидностью субъективно неповторимые, причудливые, расплывчатые, остранные, парадоксальные, фантастические, ирреальные и даже сюрреальные очертания. Миры Бора и Гейзенберга, Камю и Хайдеггера, Пикассо и Рериха, Кафки и Хаксли, Булгакова и Апдайка в этом отношении сопоставимы, гомогенны, конгениальны.

Мало, однако, установить только полифоническое созвучие форм творчества. Гениально-интуитивное провидение таких созвучий, их безмерная акцентировка привели Шпенглера к антиисторической мысли о замкнутости в себе, изолированности, монадности, квантованности культурных эпох, отсутствии преемственности и связи между ними.

Диалектически-подвижное единство искусства, философии и частных наук, выражая и формируя «духовный климат» своего времени, вместе с тем чревато и всполохами последующих эпох культурного развития. И если три основных потока творчества протекают в едином русле культуры, то важно постигнуть существо этого явления именно в его текучести, подвижности, устремленности к новым горизонтам. Это поток, в котором все виды и формы освоения действительности смешивают свои воды, движутся вперед, подталкивая и обгоняя друг друга, создавая то стремительные водопады, то временные сравнительно тихие заводи, то круговерти, но никогда не прерывая поступательного исторического развития.

Есть и своя последовательность, своя логика в этом многоструйном движении. Известно, что точные науки создают задел для развития техники и технологии, открывают новые пути и новые возможности практического преобразования мира. Но теоретические открытия в области естествознания довольно часто превосхищаются философскими, умозрительными гипотезами и построениями. Философия же — с точки зрения широкой исторической перспективы — в свою очередь, лишь следует за искусством в освоении новых форм постижения мира, новых граней, ракурсов и аспектов его видения, новых способов мышления.

Обратимся к фактам. Древнегреческая натурфилософия возникла как попытка рационально объяснить мир в качестве системно организованного целого. Учения Анаксимандра, Пифагора, Гераклита, Анаксагора, Платона, Демокрита — это именно философские системы, созданные в соответствии с тем или иным исходным принципом строения: апейрон, число, огонь, гомеомерии, идеи, атомы. Они представляли совершенно своеобразную форму познания в сравнении с довольно развитым, но эмпирическим по преимуществу научным знанием древних цивилизаций Египта и Вавилона (астрономические наблюдения и геометрические вычисления).

Где же истоки этой формы? Не встречаемся ли мы уже у Гомера и Гесиода с попытками представить мир как сложно организованную, саморазвивающуюся и целостную систему средствами мифологического и поэтического мышления?

В «Теогонии» Гесиода все великолепие и многообразие Вселенной возникает как порождение сочетающихся в жарких объятиях богов и богинь, которые

сами — живое олицетворение стихийных сил природы: земли и неба (широкогрудая Гея и Уран), глубоких земных недр (Тартар) и сияющего дня (Гемера), шумного моря Понта и глубокого Океана. Вселенная эта возникает из некоего единства (Хаос) и управляется единым принципом (сладкоистомный Эрос или Мойра, судьба).

Античная натурфилософия облакает это миропонимание в рациональные формы, она отбрасывает наивный фетишизм и не удовлетворяется уже уподоблением генезиса Вселенной семейно-родовым отношениям, она подымается на теоретический уровень познания, но тем не менее сохраняет те интуитивно верные представления, которые содержались в поэтически обработанной мифологии. Философия, так же как и мифология, выводит все многообразие мира из некоего единства, она также ищет некоторые организующие принципы его строения: это Логос Гераклита, Гармония пифагорейцев, Нус Анаксагора, Ананке Демокрита, Любовь и Вражда Эмпедокла.

Так теогония естественно переходит в космогонию, поэтически-сказочное восприятие мира выступает предтечей рационально-умозрительных систем. Чаще всего это таинство происхождения философских систем не явно, скрыто, но иногда оно проявляется и совершенно открыто, как это имеет место, например, в космогонии Платона.

Космос по Платону — живое существо, наделенное душой и умом, и «родился он поистине с помощью божественного провидения». В центре его невидимая мировая душа, которая окутывает небо также и извне и дает начало «непреходящей и разумной жизни во все времена». Небесные тела, неподвижные звезды — не что иное как «вечносущие божественные существа». Надмировая душа воплощается последовательно во все менее возвышенных формах творения: звезды, солнце и планеты, земля, олимпийские боги, люди (сначала мужчины, затем женщины) и, наконец, животные. Платон создает, я бы сказал, весьма нравоучительную теорию происхождения, где не люди развиваются из царства животных, а, напротив, животные происходят от тех людей, которые деградировали вследствие слабоумия, лени, безнравственности, легкомыслия. Тут я не удержусь от мудрой цитаты: «А вот племя сухопутных животных произошло из тех, кто был вовсе чужд философии и не помышлял о небесном, поскольку утратил потребность в присущих голове круговращениях и предоставил руководство над собой тем частям души, которые обитают в груди. За то, что они вели себя так, их передние конечности и головы протянулись к сродной им земле и уперлись в нее, а череп вытянулся или исказил свой облик каким-либо иным способом, в зависимости от того, насколько совершающиеся в черепе круговращения расстроились под действием праздности»².

Что поразительно в этой картине, так это единство организации космоса и микрокосмоса, Вселенной и человека. В человеке, как солнце в капле росы, отражается все мироздание с его строением, его гармонией, его умом и его душой. И высшим стремлением человека должно стать такое развитие собственного интеллекта, «дабы через усмотрение гармоний и круговоротов мира исправить круговороты в собственной голове... иначе говоря, добиться, чтобы созерцающее, как и требует изначальная его природа, стало подобно созерцаемому...»³.

Платон не скрывает кровной пуповины с мифологически-поэтическим мировосприятием, он прямо включает мифы в свою систему, его ход размышлений имеет ту же направленность и так же окрашен антропоморфизмом и анимизмом, как это имеет место у Гесиода. Его космогония воспринимается как род философской сказки.

Но обратите внимание на его метод!

Свою Вселенную Платон не строит часть за частью, конструируя из них механическое единство; он не рассекает также единое на все более мелкие части, нет, — он выводит из исходного целого все новые и новые формы существования

² Платон. Сочинения. М. 1971, т. 3, ч. 1, стр. 540.

³ Там же, стр. 539.

столь же органически, как естественно порождает растущее дерево все новые ветки и плоды, как естественно человек воплощает замысел какой-либо вещи, ее идею в реальную вещь. Этот организмический, биологический метод похож на действия того хирурга, которому удалось бы своим скальпелем последовательно отсекал части живого тела, не умертвляя их, а добравшись до мельчайшей его части, до гена, увидеть и сохранить в нем все особенности развитого живого организма.

Естественность только сейчас, в XX веке, едва «дотягивает» до подобного метода рассматривания сложноорганизованных, целостных систем! Оно только подходит к осознанию того, что ключом к анатомии «мертвой», неорганической материи может служить анатомия природы живой, что сложность биологических систем сродни сложности внутриатомной организации.

А техника? Она все еще пребывает на уровне суммативных, агрегативных систем, в лучшем случае — с использованием довольно примитивных моделей обратных связей. Биологические принципы строения технических систем (саморазвитие, самоорганизация, модернизация) остаются пока еще предметом инженерной зависти, мечты и вожделений.

Современная математика ведет свою родословную от найденного древними греками системного подхода к геометрии при помощи вытекающих друг за другом доказательств от одного положения к другому, что нашло свое воплощение в «Началах» Эвклида. Но возьмем греческий орнамент периода крито-микенской культуры и архаики. Этот геометрический стиль в искусстве, возникший задолго до появления в Греции геометрии, эти попытки создать с помощью абстрактных форм и фигур, переходящих друг в друга, художественно цельный образ, некую пространственную гармонию — не превосходят ли они пифагорейское геометрическое мироздание и древнегреческую математику вообще? Не существует ли также преемственная связь между этим искусством и атомистикой Демокрита, которая ведь тоже строит свой вселенский орнамент из неделимых начал, отличающихся «формой, фигурой, величиной»?

Кстати, с атомистикой Демокрита связана и одна из отличительных особенностей естественности нового времени. Ею является механистическое представление о Вселенной, все элементы которой соединены линейной, жесткой, причинной связью, так что, по мысли Лапласа, если бы человек знал положения и скорости всех частиц Вселенной на данный момент, то он мог бы с абсолютной точностью предсказать все последующие события: космические, физические, химические вплоть до исторических судеб человечества и конкретных действий каждого индивида. За полтора столетия до Лапласа аналогичный взгляд на мироздание обосновал философ Декарт. Вольтер вложил в уста Декарта следующее обращение к богу:

Ваш мир,— хоть он и блещет красотой,—
Но коль угодно вам, слепою и я такой:
Матери кусок... и я, сомнений нет,
Создам стихи все, животных, вихри, свет,—
Узнать бы только мне движения закон...

Вольтеру было, конечно, хорошо известно, что философы, претендовавшие на подобный акт творения, существовали и задолго до Декарта: та же атомистическая система Демокрита являет собой далекий, но удивительно верный прароб-раз механистической, каузальной картины мира, созданной естественностью XVII—XVIII веков.

Вся Вселенная Демокрита выводится из простейших установок атомарности материи и каузальности связей. Здесь отсутствует всякий произвол и случайность, здесь все подчинено строгой причинности, здесь нет другого божества, кроме Анаanke — необходимости, заранее запрограммированного, от века данного расписания хода всех вещей и событий. Демокрит строит свою Вселенную, как современный инженер сооружает агрегат по утвержденному проекту. Каждый «узел» системы должен работать надежно, однозначно и бесперебойно в заданном темпе

и режиме. Мироздание — это словно вечно идущие часы, гигантский автомат или механический театр марионеток, где человек со всем своим своеобразием — лишь деталь, состоящая, как и все прочие части машины, из конечных атомов, все действия которого predeterminedены Ананке.

Откуда мог почерпнуть Демокрит подобное представление о мире? Не было ли оно в значительной степени навеяно ранней античной трагедией, в которой с такой потрясающей эмоциональной силой выражена идея предначертанности всей жизни и поступков человека, идея коллизии между Роком, Судьбой, Мойрой и тщетными, но героическими потугами человека противопоставить им свое я, свою волю, ум и сердце. Ведь даже боги и те подчинены Судьбе, которая коварно осуществляет свои слепые и жестокие «законы» вопреки всем усилиям.

Прометей Эсхила знает заранее предначертание «всевершающей судьбы».

Прометей

Только после тысяч мук
И после тысяч пыток плен мой кончится.
Умение любое — пред судьбой ничто.

Предводительница хора

А кто же правит кормовым веслом судьбы?

Прометей

Три Мойры да Эринии, что помнят все.

Предводительница хора

Так что же, Зевс им уступает силою?

Прометей

И Зевс от предрешенной не уйдет судьбы.

И не прослеживается ли, таким образом, идущая через века и тысячелетия преемственность между миром Эсхила и Софокла — Вселенной Демокрита — механистической философией — механистическим естествознанием и системами технологии, где принцип механистической детерминированности связей получил наконец свое вещное и полное воплощение? Этот принцип последовательно переходил из области искусства в области философии, естествознания, техники. Ныне он изгоняется и из последней.

В современном научном мышлении господствуют представления о вероятности, сложной, полифонической, опосредованной детерминированности, инвариантности, стохастичности, многоплановости (а не линейности) развития процессов, о закономерностях, пробивающих себе дорогу через массу отклонений, случайностей, неожиданностей. Эти представления были первоначально развиты также средствами художественного освоения действительности. Если все поступки Эдипа написаны судьбой еще задолго до его рождения, то Гамлет сам определяет линию своего поведения под влиянием многосложных непредсказуемых обстоятельств. Он часто и сам не знает, как именно поступит в следующую минуту. Но тем не менее во всех действиях его есть своя подспудная алогичная логика поведения, свой лейтмотив, трагическое звучание которого нарастает от акта к акту.

Философии, не говоря уже о других науках, тогда еще неведомо было подобное мироощущение. Она придет к нему столетиями позже.

Можно привести и более конкретные примеры. Мысль о сферичности Земли высказал еще пифагореец Филолай за два тысячелетия до Магелланова круиза. При этом античный философ, очевидно, исходил из эстетических представлений о шаре как совершеннейшей из всех форм.

За восемнадцать столетий до опубликования Коперником своей книги «Об обращениях небесных сфер», знаменовавшей рождение современного естествознания, античный натурфилософ и астроном Аристарх Самосский писал: «Земля — это планета, которая, как и другие планеты, вращается вокруг Солнца; она совершает этот оборот в один год». Но разве не находим мы в еще более древних мифах и поэтическом народном творчестве зачатки наивного гелиоцентризма, обожествления Солнца, поклонения ему как верховной силе природы, истоку жизни, света, тепла, разума?

* * *

Известный английский математик и философ Бертран Рассел высказался как-то следующим образом: «Если бы Гомер и Эсхил не существовали, если бы Данте и Шекспир не написали ни строчки, если бы Бах и Бетховен остались безмолвными, повседневная жизнь большинства людей в наши дни осталась бы, в общем, такой же, какова она и сейчас. Но если бы не было Пифагора, Галилея и Джеймса Уатта, то наша повседневная жизнь была бы совершенно иной».

Мне уже приходилось доказывать, что это величайшее заблуждение, в основе которого лежит как раз традиционное представление о несопоставимости миров искусства и науки, о их развитии «по непересекающимся параллелям». Я убежден, напротив, что без Гомера и Гесиода не было бы Пифагора и Архимеда, без причудливого мира, созданного фантазией Рабле и Сервантеса, Свифта и Мильтона, без гармоний Рафаэля и Микеланджело, без высокого драматизма Данте и Шекспира не было бы миров, созданных гением Галилея, Ньютона, Лобачевского.

Еще первый античный натурфилософ Фалес Милетский вопрошал себя: «Что быстрее всего на свете?» И отвечивал: «Мысль». Но что быстрее мысли? — спросим мы далее. Быстрее мысли оказывается образ. К тому же художественный образ нередко не только быстрее, но и вернее мысли, хотя он и значительно менее точен.

О любопытном факте рассказал Эм. Миндлин в своих воспоминаниях. В 20-х годах геологическая партия работала в районе Коктебеля, геологи познакомились с Максимилианом Волошиным и стали бывать у него. Увидев его коктебельские пейзажи, эти поэмы камней, скал, изломов, размывов почвы, геологи радостно переглянулись. Они нашли, что условный акварельный пейзаж Волошина дает более точное и правдивое представление о характере геологического строения района, нежели фотография! Они заказали ему целую серию акварелей. Ни одна из них не являлась изображением какого-либо определенного уголка. Но каждая с необычайной поэтической верностью передавала общий характер пейзажа — даже строения почвы! Это был какой-то доведенный до предельной поэтической выразительности условно-обобщенный пейзаж.

Мысль — это выпрямленный, раскрученный, размотанный клубок образа, это телеграфный столб, бывший некогда живым деревом с развесистой и причудливой кроной. Но живые деревья мало годятся для того, чтобы быть опорой потока информации, тут «телеграфные столбы» понятий, законов, формул, геологических чертежей незаменимы: без них человечество также не продвинулось бы вперед.

Почему искусство может идти впереди науки в развитии новых способов духовно-практического освоения мира? Да потому, что оно ставит свои «эксперименты» с несравненно большей свободой, чем наука, оно не так жестко детерминировано природой объекта, с которым имеет дело, оно само его конструирует и переделывает, высвечивая его внутреннюю природу, привлекая для этого более гибкие, яркие и обширные ассоциативные связи, оно быстрее и полнее выражает зарождающийся дух новой эпохи, опираясь при этом на более глубокий пласт культурного наследия человечества.

Эта закономерность реализуется равно как в историческом творчестве целой цивилизации, так и в творчестве отдельной личности, как филогенетически, так и онтогенетически.

В творческом процессе ученого, создающего новую теорию, художественно-образная деятельность, работа фантазии, интуиции, игра ассоциаций предшествует строго логической, «оформительной» работе мышления. Ученый действует сначала как художник и лишь затем как теоретик. Признания на этот счет мы находим у Менделеева, Кекуле, Пуанкаре, Эйнштейна, Бора.

Если сравнить рождение новой научной теории со строительством здания, то в этом созидании участвует и художественный, и философско-методологический, и логико-математический уровень мышления. От еще неясного, смутного, интуитивно схваченного пробраза здания, от самой общей, скорее чувствуемой, воображаемой, нежели осознаваемой его идеи, возникающей пока как увлекательное,

волнующее видение новых архитектурных форм гармонии и красоты, через соотнесение этого образа со всем строем мировоззрения, со всей ситуацией в целом, то есть через попытку органически, естественно вписать здание в весь окружающий ландшафт миропонимания и общих принципов его жизни и развития. — через все это к окончательному логическому и математическому чертежу здания.

Мы имеем, таким образом, следующую последовательность уровней (структурных звеньев) творческого мышления: дологический (художественно-образный, интуитивный), мировоззренческий (философский, методологический), фундаментальный (теоретический, логико-математический), прикладной (инженерно-конструкторский).

При этом каждый предшествующий уровень не только предваряет и порождает последующие, но и сопутствует им всем, пронизывает их, содержится в них в «снятом виде». Художественная деятельность сознания необходима и при мировоззренческой, и при логической, и при конструкторской работе мысли. Искусство и философия напоминают нашему «архитектору» о гармоничной ситуации в целом — на всех стадиях его работы.

Эта же последовательность уровней позволяет, на мой взгляд, понять структуру современной науки в ее соотношении с искусством. В эпоху интеграции наук их членение по ведомственному, дисциплинарному принципу уже не оправдывает себя. На место ему приходит проблемный принцип членения, при котором для решения проблемы привлекается целый комплекс дисциплин и направлений исследования, но взятый на определенном уровне — либо методологическом, либо фундаментальном, либо прикладном. В каждой науке, достигшей определенной степени зрелости, могут быть вычленены эти уровни. Свой методологический, фундаментальный, прикладной уровень имеют кибернетика, физика, биология, социология, экономика. На каждом из них осуществляются специфические типы интегративных связей (горизонтальная интеграция). Вместе с тем растет взаимодействие и самих уровней исследования (вертикальная интеграция). Все же между прикладными исследованиями физических проблем и методологическими их исследованиями больше различия — как по содержанию самих проблем, так и в характере исследовательского труда, его организации, принципах планирования, финансирования, чем между методологией физики, химии, биологии.

Философия (как и методология вообще) занимает в этой структуре посредствующее место — между искусством и фундаментальной теорией. Она и в самом деле наследует особенности как с той, так и с другой стороны. Она стремится разобраться в конечных причинах явлений, отразить их в теоретических понятиях и категориях. Но в то же время она, как и искусство, не ориентируется непосредственно на изменение мира вещей, на переделку природы, а ориентируется на изменение внутреннего мира человека, преобразует его мышление. Как и искусство, философия тяготеет к целостному восприятию мира.

Отсюда специфика тех средств и форм освоения действительности, которыми пользуется философия. Она не чурается эмоционального языка, она сочетает объемное мышление образами с «линейным», строго логичным. Исторически философия возникает вслед за искусством и прежде естествознания.

И если занятия искусством развивают эстетическую сторону мышления, то занятия философией развивают способности к обобщениям самого высокого порядка, к диалектической гибкости понятий. Философия имеет смысл только благодаря тому, что она противостоит как антипод формализованным приемам точных наук, что она дополняет их качественно иными средствами и возможностями познания. Философия призвана разрабатывать методы познания, протекающего на самом высокотeorетическом уровне, методы умозрительного синтезирования.

Философия удовлетворяет нашу потребность в целостном охвате закономерностей мироздания, в едином постижении природы и общества. Она дает менее точную, но зато более полную, не раздробленную на осколки картину мира.

Искусство, предваряющее исторически и логически философию, идет в этом отношении еще дальше. Причем разные его виды и жанры занимают свое определенное место в этой последовательности — в зависимости от присущей им сте-

пени свободы в выражении действительности. Нильс Бор высказал в связи с этим глубокую мысль: «Можно сказать, что литературное, изобразительное и музыкальное искусства образуют последовательность способов выражения, и в этой последовательности все более полный отказ от точных определений, характерных для научных сообщений, представляет больше свободы игре фантазии».

Чем более «абстрактен» жанр искусства, тем больше у него степеней свободы в выражении мироощущения своей эпохи и больше возможностей в конструировании новых аспектов видения мира, больше простора фантазии. И, следовательно, тем больший забот перед для него возможен.

Музыке, бесспорно, принадлежит в этом отношении первое место. Эйнштейн писал о «родственных» его гению творческих процессах в музыке и литературе, оказавших на него огромное влияние, и называл, в частности, имена Достоевского, Моцарта, Баха (музыка Баха ассоциировалась у него со стройной логикой математических конструкций). Временной разрыв между Эйнштейном (1879—1955) и Достоевским (1821—1881) — полстолетия. Между Эйнштейном и Моцартом (1756—1791) — более века, от Баха (1685—1750) Эйнштейна отделяют двести лет. Родственный Эйнштейну творческий процесс искусство смогло вырабатывать задолго до его появления!

За «искусством гармонии и звука» следует «искусство цвета» (живопись) и искусство слова (поэзия, художественная проза). Последнее непосредственно примыкает к мировоззренческому и методологическому структурному звену науки, представленному главным образом философией.

Эту способность поэзии превосходить дух и стиль последующей науки остро ощущал Осип Мандельштам. Современная же поэзия, по его мнению, не справляется с этой миссией. «Как быть с нашей поэзией, — восклицал он, — позорно отстающей от науки? Страшно подумать, что ослепительные взрывы современной физики и кинетики были использованы (в поэзии Данте. — Г. В.) за шестьсот лет до того, как прозвучал их гром, и нету слов, чтобы заклеить постыдное, варварское к ним равнодушие печальных наборщиков готового смысла... Из всех наших искусств только живопись, притом новая, французская, еще не перестала слышать Данте. Это живопись, удлиняющая тела лошадей, приближающихся к финишу на ипподроме».

Думаю, что суждение это весьма спорное. Трудно, медленно и, быть может, с опозданием, но искусство XX века в муках рождает новые формы мышления по законам красоты. Большое видится на расстоянии, и только историкам будущего удастся, возможно, установить, как повлияли сегодняшние симфонии, поэмы, живопись, кинодраматургия, научная фантастика на формирование мышления Эйнштейнов XXI века.

Несомненно, однако, что «зона отчуждения» между искусством и наукой будет сужаться по мере изживания «цеховой учености», по мере того, как естествознание станет подниматься ко все более высоким уровням теоретического освоения действительности, где «мышление в понятиях» и «мышление в образах» не противостоят, а взаимно оплодотворяют друг друга.

О таком сплаве в масштабах всей человеческой цивилизации мечтал еще Антон Павлович Чехов. В его письме к Григоровичу мы читаем: «...я подумал, что чуть художника стоит иногда мозгов ученого, что то и другое имеют одни цели, одну природу и что, быть может, со временем, при совершенстве методов, им суждено слиться вместе в гигантскую чудовищную силу, которую трудно теперь и представить себе...»

Мы видели, что соединение рационального и художественного методов исследования порождало и в прошлом великую духовную силу гениев науки и искусства. Еще большие надежды мы возлагаем на этот сплав в будущем. И не пора ли сознательно «готовить» его уже в настоящем?



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

СТЕПАН ЩИПАЧЕВ

★

ТРУДНАЯ ОТРАДА

Я знаю,
трудная отрада,
не легкомысленный покой,
густые грозди винограда
давить упорною рукой.

Н. Ушаков.

Я никогда не упивался самодовольством, не забывал о снеговых вершинах в поэзии. Сутулят иные раздумья. Но если бы я не знал их, бескрылой была бы моя душа.

О месте моем в поэзии судить не мне, но я благодарен судьбе за трудную отраду, какую испытываю и я, склоняясь над листом бумаги.

Заметки эти не автобиография. Это всего-навсего попытка как-то разобраться в своем нелегком пути к поэзии. Сегодняшним поэтам, конечно, он не пример. По-другому входят они и в жизнь и в поэзию. Но у меня есть читатели. Давно когда-то прислал мне письмо пограничник. В письме читаю: «Я часто думаю о судьбе поэта, о трудности его роста, вспоминаю о Вас». Таких читателей у меня много, и о чем бы я ни писал, я чаще всего думаю о них.

Впервые попытался я написать нечто похожее на стихи не то в 1915, не то в 1916 году. Это были, конечно, не стихи. Да и откуда им взяться у полуграмотного юнца, не окончившего даже церковноприходской школы. Девятилетним парнишкой отдали меня к богатому мужику в работники, а когда немного подрос, стал ходить на асбестовые прииски вместе с другими деревенскими, чтобы хоть как-то помочь матери, оставшейся вдовствовать с кучей детей.

Не знаю, как сложилась бы моя жизнь в дальнейшем, если бы не один случай. Очутившись как-то с матерью в Камышлове, в нашем уездном городе, я купил маленький настольный календарь, отдав за него единственный пятак, а потом узнал, что торговец обманул меня — календарь стоил три копейки. И когда мы приехали в город другой раз и я зашел в лавку купить книжку — сказку про Бруслана Лазаревича, — я долго торговался, чтобы опять не обманули. Хозяину, очевидно, понравилось это, и он сказал: «Парень, хочешь поступить к нам в лавку? Будешь продавать книги». Я побежал сказать матери. Она согласилась отдать меня.

Прослужил я в лавке три года. Постоянное соприкосновение с книгами приохотило меня к чтению. Запомнилась из прочитанного тогда популярная астрономия Фламариона. Она сказочно раздвинула мое представление о мире, приблизила пыльный уездный городок к планетам и созвездиям.

Читал и стихи. Многие знал наизусть. Но мне казалось, что поэты жили когда-то давно, так же, как богатыри, о которых к тому времени я уже прочитал все книжки. Однажды я спросил у знакомого гимназиста: «Есть ли поэты, которые живут сейчас?» В руках у него была школьная хрестоматия. Он раскрыл ее на стихотворении и показал пальцем: «Вот смотри. Это написал современный поэт». Под стихотворением я прочел:

К. Бальмонт. Не знаю в связи с чем, но однажды на заборе появилась необыкновенная афиша. Люди вроде не особенно замечали ее, а я простоял перед ней несколько минут. На ней была фотография человека с длинным одухотворенным лицом (так мне показалось) и стихи, начинающиеся строчкой: «Я гений Игорь Северянин». Это был второй современный поэт, о котором я узнал в Камышлове. Не без наивного волнения стоял я перед афишей. Откуда я мог знать тогда, что не эти поэты полюбятся мне, войдут в мою жизнь, станут ее спутниками.

Вскоре после Февральской революции в Камышлове был создан Народный университет. Я не пропускал ни одного занятия. Лекции читались по многим предметам, но в мою память врезалась одна — о стихотворении Кольцова «Лес». Возможно, это была обыкновенная лекция, но я и сейчас помню ее чуть ли не дословно. Ведь мне никто еще до того так интересно не говорил о стихах. Наверное, счастливее меня в тот час или полтора не было человека во всем городе. Стихотворение это я уже знал, но мне казалось, что оно только о лесе. И вдруг... трагедия Пушкина. Уже совсем по-другому зазвучали для меня строчки: «С богатырских плеч сняли голову — не большой горой, а соломинкой...» С каким нетерпением ждал я следующей лекции по литературе, но увы! Университет просуществовал не больше месяца. С горькой завистью смотрел я потом на гимназистов, которым читали такие лекции, наверное, не один раз в неделю.

В мае 1917 года меня призвали в армию. Служил рядовым в городе Глазове. Больше пятидесяти лет отсчитало время от той поры, а начнешь вспоминать — видишь все: и пыльные улочки, и реку Чепцу, и солдатские митинги. Не знаю почему, но в стихах моих это не находило отражения, хотя тема революции, гражданской войны волновала меня всегда. Но летом 1970 года такие стихи все же пришли. Вот несколько строф.

Глазов смутною чертою
отделило как во сне.
Он с солдатской прямою
в том году открылся мне.

...Он поднялся корпусами,
полон света, синевы,
а в мою вошел он память
с пылью улочек кривых.

Год еще не метил даты,
но вздымал словесный пыл.
Всё солдаты, все солдаты,
да и я солдатом был.

Хоть не знал я службы старой,
по уставу жизнь сверял:
на дощатых тротуарах
прапорщикам козырял.

...Шел Семнадцатый Великий.
(Слышался миров обвал.)
Он превыше всех религий
многим веру открывал.

И не зря — пуснай перечил
кто-то холодом штынов —
в сердце мне вливались речи
глазовских большевиков.

Шли месяцы. Старая армия разваливалась. Не то в феврале, не то в марте 1918 года я вернулся домой.

Пришло жаркое, сухое лето, первое лето при Советской власти. Оно пришло с кулацкими восстаниями, с эсеровскими мятежами, с разгорающейся в разных концах страны гражданской войной.

Зауралье захватили белые, провели мобилизацию, мобилизовали и меня. Но я твердо решил: стрелять в своих не буду. Накурившись до сердцебиения махорки, я по-

шел в полковой околоток и пожаловался фельдшеру на боль в груди. Он рассеянно послушал и не раздумывая написал: «В нестроевые». Меня зачислили в учебную команду каптенармусом. Но это не помогло. Отправили на фронт и учебную команду.

Урывками, чаще всего на привалах, писал стихи. Листики, исписанные карандашом, хранил в чехле шанцевой лопаты, который не снимал с поясного ремня. Вряд ли кому взбрело бы в голову поинтересоваться холщовым чехлом, предназначенным совсем не для хранения стихов, а в нем лежало и то стихотворение, за которое могли бы поставить к стенке. Когда я потом перебежал на сторону Красной Армии, оно напечатано было в листовке, которую разбросали с самолета над окопами белых.

На сторону Красной Армии мне удалось перебежать на станции Бугуруслан в середине апреля 1919 года. Было это так. После успешного наступления в направлении Самары белые вдруг попятились. Словно на стену, наткнулись они на Чапаевскую дивизию и на другие дивизии Пятой армии, которой командовал бывший подпоручик, коммунист с 1918 года Тухачевский. В железнодорожном поселке я решил спрятаться, чтобы дожидаться красных. Начался артиллерийский обстрел. Жители спешили в укрытия. Я обратился к одной пожилой женщине, чтобы она спрятала меня в своем домике. «Что ты, что ты, сынок, за это и тебя и меня расстреляют,— заговорила она, озираясь.— Иди-ко ты лучше к соседу. Он рабочий железнодорожный, тоже ждет красных. Он спрячет тебя». В избе этого рабочего я просидел больше двух суток. Ожидание было напряженным. Мог кто-нибудь выдать.

В одно раннее утро в двери залязгал ключ и послышался веселый голос хозяина: «Выходи, узник. На станции красные». Минут через пятнадцать — двадцать я уже стоял у костра, вокруг которого сидели чапаевские командиры, громко разговаривали, смеялись и лузгали каленые семечки. Не знаю, потому ли, что я был на этом фронте чуть ли не первый перебежчик от белых, или просто так, встретили они меня приветливо, как своего товарища, совали мне семечки, улыбались и были похожи на обыкновенных деревенских парней, только в ремнях и кожаных куртках. Видел Фурманова. Он куда-то ехал на деревенском ходке. Стоявший рядом со мной красноармеец с гордостью сказал: «Это наш комиссар. Студент». Последнее слово было произнесено как-то особо: дескать, образованный, а вот видишь, вместе с нами.

Мною заинтересовались в Самарском губкоме РКП(б). Мне предоставляли слово на собраниях, чтобы я рассказал о том, что видел у Колчака. Но из-за своей непреодолимой застенчивости я совершенно немел на трибуне. Первые дни жил в самом здании губкома, спал на диване в кабинете Куйбышева, возглавлявшего тогда самарскую партийную организацию.

Наконец меня зачислили в красноармейскую часть, а через несколько недель нашу роту перевели в город Пугачев, находящийся в непосредственной близости к фронту. Об этом степном приволжском городке до того я даже не слышал, а будучи там, узнал, что в нем, вернее в станице, какая была на том месте, жил Емельян Пугачев. Потому город после революции так и назвали. В том же городе началась и слава Чапаева.

Едва мы успели расположиться в длинном деревянном бараке с двойными нарами, в городе состоялась субботник. Нам, нескольким красноармейцам, было поручено вскопать на площади землю по рисунку пятиконечной звезды. Ботинки с обмотками у меня поистрепались, и на работу я вышел босиком, но это не мешало мне крепко наступать на лопату, чтобы она глубоко врезывалась в землю. Через несколько недель звезда стала красной от гвоздики. Тогда я не думал о том, а сейчас, когда пишу эти строчки, думаю: в мире еще столько работы, еще столько не вскопано на площадях земли для пятиконечных звезд!

Прожил я в Пугачеве не больше шести месяцев, а в памяти он отпечатался забываемыми страницами. Там я вступил в партию, близко сошелся с видными большевиками — Ермощенко, Борисовой, Хавинсоном, участвовал в бою с уральскими белоказаками, печатался в местной газете «Коммунист-большевик». Редактору в прифронтовом городке было не до высокой требовательности к стихам, тем более к злободневным, и он печатал у меня всё.

Однажды я даже возомнил (это было в июле 1919 года), что стихи надо переписать в тетрадь и послать в Москву, чтобы их напечатали книгой. Так я и сделал. О поступке этом я скоро, очевидно, забыл. Да и можно ли было на что-то надеяться, когда кругом гремели фронты, когда и вокруг городка, в котором я находился, все время рыскали банды. Но стихи эти, однако, не пропали, а обрели интересную свою судьбу. Прошло с той поры, вероятно, лет двадцать, и тетрадка моя вынырнула на свет. В издательстве «Художественная литература» разбирали бумажный хлам, скопившийся за десятилетия. Вдруг мелькнула моя фамилия. У товарища, занимавшегося этой черной работой, она, видимо, как-то запечатлелась, и тетрадь была отложена. В Институте мировой литературы имени Горького мне показывали ее. Она пожелтела, помялась, но лежит уже в надежном месте. Кстати, к тетрадке этой было предпослано и мое предисловие. Не могу не привести его. Оно, как ничто другое, покажет, каким я тогда был, с чего набирал скорость по жизни. Привожу его с той орфографией, с какой оно хранится в институте.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Я как крестьянин выросший в беднейшей крестьянской семье, не имею ни какого школьного образования, почему в моих стихотворениях наблюдает некоторая неправильная постройка. Я пишу самоучкой. указаний ни кто мне не давал, в печати мои стихотворения появились только в 1919 году и политических стихотворений у меня мало и те писаны уже в последних месяцах. Моя родина Пермск. губ Камышловский уез. издеревни. Посылая вам свои стихотворения, я надеюсь что вы переоцените их качества и более заслуживающие внимания пустите в печать.

Мой адрес гор Пугачев Самарской губ. Союз Коммунистической молодежи
С. Щипачев
буду вашим сотрудником в дальнейшем.

Святая простота, детская наивность... А ведь сотрудником-то в дальнейшем я действительно стал.

Аукнулось нечто подобное и совсем недавно. Вот письмо.

«Уважаемый Степан Петрович! Беспокоит Вас журналист из далекого заполярного города Апатиты. Возможно, я сообщу штрих из Вашей поэтической биографии, о котором Вы и сами до сих пор не знаете. Дело в том, что, просматривая газеты Севера времен гражданской войны, я натолкнулся на стихотворение «Перебежчики Колчаку», которое написал С. Щипачев. Это стихотворение было напечатано и в других газетах того времени. В данный момент я не могу сказать, было ли оно разослано из центра, или газеты заимствовали его друг у друга. Безусловно, стихотворение это прозвучало как раз вовремя и имело очень большое агитационное значение. Хотелось бы рассказать обо всем этом современному читателю. Буду рад, если Вы ответите. Текст стихотворения Вам посылаю.

С уважением
Л. Каленистов».

Письмо это мне было приятно. Но что я мог на него ответить? Разумеется, только поблагодарить. Что я и сделал.

«Уважаемый Леонид Александрович! (Имя и отчество было в обратном адресе.) Спасибо за присланное стихотворение. О нем, да и о других моих стихотворениях той далекой поры я действительно накрепко забыл. Ибо все они являются глубокой моей литературной предысторией. То, что Вы прислали, написано было весной 1919 года, вскоре после того, как я перебежал от белых в знаменитую Чапаевскую дивизию. Помню, что-то из тогдашних моих рифмованных опытов печаталось в листовках для разбрасывания над окопами белых. По-видимому, и это мое «послание» было удостоено той чести. Вот и все, что могу Вам сказать об этом.

С приветом
Ваш Ст. Щипачев».

В конце октября того же 1919 года меня послали в Оренбург на кавалерийские курсы красных офицеров. Оренбург, незадолго до того освобожденный от белоказаков, встретил меня неприветливо: начались морозы, свирепствовал тиф. На курсы меня приняли, хотя я и не был кавалеристом. Мне выдали курсантское обмундирование: брюки с красными кантами, дубленый полушубок, шапку-ушанку.

Шли месяцы. Общежитие и классы не отапливались, стекла во многих окнах были выбиты, в помещение задувало снег. Отогревались мы как следует только ночью под одеялами и полушубками. Но и это не всегда удавалось. Только, бывало, согреешься, заснешь — тревога. Поет, переливается медь горниста.

Горнистом на курсах был красноармеец Омурбаев. Когда я бывал в наряде, я не раз наблюдал его у караульного помещения. Боевую тревогу он трубил самозабвенно. Запрокинув широкое скуластым киргизским лицом к звездам, он трубил, казалось, не нам, курсантам, а каким-то далеким, неведомым ему миром. Словно в ледяную воду высказывали мы тогда из-под одеял, строились, седлали коней, крупной рысью скакали за город и залегали у той или иной дороги на снегу. Ноги в сапогах коченели, но мы зорко всматривались в ночную темноту. Кругом рыскали банды. Были и ненадежные красноармейские части. Могли быть неожиданности.

Вспоминается забавный эпизод. В городском клубе курсанты ставили какую-то пьесу. Участвовал и я. По ходу игры требовалось, чтобы кто-то из участников постановки кинулся от входной двери к сцене и крикнул: «В городе белые!» Эффект получился, какого мы не предусмотрели. Зрители наши повскакали с мест и кинулись к выходу. Когда выяснилось в чем дело, раздался смех. Но кое-кто трухнул, видать, по-правдашнему.

Курсантом я был активным: состоял в кружках, был избран секретарем парторганизации, но в учебе преуспевал не особенно, числился в середняках. А все из-за стихов. Товарищи, бывало, готовятся к занятиям — читают, чертят что-то по топографии, решают по карте тактические задачи, — а я уходил или в пустой класс в учебном помещении, или бродил в полумраке манежа, пахнущего конским потом, и бормотал неподдающиеся строчки. И как-то ни разу не приходило мне в голову, что главным тогда для меня было не писание стихов, а приобретение знаний, освоение грамотности, чего так не хватало мне тогда.

С грустью смотрю я иногда на молодых да и не очень молодых сегодняшних стихотворцев, которые нередко приходят ко мне с тетрадками стихов, порою умелых, но лишенных живого трепета. Не обворовывают ли они свою жизнь, думаю я, не проходит ли мимо них из-за этого что-то очень важное в ней?

В Оренбурге я стал посещать литературное объединение, называемое кружком пролетарских писателей. Не раз там читал свои стихи. В объединение это входили поэты и прозаики, люди разных возрастов, но больше, пожалуй, пожилые. Поэтому молодо и на зависть кому-то позвякивали мои шпоры. Знание пролеткульта, как и весь город, не отапливалось, но мы часами, бывало, сидели в вымороженной комнате, читали, спорили, забывая на время о тифозных бараках, о стуже, о голоде.

Душой объединения был поэт и прозаик Павел Заякин-Уральский, молодой, энергичный, доброжелательный. Небольшая бородка красиво обрамляла пышущее здоровьем его лицо. Он несомненно был с большим будущим, но тиф не пощадил и его. Запомнился Иван Батрак. Судя по той важности, с какой он держался при обсуждении стихов, можно было подумать, что это настоящий поэт. В Оренбурге он издал сборник и вскоре уехал в Москву. В Москве я с ним встретился. Это было уже лет через десять. «Стихи бросил! — сразу признался он. — Окончил университет. Стал инженером». Знал я по оренбургскому литобъединению и другого стихотворца, Постникова, тихого, глубоко штатского, еще молодого человека. Его стихи хвалили. С ним я больше не встречался, но кто-то мне рассказал о нем вот что. Все свои стихи он сложил в большой пакет, заклеил, припечатал сургучом и спрятал, чтобы не попадались на глаза.

Спустя чуть ли не полвека я написал об этом стихотворение. Вот строчки из него: «Старел. Как строка к строке, ложатся и годы. Грустно. Стихи он сложил в пакет. Сургуч — словно крови сгусток».

Долгие месяцы в объединении готовили сборник своих произведений. В конце 1920 года он вышел из печати. Бумага была грубая, желтая, но авторы листали его с удовольствием. Значилось в сборнике и мое стихотворение. Называлось оно «Пролетарской лире».

В Оренбурге я впервые услышал имя Маяковского. Это было на уроке. Бывший казачий полковник, преподававший тактику, побывал в Москве и решил поделиться с нами, курсантами, впечатлениями от поездки: «Слушал в Политехническом Маяковского. Удивительный поэт. Фейерверк острот».

В день нашего выпуска на курсах было празднично. Мы ходили уже в командирском обмундировании. Повару был заказан особый обед. Не помню, что было подано на второе, но прозрачный бульон, в котором плавали лепестки моркови и какие-то травинки, помню.

Кавалерийские курсы в Оренбурге я окончил в марте 1921 года. Когда распределяли, просился в Туркестан, где уже начиналась борьба с басмачами. Манила романтика. Но комиссар Григорьев настоял, чтобы я поехал в Москву учиться в Военно-педагогической школе. Требовалось послать туда одного выпускника; комиссар остановился на мне.

В Москву я приехал в новеньком командирском обмундировании. На одном боку шашка, на другом — полевая сумка. Поскрипывали ремни, хромовые, еще не совсем разношенные сапоги. Транспорта никакого не было, и с Ярославского вокзала до Кудринской площади пришлось добираться пешком. Пожитки новоиспеченного командира были невелики, однако ручка фанерного чемодана больно резала пальцы. На глаза набегали капельки пота, но я с любопытством разглядывал все. О Москве я много читал, много слышался и надеялся увидеть что-то необыкновенное, но ничего необыкновенного пока не видел: тянулася пыльная замусоренная мостовая, сменялись серые, совсем не такие, какими рисовались в моем воображении, дома. Долго искал общежитие. Но отдав кому следовало документы и немного осмотревшись, я тут же отправился искать Красную площадь.

Странное дело. Сейчас я воспринимаю Красную площадь просторной, величавой. Есть где развернуться парадом, праздничным шествиям, а тогда я не сразу даже поверил, что стою на Красной площади. Она тоже показалась не такой, какой виделась до этого в воображении.

Через две или три недели из временного перевалочного общежития нас перевели в постоянное в Волков переулок, на задворки Зоологического сада. Если бы не узкая полоска булыжника да не деревянный забор, загородка, где стояли верблюды, была бы совсем рядом с нашими окнами. Кое-кому из моих товарищей мешало такое соседство. Верблюды рано по утрам начинали реветь. Я же относился к этому спокойно и нередко засматривался на высоко поднятые гордые верблюжьи головы, на горбы с клочковатой шерстью и думал о пустыне.

Еще не везде отгремела гражданская война, еще чернела повсюду короста разрухи, больницы, а кое-где и бараки все еще были переполнены тифозными, а страну, изголодавшуюся и без всего, постигла еще одна страшная беда — засуха. Это не могло не отразиться и на нас. С голоду в школе никто не умирал, как в Поволжье, но зубы от хронического недоедания у многих шатала цинга. Я даже не припомню: чем тогда мы питались? Столовый при школе не было. Раз в месяц выдавали мизерный паек сахару, но мы тут же несли его на базар, чтобы купить на вырученное сколько-то картошки и сахарину; хотелось, чтобы суррогатный чай все-таки казался сладким. Но все мы были молоды, испытывавшие за годы гражданской войны многое, и сносили это легко. Изучали марксизм, спорили, мечтали.

Не то в конце, не то в середине лета по некоторым улицам пошли первые трамваи. Это была большая радость для москвичей. Истосковавшиеся по городскому транспорту люди словно ошалелые кидались к трамваям, хватаясь за что попало, облепляли их на остановках со всех сторон. Милиция всполошилась. Так и до беды недолго. Нетерпеливых пассажиров стали снимать и препровождать куда следует. Посидел таким образом в каком-то подвале и я с товарищами по общежитию. Было обидно сидеть взаперти,

но мы бодрились, посмеивались над собой и даже сложили сообща какие-то частушки про это.

Незаметно подкатила зима. Давно начались занятия в школе. Да и в Москве я уже давно освоился. Многие улицы и переулки стали знакомы до мелочей: Поварская (теперь улица Воровского) торопила меня к Дому печати, Тверская (теперь Горького) — к литературным клубам «Стойло Пегаса», «Кузница», «Казино». Начались вечера Маяковского в Политехническом — не пропускаю ни одного. Не пропускаю и диспутов, особенно тех, когда с Луначарским схватывался священник Введенский, также искусный оратор. На такие диспуты мы ходили всей школой. И хотя в зал набивалось в таких случаях много религиозных кликуш, поддержка Луначарскому была обеспечена.

Педагогическая школа, хотя срок обучения был всего шесть месяцев, какие-то знания все же давала. Но дело было не только в ней. Я жадно впитывал все, что видел и слышал в Москве, а это было, пожалуй, еще важнее.

Запомнился литературный вечер в Доме печати. Выступали Блок и Городецкий. Состоялся этот вечер незадолго до смерти Блока. Народу было битком. Блок прочитал три стихотворения, но запомнилось мне одно — «Коршун». Я не знал этого чудесного стихотворения и был рад, что услышал его в чтении самого поэта. Возвращаясь с вечера в курсантское общежитие, я всю дорогу бормотал про себя:

Чертя за кругом плавный круг,
Над сонным лугом коршун кружит...

Голос у Блока был глуховат, монотонен. Я ждал, что поэту станут бурно аплодировать, но, к моему удивлению, его проводили с холодком.

На сцену выбежала какая-то женщина и сообщила: «Блок уходит на квартиру (она назвала адрес) и будет там читать стихи. Желающие могут прийти».

После Блока выступил со стихами Городецкий. Но прежде чем читать, он разразился бранью. Запомнилась его фраза: «Разве это аудитория? — Он показал рукой на зал. — Не аудитория, а перина, на которой можно выспаться». Мне понравилась эта злость.

Посчастливилось мне встретиться и с Есениным. Вышла отдельной книгой его драматическая поэма «Пугачев». Мне не терпелось ее приобрести. С прилавков книжных магазинов она уже исчезла, и я решил зайти в клуб имагинистов «Стойло Пегаса». Девушка, у которой я спросил, есть ли поэма, обратилась через дверь: «Сергей Александрович, вот тут товарищ красноармеец спрашивает вашу книгу». Вышел Есенин. От столь неожиданной встречи с ним я немножко растерялся. А Есенин подошел ко мне и запросто поздоровался за руку. Я объяснил зачем пришел. Разговорились об имагинизме, модном и шумном в ту пору направлении в поэзии, возводившем образ к понятию самоцели. Почувствовав в моих вопросах пытливость и взволнованный интерес к поэзии, Есенин оживился. Я не помню в точности, что он говорил, но смысл его слов сводился примерно к следующему: имагинизма нет, есть — я. Другие? Других нет! Тогда мне казалось, что он бахвалится передо мной. Но время все поставило на место. Имагинизм забыт, забыты и поэты, ходившие тогда в имагинистах, а Есенина знают и любят.

Другой раз я видел его на вечере поэтов «Кузницы» (так называлась тогда одна из литературных организаций). Шло обсуждение чьих-то стихотворений. Он стоял в стороне недалеко от входной двери и разговаривал с поэтом Василием Казиним. Был он в цилиндре, лакированных штиблетах, с тростью. Словом, выглядел таким, каким изображал себя и в стихах. И странно, мне не показалось это чем-то особенным, не вяжущимся с тем строгим голодным временем, еще отдающим порохом гражданской войны. Попробовал бы так нарядиться кто-нибудь другой, не Есенин, — засмеяли бы.

Кстати, о Казине.

Тоненькая, только что вышедшая тогда книжечка его стихотворений «Рабочий май» пахла, казалось мне, солнцем и медом. Многие стихотворения из нее я знаю и сейчас наизусть.

Наступил день нашего выпуска. На торжественном обеде в конференц-зале присутствовали все наши преподаватели. Приехал и Анатолий Васильевич Луначарский.

Было много речей. Один за другим выступали выпускники. Мне не терпелось прочитать стихотворение, написанное к четвертой годовщине Октябрьской революции, но не решался. Попросил слова только в конце обеда. Голос от волнения прерывался, в глазах темнело. А когда кончил читать, то уж совсем никого не различал, лица сливались словно в тумане. Так и не знаю, понравилось или не понравилось мое стихотворение. Но когда вспоминаю теперь то выступление, наверное, светлею лицом. Ведь меня слушал Луначарский.

В феврале 1922 года я получил назначение в севастопольскую артиллерийскую школу. Ехал долго. Валялся на полу вокзалов, торчал на полустанках.

Поезд в Севастополь пришел на рассвете. Первым моим ощущением было, когда спрыгнул на платформу, это ощущение легкости дыхания, какого я не испытывал до того.

Белая каменистая дорога вела на Корабельную сторону, к флотским казармам, в которых размещалась артиллерийская школа. Глазами искал море. Оно ворочалось где-то совсем близко, но видел я пока только бухту. Встретили меня в школе радушно, но я в первый же день заболел тифом.

Госпиталь, в который меня положили, находился там же, на Корабельной стороне. Тусклые, давно не мытые окна выходили на знаменитый Малахов курган, и, когда болезнь немного отпускала, я различал взбегавшую к его вершине тропу и пожелтевшую прошлогоднюю траву по ее сторонам.

В середине 60-х годов я написал поэму. Ее герой красноармеец Гриша Суслонов, участник боев за Перекоп в 1920 году, также лежал в тифу и там же, в Севастополе. Работая над поэмой, я отчетливо, как только позволяло воображение, увидел снова и то немытое госпитальное окно, и тот склон кургана в пожелтевшей прошлогодней траве, и... себя... в тифу. Температура на градуснике лезла вверх. Я бредил, метался, искал, к чему бы прикоснуться пылающим лбом, чтобы хоть немного его остудить, но ничего такого не было. Подушка была горячая. Тогда мне снилась зима. Я стою в санях, держу вожжи и мчусь сквозь метель. Она обвевает меня с головы до ног, остужает лицо. Но это только казалось, что остужает, и однажды сестра подняла меня с каменного пола в темном, сыром коридоре, куда я ушел в одном больничном белье, босой. То же самое было и с Гришей Суслоновым. Только в его бред, в его горячечные сны вплетался еще штурм Турецкого вала.

Как ни удивительно, но бывает, оказывается, что и болезнь оставляет в воспоминаниях что-то светлое. Такой в моей памяти осталась та снежившаяся мне в тифу метель, сквозь которую я мчался, стоя в санях. Или вот это. Но это было уже лет через тридцать с чем-то после тифа. Я снова тяжело болел. Стояло теплое лето. Лежал я в комнате с открытым окном, и ночами мне были видны звезды... Мне снились телефонные звонки. Слышался у телефона за дверью голос медсестры. Звонили — так я понял из ее слов — с конца Млечного Пути, справлялись о моем здоровье.

В Крыму прослужил я до осени 1925 года: сначала в севастопольской артиллерийской школе, потом в симферопольской кавалерийской. Служба брала много времени, но я продолжал работать над стихами. Властителем моих дум в ту пору был Уолт Уитмен. Его книга «Листья травы» не убиралась с моего стола. Не меньше любил я Маяковского. Но увлечение этими поэтами преломлялось в моем понимании как-то своеобразно. В них больше всего увлекала меня масштабность космоса, веков, а не люди со своими судьбами. Недаром первая книга моих стихов, вышедшая в Крымском издательстве в 1923 году, так и называлась «По курганам веков». Я полюбил овеванный воинской славой Севастополь, море, крымскую природу, школьный коллектив преподавателей и курсантов. И это, конечно же, не могло не отразиться на моей тематике. Замелькали названия стихотворений: «Севастополь», «Барашки на море», «Прачка», «Когда чисто вымыт пол», «С работы», «Подсолнух». Однако верх брало все еще вот такое:

В железных степях грядущего
я давно наездник лихой —
скакуна, бурями ржущего,
зануздаю молний уздой.

Не один я у солнечных стен
разметал копытные звоны,
Вижу, пирами дней растут
в грядущее легионы.

Эти стихи написаны были не то в 1922, не то в 1923 году, и я давно их забыл. Узнал я о них из новеллы Василия Субботина. В новелле рассказано о том, как с ее автором, оказавшимся в редакции газеты «Крымская правда», случилось вот что. «Пришел ребенок, чей-то сын, и мне сразу пришлось лезть на печку,— читаю я в новелле.— Этот чертенок закинул туда мячик. Подставив скамейку, я перегнулся и сунул голову за дымоход. Вверху, под самым потолком, увидел связку коричневых бумаг. Это оказались газеты Крыма за двадцать третий и двадцать четвертый годы».

В новелле рассказано и о том моем удивлении, с каким я воспринял эти стихи, уже давно мною забытые и которые в старой газетной подшивке, засунутой почему-то на печку, пережили там и трехлетнюю немецкую оккупацию.

В начале 1924 года я написал поэму «Гимн вечности». «Все знают — вечность немолода и мера ее — не года. Среди мироздания, где всё — по ее образцу, стоит она, звезды текут по лицу». Но эти строчки написаны были в 1969 году. А тогда... тогда риторика и абстрактность сушили живую мысль.

В городском партийном клубе (это уже в Симферополе) решили организовать ее чтение на большой аудитории. Предварительно послали поэму литературному авторитету профессору Новицкому на отзыв. Профессор отметил в поэме энергию стиха, но похвалил только одну строчку: «Планеты вертятся, как заведенные игрушки». Однако читка все же состоялась. На эстраду вышел актер Закатов (я и фамилию его все еще помню). К моему удивлению, он стоял совершенно голый. Кроме звериной шкуры, спереди на нем не было ничего. Может, потому, что читал он хорошо, неглиже аудитория ему простила. Но поэме это не помогло.

Надумал я после этого почитать ее Константину Андреевичу Треневу, жившему в ту пору в небольшом домике под Симферополем. Так я и сделал. Он внимательно выслушал и спросил: «А нет ли у вас чего-нибудь в другом роде?» Я прочитал только что написанное стихотворение «Прачка», которое и не собирался показывать. Поэма ему не понравилась, и он, улыбаясь, сказал: «Вы лучше воспойте мой велосипед — толку будет больше. Оторвались от земли». «Прачку» он похвалил. Особенно понравилось ему начало стихотворения.

Бьется в корыте белая вьюга,
сильные руки в воде горят.

Эта встреча с Треневым оказала мне большую помощь в поисках самого себя. Тем более что слова его пали как бы уже на подготовленную, взрыхленную почву. Я много читал, размышлял над прочитанным.

Помню, купил я литературную хрестоматию той поры. В ней были рассказы и стихи, портреты авторов. Запомнились Фурманов и Зощенко, но больше всего Тихонов со стихотворением «Перекоп», которое и сегодня завораживает меня ритмической и образной неповторимостью.

Тогда же, еще до встречи с Треневым, в каком-то альманахе, вышедшем на Украине, я прочитал поэму В. Сосюры, написанную на русском языке. Называлась она «Четыре года». Поэма эта также захватила меня. В ней ликовали краски, образы, нерастратенная душевная сила. Тронула она меня и щемящей грустью от пережитого поэтом за эти четыре года, а они нелегкими были у него.

Как знать, прочитай я эту вещь сегодня, может быть, она и не произвела бы на меня такого впечатления, но если она не померкла в памяти почти через полвека (я не читал ее больше с тех пор), значит, она чего-нибудь да стоит. В 1925 году я познакомился с Сосюрой лично. Будучи уже прославленным украинским поэтом, он оказался простым, сердечным человеком. К тому же и биография его оказалась во многом схожей с моей: он был у Петлюры, я у Колчака.

Не помню уже в каком году, скорее всего в 1924-м, я составил сборник новых стихотворений. Назвал его «Солнечный умывальник». Сборник послал в Харьков в Украинское государственное издательство, где он и загнил.

С редактором газеты «Красный Крым» Арановичем я встречался обычно только в редакции. Но однажды он позвонил мне на работу и пригласил домой на чашку чая. За столом у него я застал двух незнакомых мужчин. Один из них назвал себя Григорием Петниковым. Имя этого поэта я знал и с удовольствием пожал ему руку. Разговор сперва как-то не клеился, и хозяин попросил нас читать стихи. Петников отказался, попросил меня. Я прочитал несколько стихотворений: о кипарисах, о польхающем синью крымском небе, о севастопольской бухте с огнями, опрокинутыми в ее глубину, и наконец о той же прачке над корытом, в котором бьется белая вьюга.

Петников хлопнул себя по лбу, «Черт возьми! А ведь я зарезал ваш сборник в Харькове! — Он обнял меня за плечи.— Хорошие стихи прочитали».

Еще в конце 1923 года я организовал в Симферополе объединение молодых поэтов. Долго ломали голову, как его назвать. Назвали мудрено и длинно: Крымская ассоциация молодых поэтов пролетарского фронта, КАМППФ. Мне было поручено написать декларацию. Пора деклараций в литературе уже была позади, но к нам это как бы не относилось. О создании организации нашей оповестила газета, и мы начали функционировать: еженедельно собирались на свои заседания, устраивали публичные вечера, лезли в драку — словом, шумели. Были молоды, в меру невежественны, и это объясняло все. Но главный шум начался позднее, когда в Симферополе появился некий Савранский.

Ворвался он в нашу организацию не ветром, а бурей. Врал головокружительно, причем настолько убедительно и живописно, что не верить ему было невозможно. Было ему, как и мне, не больше двадцати с чем-то лет, а по его словам выходило, что чуть ли не со всеми известными писателями он накоротке. Стихов его ни в одном журнале я не встречал, но этонисколько меня не смущало. Да я и не думал об этом, слушая его удивительные выдумки, которыми он упивался. Несомненно, в нем было что-то от Хлестакова, только красиво, возвышенно, бескорыстно. Афиши о наших вечерах сразу же резко изменились. С них уже кричали крупные буквы: «Искусство дыбом!» Или другое что-то в этом же духе.

Исчез из Симферополя Савранский столь же внезапно, как и появился. И лет шесть о нем я ничего не слышал. А в 1930 году в журнале «Красная новь» прочитал превосходную его повесть «Фрунзе-ранет». Полная поэзия, она нахлынула на меня летними ливнями, зноем, шумом Черного моря, садами с упругими яблоками. Я долго находился под ее впечатлением, думал о Савранском. Хотел хоть что-нибудь о нем узнать, но безрезультатно. Будто бы неладно что-то с его психикой — дошли до меня глухие посторонние слухи, но уточнить это не удалось. А повесть его жила во мне. В том же 1930 году я написал стихотворение «Гроза в Крыму», явно навеянное ею.

Идут сыроватые облака.
Померкла дорога и даль золотая.
Гроза пробирается издалека,
огнем и теменью налитая.
Она всегда начинается так,
но сегодня темней кипарисы.
В синих молниях Чатыр-Даг,
спокойный, каменнолицый.
Когда же сильней прокатился гром
и стала природа еще молчаливей,
вдруг хлынул студеным косым серебром,
сбивая тяжелые яблоки, ливень.

Не будь этой повести, возможно, не было бы у меня и этого стихотворения.

В январе 1926 года меня перевели в Москву в артиллерийскую школу. Мое желание сбылось: я снова в Москве.

Еще в том же году в журнале «Октябрь», кажется в мартовском и апрельском номерах, появились мои стихи, в следующем году — в «Молодой гвардии» и в «Красной

ниве». Но это еще совсем не означало, что двери редакций широко распахнутся передо мной. Начались бесконечные трамвайные поездки и хождения. В одном только Кривоколенном переулке, где находилась редакция журнала «Красная новь», я износил, наверное, не одни подошвы армейских сапог.

Встречал в редакциях и других начинающих поэтов того времени: Суркова, Гусева, Кудрейко, Дементьева, Алтаузена. По-разному складывались потом наши литературные судьбы, разными были наши удачи и неудачи, но редакторская плотно закрытая дверь вызывала у нас тогда, наверное, одинаковое чувство. Не знаю как другие, но я ни разу, между прочим, не обращался за протекцией к известным поэтам, хотя бывал дома у Асеева, у Багрицкого, у Голодного.

С Маяковским в домашней обстановке встретился я только один раз. Это было у Асеева. Кроме меня, у него сидели еще несколько поэтов: Крученых, Кирсанов и кто-то еще. Шла шумная карточная игра. Я сидел в сторонке. Никто не пытался занимать меня разговорами. Видимо, посетители вроде меня были не редкостью в этом доме. Даже то, что на животе Ксении Михайловны, жены Асеева, побулькивала грелка, говорило только о том, что тут все свои.

Неожиданно в комнату вошел Маяковский. Меня никто ему не представил, но он протянул мне руку. Мне показалось вдруг, что комната от его присутствия стала меньше. Он шагал по ней добрым великаном, хотя остроты этого доброго великана уже лтели кое в кого меткими стрелами.

С Демьяном Бедным я познакомился немного позднее. В ту пору он был мало-доступным. Но разговор о нем я начну с одной затеи. Надумал я провести в артиллерийской школе диспут о его стихах. Начальнику нашего клуба понравилась эта задумка, и дело с подготовкой диспута закипело. Охотники принять участие в нем нашлись. Главным оппонентом моим согласился быть преподаватель русского языка.

Диспут состоялся.

С чего мне вдруг взбрело тогда в голову критиковать Демьяна Бедного, противопоставлять ему других поэтов, сейчас не пойму. Я щедро цитировал Есенина, Ушакова, Багрицкого. «Сабли враз перехлестнулись кривыми ручьями» — вот это поэзия! — восклицал я. Особой победы на диспуте я не одержал, хотя сторонники и у меня были.

Я не додумался тогда до того, что Демьян Бедный не гнался за «изяществом» в поэзии. Он был поэтом-воином, поэтом-агитатором. «Пою. Но разве я «пою»? Мой голос огрубел в бою», — писал он о себе. Ему не были чужды ни грусть, ни тревожные раздумья, но он понимал: время требовало другого. «Моей несказанной печали делить ни с кем я не хочу», — признался он в одном стихотворении.

Популярность Демьяна Бедного в те годы была неслыханной. В горле любого красноармейца сидела тогда песня Демьяна. А разве сам я не обязан ему? Пусть как поэт я формировался не на его стихах, но я формировался на них как гражданин. А это куда важнее.

Сейчас Демьяна Бедного читают мало. Но разве такие его стихотворения, как «Никто не знал...», «Снежинки», «Печаль», и его лучшие басни не входят в актив советской поэзии? Да только ли это!

В предвоенные да и в военные годы, когда мы оба находились в Москве, мы часто встречались. Я бывал у него дома. Читали друг другу стихи. Он шумным восторгом встретил мою поэму «Домик в Шушенском». Звонил знакомым, в редакции, расточая похвалы. В начале сорок пятого года я встретил его на улице Горького неподалеку от дома, в котором он жил. Мне бросился в глаза его нездоровый вид. «Скоро лежать кверху носом», — бросил он на ходу. Это была последняя наша встреча.

С Борисом Пастернаком в 20-е годы я был еще незнаком. Но в следующие десятилетия встречались часто. Несколько раз он присутствовал на моем чтении стихов, какие бывали иногда в узком кругу, выступали вместе на литературных вечерах. А когда стали переделкинскими аборигенами, узкие полевые тропинки сталкивали нас и того чаще.

Бывал я у него и на даче, загорелого, обнаженного до пояса заставлял его работающим на участке. Многие его стихотворения стали моими любимыми. Я и сейчас не убираю из его однотомника закладку на стихотворении, в котором есть строчки:

Во льду река и мерзлый тальник,
А поперек, на голый лед,
Как зеркало на подзеркальник,
Поставлен черный небосвод.

Пред ним стоит на перекрестке,
Который полузанесло,
Береза со звездой в прическе
И смотрится в его стекло.

Первозданную свежесть пастернаковских стихов я ощущал и в те далекие годы, но их синтаксическая и ассоциативная переусложненность часто мешала им пробиться к моему сердцу.

Пришел я как-то в редакцию журнала «Молодая гвардия» к Анатолию Кудрейко. Он вел отдел поэзии. Просматривая мои армейские стихи, он сказал: «Хорошо тебе: где работаешь, о том и пишешь». Я промолчал. Я не отдавал еще себе отчета, действительно ли это так, скорее был склонен завидовать тем, кто работает в редакциях. Преподавание политической экономии в артиллерийской школе, хотя программа была несложная, времени отнимало все же много. У меня появилось даже по этому поводу четверостишие: «В себе я долго примирился с политработником поэта, а песня сыла, как заря, в морозном сумраке рассвета». Потом-то мне ясно стало, что постоянная работа, вторая профессия — это обеспеченный тыл; в случае неудач она не позволит поэту увеличить собою число неудачников. Не слишком ли много у нас литературных юнцов, да и не только юнцов — потенциальных иждивенцев нашего общества?

К счастью, много и других примеров. Я с уважением и болью думаю о Сергее Чекмареве. Вся его короткая жизнь — пример мужества и честности. Родился он в 1910 году в Москве. Окончив школу, поступил в сельскохозяйственный институт. После окончания института попросил направить его туда, где больше нужны его знания. Его послали работать в Башкирию.

Двадцатитрехлетний юноша погиб от руки врага.

В 1956 году были обнародованы его стихи, дневники, письма. Не от буфетной стойки в Доме литераторов начал он свой путь в поэзии, а от широких башкирских степей, которые рождали в его сердце чудесные стихи и вызывали горячее признание. «У меня никогда не хватит духу — ни сердце, ни совесть мне не велят — покинуть степь, гурты, Гнедуху и голубые глаза телят».

Летом 1928 года я написал стихотворение «Лесные поляны». Так назывался тогда один подмосковный совхоз. Об этом стихотворении я упомянул потому, что с ним связана моя первая встреча с Михаилом Александровичем Шолоховым. Это было в редакции журнала «Октябрь». Не помню, где тогда помещалась эта редакция, но большую комнату, в которой шло чтение глав из второй книги «Тихого Дона», помню. Словно сквозь густой туман гляжу я в то далекое время. Многие в памяти размылось, но безусого, юного Шолохова вижу ясно. Ему было тогда двадцать три года. Громкая и, возможно, неожиданная для него слава не вскружила ему голову, держался он так, будто слава эта и восторженно принятая всеми первая книга знаменитого романа имели к нему малое отношение.

Ответственным секретарем редакции «Октября» был тогда Коля Полосихин. Мы, молодые поэты, чаще всего почему то имели дело с ним. Относился он к нам требовательно, но товарищески. На чтении шолоховских глав я узнал от него, что в одном из ближайших номеров журнала будет отведено много места совхозной тематике, что с этой целью редакция направляет в совхозы нескольких писателей. Я поехать не мог, держала армейская служба, но через сколько-то дней пришел в редакцию со стихотворением «Лесные поляны». Полосихина не застал, оставил стихотворение у секретарши. Когда

пришел за ответом, Полосихин встретил меня словами: «Щипачев не ездил в совхозы, а написал хорошее стихотворение». Эти слова были обращены, как я догадался, не столько ко мне, сколько к Шолохову, сидевшему тут же. Потом от Полосихина я узнал, что все стихотворения, связанные с этой темой, Шолохов прочитал, мое похвалил.

Ни в журнале, ни в моих сборниках той поры стихотворение это критиками не было замечено. После же цитировали из него строчки: «Иду, приветствуя леса, а на хлеба с тропинки гляну: от недоспелого овса струится холодок стеклянный».

Посчастливилось слушать мне и главы из первой книги «Поднятая целина», когда она только что была закончена и в свет еще не вышла. Было это в 1932 году. Сейчас уже не могу вспомнить, кто присутствовал на этом чтении, хотя проходило оно в узком кругу. Но хорошо помню Александра Александровича Фадеева. Он сидел за столом рядом с Шолоховым, и они читали по очереди. Слушали все с большим вниманием, дружно хохотали над дедом Щукарем. Один раз Шолохов даже взмолился: «Ну что вы, ребята, хохочете». Фадеев ответил: «Мы же не виноваты, раз так смешно написано».

Приятно вспомнить, что с дедом Щукарем, с этим не унывающим ни при каких обстоятельствах балагуром, мы познакомились еще до того, как он стал смешить миллионы читателей.

Осенью 1929 года меня назначили заместителем редактора журнала «Красноармеец». Я принял это с радостью. Работа оказалась по душе, хотя времени брала не меньше, чем преподавательская. Летели месяцы. Ко мне приходили поэты, писатели, я руководил литературным объединением, созданным при журнале, возился с молодыми поэтами.

Не помню точно, но было это, по-видимому, летом следующего года: в редакцию пришел высокий худенький паренек, скромно одетый, с деревенским загаром на лице. Единственное стихотворение, которое он показал, пахло на меня полем и чем-то неуловимо свежим. Под ним стояла ничего не говорящая подпись: Твардовский. Не знаю по какой причине, но стихотворение в журнале не появилось. Заходил паренек в редакцию раз или два еще, но скоро потерялся из виду.

Встретил я его следующий раз только лет через шесть, когда он приехал в Москву с поэмой «Страна Муравия». Мы сошлись в этот раз как-то быстро, по-простому, и добрые отношения между нами, а порой и дружба, уже не оставляли нас. Многие, что выходило из-под его пера, я имел радость слушать или читать еще до опубликования.

В день его шестидесятилетия (1970) мне приятно было — еще раз — выразить свое отношение к его замечательному творчеству. В небольшой статье, с которой я выступил в «Литературной газете», были строчки:

«Особенность поэзии Твардовского, пронесенная им от первых юношеских стихов до стихов, с которыми он пришел к этой славной юбилейной дате,— это принципиальное, убежденное сближение поэзии с прозой. Без малейших уступок поэтических высот Твардовский так умеет опосредствовать, детализировать все, о чем он пишет, что ему может позавидовать любой прозаик, каким бы мастером он ни являлся».

В конце небольшой статьи, вернее заметки, мне захотелось обратиться к самому поэту. «Александр Трифонович, разреши немножко патетики. Не поблекли светло-голубые твои глаза. Окинь горные вершины своих поэм. Сверкающей поднебесной цепью они уходят в будущее...»

В 1930 году было создано Литературное объединение Красной Армии и Флота (ЛОКАФ). В его организации и работе я принимал активное участие. Объединение стало издавать журнал. В работу ЛОКАФа включились многие писатели, но его энтузиастами и наиболее творчески активными членами были Всеволод Вишневский, Леонид Соболев, Владимир Луговской, Алексей Сурков, Николай Тихонов, Леонид Дегтярев, Мате Залка, критики — Свириин, Лейтес и многие другие.

Большого следа в литературе, как оказалось впоследствии, ЛОКАФ не оставил. Пьесы Всеволода Вишневского появились бы и без него, без него появился бы и роман

Леонида Соболева «Капитальный ремонт». Но какое-то оживление в литературную действительность той поры он все-таки внес. Никогда до того не проводилось писателями столько выступлений в частях армии и флота, не было столько поездок по местам боевой славы, такого внимания к нелегким армейским будням.

ЛОКАФ, бесспорно, оказал какое-то влияние и на тематику некоторых поэтов. Отразилось оно и на моих стихах. Не думая о том, что мне свойственнее всего лирическое начало, я увлекся стихами публицистическими. Даже декларировал: «Пускай за снегами дымится весна, лирика, погоды немного». Не могла мне тогда прийти в голову грустная догадка, что через какие-то годы многое в тех стихах будет казаться мне половинчатой мебелью на чердаке. А впрочем, не знаю, уж так ли я прав. Склад дарования, разумеется, имеет немалое значение, но если поэт одолевает спешку в работе, нетерпение печататься, при любом складе дарования рано или поздно его подстерегут неприятности. Ящик письменного стола — надежное место для стихов, даже для хороших, даже для отличных. Знаю по себе: править стихотворение в рукописи — радость, в книге — досада.

Я часто вспоминаю Багрицкого. В начале 30-х годов у него в столе лежало три готовых поэмы — «Последняя ночь», «Человек предместья» и «Смерть пионерки». Кто из поэтов удержался бы и не предложил такие поэмы журналам? Багрицкий не спешил, и свет увидели эти поэмы только в его книге. Какая завидная выдержка! Я как-то спросил у него: почему он не дает стихи в журналы? Он шутил: «Зачем спешить? Еще обругают критики». Нет, это не было боязнью. Смешно об этом думать. Это было высокое, требовательное, целомудренное отношение к печатной строке.

А как же быть, спросите меня, со стихами злободневными, газетными? Как отвечать на звонки из редакций? Не знаю. Видимо, по-разному. Но такие звонки иногда высекают искру из сердца.

Летом того же 1930 года группа писателей, в которую входили Мате Залка и я, совершила незабываемую поездку по местам боев за Крым, проехав на гачанках сотни километров по южным степям Украины, любясь голубыми озерами, рощами, стогами, хотя все это было только миражами. Если бы с ЛОКАФом связывала меня только одна эта поездка, я и тогда бы вспоминал его всю жизнь.

В начале 1931 года я женился на Елене Викторовне Златовой. Не без размолвок, не без взаимной ревности, но мы прожили вместе тридцать семь лет. Тонко понимая литературу и выступая со статьями по прозе и поэзии, она и мне отдавала немало ума и сердца. На это доверительно и радостно я отвечал стихами.

Вышло два сборника моих стихотворений — «Одна шестая» (1931) и «Наперекор границам» (1932), и хотя один из них вышел под редакцией Эдуарда Багрицкого, заметного следа в моей биографии они не оставили.

Осенью 1931 года я поступил в Институт красной профессуры на так называемое творческое отделение. Впервые за много лет я сменил военную форму на гражданский костюм.

С моей слабой общеобразовательной подготовкой учиться было трудно, но работу над стихами не оставлял. Написал поэму «Фронтвики». Она появилась в журнале «Октябрь», вышла отдельной книжечкой небольшим тиражом, и все. На этом и кончилось ее неприметное существование. Но в поэме были хорошие куски, мало, но были. И когда через какие-то годы я снова заинтересовался ею, мой взгляд задержала одна глава. Я перечитал ее несколько раз. Небольшая доработка — и передо мной очутилось законченное стихотворение «Неположенные мысли на посту». Оно пополнило мою лирику новыми ощущениями. Сюжет его прост. Красноармеец больше года не видел жену. Всё походы, бои. И вот — радость. Полк, в котором он воевал, выбил колчаковцев из его родного города. Сбежать бы домой, помыться в баньке, пообнимать истосковавшуюся жену, но — увы! В первую же ночь угодил в караул, стоит на посту у какого-то склада. Снег под сапогами скрипит, а в мыслях... Баня. Задыхается векиш над широкой спиной. Жена... Смеется. Коснулась бедром...

Институт красной профессуры — название солидное. Профессуры, а не чего-нибудь! Но я и сейчас не особенно себе представляю, чем же было это учебное заведение. Скорее всего создано оно было для того, чтобы ускорить подготовку квалифицированных научных и преподавательских кадров. Да институт и оправдал себя. Из его питомцев кое-кто и сейчас занимает в гуманитарных науках видное место.

Что же касается нашего класса — он считался особым, писательским. В нем были: Алексей Сурков, Илья Френкель, Александр Исбах, Борис Галин, Григорий Корабельников, Яков Ильин, Иван Жига, Дорогойченко и другие. На профессорские роли нас, конечно, не прочили, усадили за учебу скорее всего для того, чтобы пообтесать немного. Хотя Александр Исбах стал и профессором, знатоком западной литературы.

Не то на первом, не то на втором году занятий в институте я проделал одну интересную работу: собрал высказывания поэтов о стихах, начиная с Василия Тредиаковского. Перебирая как-то уже пожелтевшие бумаги своего архива, я наткнулся неожиданно и на знакомую тетрадку. Сорок лет будто и не прошло. Я опять почувствовал себя слушателем института. Я не привожу ничего из этой тетрадки. Это было бы, пожалуй, школярством. Но на статье Маяковского «Как делать стихи?» все же остановлюсь. Статью эту за долгую свою жизнь я читал не раз, считаю ее одной из самых интересных статей о стихах, но меня каждый раз останавливала в ней некоторая недоговоренность. Раскрывая свою лабораторию, поэт убедил, что поэзия — это упорный труд и бесконечный поиск, но трудно согласиться с тем, что в творчестве поэта чуть ли не все сводится к технологии, к выделке «слов-кирпичей». Строфа, конечно, делается, лепится, но технология, как ни важна она, это еще не все, если работает поэт без поэтического прозрения, или, как говорил Пушкин, без расположения души к живейшему приятию впечатлений. Думаю, что стихотворение Лермонтова «Смерть поэта» вылилось из гневного сердца как раскаленная лава. Поэт, мне представляется, едва успевал записывать строчки. Трудно мне представить себе и Пушкина за выделыванием «слов-кирпичей», когда его губы шептали: «Нет, весь я не умру — душа в заветной лире мой прах переживет и тленья убежит...»

«В грамм добыча, в год труды» — не пустая фраза. У кого из поэтов не бывает, когда на одну строфу, даже на одну строчку затрачивается усилий больше, чем на все стихотворение, когда такая строфа или строчка стоит бессонных ночей, десятков перечеркнутых вариантов. Но разве не бывает по-другому, разве не писал Пушкин:

И мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы легкие навстречу им бегут
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,
Минута — и стихи свободно потекут.

Твардовский в разговоре со мной как-то сказал: когда строчки приходят легко, они-то чаще всего и бывают лучшими.

Летом 1933 года довелось мне съездить в мои родные места неподалеку от города Камышлова, на реке Пышме.

Приехал я в Камышлов рано утром. Добираться надо было на попутной подводе. Но подыскивать подводу я не торопился. Пошел посидеть у собора над кручей, откуда далеко кругом видно. Я знал уже, что в Зауралье засуха, гибнут хлеба и травы. Долго и беспокойно следил я за горизонтом, над которым то тут, то там клубились облака. Как мне хотелось, чтобы они собрались в тучу и пролились на поля! Но было видно, что нет в них той силы, какая требовалась для этого. И больно было мне, когда колхозник, привезший меня на телеге, вместо денег попросил у меня хлеба.

Возле правления колхоза встретил Сергея Кузьмича, моего одноклассника и однофамильца. Обрадовались. Он повел меня к себе, какого-то мальчика послал предупредить жену, но мне не терпелось походить по деревне, возле все еще знакомых изб. Он сдался. Ходили долго. Меня тянуло к воспоминаниям, его — к заботам, сегодняшним и завтрашним, и мы говорили больше о них. За разговорами не заметили, как очутились на берегу речки Подднёвки, у тех бугорков и ямок, где стояла когда-то почерневшая от

времени и уткнувшаяся окошками в землю наша изба. Не сразу, но заметил я и то место, где была наша баня, врытая в берег и топившаяся по-черному.

Видимо, после той поездки вскоре я и набросал на клочке бумаги вот эту запись:

«Когда-то мать рассказала мне, что родился я в глухую декабрьскую ночь в черной бане, врытой в берег речки Полднёвки. Бушевал буран.

Я представил себе.

Люди несут в избу теплый живой комочек, укутанный в тряпки и дырявый мужицкий полушубок. Буран с ревом налетает на них, сляясь задуть только что затеплившуюся жизнь. Люди прикрывают ее собой.

Прикрыл ли я собой хоть одну человеческую жизнь?»

Этот листик карандашной записи пролежал в папке десятки лет. Я не терпел, между прочим, да и теперь не особенно терплю лишнее в своих папках. Как правило, уничтожал все черновики. Придерживался того взгляда, что черновики — это леса. Дом выстроен — леса убираются. Немало уничтожено было под настроение и готовых стихотворений, которые почему-либо в те минуты не нравились. Так же поступал я и с многими записями, которые чаще всего делал на клочках бумаги. Выбросил бы и эту запись, если бы, попадая на глаза, она не цеплялась за сердце последней строчкой: «Прикрыл ли я собой хоть одну человеческую жизнь?»

Возможно, многое из того, что я уничтожил, и стоило уничтожить, но этой участи не минула, к сожалению, и рукопись поэмы «Гимн вечности». В этой поэме мысль моя как бы растворялась в миллиардолетиях, в мироздании. Риторика в ней, очевидно, было немало, но написана она была, помнится, с полетом, и ее свободные, нерифмованные строки действительно, думается мне, были не лишены той энергии, которую отметил профессор Новицкий. Во всяком случае, она не была только издержкой в моей работе хотя бы потому, что я в ней как бы пробовал свои силы, как бы готовил себя к этой необхватной теме. Живу и волнуясь я больше всего, разумеется, делами земными, но меня никогда не покидала пылкость и к тому, «как замешивалась квашня галактики нашей огромной», или желание убедить себя в том: «Наивным прослыви, но ставь вопросы: где край Вселенной? Есть ли этот край?»

Ночевал у Сергея Кузьмича.

Сидим. Он, как прежде, картавя слегка,
рассказывает. Я — тоже.
Не наговоримся никак,
минувшие годы итожа,
«Еще трудновато нам, друг дорогой,
взбираться в районе на видную горку»...
Бутылка пустая стоит. С другой
скрошился сургуч на скатерку.
Мы так просидели бы допоздна,
но в зыбке ребенок зачмокал, завсхлипывал,
и зыбка запела о детских снах
глухим деревянным скрипом.

Эти строчки я взял из стихотворения, написанного тогда же. В Москве предлагал его в какой-то журнал — не взяли, и оно пролежало в столе чуть ли не сорок лет.

В Москве шло строительство метрополитена. Энтузиазм, которым жила тогда метростроевская молодежь, захватил и меня. Рыжие подземные грунты часто налипали и на мои ботинки. Примерно за год я написал об этом книгу стихов. Что-то из них напечатал в метростроевской газете и, кажется, в «Литературной», а в других газетах стихам этим не повезло. Помню, пришел я в «Известия». Работник литературного отдела, критик, которого я немного знал, прочитал их при мне, расхвалил и тут же кинулся, чтобы передать прямо главному редактору, но в дверях столкнулся с заведующим отделом, который остановил его и холодно процедил: «Не надо». Сам стихами не поинтересовался, молча прошел в свой кабинет. Стихи снова очутились в моих руках. Такой неожиданный оборот так расстроил меня, что, выйдя из редакции, я даже не сел

на трамвай, а до самого Поперечного просека в Сокольниках, где я жил, протопал пешком, а это километры и километры.

Красочно, зримо, емко запомнилось лето 1935 года. По просьбе руководителей коневодческих хозяйств вместе с Ефимом Дорошем я побывал в Сальской степи и в горах Карачая, в местах, где расположены конные заводы. Было начало июня. В степи кое-где начинали косить, и от вянущей скошенной травы тянуло опьяняющим ароматом.

Запомнилась первая ночевка на зимовнике¹. Не утерпелось. Я вышел в степь. Она лежала передо мной тысячелетняя, неподвижная. Я смотрел на дымные пятна Млечного Пути, слушал густую степную тишину, и мне легко дышалось, светло думалось.

Запомнилось там и первое утро. Проснулся я от птичьего свиста и щебета. Наскоро умылся и сошел с веранды большого одноэтажного дома. Стояла широкая степная заря, заполнившая собою все: каждой травинки, каждого стебелька касалась ее розоватая прохлада.

После раннего завтрака выехали в степь на двух полувоенных тачанках. Травы уходили до самого горизонта. Легкая прозрачная тучка, как парашют, висела впереди нас. Она затушевала край неба, и я следил за ней и за скачущим на ее фоне силуэтом всадника. Но тучка прошла стороной. Из-под колес все так же вырывалась сухая, душная пыль. Ни холмика, ни бугорка — ровная степь, где живыми островками виднелись табуны и косяки лошадей...

Примерно через неделю мы очутились в Карачае, где, по словам аборигенов, не бывает зноя и овода. Ефим Дорош в первый же день начал писать очерк. Вечером лил дождь, и мы сидели на зимовнике. Очерк его начинался строчкой: «На высоте 3800 метров лил дождь». Строчка эта автору, видимо, нравилась, и ему не утерпелось прочитать ее вслух.

Значилось и у меня в записной книжке:

«Длинноногий жеребенок тычется в бок матери. Он впервые видит солнце молочными, туманными глазами. Старый табунщик козырьком приложил почерневшую ладонь ко лбу и смотрит на Эльбрус, откуда приходят студёные ливни и град. Его широкая, набухшая от дождя бурка закрывает седло и почти весь круп лошади. Взглянув на жеребенка, он улыбнулся, вспомнив, наверно, как помог ему недавно найти сосок матери».

Эта интересная поездка совпала по времени с моей работой над поэмой «Еланин», в которой я пытался решать вопросы об отношении поэзии к действительности, о месте поэта в жизни. Через всю эту поэму должны были пройти два действующих лица: поэт Еланин и какой-то человек обыкновенной профессии.

На Карачаевском конном заводе мне повезло. За какой-то один вечер у меня появилась завязь последней, и основной, части этой поэмы. Не только умом, сердцем, а всей кожей ощутил я ее всю, с горами, ливнями, с травами, с табунщиками в бурках, похожих на черные колокола, а самое главное — с героем поэмы Черепановым, моим сослуживцем по кавалерийской школе. И удивительно, что толчком к этому явился услышанный мною на зимовнике один разговор. Кто-то только что вернулся с Бермамыта, верхнего плато, откуда хорошо виден весь Эльбрус, и рассказывал, как его застигла там гроза. Я ловил каждое слово, а человек рассказывал: «Гроза была не надо мной, а вокруг меня, я стоял в самой ее середине, молнии сверкали и ломались не в вышине, а у самых моих ног. Ливень такой лил, что мне казалось — я стою в стакане воды».

Не знаю в какой связи, может, потому, что думал и о своем Еланине, я живо представил себе жизнь некоторых поэтов с их тщеславием, с ломанием перед публикой на литературных вечерах, с дешевыми островами в ответах на записки. Как не вязалось все это в моем представлении с этой истинной красотой, истинной поэзией, какая окружала меня в этом горном поднебесье, в этом разреженном, промытом ливнями воздухе. Как бы в упор увидел я и свои прожитые годы. Скача на доброй карачаевской лошадке рядом с Черепановым по травяному плато, уходящему к сияюще-

¹ Поселок городского типа в центре конезавода.

му снегами Эльбрусу, я до грусти позавидовал его спокойной уверенности в своем деле.

Поэму закончил не то в конце 1936, не то в начале 1937 года. Читал товарищам. Хвалили. Ободренный этим, я отдал ее в журнал «Новый мир». С редактором журнала мы были хорошо знакомы. Я не раз даже навещал его в больнице, когда он лежал с каким-то недугом. Поэму он прочитал незамедлительно, но, к удивлению моему, усмотрел в ней крамолу и разговаривал со мной как с подследственным. Никакой крамолы в поэме, разумеется, и не пахло. Я остолбенел. Пытался что-то говорить, но на меня смотрели отчужденные, холодные глаза. Много было тогда охотников выискивать крамолу, где ее не было и не могло быть.

Не потому, что редактор журнала наговорил мне нелепостей, а по каким-то другим соображениям, уже творческого порядка, поэму я раздробил на куски, ставшие потом самостоятельными стихотворениями: «Курсанты», «Горный ливень», «Бурка», «Ташкентский скорый» и другие. Но та часть поэмы, завязь которой, как было сказано, родилась на Карачаевском конном заводе, осталась нетронутой. Я назвал ее «Встреча на Бермамыте». Как небольшая самостоятельная поэма, она тогда же появилась в лучшем в то время журнале «Красная новь». Напечатаны были в разных местах и те отпочковавшиеся стихотворения. Внимательный мой читатель может отметить, что они и сегодня не исчезли со страниц моих томиков. Все это — и эта небольшая поэма, и те стихотворения, отпочковавшиеся от большой вещи и приобретшие самостоятельное звучание, и многое другое — уже явственно определило меня как лирика, упорно искавшего и нашедшего в поэзии самого себя.

Позади были немалые годы, и я понял: лирический поэт не может раскрыть духовный мир человека, не раскрывая себя. Я понял: чем больше поэт доверяется людям в своих самых сокровенных чувствах и мыслях, тем нужнее, ближе он становится своему читателю. Однако кое-кто из тогдашних поэтов откровенничал передо мной: «Открой клапаны души, а оттуда хлынет такая муть, что и не обрадуешься». Но тут, видимо, решают все нравственные устои, эстетическое кредо, а главное, мировоззрение.

Острее стали вставать передо мной и вопросы мастерства. Для такого поэта, как, скажем, Владимир Луговской, эти вопросы столь остро, возможно, никогда не стояли. Он ворвался в поэзию громко, мускулисто, уже вполне сложившимся поэтом. Я же пробивался — словно прорубал туннель сквозь каменную гору.

Впервые ощутил я себя уже как мастера, если позволительно так нескромно говорить о себе, когда писал стихотворение «Березка». В мае 1936 года я приехал в подмосковный Дом творчества. Еще не успев как следует оглядеться в комнате, я заметил в квадрате окна тонкую, гибкую березку с только что распустившимися листьями. Она вырисовывалась на фоне синего неба. Тогда же, кажется за несколько минут, сложились две строфы:

Ее к земле сгибает ливень
почти нагую, а она
рванется, глянет молчаливо —
и дождь уймется у окна.

И в непроглядный зимний вечер,
в победу веря наперед,
ее буран берет за плечи,
за руки белые берет.

Но дальше слова не шли, а стихотворение было явно не закончено. Чувство формы подсказывало, что требуется еще только одна строфа, но вот она-то и не удавалась. Бился я над ней целый день и все варианты зачеркивал. Несколько раз потом я снова возвращался к ней — и снова откладывал, не добившись толку. Все варианты этой строфы, которая должна была стать концовкой стихотворения, получались или описательными, или рассудочными. И тот женственный образ, какой виделся мне в березке, оставался незаконченным. Тут требовалась строфа, заключающая в себе то «ядрышко» мысли, которое должно дать жизнь стихотворению. Только через год, еще раз вернувшись к этому стихотворению, я одолел неподатливую строфу.

Но, тонкую, ее ломая,
из силы выбьются... Она,
видать, характером прямая,
кому-то третьему верна.

Не думаю, чтобы два или три года назад я тратил столько усилий на эту строфу. Скорее всего удовлетворился бы какой-то одной из тех, перечеркнутых.

Заинтересовывали меня и способы рифмовки у разных поэтов. Мне нравились такие ассонансы, как «врезываясь — трезвость» у Маяковского, «почва — ворочает-ся» у Есенина, но больше всего когда рифмы набрасывались легко, с какой-то почти вдохновенной торопливостью, как бывало у Казина: «Летим, летим... Резвится пыльный прах... Летим, летим — и впопыхах в пролет ворот и — ой! и—ах! Ах!—и в распахнутых глазах пространств блистательный размах...» Однако в своей практике я был глуховат к рифме. В этом я с грустью убедился при одной встрече с Николаем Асеевым. Слух на рифму у него был поразителен. Я прочитал ему только что написанное стихотворение «Любовью дорожить умеете». О содержании стихотворения он не сказал ни слова, но тут же отметил рифму: «умеете,— на скамейке». Мне же, написавшему это восьмистишие, и в голову не приходило выделять ее.

Приблизительные рифмы и ассонансы прочно сегодня вошли в нашу поэзию, даже ентушенковское «мир — миг» мало кого раздражает. Тогда же о них горячо спорили. Большинство поэтов признавали только точную рифму. Любое отклонение относилось чуть ли не к формализму. Что же касается меня, то я рассуждал примерно так: если стихотворение покоряет чувством, глубиной мысли, рифма не так-то уж важна. В таком стихотворении мы можем не заметить даже плохую рифму. Таковую, как «скрипит — бежит» в «Парусе» Лермонтова.

Меня упрекали уже тогда за упорную приверженность к лаконизму, не понимая того, что в нем выражался склад моего мышления, моего видения мира.

Жанр короткого стихотворения — строгий жанр, не терпящий ничего лишнего. Это он привил мне чувство испытывать чуть ли не одинаковую радость и когда я нахожу хорошие строчки, и когда вычеркиваю лишние.

В начале 1938 года мне позвонили из редакции журнала «Красная новь», попросили написать о Красной Армии. Готовился февральский номер. Я написал стихотворение «Танки в колхозе». В журнале оно появилось. Но когда в том же году я стал составлять сборник для издательства, я отбраковал его. Однако чем-то оно все же привлекало меня. Возвращаясь я к нему несколько раз и все откладывал. Но однажды... перечеркнул половину строчек. Из двадцати четырех осталось двенадцать. Не поверил глазам. Передо мной лежало другое стихотворение, которое я и сейчас включаю охотно во все переиздания. А вот другой пример, но это уже из более позднего времени. Написал я как-то довольно длинное стихотворение, наверное строчек на шестьдесят, с бытовыми подробностями. Читал товарищам, знакомым. Реакция была вялая. Не один год пролежало оно в столе. Хотел уже, по давней привычке, выбросить его в корзину, но что-то в нем остановило меня. Еще раз пробежав по нему глазами, я с каким-то остервенением перечеркнул чуть ли не две страницы, оставив нетронутыми только вот эти строчки:

Застигнет беда,
пусть люди кругом,
людей не стыдятся —
плачут,
но слезы,
которые льются тайком,
тех слез солонее,
которых не прячут.

В общем-то, эти строчки и есть стихотворение. Остальные — издержки. Не знаю, так ли, но, может быть, главным-то творческим моментом в работе над этим стихотворением и являлось зачеркивание.

Кто не знает, что вершины поэзии во все времена определяла гражданская поэзия! Но кто не знает и того, что душой поэзии во все времена была любовь. Она явля-

ется нам Ярославной, причитающей на путивльской крепостной стене, пушкинской Татьяной, изливающей душу перед своей няней или склоненной над письмом к Онегину, ее увидел Блок в метелях восемнадцатого года, когда его «Двенадцать» печатали державный шаг. И это она, любовь, заставила выстонать, выкричать Маяковского: «На цепь нацарапаю имя Лилино и цепь исцелую во мраке каторги». К трепетному ее сердцу прикоснулся и я. Сколько тревог и счастливых мгновений осталось позади! Но я не торопил себя над влюбчивыми строчками, не пускался вперегонки с другими поэтами. Моя книга «Строки любви» складывалась на протяжении сорока лет.

Первое издание этой книги вышло четверть века тому назад. Помню, я долго думал тогда о ее названии. Перебирал варианты: Книга любви? — нескромно, да такое название уже и было — у еврейского поэта Галкина. Стихи о любви? — претенциозно. Однако и такие названия сборников появились потом у других поэтов. Уместно заметить. Помните, у Маяковского в поэме «Про это»:

Эта тема день истемнила, в темень
колотись — велела — строчками лбов.
Имя
этой
теме
. !

Точки эти о многом говорят. Отдавая столько сердца, нервов, ума этой теме, Маяковский крайне редко обозначал ее словом, какое и в данном случае заменил точками. Он понимал: от частого прикосновения слово тускнеет, если даже слово это — «любовь». Все ли это понимаем мы, здравствующие ныне поэты?

В 1936 году меня выбрали в партийный комитет. Потом я переизбирался в него много раз. Писательская партийная организация жила тогда сложной и напряженной жизнью, и это не могло не сказываться на работе парткома. Чуть ли не на каждом заседании разбирались так называемые персональные дела. Засиживались нередко до поздней ночи. Поручали подготавливать такие дела и мне. Надо было внимательно выслушивать людей, вникать во многое. Ведь от моих выводов на парткоме в немалой мере зависела их судьба. Меня и сейчас угнетала бы совесть, если бы в чем-то тогда покривил душой, если бы, вникая в порученные дела, не отвел от кого-то накликающую кем-то беду.

Редкое заседание проходило без горячих споров, трудных решений. Мне и сейчас видятся возбужденные лица, мутный табачный дым, наполнявший комнату, в которой мы сидели долгими часами. Чаще всего вспоминаются весны, яблоня перед окном парткома и белая, засыпанная ее лепестками земля. Эта яблоня вошла в мою память неотделимо от заседаний, от той усталости, от того табачного дыма, пропитывавшего не только костюм, но и белье.

Кто-то из коммунистов, возможно, думает, что партийная работа не очень вяжется с писательской. Так ли это? Годам, какие здесь имеются в виду, я обязан многими лучшими стихотворениями, кстати и этими строчками: «Решать партийные дела нельзя, не чувствуя весны».

На доброй волне начался для меня 1938 год.

Отрадным явлением в ту пору были собрания секции поэтов, ходить на них было интересно. Разговор о стихах на этих собраниях велся по большому счету. Да и могло ли быть иначе, когда в разговоре этом участвовали такие поэты, как Сельвинский, Асеев, Эренбург, Кирсанов, Вера Инбер, Антокольский, Сидоренко и многие другие столь же взыскательные поэты.

На том собрании, о котором пишу, поэты читали новые стихи. Сейчас уже не помню кто читал, помню только, что лавров никто не снискал. «Каждого уносили на носилках», — шутил Сельвинский.

Последним выступил я. Прочитал три стихотворения: «Начало пятого, но мне не спится» (тогда оно называлось «О снежинке»), «Была недолгой жизнь цветка» и «Бе-

резку». Робел. Боялся, что лед не растоплю. Но еще не прочитав всего, я уже почувствовал: глаза у людей потептели.

Было уже поздно, устали, но разговор о моих стихотворениях продолжался. Кто-то повторял на память:

Зима: метелица метет,
буран влетает в сени,
но аромат цветка живет
в сухом колхозном сене,
в струе парного молока
звонит степная жизнь цветка.

Спорили. Кто-то кого-то не убедил, и спор этот выплеснулся потом в газеты. Не избалованный публичными признаниями, домой я пришел в тот вечер в счастливой взволнованности.

Вскоре прочитанные стихотворения появились в «Новом мире». За ними замелькали на журнальных страницах другие: «На парткоме», «Танки в колхозе», «Мичурин», «У моря», «Свет звезды» и другие. В 1939 году вышла из печати тоненькая голубенькая книжечка «Лирика». В журналах стали появляться новые мои стихотворения того же лирического плана: «Любовью дорожить умеете», «В троллейбусе», «По дороге в совхоз», «Седина», «Соловей» и многие другие.

С легкой руки Елены Усиевич, влиятельного в ту пору критика, обо мне дружно заговорили газеты и журналы. Друзья останавливали меня на улице, в коридорах Союза писателей, чтобы выразить свои похвалы. Упоминали имена больших поэтов. Пошли письма читателей, сердечные, доверительные. Среди писательских писем было письмо и от Алексея Николаевича Толстого. В нем тоже было упомянуто одно имя. «У вас особая лирическая ирония. Это несколько роднит Вас с Гейне. Но там ирония замешана на политике, у Вас она от большой любви к жизни». Попробовал подыскать мне поэтических родственников и критик Виктор Перцов, давнишний мой друг, но, упомянув Фета и Омар-Хайяма, он тут же отметил, что стихи Щипачева напоминают ему «чаще всего Щипачева». Такое суждение, разумеется, не могло мне не льстить. Не для того, чтобы стать чьим-то эпигоном или подголоском, столько долгих и трудных лет искал я себя.

Осень 1939 года. В качестве армейского газетчика я участвовал в освободительном походе нашей армии в Западную Украину. В толстом журнале напечатал три стихотворения, написанных там: «Вступление в Чортков», «У могилы бойца», «Здесь было горе горькое бездонным». Литературная общественность приняла эти стихотворения тепло. Цитировались строчки о дожде, кажущемся железным над танковыми колоннами, о каменных мадоннах с младенцами на руках, каких я встречал там возле обочин дорог.

Запомнилось выступление во Львове. Выступали мы вдвоем с Виктором Шкловским в обществе русских людей. Они попросили, чтобы к ним пришли советские писатели. Мы согласились. Попетляв с проводником по узким глухим улочкам, мы очутились в каком-то мрачном помещении, чуть ли не в кладбищенской церкви. Люди чего-то боялись. Это мы почувствовали, когда туда шли. Всюду торчали пикетчики.

Пробыли мы у них часа полтора. Аплодировали нам бурно, стоя. В какой-то момент я так расчувствовался, что еле сдерживал слезы. Закрыв ладонями лицо и так просидел минут пять. Когда мы уходили, к нам протягивали руки.

Перед нагрянувшими испытаниями Великой Отечественной войны многое, связанное с тем недолгим периодом, померкло, хотя стихи, написанные там, живут и я по-прежнему их люблю.

Последнее предвоенное лето. Вспоминаю его, и солнце заливает глаза. Вспоминаю я, вернее, один день и поляну, по которой бродил. Стоял высокий горячий полдень. Медовое пчелиное гудение не умолкало, словно невидимые золотые струны, натянутые в воздухе. Тонкие стебли цветов покачивались от этого гудения, от цепких бархатистых

пчелиных лапок. Сложившиеся строчки не записал. Я не мог их забыть. Их было всего шесть:

Пускай умру, пускай летят года,
пускай я прахом стану навсегда.

Полями девушка пойдет босая.
Я вострепнусь, преодолевая тлен,
горячей пылью ног ее касаясь,
ромашкою пропахших до колен.

Запомнилась и одна осенняя ночь того года.

С Константином Александровичем Фединым мы возвращались с дачи Алексея Толстого. Широким полукругом надвигались огни Москвы. Уже начинало брезжить, и они казались издали тихими, полупритушенными, словно уставшими за долгую осеннюю ночь. Настроение у меня было отличное. У Толстого, где, кроме меня и Федина, были и другие писатели, я прочитал стихотворение «Соловей», и Толстой отозвался о нем более чем лестно. Константин Александрович и в дороге оставался интересным собеседником, и мы доехали, показалось мне, удивительно быстро.

Дружил я в то время больше с поэтами молодыми: Евгением Долматовским, Константином Симоновым, Михаилом Матусовским. И не только потому, что редактировал их первые сборники, видел их часто у себя дома, а потому, что и сам считал себя молодым, хотя мне было уже сорок. Мне приятно думать сейчас, что упомянутые здесь поэты, занимающие сегодня видное место в поэзии, не прошли тогда мимо меня, так же как и молодые поэты более поздней поры: Борис Слуцкий, Евгений Винокуров, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина. Их поэтическому становлению чем-то, возможно, помог и я.

Однако какое-то звено в моих отношениях с молодыми поэтами все же выпало. Я ничего не знал, к сожалению, о Павле Когане, Михаиле Кульчицком, Николае Майорове. А если бы в сороковом или в начале сорок первого заглянуть в их тетрадки, записные книжки, прислушаться к стихам, какие они читали друг другу, а иногда и на студенческих литературных вечерах, я услышал бы в них, может быть, явственнее, чем в чьих-нибудь других стихах, гул того времени, ту смутную, но уже вливающуюся в наши сердца предвоенную тревогу. Война застала их в аудиториях Литературного института, совсем юными увела на поля сражений и не вернула домой.

С Константином Симоновым встретился я впервые в конце 1936 года в редакции журнала «Октябрь». У двери редакторского кабинета ко мне подошел молодой человек, видимо, дожидавшийся приема. Назвав себя, он спросил (я только что тогда начал работать в издательстве «Советский писатель»): «Товарищ Щипачев, в издательстве лежит...» Я не дал ему договорить. Поэму его «Павел Черный» я уже прочитал, и она была принята к печати.

Вскоре встретились снова, уже в издательстве. О стихах он судил строго, независимо, с задором молодости, и этим понравился мне. Как-то незаметно я привлек его к работе в отделе поэзии. Работа была нелегкая, как во всяком издательстве, да и время было нелегкое, но мы скоро доверились друг другу и подружились. Раз или два я бывал у него дома. Жил он с женой и ребенком на задворках какой-то большой улицы в старом деревянном доме. Скрипели половицы, единственное окно выходило в запущенный двор. Запомнился письменный стол, придвинутый вплотную к подоконнику. Был он, возможно, старый, расшатанный, но это был стол Симонова — с набросками стихотворений, с трубками (их было с десяток), с фотографией генерала Лукача (Мате Залки), памяти которого он тогда посвятил стихотворение: «Он жив. Он сейчас под Уэской. Солдаты усталые спят. Над ним арагонские лавры тяжелой листвой шелестят».

С января 1941 года мои стихи часто стали появляться на страницах «Правды». Читатели мои, вероятно, заметили их, но едва ли кому известна была предыстория этого. А предыстория такова. 23 ноября 1940 года в «Правде» появилась статья С. Тре-

губа, в которой он обрушился на мое стихотворение «О снежинке» («Начало пятого, но мне не спится»).

Статья была высокомерной, но отнесся я к ней не то чтобы безразлично, но как-то спокойно: никуда не звонил, не писал. По-другому к ней отнеслись многие мои читатели. Слушатели Высшей партийной школы написали горячее письмо и послали в редакцию на имя Емельяна Ярославского. Об этом письме я узнал случайно и только спустя двадцать пять лет. А тогда... Тогда пригласили меня в редакцию. Главный редактор Петр Николаевич Поспелов приветливо встретил меня в своем кабинете и после короткого, ничего не значащего нашего разговора спросил меня, не хотел ли бы я куда-нибудь поехать от газеты и написать стихи. В «Правде» я ни разу еще не печатался и предложение это принял охотно. Выбрал город нефти — Баку. Вручая документы и билет на поезд, мне сказали, что в Баку встретит меня один товарищ и поможет устроиться в гостинице. Поезд туда приходил ночью. Все так и получилось. Встретил меня веселый и хлопотливый корреспондент «Правды». Едва я сошел с поезда, как очутился в каком-то сказочном мире. Город был погружен в темноту. Блуждали то синие, то фиолетовые пятна света, еле заметные, полуприглушенные фары машин. Это было первое затемнение, увиденное мною. Я знал — оно учебное, но знал я и то, что в Европе идет война. Не знал только, что до неучебных затемнений у нас не оставалось и шести месяцев.

Прошли десятилетия. В дымке, застилающей уже немолодые мои глаза, видятся мне те далекие годы, о которых мне давно хотелось повспоминать.

Март — август, 1971.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ВЛАДИМИР КАНТОРОВИЧ

★

ЗАВОД И ЛЮДИ

В начале 60-х годов советские социологи повторили на московском заводе имени Куйбышева проводившуюся в то время во Франции (А. Андрё и Ж. Линьон) анкету об отношении рабочих к труду, к своему предприятию. Эти параллельные обследования помогли заглянуть в сферу социальной психологии рабочих, присущей разным социальным системам, установить меру различий.

Оказалось, что «не любят свою работу» 60 процентов опрошенных французских и 9 процентов советских рабочих. Отвечая на вопрос: «Что вам больше всего не нравится на предприятии?» — большинство французов указало на испытываемое ими на работе чувство зависимости и подчиненности, то есть подчеркнуло социальный по природе фактор. Фактор, определяющий, в конечном счете, отношение к труду. Советские же рабочие в ответах на этот вопрос анкеты указывали в первую очередь на штурмовщину и другие недостатки в организации производства.

Не менее интересен и другой вопрос анкеты: «Думаете ли вы о своей работе во время досуга?» Оказывается, 60 процентов рабочих капиталистических предприятий, отработав смену, оставляют за порогом проходной всякие помыслы о предприятии, о работе, а еще 20 процентов если и вспоминают о заводе, то только в тех случаях, «когда встретились трудности» — скажем, возник конфликт с мастером, создалась опасность увольнения и т. п. Иная картина у нас. 74 процента советских рабочих, даже отдыхая, общаясь с членами семьи, не оставляют мыслей о заводе, его коллективе, и только у 10 процентов эти мысли возникают лишь тогда, когда они сталкиваются с «трудностями».

Социологи допытываются далее: «Если думаете о своей работе, то с каким чувством?» Не удивительно, это та часть французских рабочих, которая вспоминает о работе лишь тогда, когда конфликтует, испытывает «беспокойство, заботу, горечь, плохие чувства». Но характерно, что 60 процентов, например, куйбышевцев называют свои мысли о работе, которым предаются и на досуге, свой интерес к жизни завода «хорошим чувством».

Нехитрая социологическая анкета еще раз засвидетельствовала, как обеднен в капиталистическом обществе внутренний мир рабочего. Труд не становится, не может стать у него «первой жизненной потребностью». Французскому пролетариату завод, на котором он трудится, чужд, враждебен, и это накладывает неизгладимую печать на весь строй мыслей и чувств.

Советские рабочие связаны со своими фабриками и заводами тысячами прочных нитей, а в этом проявляются существенные особенности социалистической системы. Связи эти не только экономического характера, они не сводятся к одному лишь заработку, хотя экономическая реформа и заработок ставит в зависимость от общих успехов предприятия. Нет, эти связи шире и многообразнее. Тут и личная школа совершенствования профессиональных и общественных знаний, навыков, которую рабочий проходит на заводе (нередко эти знания накапливаются и передаются в одном роду из поколения в поколение — так и возникают знаменитые рабочие «династии»); и продвижение по ступеням общественной лестницы, участие в управлении производством на разных уровнях; и постыдное бытовое общение, ибо не только дворцы культуры, клубы, столовые, библио-

теки, но и жилые кварталы, дома отдыха, детские учреждения созданы и управляются заводом; и постепенно складывающееся общественное мнение, силу которого испытывает, в конечном счете, каждый работник; и, наконец, история завода, трудные и славные страницы его жизни, которые со временем выкристаллизовываются в определенные традиции, налагающие отпечаток на облик нынешнего заводского коллектива.

Приведенные выше выкладки социологов заставляют задуматься и о делах литературных. Не только потому, что подобные работы могут быть по-своему полезны писателям и критикам. Но и потому, что за добытыми здесь цифрами таятся человековедческие проблемы. Острая общественная потребность существует ныне в художественном исследовании тех социально-нравственных и психологических процессов, которые вызваны изменением структуры производства в век научно-технической революции.

Однако потенциальные (социально-психологические) ресурсы нашей системы, которые подчеркивают итоги франко-советской анкеты, введены в действие далеко не все. В частности, этому препятствуют помехи на производстве, организованном не всегда по последнему слову науки управления. Литературные истории заводов, о которых далее пойдет речь, не должны становиться реляциями об одних победах; они должны содержать анализ уроков истории.

Одно из памятных начинаний в этой области — создание истории фабрик и заводов — целиком связано с именем М. Горького. Слова родоначальника советской литературы: «Рабочий народ должен знать все, что он делает, — он должен знать свою историю», упали на благодатную почву. В 30-х годах чуть ли не на всех крупных и средних заводах страны начали работать общественные комиссии, в которые входили историки, литераторы и, конечно, прежде всего ветераны завода.

«Десятки старых большевиков, сотни старых производственников, — читаем мы в «Истории Ижорского завода», изданной С. Завьяловым в 1934 году (эта книга считается первенцем серии «История фабрик и заводов»), — принимали участие в работе по созданию истории своего завода. С самого начала эта работа приобрела характер массового движения. Устраивались вечера вос-

поминаний; написанные главы печатались в заводской газете, обсуждались в цехах, коллективно редактировались».

Из исторических архивов извлекались забытые документы. Главная редакция «Истории фабрик и заводов», возглавляемая Горьким, установила связь с сотнями таких комиссий, работала над текстами 30—40 «историй заводов». Она выпускала свой бюллетень (сборники), на страницах которого спорили друг с другом историки и литераторы, поразному подходившие к большой задаче; там же обсуждались жанровые проблемы, воспроизводились образцы.

О том, какой трудоемкой, неожиданной по своему характеру, но увлекательной работой обернулось для многих писателей участие в горьковском начинании, свидетельствуют записи в дневнике известной очеркистки (ныне покойной) Марии Шкапской:

«С 10 часов мы в Облархиве, с 4-х до ночи в Публичке; на другой день с утра — архив ЛОЦИА, совещание на заводе, на третий утром Музей Революции, в 5 часов лекции по рабочему движению и к вечеру едешь опрашивать стариков, а самую ночь готовишься к выступлению в цехе или перечитываешь Ленина...

...Мы явились все гуськом, один за другим (авторов истории Ленинградского завода имени К. Маркса вызвали для отчета в заводские организации. — В. К.), каждый нес с собой один или два чемодана. Встречные взволнованно спрашивали, что выдают: картошку? Мы отвечали гордо, нет, это не картошка, это человеческие воспоминания, это история. И мы могли бы добавить: ее не выдают, а завоевывают!»

Эти строчки я цитирую по диссертации К. Накоряковой; автору диссертации принадлежит верное замечание, что М. Шкапская в своей книге «Лесонеровцы» (история завода «Старый Леснер») умела выбрать из пестрого многообразия фактов такие детали, которые из подробностей исторических превращались в художественные образы. Приведу один лишь пример: «В чем заключалась ваша партийная работа, товарищ Токарева?» — спрашивали пожилого работнику. И вот ответ: «В моей жизни, товарищи историки!»

В то же примерно время другой писатель, Александр Бек, работал в Сибири и на Урале над историей Кузнецкстроя. Создатель и штатный «беседчик Кабинета мемуаров» — так именовалась его должность, — он

взвалил на себя титаническую работу, смысл которой на первых порах сводился к терпеливому сбору крупниц-подробностей, характеризующих эпоху, позволяющих проникнуть во внутренний мир героев, действующих в жизни.

А еще раньше, даже до того, как возникла Главная редакция «Истории фабрик и заводов», на стройке Сталинградского тракторного завода, предприятия, впервые вводившего у нас столь современную технику и поточное производство, работала бригада молодых литераторов — Яков Ильин, Борис Галин и другие. Они исследовали «сегодняшний день», который, едва отзвучав, отгремев, становился историей. Шли они примерно тем же путем, что М. Шкапская и А. Бек: пристально глядя ваясь в документальную фактуру жизни, воссоздавали биографии рабочих, инженеров. Так родились «Люди СТЗ» — книга, про которую Горький сказал, что она одно из наиболее интересных и оригинальных явлений в литературе за пятнадцать лет, что в ней заключено много простой, хорошей правды — правды смелых, сильных людей, большевистской правды.

Горький писал, что, прочитав эту книгу, он видит, как учится работать на сложном станке молодой рабочий Теркул-хан; как плачет от радости, что завод начал работать, красный партизан Галушкин; как Хлопунова, обучая девиц, воспитывает у них бережливость к станкам; видит и трагикомические картины бытового коммунизма, который молодежь пыталась осуществить в «музыкально чутких домах». Эту книгу Горький противопоставлял распространившемуся стереотипу очерка, в котором ударники изображались сказочными «чудобогатырями», у авторов проскальзывали «нотки народнического восхищения». Не было в этих очерках спокойного делового рассказа о том, что сделано для успеха.

«Люди СТЗ» — один из первых опытов художественного исследования рабочего класса, который в эти годы рос стремительно в количественном отношении, «дереваривая» и перевоспитывая выходцев из иных классов и социальных слоев. На множестве площадок, подобных Сталинградской, строили заводы, и эти заводы «перевоспитывали» людей. При этом книга правдиво передает и драму строителей: люди вложили колоссальный труд в свой завод, но долго не могли заставить его нормально работать. Успех пришел не раньше чем не-

давние крестьяне, составившие большую часть нового пополнения, перевоспитались в рабочих, да и старые рабочие освоили новую технику и новые методы труда.

Перевоспитание это, конечно, не сводилось к простому повышению грамотности недавних крестьянских парней, к обучению их новым профессиям. Да, станки были умнее нас, не мы владели ими (поначалу), а они нами, — говорит наладчик станков Фридман. Да, мы ломали станки, — вторит ему Макарьянц. Техника атаке не поддается, рывком конвейер не наладить, бесшабашным натиском завод не пустишь, — пришел к выводу Василий Иванов, директор Тракторного. У вас не темпы, а суетня! — сказал сталинградцам Серго Орджоникидзе.

Все это были простые истины, но дались они нелегко. Их удалось усвоить только потому, что инженеры и рабочие ощущали себя создателями этого индустриального чуда, притом не только «передовые» и наиболее «сознательные», а в той или иной мере все строители. По страницам «Людей СТЗ» разбросаны свидетельства такого рода.

«Самое лучшее производственное время на Тракторном у меня было тогда во время монтажа. Все стремление было для производства, как бы установить монтаж, пустить завод... Это самое лучшее утешение в работе было... Я никакой усталости не знал. Сутками не уходил с завода. Прикурнешь на столе — смотришь, бегут уже за тобой... Хотелось пустить новые цеха, новое оборудование, посмотреть, как пойдет работа» (слова такелажника С. Красавина).

Несколько авторов сборника записали слова С. Орджоникидзе, побывавшего ночью на большом конвейере и наблюдавшего рабочих, которые прямо-таки горящими глазами смотрели на трактор, сходящий с конвейера. Это можно только сравнивать с тем, как отец смотрит на рождение первенца: и радуется и боится! — заметил Орджоникидзе...

Очень интересны свидетельства нескольких американских специалистов, работавших на СТЗ. Мастер Ролло Уорд, с которым подружились его ученики, молодые рабочие, пишет в том же сборнике:

«Хвастаться не приходится, но я много сверхурочных часов отдал на обучение своего молодняка, чего бы я никогда не сделал в капиталистической стране, где хозяин работнику волк и последний лишь

о том и мечтает, чтобы, заслышав гудок, мчаться к раздевалке».

Луи Гросс, высококвалифицированный инструментальщик, еще до Сталинграда работал несколько лет на АМО, обучил там четырех учеников работе на точных приспособлениях, помог реконструкции инструментального дела на заводе; он так вспоминает об этом времени:

«На моих глазах накапливал силы АМО, и это ведь мы все тащили в гору. Чего мне еще надо? — Ты хочешь творить? — Твори!.. Когда вокруг тебя люди, которые думают не только о том, как сытно покушать, а кое о чем пошире, то легче жить и работать».

Беречь и укреплять надо этот пафос созидания, это чувство локтя, хозяйское отношение к труду, к своему заводу. Не растрачивать эти «большие козыри» нашей социальной системы из-за дурно организованного производства. Вот чему учили книги, подобные «Людем СТЗ», вот какие уроки они помогали извлекать из недавней истории!

На первый взгляд коэффициент полезного действия работы над историями заводов был в 30-е годы невысоким. Формально (по справке Исторической энциклопедии) Главная редакция в годы своей работы (1931—1938) выпустила 30 книг, за это же время издано разными издательствами еще 250 работ — сборников, документов, воспоминаний, научных и научно-популярных книг, брошюр, очерков, литературных записей рассказов бывалых людей. Не так много. Что же касается книг, оставивших заметный след в истории литературного процесса, то даже память литературоведов хранит не более 15—20 названий, если иметь в виду и работы нелитературные, чисто исторические (такие, например, как «История Путиловского завода» М. Мительмана, Б. Глебова, А. Ульянского или ранее вышедшая книга С. Окуня «Путиловец в трех революциях»).

Но недооценивать, забыть опыт, приобретенный во время работы над историями заводов, нам никак нельзя. Это был исключительно полезный общественный и литературный эксперимент, поддержанный опытом дружек изданий, в частности горьковским журналом художественного очерка «Наши достижения», о котором Иван Катаев с восторгом отзывался: «Журнал учит, как работать, вживаться в материал. Надо дотошно исследовать жизнь, иначе настоящий очерк не напишешь».

Эти слова целиком можно адресовать «Истории фабрик и заводов». Она активно «учила работать художников». Писатели подолгу жили на заводах и стройках, среди живых героев, они окунались в кипучую и многим до той поры незнакомую жизнь, накапливали впечатления — это не могло так или иначе не отразиться затем в их творчестве. Лидия Сейфуллина так и писала о своей жизни на заводе: это было как целебное впрыскивание мышьяка при малокровии. Горький, организовав все эти массовые выезды писателей на заводы, видимо, и не рассчитывал на немедленную отдачу. Важно было заинтересовать литераторов жгучими темами современности.

В то время Всеволод Иванов говорил: нам нужна литература беспощадной наблюдательности.

Он утверждал право и долг писать историю современности, вторгаться в жизнь. И в то же время в приведенных словах выражена некоторая растерянность, опасение, что литераторам, даже тем, кто, как сам Всеволод Иванов, пришел в литературу вместе с революцией, недостает знания новых, все время меняющихся форм жизни. Как они отражаются в сфере сознания, в социальной психологии? Этот термин вошел в обиход лишь спустя три десятилетия, но писатели-реалисты во все времена стремились проникнуть в мир чувств, раскрыть мотивы поведения, поступков не какого-то отвлеченного, «среднего» представителя класса, а конкретных людей, в конечном счете личностей (личность — явление социальное), принадлежащих к разным слоям, прослойкам, группам.

Б. Поршнев в своем исследовании, посвященном социальной психологии, «Социальная психология и история» («Наука», 1966), собрал многочисленные высказывания Ленина по этому вопросу. Он показал, что Владимир Ильич настойчиво допытывался у своих соратников, как именно откликаются на то или иное явление, на ту или иную выдвинутую действительность проблему разные слои рабочего класса, трудящихся, какие именно взгляды ими высказываются, чем эти различия вызваны. Методом ленинского анализа следует пользоваться не только социологам, но и писателям.

«Беспощадная наблюдательность» проявилась с особой силой в технике «бесед» со своими героями, отработанной А. Беком в

те годы. Вспоминаешь «Доменчиков», опиравшихся на подобные стенограммы, или появившийся на страницах «Нового мира» (1969, № 7) яркий, полный удивительных «подробностей» портрет С. С. Дыбеца, рабочего, бывшего члена Ай-Даблю-Даблю, комиссара времен гражданской войны, руководителя тракторной промышленности, соратника Ленина. Отличный этот литературный портрет автор выдал за уцелевшую часть стенограммы-беседы. Это не совсем точно. Надо думать, портрет Дыбеца вряд ли получился бы столь достоверным и выразительным, если бы А. Беку не удалось «разговорить» героя, извлечь из его памяти множество живых и неповторимых подробностей.

В беседах с «героем, действующим в жизни», А. Бек, по его словам, опирается не только на собственную наблюдательность, но и на зоркость собеседника. Дело писателя — талантливо слушать.

«Я делаю обычно так: пусть человек сначала расскажет в хронологическом порядке все, что он знает, здесь я сравнительно мало перебиваю его вопросами, а возникающие у меня вопросы записываю для памяти, чтобы поставить их потом. Следующий этап — более подробное выяснение разных интересных эпизодов. Следующий — ты просишь обстоятельно рассказать об интересующих тебя лицах, спрашивая разные подробности. случаи, черты характера, штришки, причем непременно добивайся конкретизации. Например: «он скупой», ты спрашиваешь: в чем это выразилось, какие случаи привели к этому заключению («В книге обязательно должна быть отлично подобранная галерея вторых ролей»)? И, наконец, следующий этап — твои вопросы касаются разных проблем: вопрос быта, организации труда, организации общественной жизни... И обязательно опять эпизоды, штришки, детали, - детали и детали. Таким образом, ты переворачиваешь, перелопачиваешь весь материал несколько раз и получаешь все, что человек может дать».

Писатель Сергей Третьяков в книге «Дэн Ши-хуа» так объяснил свой метод «биоинтервью»: «Он (прототип.— В. К.) благородно предоставил мне великолепные недра своей памяти. Я рылся в ней, как шахтер, задирая, взрывая, скальвая, отсеивая и отмучивая. Я был попеременно следовательно, духовником, анкетщиком, интервьюером, собеседником, психоаналитиком».

Уже в 60-х годах я убедился и на собственном опыте, что такие методы в иных ситуациях просто незаменимы. Дорожа правом автора выражать собственное отношение к событиям и героям, я ни разу до описываемого случая не брался за «литературную запись» чьих-нибудь воспоминаний, рассказов бывалых людей. Отступил от этого правила ради одного узника Дахау, человека трагической судьбы. Его рассказы никак не удавалось опубликовать, хотя они представляли большой интерес. Начались наши встречи, долгие, тяжкие беседы. После каждой из них мы оба надолго теряли душевный покой. Мой герой совершил три побега из лагеря для военнопленных и жестоко расплачивался за каждую попытку; угодил в Дахау, участвовал в борьбе его интернационального подполья. Когда американские войска вступили в Баварию, его вместе с тысячами других заключенных эсэсовцы увели на этап, прозванный «походом смерти»; завершился этот этап кровопролитным бунтом безоружных людей. Моя задача осложнилась тем, что уже существовал вариант воспоминаний, отработанный в редакциях газет и в устных выступлениях. Вариант, начиненный заезженными штампами и дурными беллетристическими выдумками. Самое удивительное: рассказчик, человек огромного мужества и стойкости, понемногу сжился с навязанной ему «легендой». Пришлось брать на себя чуть ли не следовательскую роль, опровергать версии, изображавшие дахауское подполье чуть ли не хозяйном в лагере, «скальвать» нарощую на факты шелуху литературщины, а главное, «раскапывать в недрах памяти» так много пережившего человека факты, неповторимые в их первозданном драматизме.

Не в 30-е годы, а много позже, когда война осталась позади, кинодокументалисты увлеклись поисками «момента истинны». В их работах легко проследить влияние ранних советских мастеров — Дзиги Вертова и Александра Родченко, но нет сомнения в том, что и «беседчики» из «Кабинета мемуаров» шли параллельными путями к той же цели.

В одном из кадров документального фильма ленинградских режиссеров А. Стефановича и Л. Гвасалия появилась девушка-работница с лицом, отражающим как в зеркале все ее душевные переживания. Только что она ответила на вопрос о ее профессии.

Вдруг интуиция подсказала кинорепортеру внезапный вопрос (кажется, никому из опрашиваемых в фильме его не задавали): «Любовь — что вы думаете об этом чувстве?» Лицо на экране ожило. Глаза сияли и туманились, собирались и распускались мельчайшие морщинки на лбу, губы несколько раз складывались для ответа — вот-вот будут произнесены слова, конечно необычные, идущие от самого сердца. И снова накачивала волна смущения. Кадры остались немыми, но мы, зрители, заглянули все-таки в сердце чудесной девушки, открытое для глубокой, требовательной любви. Безусловно, талантливая актриса тоже сыграла бы этот этюд убедительно, но — иначе. Зрительный зал долго аплодировал: запечатлен «момент истины»!

Но у многих кинодокументалистов, снимающих скрытой камерой, есть одна весьма серьезная слабость. Отснятый ими материал, иногда очень любопытный, не складывается в художественный образ-обобщение, он напоминает необработанную стенограмму. Этим недостатком страдали, и некоторые книги, появившиеся в 30-е годы, зачастую они представляли собой всего лишь стилистически отработанные беседы с бывальыми людьми, их автобиографии. Такая практика породила в 30-х годах едкую шутку: «В литературу вошла... стенографистка!»

По многим причинам очерк занял огромное место в печатной продукции 20-х и 30-х годов. Но часто приходилось слышать, что только строго понимаемая документальность, точный адрес и установка на автобиографию позволяют воссоздать правдивый образ современности; вымыслу во всех его проявлениях, как и «обобщенным» персонажам, предлагалось преградить путь в очерковую литературу. Уже поэтому столь важным делом стала борьба за восстановление традиций русского классического очерка, который, при всем его своеобразии, был полноценным, равноправным жанром искусства. Немалая заслуга в этом восстановлении подлинного художественного очерка принадлежит литераторам, работавшим над историей заводов.

Организаторы истории заводов тоже поначалу ориентировали только на адресный очерк, вообще на автобиографии, декларировали, что всякое обобщение, к которому прибегали, как известно, классики русской литературы, теряет будто бы в доказательности, когда обращено к принципиально новым явлениям жизни.

Но создавая свои произведения, сами литераторы, работавшие над историей, отвергли надуманные теоретические ограничения, проявляя себя художниками. По поводу «Людей СТЗ» было в то время справедливо замечено, что это интервенция художников на территорию, незаконно монополизированную «документалистами». Сам Горький в середине 30-х годов нацелил авторов «Наших достижений» на художественный очерк. В 1930 году он написал редактору «Литучебы» А. Камегулову: «Очерк — весьма широкая, емкая и неопределенная форма. У Тургенева, Сенкевича — «Эскизы углем», у Мопассана — «На воде», нередко у Гл. Успенского, часто у Пришвина очерк приближается к рассказу, а часто и неотделим от рассказа». Сегодня у литераторов и писателей все это уже не вызывает сомнений. С. Залыгин говорил на международном симпозиуме писателей в Финляндии: без домысла нет искусства, это авторское отношение к факту, объяснение его, нравственная и социальная оценка факта. Искусство без приложения личности художника к факту — не искусство.

Много трудностей приходилось преодолевать очеркистам начала 30-х годов, следовательно, и авторам истории заводов. Перелистаем еще несколько страниц нашего не столь давнего литературного прошлого.

Едва работа по истории заводов вышла из стадии первоначального накопления материалов, как между литераторами и учеными-историками стали возникать разногласия. Это были споры о том, какого рода книги должны быть созданы: только историко-документальные очерки или также произведения художественной литературы?

Тех же «Лесснеровцев» М. Шкапской ленинградская редакция долгое время отвергала за писательский подход.

К. Федин защищал писательскую точку зрения: «Мария Шкапская дала превосходную литературную обработку материалов по истории завода «Старый Лесснер», деформировав документальное сырье в художественное повествование, разрушив унылое предубеждение о легкомысленной сочинительской природе беллетристики и посрамив писателей, разумеющих свое участие в издании как «правщиков» и «гладильщиков» не всегда совершенного «ученого» стиля историков». В этом конкретном случае писатели, за которыми стоял сам

Горький, победили. «Пробные» главы «Леснеровцев» были одобрены.

Спор шел о скрупулезной проверке фактов, на которой настаивали историки, хотя порой дело и здесь доходило до курьезов: один из историков утверждал, что автор обязан позаботиться о справке из обсерватории, раз он изображает встречу подольщиков при свете луны: а была ли та памятная ночь лунной? Историки не хотели мириться с тем, что М. Шкапская разрешила себе догадываться о мыслях и переживаниях Алеши Лаврова на допросах в Петропавловской крепости? Ведь Лавров — лицо историческое и протоколы «приобщены к делу». Или зачем введен в повествование вымышленный персонаж, молодой рабочий со «Старого Леснера», с чертами нескольких прототипов?

Историки ждали от писательницы, что она будет просто излагать документальный материал в последовательности происшедших событий. М. Шкапская не соглашалась на это. Она искала внутреннюю связь фактов, их художественную логику, углублялась в социальную психологию. И не она одна...

К. Паустовский пришел в «Историю заводов» уже автором двух романов, да еще с опытом «Кара-Бугаза», превосходного очерка. Но и он рассказывает в «Золотой розе», что поначалу запутался в собранном им огромном архивном материале о Петровском заводе. Он пытался как-то организовать этот материал, дать ему естественное течение, но ничего не получалось.

«Материал расплодился. Интересные куски провисали, не поддержанные соседними интересными кусками. Они одиноко торчали, не связанные с тем единственным, что могло бы вдохнуть жизнь в эти архивные факты — с живописной подробностью, воздухом времени, близкой мне человеческой судьбой».

На помощь пришел случай: на старом кладбище писатель увидел надгробную надпись по-французски: «Шарль Евгений Лонсевиль, инженер артиллерии Великой армии императора Наполеона. Родился в 1778 году в Перпиньяне, скончался летом 1816 года в Петрозаводске, вдали от родины. Да снизойдет мир на его истерзанное сердце». «Как только появился Лонсевиль, — пишет К. Паустовский, а вспоминая неподражаемые устные его рассказы, легко представляю себе, что спасительной могла стать

одна мысль о Лонсевиле, — я тотчас засел за книгу — и весь материал по истории завода, что еще недавно так безнадежно рассыпался, вдруг лег в нее. Лег плотно и закономерно вокруг этого артиллериста, участника Французской революции, взятого в плен казаками под Гжатском, сосланного на Петровский завод и умершего там от горячки». И вот он, главный вывод: «Материал был мертв, пока не появился человек».

Дискуссии вокруг жанровых особенностей очерка не затихают и до сих пор. Так, совсем недавно развернулась дискуссия: способен ли очерк изображать портреты живых современников (К. Буковский ответил категорически — нет); должен ли он изображать характеры (Б. Костелянец: очерку это не под силу; В. Богданов: без характера нет очерка); в какой мере очерковый портрет может ограничиваться отбором и воссозданием устоявшихся социальных и профессиональных черт? В начале 30-х годов все эти вопросы только возникали, художники-документалисты делали лишь первые шаги. Но книги, ими созданные, на мой взгляд, уже дали на них ответы. Долговечностью своей «Люди СТЗ» обязаны тому, что Я. Ильин, Б. Галин и их товарищи стремились проникнуть в характеры людей с непременно ярко выраженными, но в то же время типичными индивидуальностями, с интереснейшими биографиями, со своей судьбой. Они выбирали своих героев, как бы прислушиваясь к Уолту Уитмену, которому «жужна была

...душа, прошедшая через все испытания,
ибо
только такая душа несет в себе новые
звуки —
иначе этим звукам не звучать.

Как красочен рассказ об американском рабочем, друге Билла Хейвуда, а позже инструментальщике Сталинградского тракторного! Как резко вылеплен характер Василия Иванова, матроса царского флота, комиссара в гражданскую войну, рабочего-металлиста, а потом директора СТЗ! В Сталинграде на строящемся заводе Иванов твердо ведет дело, рьяно борется с консервативными русскими инженерами и с пожилыми рабочими, воспитанными на «азиатчине» — технологии умельцев, — с крестьянскими парнями, надевшими рабочую робу, но еще не ставшими пролетариями, и с враждебными по своему духу американски-

ми инженерами, у которых надо было. во что бы то ни стало перенять опыт современной индустрии. Сам Иванов заключает свой рассказ оптимистической метафорой: «Когда впервые садишься в седло, то в поту и в мыле будешь раньше коня, научишься — и конь идет хорошо, и в седле сидишь отлично. В седло мы сели крепко, поводья в наших руках». Правда, спустя десятилетия во всеоружии нашего сегодняшнего исторического опыта мы, обращаясь к литературным портретам командиров производства 30-х годов, пожалуй, заметим, что у волонтеристских методов руководства хозяйством, вконец дискредитированных ныне, ох какая длинная родословная! Но невозможно требовать, чтобы авторы, писавшие историю первенца поточного производства, жили бы в кругу нынешних представлений: они были детьми своей эпохи.

Один вывод из опыта «Людей СТЗ» актуален и сегодня: за писателя выбирать прототип, модель для портрета нельзя, ну, хотя бы потому, что в будущей совместной работе автора и его героя столкнутся две индивидуальности и, по выражению В. Катаева, ставшему крылатым, они могут «не показаться» друг другу. И что же тогда? Родится еще один портрет для галереи, которая и без того густо заселена стереотипными образами, похожими на образы (М. Кольцов), ничего не говорящими уму и сердцу. И ведь случалось, что книги подлинно художественные и оригинальные встречались в штыки теми, кто всегда заранее знает, с «кого» и даже «как» писателю надо писать портреты. Так было, например, с «Историей Кузнецкстроя», над которой работал А. Бек. Эта рукопись вызвала жестокие нападки. В сибирской печати появилась статья. Автора обвиняли в том, что он якобы вывел героями Кузнецкстроя людей, «ни в какой степени не являющихся ими, и умолчал о подлинных инициаторах». Редакцию «Кузнецкстроя» распустили. Но вскоре по предложению С. Орджоникидзе газета «За индустриализацию» напечатала отрывки из «Истории Кузнецкстроя» как самостоятельные очерки; в журнале «Знамя» существенная часть этой работы появилась с подзаголовком повесть. Герои бековского «Кузнецкстроя» составили основу его «Доменщиков» и тем самым прочно утвердились в литературе.

Поучительная и, однако же, вовсе не единичная в таком роде история!

Морская команда «поворот — все вправо!» выглядит по меньшей мере неуместной, когда ее адресуют не кораблям, следующим в военном строю, а людям, занятым творческим трудом. Странно читать сегодня у историков литературы и в писательских воспоминаниях сетования на писателей-профессионалов, которые в 30-е годы не спешили примкнуть к работам над историей заводов. Помню, что и немалая часть молодых литераторов, к которым принадлежал и я, отнеслась настороженно к новым декларациям Главной редакции «Истории фабрик и заводов», например к установке на коллективную работу над будущими книгами. К. Паустовский выложил М. Горькому свое убеждение, что артельная работа над книгой просто невысказана; он, по крайней мере, будет писать книгу о Петровском заводе без соавторов. Алексей Максимович, написано об этом в «Золотой розе», «надулся, побарабанил, по своему обыкновению, пальцами по столу, подумал и ответил:

— Вас, молодой человек, будут обвинять в самоуверенности. Но, в общем, — валяйте!»

М. Горький, как известно, был инициатором многочисленных коллективных литературных работ, редактировал сборники, объединенные общей задачей, которую решала группа квалифицированных авторов. Но на примере с К. Паустовским можно убедиться, что он отнюдь не выдавал коллективную литературную работу за некий генеральный путь в искусстве. Не забудем также, что параллельно с разрыванием работ по истории заводов при моральной, а часто и организационной поддержке М. Горького писатели отправлялись на долгий срок на заводы и новостройки, так сказать, в индивидуальном порядке, чтобы трудиться «по старинке». Создавались одно за другим произведения о рабочем классе, и многие из них вошли в сокровищницу советской литературы. «Соть» Л. Леонова вышла в 1930 году, «Гидроцентральный» М. Шагинян — в 1931 году, «Время, вперед!» В. Катаева — в 1932 году, «День второй» И. Эренбурга — в 1934-м, вторая книга «Похищения Европы» К. Федина — в 1935 году.

С другой стороны, нельзя не видеть, что за редкими исключениями коллективные сборники слабо работали на дело. Большой литературы даже тогда, когда в них участвовали крупные прозаики. Что говорить,

привлечь к новой, пусть даже к самой актуальной теме сразу многих профессиональных писателей невозможно. Каждый занят своим романом или повестью, в лучшем случае он отвлечется на время и напишет статью, газетный очерк как своего рода «отклик». Большая работа не может возникнуть у серьезного художника без основательной внутренней подготовки, для которой иногда требуется продолжительное время. Мне приходилось писать, что скороспелые работы десяти «гениев», собранные под одним переплетом, уступили бы — только из-за различий творческих индивидуальностей и стиливой разноголосицы — добротной «монографии», выношенной в душе так называемого «среднего» писателя. Однако призы в духе морской команды, с которой я начал главу, звучат и сегодня. Вот, например, А. Шумский в солидном исследовании «М. Горький и советский очерк» выдает идею коллективных книг за один из главных заветов Горького и ждет от литераторов, чтобы они множили число «сборников», коллективных работ. Напрасно!

Книги по истории заводов продолжали выходить и после ликвидации Главной редакции. В период 1938—1955 годов появилось около 70 изданий, позже (до 1962 года) — еще 200. Правда, авторы нынешних «историй заводов» рассказывают о более близком к нам времени, зато реже, чем в 30-е годы, претендуют на решение художественных задач. Но, так или иначе, за тридцать пять лет образовалась целая библиотека. Работа над историями заводов продолжается, и нам безразлично, какие будут созданы произведения.

Изданные до сих пор книги по истории заводов — разные не только по своим научным и литературным достоинствам, но и по жанрам, и это служит еще одним доказательством несостоятельности и нежизненности былой установки на жанровую унификацию. Можно, впрочем, заметить, что в этой библиотеке произведения тянутся к двум противостоящим друг другу полюсам. На одной стороне — исторические научные и научно-популярные труды, на другой — произведения художественной литературы. Между ними разместились книги, так сказать, гибридные.

О произведениях художественных уже шла речь. Несколько слов о книгах научно-исторических. Они вобрали в себя поистине гигантский материал — документы, факты,

воспоминания, они последовательно описывают ход событий... И в этом смысл и суть такого рода книг.

При первом же знакомстве выделяешь в этой группе изданий строго историческую книгу о Московском автомобильном заводе имени Лихачева, про которую не скажешь, повторяя едкое замечание Вс. Иванова, что авторы стараются задрапировать лохмотьями беллетристики не очень впечатляющие страницы исторического текста. Не оставит читателя равнодушным «Ижорский завод» С. Завьялова. В известном смысле эта книга уникальна, ибо ни до, ни после Завьялова никому не удавалось создать столь умелый монтаж отлично отобранных, необыкновенно выразительных исторических документов.

Итак, книги этой категории преследуют, в первую очередь, научные цели¹, и литературные их достоинства не требуют специального рассмотрения. Здесь решающий критерий оценки — глубина и полнота историзма. Он же диктует критические замечания. Порой история «течет» в этих изданиях чересчур уж гладко. Многие книги доведены до нашего времени, но острые проблемы, над которыми бился предшественники, сглажены или совершенно отброшены. А ведь преодоление трудностей, выбор пути, по которому шли к решению конфликта (не всегда оптимального, не всегда приводившего к победе «малой кровью»), стоило бы рассматривать так, чтобы извлечь уроки истории. Скажем, в «Ульяновском автомобильном» читаем про запуск главного конвейера: «Казалось, не будет конца доделкам и переделкам: только устранят одну неисправность, а на смену ей уже другая, и так чередой, день за днем, неделя за неделей». И тут же весьма успокоительное объяснение главной причины неполадок: «Вот что значило первыми прокладывать путь». Но все дело в том, что это была не единственная и не главная причина. Напомню, что в то время, когда запускали конвейер на УАЗе, в «Экономической газете» появилась статья, которая содержала не лишенный оснований упрек: «Так рисковать, как ульяновцы, все же не годится. Государство может заплатить за этот риск слишком дорогой ценой. Нельзя без доста-

¹ Тома, посвященные заводам имени Лихачева и Кировскому, изданы научными издательствами «Мысль» и Соцэкгиз

точной доводки запускать в производство конструкцию, потому что она потом может обойтись втридорога...»

Молодые литераторы, создававшие историю Челябинского завода (я знакомился с ней еще в рукописи) и, как говорится, душу вложившие в эту книгу, пожалуй, напрасно перегрузили свой текст бесчисленными «починами», подхваченными в свое время многотиражкой, но в памяти истории не оставившие заметных зарубок. В книге о судостроительном заводе — Путиловских верфях — не позаботились сверить публикуемые воспоминания участников подполья с историей партии, не учтена последовательная антивоенная позиция ленинцев в 1914—1916 годах.

Подобные критические замечания адресуются, как видим, научному содержанию книг, а не их художественной фактуре. Верно, в эти толстые и тонкие тома историй заводов вкраплены страницы, отличающиеся художественной выразительностью: некоторые документы, отрывки из воспоминаний, кое-какие детали заставляют вспоминать «моменты истины» кинодокументалистов. Но, как уже говорилось, одним только «подробностям» не дано превратить исторический очерк в художественное произведение. Вспомним, что профессиональные историки, скажем Ключевский, Покровский, Тарле, отлично владели литературным стилем и не чурались художественных иллюстраций к своим цельным концепциям.

Пожалуй, писателю едва ли возможно проявить себя в научных изданиях по истории заводов, разве что в роли «правщика». Да и как же писатель «художественно обобщит» гигантский материал, собранный историками? В одной книге «Истории Путиловского завода», доведенной только до 1941 года, свыше семисот страниц!

Что сказать о гибридных произведениях, заполняющих пространство между двумя полюсами?

Особое место занимает литературная запись воспоминаний, представленная, скажем, в книге «Были горы Высокой». М. Горький писал по поводу этой книги, что она не похожа ни на «мозаику воспоминаний», ни на «хрестоматию отрывков», что «субъективизм авторов не приходит в противоречие с объективностью книги». Книга эта, бережно сохранившая уральские речения, имеет значение и фольклорного сборника. Однако бросается в глаза коренное отличие «Былей» от «Людей СТЗ», напи-

санных также от имени тридцати двух работников, в данном случае Сталинградского тракторного; уральская книга не представляет собой цельного, глубокого художественного исследования.

Встречаются сборники очерков одного автора. Например, И. Толмачев, бывший рабочий, рабкор, сотрудник заводской многотиражки, полжизни писал заметки и очерки о своем заводе — и вот они собраны в книгу (Ярославль, 1969).

П. Подляшук отобрал для сборника заметки, принадлежащие перу литераторов нескольких поколений, приезжавших в разное время на Трехгорку. Журналистские очерки дополнены воспоминаниями ветеранов и фактами из заводской хроники, а весь текст обильно иллюстрирован фотодокументами и цветными репродукциями с вырабатываемых на фабрике тканей. Составитель дал книге расплывчатый подзаголовок: «Из биографии одного рабочего коллектива». Сборник сделан на добротном профессиональном уровне, его полезно и, прежде всего, приятно прочесть или перелистать не только работникам Трехгорки. Но мне невольно вспомнилось суждение одного директора крупного завода (он поторапливал авторов «истории»). «Заводу нужна хорошая, красиво изданная книга о героических страницах прославленного коллектива, — говорил он. — Мы будем в торжественной обстановке вручать ее и новичкам, скажем, впервые повысившим свой разряд, и старикам, отдавшим свои силы производству, уходящим на пенсию».

Верно, такие книги нужны именно для той цели, о которой говорит директор, хорошо бы их издавать красиво. Но та ли это история заводов — исследование жизни рабочего коллектива, — которую в свое время задумал М. Горький? Нет, он имел в виду не подарочные, не «парадные» книги!

Пожалуй, теперь можно сформулировать и кое-какие выводы.

Проделанный опыт работы над историями заводов убедил, что содружество ученых (историков, социологов) с литераторами полезно, однако не следует ждать, что это даст литературе «новый жанр». Их совместная работа ограничится первой стадией, то есть сбором фактов из истории заводов, их осмысливанием. Позднее каждый из них займется своим делом, своей книгой, что не исключает полезного обмена мнениями, идеями. Вероятно, не следует исключать

возможность и творческого сотрудничества историка с писателем, но это сочетание еще более редкое, чем союз братьев Гонжуров, Ильфа и Петрова и других.

Роль писателя в истории заводов — романиста ли, очеркиста ли — иная, чем историка. Скорее всего художник и не возьмется за создание «всей» истории завода, последовательно развивающейся по этапам. Его может увлечь одна судьба, один, пусть даже производственный, конфликт — он проследит расстановку сил, меняющуюся социальную психологию различных групп; писателя может вдохновить задувка доменных или любой другой эпизод истории завода; он станет работать над групповым портретом и проследит «генеалогическое древо» рабочей династии; создаст «очерк нравов» или документальную повесть из жизни людей, тесно связанных с заводом, и т. д. и т. п. И если ему будет сопутствовать творческая удача, родится сильное произведение на одну из таких тем — это и будет его писательский вклад в историю заводов, но в то же время и в литературу на «рабочую тему», вообще в художественную литературу. Замечу, что здесь я высказываю не только личное мнение; такова общая точка зрения московских очеркистов, так они ответили на недавнее приглашение принять участие в новом цикле изданий по истории заводов.

Писатель, когда он пишет историю какого-либо завода или подвергает художественному исследованию нынешнюю жизнь фабричного коллектива, должен начать с глубокого изучения материала. И здесь никак нельзя пренебрегать традициями горьковского времени. Некоторые из них надо бы просто возродить. Например, стоит создать вновь «Кабинет мемуаров», с тем, конечно, чтобы в нем работали энтузиасты, умеющие «разговаривать» и «талантливо слушать». Необходимо сохранить или восстановить связи писателей с теми комиссиями по истории заводов, которые работают активно, творчески. Но важнее всего дать писателям практическую возможность подолгу жить в рабочих коллективах. Притом не на правах газетного корреспондента, обязанного к сроку поставлять редакции оперативную информацию. И не становясь к станку, как сделали в 1933 году И. Катаев, Н. Зарудин и В. Гроссман. (Горячее это было время! Приглашенные участвовать в истории Автомобильного завода три писателя стали на время рабочими; впрочем, для «Истории

АМО» они так ничего и не написали — смотри об этом в «Воспоминаниях об Иване Катаеве», 1970.) Нет, писателю незачем выступать на заводе под чужой личиной. У него своя роль — жадного наблюдателя жизни, исследователя-художника. На больших заводах уже стала привычна фигура социолога, вероятно, там появится скоро и психолог — об этом уже ставится вопрос; не менее закономерно и частое «присутствие» писателя.

Писателю, изучающему жизнь заводского коллектива, необходимо знать результаты конкретных исследований социологов. Навивно было бы думать, что структура рабочего класса, проблематика его жизни не менялась за десятилетия Советской власти в условиях развивающегося социального и экономического строя.

Одно из первых в советское время социологических обследований, произведенное С. Струмилиным на Путиловском заводе в 1918 году, обнаружило, что у среднего слесаря образование — два-три класса школы. Несколько лет назад рабочий этого завода обладал семи-восьмилетним образованием. Но образовательный ценз рабочих повышается. За полвека Советской власти вырос удельный вес рабочих профессий, требующих умственного труда. Не редкость встретить теперь на рабочих местах владельцев дипломов. А в какой рабочей семье нет сегодня студентов, учителей, техников, инженеров?..

Нет, я не пытаюсь на основе этих исследований нарисовать портрет современного рабочего. У меня иная задача: указать на выявленные социологами процессы, происходящие сегодня за проходной завода и в рабочих поселках. А главное, на то, какой материал может дать пытливому художнику рабочая тема.

Не раз повторяли, что социология — родственная нам, литераторам, наука. Имели в виду в первую очередь литературу документальную — очерк нравов, портреты современников, художественную публицистику.

Конечно, никакое свойство или родство не позволит науке подменить литературу (искусство), и наоборот! Писатель, случается, выступает в печати со статьей или произведением, которые Горький в деловой переписке именовал «полубеллетристичкой». Но, работая как художник, он не может не вложить в свое произведение самого себя.

Писатель не списчик, не копиист. Вот и Л. Толстой говорил, что стыдился бы печататься, ежели бы весь его труд состоял в том, чтобы списать портрет, разузнать, запомнить. А ведь с какой настойчивостью Толстой вбирал в себя знания об эпохе, все свидетельства о людях, которых он изображал в своих исторических произведениях! Огромная впечатляющая сила заложена в художественном обобщении, которое рождается в синтезе «материала» и личности писателя.

Социология не нацелена на сферу чувственного восприятия читателя, не изображает общество или какой-нибудь уголок жизни (проблему) в пластичных образах. Конкретные исследования должны быть свободны от субъективных наслонений.

Социология возродилась у нас недавно. На первых порах люди не очень сведущие ждали от нее прямо-таки чуда. Но чудо не сотворилось. Теперь с разочарованием говорят, что социологи склонны к триумфам, открывают лишь то, что и без них прекрасно известно. Но и этого рода высказывания — плод невежества; меня радует, что такого не услышишь от литераторов. У молодой социологии есть свои бесспорные заслуги. Например, за короткий срок, не имея обученных кадров, отрабатывая на ходу методологию, социологи дали научный анализ таких аспектов проблемы рабочего класса, как меняющаяся его структура, как причины текучести рабочей силы и процессы миграции, стоящие за ними типы использования досуга и другое. Нет сомнения, что социологам не только удалось поставить эти вопросы, привлечь к ним внимание, но и существенно повлиять на общественное мнение.

Литераторы, в частности те, которых можно назвать «социальными писателями», прислушиваются к сигналам этой науки. Может быть, главная заслуга ученых в том, что они добились известной социологизации мышления, так называемых думающих читателей, к которым принадлежим и мы, литераторы. Дискредитированы теперь всяческие голые схемы, трафареты, которые проникали и на страницы художественных произведений. Социология приучила нас к подробному анализу, к выявлению многочисленных взаимосвязанных факторов: анализ должен предшествовать любому, в том числе художественному, обобщению (типизация — одна из его форм).

Как бы писатель ни был богат жизненным

опытом, интуицией, творческой фантазией, талантом, он нуждается и в постоянном притоке свежих наблюдений, впечатлений, и в знании того, что накоплено по интересующим его вопросам современными социальными науками. Приведу для иллюстрации наблюдения профессора Л. Бляхмана — разве они не направят внимание писателя на исследование психологических последствий отмеченных им явлений?

«В этом мире, — пишет Л. Бляхман, — мы обнаруживаем значительные перемены. Многовариантность — так, пожалуй, можно назвать одну из самых существенных его современных черт... Все большее число технологических процессов, которые позволяют по-разному производить одно и то же изделие. Все большее число разнообразных операций, видов оборудования, с которыми приходится иметь дело рабочему... Многовариантность... расширяет возможности выбора. Увеличивает разнообразие решений. Выбор варианта действий — категория экономическая. И одновременно моральная. Потому что речь идет о решении, которое принимает рабочий как личность... Самый детальный приказ, самая хитроумная премиальная система в принципе не могут предусмотреть все варианты и потому всегда оставляют тысячи лазеек для обходных маневров... Чем сложнее производство, тем меньше приходится полагаться на приказ и тем больше — на совесть работника. Его сознательность, добросовестность, инициативность...»

Тут сказываются особенности социалистической системы, в частности тесные связи работников с предприятием, которые выявила упоминаемая мною франко-советская анкета, высокая социальная мобильность нашего общества, тяга к знаниям, которую способна удовлетворить наша сеть вечернего образования, и другие факторы. Но, может быть, главное — это происшедшее стирание различий в общественном статусе инженера и высококвалифицированного, а теперь еще и образованного рабочего-интеллекта. Последние проявления кастового духа, свойственного когда-то русскому инженерству — редкой по тому времени профессии, — выветриваются сегодня. На передовых в технологическом отношении предприятиях растет прослойка рабочей интеллигенции, обладающей средним или средне-техническим образованием, широким кругом интересов, всяческими хобби — и не только в области технического изобретательства.

И вот каков «круг мыслей сегодняшнего рабочего-интеллекта. Привожу выдержки из записок слесаря-сборщика А. Солипатрова (прав, это своего рода «момент истины» из тех, которые так ценят документалисты):

«Рабочий приходит на завод не только для того, чтобы «вкальвать» и получать, а и для того, чтобы почувствовать значимость... своих способностей. Такими людьми руководить трудно, нужно быть терпеливым, внимательным, сдержанным, знающим...»

«...Вовсе нет такого закона: чем меньше ОТК, тем больше брака. В большинстве случаев рабочий сам знает, делает он брак или нет. Как воспитать ответственность? Для этого мало сказать: вы хозяева. Хозяин тот, с чьим мнением считаются, кто участвует не только в выполнении дела, но и в управлении им... Важно не просто добиться выполнения указаний, а предоставить возможность каждому щедро отдать людям всё, что он сам жаждет отдать. Тяжело делать не ту работу, которая тяжела, а ту, которую неохота делать, которую делаешь только по приказу, а не по совместному решению».

«Сдельщина порой покрывает низкую культуру производства... порождает небрежное отношение к работе, сдерживает инициативу и распространение передового опыта».

«Есть в коллективе люди, которые плавают в штурмовщине, как рыба в воде. Аврал выгоден халтурщикам, которые могут рвануть в конце месяца, когда хватай любую бракованную деталь и тащи на сборку. Когда... можно нагнать высокий заработок. Аврал выгоден рабочим со старой психологией, которые всегда имеют под замком запас дефицитных деталей, инструмента, приспособлений... Как воздух нужна штурмовщина тем мастерам и начальникам, которые не держали в руках учебников или давно забыли их».

Замечу, что «Литературная газета» назвала эти заметки А. Солипатрова «государственными мыслями рабочего человека».

Пожалуй, стоит сказать несколько слов об их авторе. Ему за сорок, за плечами у него больше двадцати лет заводского стажа. Присвоенный ему высший разряд неадекватен фактической квалификации. Она много выше. Но образование — семь классов. Он беспартийный, никаких особых наград, как и всысканий, не получал.

Писатель, конечно, не пройдет мимо такой личности, мимо высококвалифицированного рабочего-интеллекта, мыслящего самостоятельно и широко. А. Солипатров принадлежит к тому отряду современного рабочего класса, который становится и все более влиятельным, устойчивым, и растет численно, — он будет пополняться молодыми людьми с хорошим образованием, развитым мышлением.

При этом я отнюдь не призываю писателей обходить вниманием все иные многочисленные слои, прослойки, группы, из которых складывается советский рабочий класс. Мне кажутся справедливыми слова Д. Гранина, произнесенные на одной из дискуссий о литературе на рабочую тему: рабочий класс — это как вселенная! Тем самым Гранин перечеркнул неоправданные попытки складывать образ рабочего класса всего из двух, трех, пяти изображенных в литературе социальных типов-характеров, каждый из которых претендует на то, что за ним стоят миллионы прототипов (в этом-то и причина общепризнанной бедности литературы о рабочем классе).

Будут ли новые произведения писателей организационно связаны с «Историями заводов» или нет, но они непременно потребуют пристального внимания к происходящим в жизни процессам, например к кристаллизации рабочей интеллигенции. Только при этом условии читателей ждут подлинные художественные открытия.



ЛИДИЯ НЕЧАЕВА

★

ПО ГОРЬКОВСКОМУ ЗАМЫСЛУ

Рассказ Владимира Канторовича — это повествование о блестящем горьковском замысле, о романтическом начале его реализации, об эпохе «бури и натиска» в истории фабрик и заводов, о созвездии писательских имен, украсивших собою эту эпоху.

Увы, современное состояние «истории» далеко от тех картин. Нет, нельзя сказать, что начинание заглохло, что подобных историй больше не пишут, что заводских летописей стало меньше. Напротив, больше! Как заметила несколько лет назад в «Литературной газете» писательница Е. Серебровская, «иметь свою историю предприятия стало хорошим тоном. Хотя какую-нибудь, лишь бы иметь... За послевоенные годы в Ленинграде вышли десятки книг по истории предприятий. Это заказные издания тиражом в пять тысяч, как правило. Это сухие, бедно-академического типа книги. Чаще всего в них прощупывается шаблонная историческая схема, на которую, как гилянды на ветки искусственной елки, насажены списки участников событий. Иногда даются анкетные данные упоминаемых лиц. Самое интересное в таких книгах — фотографии...»¹.

Еще резче и пристрастней отнеслись к современному состоянию дел историки С. Семанов и В. Старцев. «Книги по истории фабрик и заводов, — писали они в «Новом мире», — как бы стали литературой второго сорта и для историков, и для литераторов, и, увы, для читателей. Они загромождают книжные склады, пылятся на полках магазинов, лежат штабелями в задней комнатке завкома, если выпущены на средства завода как «заказное издание»...»².

«В ответ на эту критику, — говорилось в

газете «Социалистическая индустрия», — Комитет по печати совместно с ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, Союзом советских писателей наметил программу дальнейшей работы по созданию книг по истории фабрик и заводов...»³. Однако не далее как в прошлом году в той же «Литературной газете»⁴ мы читали самые свежие суждения по интересующему нас вопросу, — они принадлежат ленинградскому писателю З. Дичарову, который считает, что «за работу над историей предприятий берутся подчас люди случайные, равнодушные. И сочиняют они нечто заунывно-скучное, близкое по стилю к канцелярскому отчету».

Однако обращусь от газетных отзывов к своим собственным впечатлениям и наблюдениям. Знакомься с современным состоянием дел, со многими «историями» последних лет, я все отчетливее представляю теперь некий типовой макет-образец современной книги из интересующей нас серии.

Начинается она с описания того, как плохо все было раньше. «Методы строительства в те годы были иными: механизмы отсутствовали, преобладал ручной труд, земляные работы производились землекопами... грунт вывозили со строительной площадки на лошадях». «Страшно было работать в «скубельне»... От дурного запаха кружилась голова, слезились глаза, люди с трудом держались на ногах... Нередки были случаи заболевания сибирской язвой. Пострадавшие, не получая нужной медицинской помощи, обращались к кузнецу: раскаленным докрасна железом он выжигал сибирезвенные карбункулы. Многие умирали».

После революции началось восстановление народного хозяйства. «Одеваясь в ночи

³ «Социалистическая индустрия», 13 февраля 1970 года.

⁴ «Литературная газета», 27 января 1971 года.

¹ «Литературная газета», 8 мая 1968 года.

² «Новый мир», 1966, № 2, стр. 278.

облаками тумана, запрягала силенки Московская ТЭЦ, чтоб зажечь солнцеликие лампочки плана, от которых светлеть миллионам сердец». «Поистине семимильными шагами шли по стране первые пятилетки. На бывших пустырях вырастали гигантские корпуса металлургических предприятий, через тайгу и горы прокладывались тысячи километров железных дорог, пустыни оживлялись каналами, на реках вставляли электростанции. За короткое время в стране родились совершенно новые отрасли промышленности».

Идут годы, все лучше дела. «Из Петрозаводска нас было всего двадцать шесть... но все три месяца работы... мы держали переходящее Красное знамя Москвы!..

— И от радости все пережились? — подал Станислав Петкун.

— Пока не все, — отшучивался Прокопчик, — но вы знаете песню:

Друга я никогда не забуду,
Если с ним подружился в Москве»

«Но разговаривать долго не было времени. Засучили бывалые солдаты рукава и — за дело! Дружно, по-фронтовому, с огнем». «Но, делая расчеты по выполнению высоких обязательств... были обеспокоены тем, что еще не все бригады, участки выполняют плановые задания и этим сдерживают передовиков».

«Однако цепь непрерывных успехов вскружила кое-кому голову, породила самоуспокоенность и даже зазнайство».

Да, что греха таить, были и отдельные недостатки. «Есть добрая русская поговорка: из песни слова не выкинешь. Так и историю завода следует писать с полным откровением». «В вальцетокарном цехе, например, были вскрыты недостатки в работе. За 9 месяцев первого года пятилетки здесь было потеряно 40 тысяч станкочасов из-за нарушения технологии. Подсчитали, что за это время можно было бы обработать свыше трех тысяч тонн валков». «Большие недоделки обнаружались при сдаче первой очереди завода в корпусе турбомеханизмов». Но «их устранили вместе со строителями рабочие ремонтных служб завода».

День сегодняшний. «Очень дружной семьей живут литейщики и сейчас. Они сердечно принимают к себе, посвящают в рабочие выпуски школ, техникумов и вузов и так же сердечно провожают на пенсию ветеранов. Занимаются в вечерних

школах и вузах, помогают друг другу в работе и дома. Примеру литейщиков следуют другие цехи, участки, весь коллектив завода».

«Коллектив завода внес достойный вклад в развитие народного хозяйства страны... турбостроители на протяжении всего своего существования... с неослабной энергией трудятся над созданием все новых турбин, необходимых для бурного развития энергетики».

«В наше время трудно мечтать и фантазировать, так как действительность часто бывает смелее и грандиознее. Недаром... Владимир Маяковский писал: «Я планов наших люблю громаде!»

Тот бесконечно долготерпеливый читатель, который прочел нашу «историю», наверное, догадался, что все эти выдержки не могли быть «рекрутированы» из одной книжки. Действительно, для составления типичного макета-образца современной истории завода были привлечены книги, изданные за последние годы: «Крепче стали» — в Донецке, «Тяжбуммаш в строю» — в Петрозаводске, «Завод и люди» — в Ленинграде, «Люди. История. Цемент» — в Саратове, «Амурлитмашу 25 лет» — в Хабаровске, «Красный гигант» — в Брянске, «Четверть века» — в Калуге.

Не удивительно ли, что разные авторы совершенно независимо друг от друга в разные годы и в разных концах страны писали о различных — и по технологическому профилю, и по историческим судьбам, и по человеческому составу — предприятиях и написали почти неотличимые друг от друга «истории»? Неотличимые и по сюжетной схеме, и по построению материала, и по авторскому подходу, по выпренности репортерских зарисовок, по беллетристическому вкраплению и стихотворным отступлениям, призванным придать информации некоторый лирический накал, по языку и стилю. Неотличимых! — и в этом состоит первый парадокс нашего макета.

Есть и второй. И заключается он в том, что невозможно даже приблизительно определить жанр этого издания. Что мы прочитали? Историческое исследование? Публицистическое эссе? Документальный очерк? Годовой отчет? Газетную зарисовку? Лирический репортаж? Заводской справочник? Путеводитель для экскурсий по заводу? Тут были и цифры, и стихи, и даты, и имена, и песни, и диалоги. Но диалоги втиснуты между строк годового отчета — для их

«оживления», стихи вкраплены между цифр — для лиризма...

Книги слабые и скучные, а ведь в каждую из них вложен гигантский труд, перекрыты сотни архивных дел, перелистаны за многие годы газетные подшивки, переговорено с десятками людей, объяснена более или менее человеческими словами сложнейшая технология! И авторы нашего макета «историй» чаще всего и вовсе отнюдь не равнодушные люди, как слышали мы от некоторых критиков, а честные труженики, они в поте лица зарабатывали хлеб свой.

Но все-таки что создано в результате их сизифова труда, каковы его итоги, так сказать, конечный продукт? Беллетризованные справочники? Стоят ли они пролитого пота? Вот какое перед нами драматическое противоречие.

Потому не третировать «истории» надо, а вместе с их авторами, с большим читательским и писательским коллективом внимательно и неспешно присмотреться к самому жанру, к его проблемам, к его исторической метаморфозе. Ведь наш макет складывался из разных книг практически на протяжении многих и многих лет и сам массовый, всеобъемлющий его характер обязывает нас увидеть за ним не случайные недостатки, не отдельные неудачи, а некий кризис жанра.

Да, что-то произошло с самой «историей фабрик и заводов», что-то принципиальное, существенное, в чем вовсе не повинны наши авторы, о чем они не задумывались, исполняя свою малую, локальную задачу. Они не задумывались, но нам-то, их критикам, задуматься надо, давно уже надо...

Я совсем не хочу сказать, чтоб об этом не думали. Думали. Спорили. Только, к сожалению, раздумья эти и споры не вышли за пределы традиционной распри историков и литераторов. Вот как, например, ставили вопрос в «Новом мире» кандидаты исторических наук С. Семанов и В. Старцев, которых я уже цитировала: «Постановление ЦК ВКП(б) о создании истории фабрик и заводов (1931 год) имело громадное значение для развития этой своеобразной отрасли исторической науки (разрядка моя.— Л. Н.) Впервые было обращено внимание на изучение советского периода истории предприятий. Вместе с тем тезис о «научно-художественном» произведении как основном жанре книг по истории фабрик и заводов привел на практике к снижению научного уровня книг.

Появилась опасная тенденция «оживления» рукописей диалогами, рассуждениями вымышленных персонажей... Нередко «художественную» форму придают рукописи мало квалифицированные люди, «литобработчики», запись которых носит грубый, топорный характер, рассчитанный на самого неприязнательного читателя».

Как видите, историки вообще склонны трактовать сам горьковский замысел, сам его жанр как «своеобразную отрасль исторической науки», а в «художественности» подозревают элементарную профанацию строгого научного исследования, нечто беззаконное и бесконечно вульгарное, о чем говорят почти брезгливо. «Книгам по истории фабрик и заводов,— со всей прямотой рекомендуют они,— надо вернуть право быть «историями», то есть правдиво написанными, основанными исключительно на фактах рассказами о жизни завода и фабрики. Именно историчность, документированность приведут к книге широкого читателя, интересующегося прошлым нашей родины, жизнью его народа».

Таким образом, историки в своих рекомендациях выглядят суровыми борцами за правду, а «художественный вымысел» недвусмысленно приравнивают к простому вымыслу, сиречь ко лжи. Или, чтоб сказать деликатней, к искажению исторической правды.

С другой стороны, читателю нетрудно будет вспомнить цитированные выше колкости Е. Серебровской в адрес «сухих, бедно-академических» книг и «шаблонных исторических схем», ее сетования по поводу того, что «вот выходят в свет книги, подробно повествующие об истории производства, об истории стен цехов и лабораторий, истории инструментов и технологий. Только о людях — нищенски скудно. Но о людях авторы не могут, они не писатели, черт возьми!».

Соответственно, с порога отвергая сердитые претензии историков на монополию, Е. Серебровская видит корень всех бед в вопросах организационно-технических: «Специальных редакций истории фабрик и заводов сейчас нет, решать судьбу рукописи стали люди, в художественной литературе некомпетентные, гонорар по этому жанру уменьшился в полтора-два раза...».

Полностью соглашается с нею в статье «Эпопея или подарочные издания?» и З. Дичаров. Он тоже видит суть дела в том, что «уже «освящена временем» непонятная дискриминация в оплате труда писателя. За-

нявшегося исторической работой», и тоже сетует, что «еще, к сожалению, встречаются руководители, которые о том, что надо бы поведать потомкам о прошлом завода, вспоминают только в преддверии юбилея», и т. д.

Выходит, что либо устранив писателей от «своеобразной отрасли исторической науки», как рекомендуют историки, либо, наоборот, устранив с пути писателей разные организационно-технические рогадки в лице несознательных руководителей, заниженных гонораров и «бедно-академических» историков, как рекомендуют писатели, мы завтра же справимся с кризисом жанра и получим новый «Цемент» или «Время, вперед!», новых «Людей Сталинградского тракторного»...

Похоже ли это на правду?

Попробуем проанализировать предложенные нам сейчас рекомендации специалистов серьезно, даром что они друг другу противоположны. На противоположности их я останавливаться не стану. Во-первых, потому, что это опять заведет нас в тупик известной распри. Во-вторых, потому, что сама противоположность эта, хоть вокруг нее и сломано столько иррических шпилек, вообще, по-моему, мнимая.

Ведь в рамках горьковского замысла мирно и гармонично уживутся и строгие исследования, и самый вольный «художественный вымысел», который, как свидетельствует исторический опыт, оказывался порою проницательней и истинней самых объективных исследований. Я решительно не вижу никаких оснований для вражды между двумя этими ветвями истории фабрик и заводов, тем более что каждая из них безусловно вправе похвастать отлично выполненными, образцовыми работами, отрицать достоинства которых «враждующая сторона» просто не может.

И спор-то идет, как это ни парадоксально, вовсе не из-за монополии на реализацию горьковского замысла. На самом деле спор идет вокруг чего-то похожего на макет, вокруг беллетризованного справочника, той заполняющей рынок массовой продукции, которая ни к истории, ни к литературе отношения не имеет. Спор, по существу, идет о том, кто ответствен за эту бесплодную трату сил, бумаги, денег и читательского терпения. Просто каждая из «враждующих сторон» хочет снять ответственность с себя и переложить ее на оппонента.

И здесь мы наконец видим совершенно

очетливо не то, что их разъединяет, а то, что их объединяет. А объединяет их справедливое негодование по поводу профанации хорошего дела, обида на содержательную скудость и формальную серость массовой продукции по истории фабрик и заводов, злость на широту и неостановимость этого потока посредственности.

Вот у меня еще одна типовая «история», настолько типовая, что не буду называть ни автора ее, ни завода.

Ее анализ может, как мне кажется, пролить некоторый дополнительный свет на интересующую нас проблему.

Книга открывает нам, хоть порой и канцелярской скороговоркой, некоторые слабые страницы истории завода. В этом смысле в ней все или почти все (за исключением стиля) в полном порядке.

Читатель узнает о романтическом пафосе первых пятилеток, о десятках труднейших проблем, которые приходилось решать, о многом другом, по-человечески интересном, сложном и трогательном. Но вот по мере того, как «история» приближается к нашему времени, к тому, о чем мы могли бы уже судить самостоятельно, на собственном опыте, у меня как у читателя начинала нарастать какая-то подспудная неудовлетворенность, можно даже сказать — тревога. То ли от неуклонного нарастания канцеляризма в самом языке повествования («Темпы выпуска увеличивались из года в год... В эти годы были созданы новые модели... В годы второй послевоенной пятилетки завод продолжает наращивать темпы выпуска...»), то ли из-за постепенного исчезновения живого человеческого элемента в изложении, почему-то вдруг и возникло у меня ощущение, что завод — это не коллектив живых людей со своими заботами, бедами и проблемами, а какая-то гремящая и рычащая победоносная машина, механически, сама по себе «из года в год» «наращивающая темпы». Нет, там и о людях, конечно, было упомянуто («Так, например, бывший слесарь-механик инструментального цеха... имярек... после окончания института был назначен начальником цеха. В настоящее время он работает начальником ОТК завода»), но упомянуто не как о людях собственно, а тоже как о частях и деталях машины.

И тут я подумала: что же, в самом деле, привлекло меня в начальных страницах этой «истории»? И что отталкивает от ее последующих страниц?

Дело в том, что исчезли человеческие проблемы, трудности, беды, заботы и радости, остался глухой автоматизм функционирования машины.

Поначалу были труднейшие задачи, которые непрерывно ставила неумолимая практика перед юным коллективом завода, сложность их разрешения, так сказать, сопротивление материала, которое необходимо было преодолеть, ум, энтузиазм, воображение, энергия, искрившаяся в людях при этом преодолении, вкус победы, завоеванной талантом и потом, и оттого еще более осязаемый, еще более прекрасный.

Да, все мы знаем, что жизнь противоречива, что она вечное брение, и как только разрешаем мы одну ее коллизию, она тотчас подсовывает нам другую, и нет этому конца, и покой нам только снится. Что говорить, природа и содержание всех этих коллизий меняется, конечно. Порой кардинально, неузнаваемо. Но сами-то коллизии остаются!

И если кто-нибудь сочинит повествование о том, что вот раньше коллизии и конфликты присутствовали и их приходилось в поте лица преодолевать, а потом все вдруг пошло гладко, без конфликтов, стремительно рванулось ввысь автоматической кривой, мы ведь ему просто не поверим. Не поверим потому, что знаем как по своему частному, можно сказать, домашнему, семейному опыту, так и по своему общественному опыту, по своей жизни, по своей работе, что так не бывает, что это неправда.

А может ли это быть правдой о жизни целого производственного коллектива?

Так вот оно в чем дело, вот откуда эта неловкость, это возникшее внезапно ощущение тревоги. На самом деле это ощущение беспроблемности, искусственной бесконфликтности, ощущение недоверия. И возникло оно оттого, что как-то незаметно исчезли вдруг со страниц нашей «истории» все трудности, все коллизии, исчез вместе с ними, конечно, и пафос их преодоления. И сами победы, о которых громко трубят канцелярские трубы, оказываются вдруг какими-то пустынями, бесплодными, лишенными человеческого содержания. И гимны трудовому героизму становятся беспредметными.

«За 1955—1960 гг. завод освоил массовый выпуск новых моделей... За последние годы заводскими конструкторами созданы еще более совершенные модели... В 1963 году на международной ярмарке... заводу была при-

суждена Золотая медаль. В 1965 г. присуждена еще одна Золотая медаль... 82 работника завода награждены золотыми, серебряными и бронзовыми медалями ВДНХ... Проведен анализ трудовых процессов, который дал возможность выявить и устранить трудоемкие ручные работы...»

Правда это? Наверное, правда. Но вся ли правда? Увы!

Когда я уж всерьез заинтересовалась этим вопросом, оказалось сравнительно нетрудно обнаружить в цитированном выше триумфальном гимне слишком очевидные прорехи. Я не буду называть здесь завод, о котором идет речь, но читатель может верить мне, что, например, «анализ трудовых процессов», который, как только что уверяли нас авторы заводской истории, «дал возможность выявить и устранить трудоемкие ручные работы», вовсе их на самом деле, как показала проверка, не устранил. Более того, огромное число новых моделей, стремительное разрастание номенклатуры, столь любезное сердцу авторов и воспетое ими на предшествующих страницах, оказалось на деле фактором отрицательным, тормозящим развитие производства!

Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Так что же мы в таком случае выше цитировали? Историю завода или торжественный рапорт? Реалистическую летопись или беззастенчивую рекламу? Отчет о действительной жизни или плод канцелярского парения над нею? Ошибка это или сознательное намерение, выражаясь деликатно, ввести читателя в заблуждение?

Я уверена, что ни то, ни другое!

Да, в том и состоит третий, и последний, парадокс исследуемой проблемы, что это не ошибка и не обман.

Это канон. Это власть общепринятого стереотипа. Это методологический рецепт, по которому печется несметное число подобных «историй». Это действительная их тайна.

Раньше все было плохо, а теперь «все хорошо!» — вот их генеральный постулат, их творческое кредо. Критику канон этот признает только по отношению к тому, что было вчера. «Сейчас», любое «сейчас», будь это седьмая, или восьмая, или девятая пятилетка, представляется разрешением всех проблем, благословенным финалом пути, почти вендом творения.

Вот почему непостижимым образом исчезают из этого «сейчас» все проблемы, труд-

ности и заботы. А вместе с ними, увы, и человеческое содержание «историй». И их интерес. И их обаяние. И остается рекламный проспект вместо истории. Остается тот самый глухой автоматизм функционирования, стандартный набор цифр, имен, дат.

Я говорю здесь главным образом о массовой «фабзаводской» продукции, о той самой, которую я попыталась синтезировать в нашем макете, а не о солидных профессиональных исторических трудах. Хотя и на них, что греха таить, сказывается могущественное влияние этого канона.

Ну возьмите хоть «Историю Красного Сормова», выпущенную издательством «Мысль». Это почти 500 страниц крупного формата на отличной бумаге, около 45 учетно-издательских листов, 18 глав. Всему послевоенному времени, целой четверти века, посвящены из них всего две. И какой скороговоркой, как бледно и невыразительно, какой бюрократической, ничуть не уступающей нашему макету прозой они написаны! «Решающей силой в осуществлении заводского плана, как всегда, были люди. Первыми в поход за механизацию процессов труда выступили рационализаторы... Совместными усилиями рабочих, инженерно-технических работников и рационализаторов первый общезаводской план механизации был выполнен с превышением. Было осуществлено 149 комплексных мероприятий вместо намеченных 134. В числе их постройка семи крановых эстакад, установка десятков мостовых кранов, 114 местных подъемников и т. д.».

На какого читателя рассчитана эта бубнящая арифметика? Кому она нужна? Кого и чему может она научить? И опять-таки, словно подменили авторов, тех самых, что так красочно и страстно живописали довоенную историю завода. Словно бы дух отлетел вдруг от их описаний.

Методология точно та же: все проблемы в прошлом. «Если в довоенное время корпус судна комплектовался на стапеле из 5 тысяч разрозненных деталей и узлов, то теперь стали собирать: сухогрузный теплоход — из 143 секций, танкер — из 141, буксир — из 29 секций». Ну так что? Расскажите же нам, профанам, все проблемы уже решены этим или лет через десяток снова надо будет объяснять, почему вот в 60-е годы сухогрузные теплоходы собирались из 143 секций, а потом стали собираться, скажем, из 147?

Канон, о котором говорю я, поистине всемогущ. Ему действительно все авторы покорны.

Вот почему и имеет смысл наш макет, — резонно говорить не столько о конкретных «историях», сколько об общеметодологической основе, канонизированной и властно превращающей в ничто даже честный и добросовестный труд.

Теперь попробуем посмотреть, что в нетленном горьковском замысле принадлежит его времени со всеми своеобразными, только ему присущими чертами, а что принадлежит, как говорится, вечности.

Вот два горьковских постулата. В одном из них Горький утверждает, что «...народ, который является коллективным и всевластным хозяином своей страны и стремится создать совершенно новые условия жизни, — народ этот должен подробно знать, как он хозяйствует, чего уже достиг, чего должен достичь». Это живо сейчас и живо будет всегда.

Но вот рядом с этим вечным он пишет: «Как, каким приемом познакомить рабочую массу со всем этим? Пролетариат уже сам нащупал эти методы и приемы. Красная книга о «Каменке», созданная самими рабочими, и ряд других, менее удачных книжек говорят нам, что в таких книжках назрела потребность и что они должны создаваться путем коллективной работы. Рабочие создали завод, они же и должны написать историю его создания, — историю своей работы. Организационными центрами по работе над историей заводов должны быть ячейки РАПП. К работе следует привлечь ударников, литкружки, инженерно-технический персонал, проф- и парторганизации».

Итак, с точки зрения этого постулата спор между специалистами-историками и специалистами-литераторами вообще неправилен. Ибо историю заводов должны были — по первоначальному замыслу Горького — писать не те и не другие, а сами рабочие. «Теперь настало время, — писал он, обращаясь к рабочим, — когда вы, товарищи, создавая новую историю, сами должны писать ее силой той же руки и того разума, которые поставили вас хозяевами огромной и богатейшей страны». «Надобно только понять, что, как все создаваемое в Союзе Советов, дело издания «Истории заводов» — дело самих рабочих».

Да, специалисты привлекались, должны были привлекаться. «В работе по «Истории

гражданской войны» принимают участие наши высококвалифицированные литераторы — им следует вступить и в работу по истории развития промышленности и рабочего класса в их стране». Но для чего привлекались эти специалисты? Для того, чтобы помочь рабочим, ударникам и литкружковцам писать свою историю, для той самой «литобработки», над которой теперь иронизируют историки. Даром, что ли, первый том «Истории фабрик и заводов», неувядающая гордость всей серии — «Люди Сталинградского тракторного», был именно трудом рабочих, только обработанным писательской бригадой?

Нарастающая сложность индустриальных проблем страны, потребовавшая массы специальных знаний для сопоставления ее настоящего и прошлого, привела в конечном счете к тому, что этот первоначальный постулат не подтвердился. И зачем же нам этого стесняться, стыдливо это замалчивать, ведь это как раз и была буква, а не дух горьковского замысла! И когда буква эта с течением времени стала противоречить духу, она была попросту забыта, да так надежно, что нынче о ней и не поминают. И зря ведь не поминают. Потому что навести действительный порядок в «Истории фабрик и заводов», добиться в ней сейчас, сорок лет спустя, толку немыслимо, покуда мы не поставим в этом деле, как говорится, все точки над «и», не отдадим себе честно и здраво отчета в том, как следует сейчас пересмотреть букву, чтобы остаться верным духу горьковского замысла.

Тут и подходим мы к тому самому канюну, о котором шла речь выше, и, взглянув на него исторически, совершенно отчетливо видим его происхождение, его закономерность, его рабочую функцию в те далекие годы. Удивительно ли, в самом деле, что тогда, когда минуло всего пятнадцать лет после революции, сокрушившей вековую кабалу, в горьковском замысле решительно доминировали проблемы дореволюционной России, необходимость их противопоставления новой и лучшей жизни рабочего класса, ибо «...для понимания миллионов крестьянской и рабочей молодежи, для ее культурно-революционного воспитания в духе коммунизма нужно рассказать ей о каторжном прошлом ее отцов»? «Ясно, что рассказать обо всем этом могут только старые рабочие-большевики».

Естественно, что вся работа должна была быть подчинена этой главной задаче,

все начиналось с этой заданной историей точки отсчета, с рассказа о каторжном прошлом, с противопоставления этому проклятому прошлому светлого настоящего. Ибо и «пореволюционная «История фабзаводов» должна ответить на вопрос: как далеко за 10 лет непрерывной работы в тяжелых условиях ушел от прошлого пролетариат Страны Советов.

Вот же в чем она, действительная тайна этого канона: не был он тогда штампом, а был прямым и естественным требованием времени, его живой потребностью, был единственно возможной и политически грамотной формой «Истории фабзаводов».

Штампом он стал.

Стал впоследствии, спустя десятилетия, когда гигантский рост индустриальной мощи сделал попросту наивным сравнение, сопоставление достижений современных заводов с тем, что было до тринадцатого года. Наивным хотя бы потому, что подавляющего большинства этих заводов до тринадцатого года вообще не существовало. Потому что новое время принесло и новые проблемы и новые точки отсчета, несопоставимые с теми легендарными временами. Потому что ритм современной эпохи, мощь научно-технической революции и глобальное соревнование мировых общественных систем, определяющее судьбы человечества, требуют от нас теперь смотреть больше вперед, чем назад, упорно биться над нашими сегодняшними проблемами, а не успокаивать себя тем, как далеко мы ушли от тринадцатого года. Потому что теперь над всей деятельностью страны доминирует другая главная задача, другая живая потребность — соединение научно-технической революции с социалистическим способом хозяйствования, достижение мировых стандартов индустриального производства, которое требует разрешения десятков и сотен принципиально новых проблем, каких до тринадцатого года и в помине не было.

Так разве «История фабрик и заводов», если она не музейная утварь, а живое дело, не должна была ощутить на себе ветра этих гигантских изменений в самом мироощущении общества?

Должна бы. Да вот почему-то не ощутила.

Увы, оставаясь верной букве горьковского замысла, она изменила его духу. И в этом и есть, по-моему, главная, фундаментальная причина ее сегодняшнего оскудения.

И если теперь рассмотреть современное состояние «Истории фабрик и заводов» под этим углом зрения, то многое, прежде туманное, становится ясным. Ясно, в частности, что главное, чего недостает ей сегодня, это содержательности, богатства идей, самостоятельных творческих решений, дыхания научно-технической революции, актуальности, остроты и проблемности.

Касается это, конечно, в первую очередь не специальных исторических трудов, которым «художественный вымысел» действительно противопоставлен так же, как художественным произведениям на рабочую тему противопоставлены «бедно-академические» схемы.

Нет, касается это главным образом той массовой «фабзаводской» продукции, которую я пыталась синтезировать в нашем макете. Это ее нужно освободить из-под власти устаревшего канона, который, несмотря на все журнальные призывы и газетные заклинания, безостановочно плодит никому не нужные беллетризованные справочники.

При таком взгляде на вещи сам жанр «истории фабзаводов» эпохи развитого социализма четко разделяется на три рукава, три ветви, три потока. Кесарево отдается кесарю, а богу — богово. На долю специалистов-историков достается собственно история — дореволюционная и довоенная, — исполняется мечта С. Семанова и В. Старцева, истории этой возвращается строгая фактическая основа, чуждающаяся вымысла, равно художественного и нехудожественного.

На долю литераторов достается рабочая тема, то есть художественное осмысление социальных и нравственных — одним словом, человеческих проблем современного производства. Этим своим рукавом «фабзаводская» литература вливается в широкое русло прозы, посвященной рабочей теме.

И наконец, самое главное: сердцевина жанра, его актуальное боевое ядро, то, что можно было бы условно назвать индустриальной публицистикой, возрождается к жизни соединенными усилиями литераторов, очеркистов, публицистов и социологов, особенно заводских социологов, находящихся сегодня в самой гуще производства, в розе индустриальных ветров. И трактует она теперь вовсе не о том, как раньше все было плохо, а теперь все хорошо, но о сегодняшних фабрично-заводских проблемах в сопоставлении, например, с проблемами начала 60-х годов. Или о

проблемах конкретного завода в сопоставлении с проблемами других заводов. Или — с проблемами отрасли. Иными словами — о конкретных формах соединения научно-технической революции с социалистическим способом хозяйствования.

Только так может «История фабрик и заводов» утратить свой юбилейно-подарочный, декоративный характер, перестать навязываться «несознательным руководителям» в качестве дорогостоящей канцелярской нагрузки, а превратиться в их союзника, в живое, нужное, самим этим руководителям необходимое дело, в орудие коллективного, общественного разрешения кардинальных заводских проблем. Так, чтобы директор сам звал в себе историка «фабзаводов», чтобы он, директор этот, тоже мог от него что-нибудь позаимствовать и чему-нибудь научиться, чтобы он знал, к примеру, что история «фабзаводов» располагает такой информацией, таким опытом решения заводских проблем, которые ему, директору, нужны позарез. И сами собою отпадут тогда все организационно-технические трудности. И не надобны станут бесконечные жалобы на взаимное непонимание.

И здесь следует специально остановиться на одном из недавних решений Центрального Комитета КПСС, ясно демонстрирующем нам образец современного подхода к индустриальной проблематике. Речь в нем идет об участии заводской интеллигенции в идейно-политическом воспитании коллектива — на примере Череповецкого металлургического завода. «Положительно оценивая имеющийся опыт, — говорится в этом решении, — Центральный Комитет КПСС вместе с тем отметил, что... партийная организация слабо воспитывает у инженерно-технических работников критический подход к оценке результатов работы, что мешает им за общими показателями выполнения плана видеть недостатки и неиспользованные резервы производства». И затем, подробно перечислив недостатки, о которых идет речь, ЦК замечает: «Однако эти факты не вызывают тревоги у руководителей и не получают должной оценки в производственных коллективах...» («Правда», 29 декабря 1971 года).

Итак, деловое сосредоточение внимания на недостатках и неиспользованных резервах вместо торжественных гимнов — вот каков сегодняшний партийный подход к индустриальной проблематике. И органом этого «критического подхода», боевым и

компетентным, как раз и призвана, по-моему, выступить главная ветвь современной «Истории фабзаводов» — индустриальная публицистика. Таким же, каким стала два десятилетия назад для наших колхозов публицистика деревенская. Иначе говоря, вырисовывается ясная и живая функция индустриальной публицистики.

Может быть, все эти рассуждения о предполагаемых добродетелях, о гипотетических возможностях и функциях индустриальной публицистики выглядели бы откровенной маниловщиной, если бы передо мной не лежала сейчас маленькая, незаметная книжка Г. Козлова, выпущенная издательством «Московский рабочий» под экзотическим названием «Вижу неведомое», где на практике доказываются то, к чему я так долго подбиралась теоретически. И делает это автор, честно говоря, гораздо лучше, нежели я.

Формально книжка его посвящена внедрению АСУ (автоматизированной системы управления) на одном из старейших московских станкоинструментальных заводов, на «Фрезере». На самом же деле она — о людях, о тех, кто задумал и в ходе достаточно жесткой борьбы осуществил на «Фрезере» эту АСУ. На самом деле она — об актуальных проблемах технической политики, об опыте решения ее сложнейших задач, об опыте, который, я уверена, поможет разрешить их на десятках и сотнях других предприятий, о философии управления. На самом деле она — подлинная история завода за истекшее десятилетие.

Да, автор не страшится показать, как на некоем этапе развития, в начале 60-х, огромный завод стал практически неуправляем. «Есть даже математическая формула, — пишет он, — выведенная лет шесть-семь назад вычислительным центром Академии наук. Она гласит, что сложность управления растет в квадрате к приросту производственных мощностей». Практически это означает, что если мощности возросли, например, вдвое, как оно на «Фрезере» и было, то численность управленческих кадров должна была бы возрасти вчетверо. Поскольку это было нерационально, да и попросту невозможно, завод залихорадило. Начались поиски выхода из тупика, выработка новой программы, опробовались новые предложения, опробовались — и отвергались.

И опять-таки не страшится автор показывать неудачи — тупики мысли, выброшенные на ветер деньги, неверно выбранные

программы. И опять он прав: он сэкономит этим труд и деньги многих других растущих и ищущих новые пути заводов и фабрик. Сумел он и сосредоточиться на главном, на том, что не хватало какой-то идеи — ключевой, фундаментальной, «не знали, что истинная причина неритмичной работы и низкого качества продукции заключалась не в недостатке волевых и организаторских качеств того или иного руководителя, и даже не в ошибках планирования и снабжения, и не в разросшейся номенклатуре изделий, хотя, разумеется, все это занимало свои места в списке заводских бед. А главная беда (ее-то и не могли долго обнаружить) состояла в забвении научных основ организации производства, еще точнее — основ философских и психологических. Все остальные — были следствия».

Но разве реконструктивный поиск кончается, когда найдена ключевая идея? Нет, с этого он по-настоящему только и начинается. Ибо здесь-то как раз и предстояла борьба. Растянувшаяся на многие годы борьба за реализацию избранной программы реконструкции. Борьба, в ходе которой инициаторы и сторонники прогрессивной программы в полной мере почувствовали, сколь реально упираются технические проблемы в человеческие, сколь неразрывны экономические и социальные механизмы управления. Автор вводит нас в мир переживаний своих героев, знакомит нас с ними в часы неудач и в минуты триумфа, не боится признать, что, несмотря на внушительные победы, по гамбургскому, как говорится, счету сделаны на заводе лишь первые шаги научно-технической революции и главная борьба — и поражения и победы — еще впереди.

Публицистика нерасторжимо сплетена в этой книге с историей, ибо что же иное и есть современная история завода, как не история борьбы за прогресс?

Да, присутствует здесь и канонический «счастливый конец», но это лишь очередной перекресток долгого, уходящего в бесконечность пути: в нем нет ощущения финала. И уже одно это ставит книгу «Вижу неведомое» на порядок выше стандартной «фабзаводской» продукции. Да разве только это? Разве по замыслу, по авторскому темпераменту, просто даже по языку и стилю книга эта сопоставима с тем, что вычитали мы из нашего макета?

Но главное, что отличает ее от макета, корень всего дела заключается в том про-

стом обстоятельстве, что в ней присутствует мысль. Та самая авторская мысль, от которой всемогущий канон, увы, начисто освободил сочинителей макета.

Далее, присутствуют здесь люди. Но не в качестве декоративных муляжей, в уста которых вкладывались диалоги для оживления суконного текста, а в качестве носителей идей, субъектов творчества, в качестве деятелей научно-технической революции. И потому отличаются они друг от друга не внешними признаками, не профессиональной принадлежностью, не именем и отчеством, но качеством своей деятельности, а стало быть, и своими человеческими свойствами, своими характерами.

Далее, присутствует здесь конфликт. Сначала конфликт идей. Потом конфликт программ, выступающий при реализации идей, а потом и конфликт характеров.

И наконец — проблема. Проблема не абстрактная, не надуманная, а реальная. И притом значительная. Проблема, которая так или иначе стоит перед всеми растущими предприятиями: как наращивать мощности, не наращивая управленческого аппарата?

Я не стану рассказывать здесь все подробности дела. В конце концов, хоть и микроскопическим (3500 экземпляров) тиражом, но книжка Г. Козлова опубликована и библиографической редкостью не является. Кроме того, я допускаю, что перехвалила ее. У нее, бесспорно, есть свои недостатки, и их немало. Но пусть простит меня снисходительный читатель: книжка эта была для меня как спасательный круг в бушующем океане беллетризованных справочников...

Нет, я вовсе не хотела сказать, что она некий эталон индустриальной публицистики. Просто она пример. Практический пример выхода из «фабзаводского» тупика. Реальный пример того, как вместо традиционных распрей между историками и литераторами, вместо призывов и заклинаний, вместо серой скуки можно делать сегодня в «Истории фабрик и заводов» живое дело.

Я понимаю, что именно могут мне возражать на это: рабочая тема, индустриальная публицистика — но причем здесь исто-

рия фабрик и заводов? Ведь сыр-бор загорелся у нас как раз из-за нее, а не из-за индустриальной публицистики, которая и без того живет себе и горя не знает.

Нет, знает, возражу в свою очередь и я, и в том-то и дело, что ее проблемы тоже неразрешимы вне связи с реальной историей фабрик и заводов, что недостает ей именно историчности, в то время как «фабзаводской» продукции недостает, как мы видели, именно публицистичности.

Разве последние послевоенные десятилетия — в условиях научно-технической революции и неслыханного ускорения исторического процесса, в условиях необычайного усложнения индустрии и сгущения ее социальных проблем, — разве последние десятилетия — это не живая, развертывающаяся на наших глазах история? Разве не в ней найдет компетентный индустриальный публицист действительные истоки сегодняшних наших нерешенных проблем и ответы на многие наши вопросы? Не она ли хранит их в себе, как почва хранит корни растений? И разве не святая поэтому обязанность публицистики упорно идти от следствий к причинам, от вершков к корням? Разве большинство наших заводов и фабрик не построено именно за эти десятилетия? Разве история их не сливается практически с публицистикой? И разве индустриальная публицистика может стать по-настоящему квалифицированной и содержательной, если замкнется в рамках частных, локальных задач, не обогатившись историческим материалом, не выйдя на рубежи глобальной историко-философской проблематики?

Но ведь к этому и сводится моя мысль: ясно разделив историю фабзаводов на «сферы влияния», освободив ее от ушлого канона, вернуть жанру актуальность и практическую необходимость, функциональность. А стало быть, вернуть ему и читателя. А не в этом ли и состоит проблема? И не это отвечало бы самому духу горьковского замысла о том, чтобы народ подробно знал, как он хозяйствует? Не это ли было бы действительно реализацией животворной горьковской мысли в эпоху научно-технической революции и развитого социализма?



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Ярослав Смеляков. Лирика большого гражданина.— Павел Антокольский. Проза и память.— А. Нуйнин. Соперники? Союзники? — Александр Гладков. Монолог о диалогах.— Валентин Катаев. Книга о мастере.— И. Левидова. Как это делается.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Т. Самсонова. Дела человеческие.— О. Мороз. «Бескрылое» воображение, окрыленный разум.— В. Гаврилов. «Выхожу из пространства...»— Ю. Момсеев. Первобытная психотерапия.

Литература и искусство

ЛИРИКА БОЛЬШОГО ГРАЖДАНИНА

А. Твардовский. Из лирики этих лет. М. «Советский писатель». 1967. 64 стр.

Как-то так получилось, что сборник Александра Твардовского «Из лирики этих лет» попал в мои руки только сейчас.

Я прочел его сразу же, с карандашом в руке. И тут же сел за машинку, хотя моя запоздалая поспешность уже не нужна ни умершему автору, ни Комитету по премиям в области литературы и искусства, предложившему присудить автору Государственную премию СССР, ни издательству «Советский писатель», выпустившему книгу с полиграфическим чувством меры.

Одни стихотворения были мне хорошо известны по журнальным публикациям, другие я в свое время слышал где-нибудь в поездке или по радио; но нашлись там и совсем неизвестные мне, увиденные впервые.

Собранные вместе, и те и другие стали еще значительнее, начали как бы вторую коллективную жизнь, дополняя и поддерживая друг друга.

Я уже давно заметил, как выигрывают или проигрывают те или иные поэты, выпуская разрозненные стихотворения целыми сборниками. Иной поэт, пусть даже одаренный и обративший на себя внимание несколько эффектными произведениями

быстрого ума и легкой руки, издавая книгу, и не предполагает, как он теряет в мнении читателя: загнанные под одну крышу, его стихотворения беспорядочно толкуются там, мешая и другим и себе, обнаруживают полную несовместимость. Сложенные в пачку отдельные черты никак не складываются в цельную личность, в определенный характер. Зато сборник серьезных последовательных поэтов, решающих свои социальные задачи, очень прибавляет их авторам.

Я упомянул об этом обстоятельстве лишь оттого, что писать о Твардовском, не думая о судьбах советской поэзии, нельзя, как нельзя рассматривать нашу поэзию, минуя Твардовского.

Возьмем хотя бы само название книги — «Из лирики этих лет». Удивительно, как под пером Твардовского приобретают значительность даже такие расхожие слова, как лирика и этих. Под лирикой до сих пор, хоть мы, современные писатели, и стараемся дать этому определению более широкое толкование, читатель подразумевает стихи на любовные и близлежащие, сугубо личные темы. У Твардовского же лирически сокровенно звучат темы жизни народа, судьбы крестьянства, места художника в

обществе. Многие поэты прибегали к названию «Стихи разных лет», оправдывая таким способом некоторую разноголосицу своих стихотворений. Твардовский поставил слово «этих», утверждая неповторимость и весомость недавно прожитого времени.

Да, мы имеем тут дело с высокой лирикой этих наших лет.

Все стихотворения написаны в тоне сокровенного разговора по душам с умным, понимающим читателем. Поэт беседует с нами начистоту, без недомолвок или намеков.

И читать его вслух поэтому надо не стоя, а сидя. Это, кстати, поняли наши выдающиеся актеры Ульянов, Ефремов — участники телевизионной передачи, посвященной поэзии советского классика. Да и сам он снят телеобъективом не на эстраде, не с микрофоном в руке, а за письменным столом, над рукописью.

В его поэзии нет мучительной есенинской обнаженности, как нет и ораторского всеоключающего победного грохота Владимира Маяковского, что, однако, нисколько не умаляет никого из трех лучших поэтов советского времени.

Но мы ошибемся, если откажем Твардовскому в пронзительности. Его как бы спокойные, неторопливые стихотворения то наполняют сердце гордостью, то заставляют душу замирать от скорби по погибшим, то насыщают воздух свечением мысли.

Мы также будем поверхностными судьями, если не заметим, что Твардовский ведет примерно ту же пропаганду, какую вел Маяковский, только особым стилем, в своей манере.

В чем заключается обаятельная сила стихотворного языка автора «Василия Теркина» и лирики? В чем секрет языка того человека, который сказал: «И я, чей хлеб насущный — слово, основа всех моих основ»? В точности, весомости, народности.

Он не прибегает от случая к случаю к народному языку, не берет из него то или иное словечко, а пишет народным языком, употребляя незаслуженно забытые крестьянские выражения, обороты, песенные и житейские образы. Примечательно, что он не только писал таким языком, а и говорил и, наверно, думал.

Вряд ли есть нужда подкреплять это тривиальное положение многими примерами. Но доподлинная русская речь поэта настолько пленительна, что нет сил удержаться и не украсить ею свои заметки.

Вот хотя бы стихотворение «Береза». Сколько берез уже прошумело в русской поэзии! Полагаю, что на каждое прекрасное белоствольное дерево на советской земле приходится не меньше двух стихотворений.

Но береза, растущая «на выезде с кремлевского двора», долговечна, хотя все же жить ей придется меньше, чем этому стихотворению о ней.

Должно быть, здесь пробилась самосевою,
Прогнула, отклоняясь от стены,
Угадывая, где тут юг, где север,
Высвобождая крону из тени...

«Пробилась самосевою» — так может сказать только художник, выросший на крестьянской земле. «Прогнула» — опять самое точное и поэтически звучащее слово! А «угадывая»? Сам Лев Толстой не нашел бы для такого случая лучшего определения.

И это еще не все: взгляните в слово «высвобождая», в нем есть и осторожность, и постепенность, и вздох облегчения — все сразу.

Действительно велик, могуч и свободен русский язык. И от писателя требуется только то малое умение знать его назубок, понимать его и пользоваться им, то умение, какое дается не многим.

Возьмем из этого стихотворения хотя бы слово «забвенная». В словаре оно определяется как книжное, устарелое и действительно должно в современном стихотворении звучать, казалось бы, чужеродно. А вот у Твардовского оно выглядит естественно и даже обязательно. Береза «простецкая — точь-в-точь с лесной опушки, с околицы забвенной деревушки...». Старинное слово *з а б в е н н а я* нужно автору для ощущения возраста березы. А применение несколько высокопарного эпитета к деревушке, названной так якобы пренебрежительно, а на самом деле нежно, полно лукавого смысла.

Заглавное стихотворение сборника «Дорога дорог» заканчивается так:

Как эта моя, осененная кранами,
Дорога дорог меж двумя океанами.

Опять старинное, книжное, как толкует словарь, слово. Но тут оно играет отнюдь не книжную, а жизненную роль. Его торжественность передается сугубо прозаическому, техническому названию агрегата. И от соединения оба слова выигрывают, приобретают новый величавый сегодняшней смысл. *Дорога, дорог, осененная кранами.* — одна эта

фраза звучит как стихотворение, как гимн сибирскому строительству.

Будет грустно, если хоть один читатель моих заметок подумает, что Твардовский только и пекся о том, чтобы втиснуть в сегодняшние строки какое-либо устаревшее словцо. Эти случаи не характерны для поэта, и я остановился на них только для того, чтобы показать, как умеет он возвращать жизнь даже отжившим свой век словам из лексикона наших дедов.

Твардовскому абсолютно чуждо то поветрие, охватившее некоторых поспешных лириков, когда они стали вводить в свою терминологию «бел-муравчату стену», «гой-еси добрых молодцев» и сермяжную правду. Твардовскому все это антикварное русификаторство не только чуждо, оно вызывало у него отвращение, как и попытки представить русских колхозников в литографированном образе пейзажа.

Мне, человеку городскому, доставляет удовольствие видеть, как в круг сельских и военных тем Твардовского постепенно, с естественной для него доскональностью входили темы новостроек, индустрии, рабочего класса. Уже послышался там «города державный рокот», уже тяжело нависли «многогонные кружева», уже ущелья стали прогреваться кострами строителей.

Я не могу пропустить дорогое мне стихотворение «Как глубоко ни вбиты сваи...». Вслушаемся в заключительную строфу:

Вот почему из часа в час
Там не дозор, а пост подводный,
И стража спит поочередно,
А служба не смыкает глаз.

Прекрасная, еще не тронутая поэзией тема необходимости вечного надзора над стихией, выраженная лаконично и дающая толчок большим размышлениям.

Твардовский всегда и неизменно глядит на природу по-крестьянски. Только человек, полномочно представляющий в поэзии сельскую Россию, мог написать такие строки:

Мне сладок был тот шум сонливый
И неусыпный полевой,
Когда в июне, до налива,
Смыкалась рожь над головой.

Для того, чтобы так писать, надо иметь в своем распоряжении не только талант, но и знание, не только знание, а и талант.

Хотя, надеюсь, моя мысль вполне ясна, для пущей убедительности приведу еще

строчки из помещенного рядом стихотворения:

...То в дымке снеговой,
То в пух весенний только что одеты,
То полной прошумят ему листвою,
Уже повеяв ранней грустью лета...

Здесь все прекрасно, но я хочу обратить особое внимание на третью строку. Полной листвою — сколько в этом слове — «полной» — поэзии и понимания самой сути!

Книга вся наполнена любовным уважением к русской земле и людям, живущим на ней, к их исторической деятельности. Автор не поучает нас, не выступает перед нами, а размышляет при нас о судьбах своей родины и о своей судьбе.

Стихотворение «Жить бы мне век соловьем-одиночкой...», может быть, особенно ясно показывает прекрасную гражданственную особенность творчества поэта. Разговор ведется о месте художника в обществе и заканчивается так: «Просто — мне дорого все, что и людям, все, что мне дорого, то и пою». Хочется, чтобы читатель сам вернулся к этому стихотворению или впервые раскрыл книгу именно на девятой странице.

Поэт нередко обращается прямо к читателю, вовлекая его в ход своих размышлений:

Давно, допустим, это было,
Но ты-то сам когда там был?

Или:

Ты не в восторге?
Сроки наши кратки?
Ты что иное мог бы предложить?

Вообще Твардовский пишет так, как будто только что возвратился из дальней и долгой поездки по стране и делится своими наблюдениями с другом, тоже побывавшим в тех краях. И в его рассказах все время присутствует ожидание, оптимистическое предвкушение будущих путешествий.

Твардовский — убежденный враг красноречия, праздничной шумихи, показухи во всех ее видах и проявлениях. Мне кажется, что он в пылу своей благородной борьбы иногда перебарщивает, как в свое время мы переборщили в борьбе с архитектурными излишествами.

Его язык, однако, так убедителен, что поначалу соглашаешься даже со строками:

Стыжусь торчать с дежурной одой
Перед твоим календарем.

Ну, а если не торчать, а стоять, если не с дежурной, а с достойной, если ее написал не пробивной халтурщик, а Маяковский?

Это единственное свое возражение я мог бы оставить при себе, но не хочется, чтобы мои заметки приобрели характер одного словословия, какого поэт не выносил.

Лирика Александра Твардовского радует наши души, помогает мужественно и оптимистично глядеть на окружающую жизнь, укрепляет ощущение ответственности за будущее страны и всего мира.

Книжка эта вызывает редкую потребность не раз и не два возвратиться к ней.

В начале заметок я сказал, что прочитал ее залпом и немедленно сел за машинку. Так оно и было, но по ходу дела, отыскивая понадобившуюся строчку, чтобы, не дай бог, не напутать, я опять раскрывал книжку и перечитывал целиком. Как тут не вспомнить вот этих строк Твардовского, обращенных ко времени, к творчеству:

Случайно вникнув с середины,
Невольно всю пройдешь насквозь,
Все вместе строки до единой,
Что ты вытаскивало врозь.

Ярослав СМЕЛЯКОВ.



ПРОЗА И ПАМЯТЬ

Анастасия Цветаева. Воспоминания. М. «Советский писатель». 1971. 527 стр.

В начале нашего века в Москве, в интеллигентной семье университетского профессора-ученого, историка искусства Ивана Владимировича Цветаева, в окружении многочисленного родства и свойства растут две девочки, Марина — Муся и Анастасия — Ася. Между ними два года разницы. Они очень похожи одна на другую, но в то же время резко противоположны. Что сильнее, сходство или противоположность, читатель постепенно разбирается вместе с рассказчицей — младшей сестрой, и вместе с нею же переходит от одного утверждения к другому: жизнь богаче и сложнее, чем простота сходства и несходства.

Жизнь старшей сестры, русского поэта Марины Цветаевой, оборвалась трагически рано, тридцать один год тому назад. Анастасия Ивановна дожила до преклонных лет и последние годы своей тоже нелегкой жизни отдала воспоминаниям. Перед нами удивительная, вдохновенная книга: проза, насыщенная электричеством памяти. Иначе не скажешь.

Назвать эту книгу «мемуарами» немислимо. Точно так же, как «Детство. Отрочество. Юность» Льва Толстого и «Давид Коперфильд» Диккенса суть не мемуары, но роман, эпос, так и книга Цветаевой включает в себя высокий лиризм и реалистически точное исследование души, обреченной расти, как все живое, в прихотливых, непредвиденных изворотах-извиликах.

Перед читателем — феномен редкостной памяти. Рассказчице доступны тайны всех

возрастов, всех повзрослений. Она с артистическим самообладанием перевоплощается в себя же девочку, а заодно и в старшую сестру — предмет ее вечного восхищения. Восприимчивость автора, способность к перевоплощению распространена и на весь окружающий мир, на близких людей. Прежде всего мать, рано угасшая в чахотке. Мать, которая с ранних лет приобщила дочерей к музыке — Бетховену, Моцарту, добилась того, что старшая, Марина, стала отличной пианисткой. А если впоследствии она поэт и только поэт, то, кто знает, не музыка ли помогла ей с такой силой владеть ритмом и словом. Во всяком случае, в поэме Марины Цветаевой, в «Крысолове», дух музыки нашел ярчайшее воплощение в герое поэмы — в самом Крысолове.

Сначала кажется, что детство девочек безоблачно, что каждая рождественская елка заново вносит волшебство в старый, хорошо обжитый дом в Трехпрудном переулке у Патриарших прудов, что каждое следующее лето в Тарусе, на Оке, сулит новое соприсчастие природе, щедро дарит девочкам солнце и доброту, — да иначе и не может быть. Весь этот любовно и тщательно изображенный рассказчицей мир действительно уютен и волшебен. В детство прочно вошло чтение. Чтение запойное. И вместе с тем — страстная тяга ко всякого рода карандашам, перьям, альбомам, записным книжкам, обязательно в кожаных переплетках... Всем этим по праздникам девочки щедро одаривают друг дружку. Еще удиви-

тельнее в этой книге детская любовь ко всякой живой твари, особенно к собакам. Любовь порывистая и безудержная. Невозможно сосчитать, сколько собак так трогательно и обстоятельно выведено Анастасией Ивановной в книге. Это не мелочь в книге — так устойчива, так восторжена и на старости лет привязанность автора к животному.

Она делит эту страсть со старшей сестрой. Мне вспоминается, как где-то между 1917 и 1918 годами Марина Ивановна на вопрос, что она любит больше всего, без колебания отвечала:

— Солнце. Военную духовую музыку. Собак.

Только что было сказано: детство безоблачно. Очень скоро неизлечимый по тем временам туберкулез легких тяжело сказывается у матери. Ей необходимо лечение на юге, в Италии. Крутой поворот в жизни семьи. Особенно крут он в жизни девочек. Они в Италии, в Генуе и под Генуей, в Нерви. Первая в жизни их встреча с морем. Рассказу об этой встрече позавидует каждый поэт. По воле случая эта встреча внезапна и решительно ошеломляет юные существа. Рассказчица передоверяет свое впечатление старшей сестре, как это делала уже много раз:

«...Но в то же мгновение что-то непомерное, неизведанное и родное отвело ее глаза, голову—вбок, туда, где в пустоту и, казалось, из пустоты — но сине-зеленой и бьющейся — к ее лицу и выше — взлетело огромное, ослепительное, воздушное, с тем самым запахом, что был сильнее, чем пинии, с тем шумом, что вдруг вспыхнул грохотом и, отдав нас солью, рухнул вниз, в зеленую синеву, которая уже вновь подымалась...».

Отрывок дает некоторое представление о характере этой лирической и живописной прозы, но к ней еще придется вернуться.

В Италии они на пороге памятных событий русской истории начала века. В пансионе, где они живут, их окружают люди, настроенные революционно. Встреча с ними открывает глаза девочкам на многое, о чем они и не задумывались раньше. Звучат революционные песни: «Варшавянка», «Вы жертвою пали», «Из страны — страны далекой»... Звучат споры о неизбежной революции, о возможных и разных ее путях. Девочки чутко прислушиваются ко всему. Марина-Муся в силу действенного и горячего характера примыкает к тем, кто настаивает на открытом восстании, на свержении

царского режима. Марина вырастает в глазах младшей сестры как чудо.

События разворачиваются дальше. Сестры за границей, но им необходимо продолжать учиться. Предстоит разлука с матерью. Они в Швейцарии, в Лозанне, в пансионе, где господствует французский католический дух. Девочки непроизвольно вовлечены в культ Мадонны. Увлечение неглубокое и временно, но когда-нибудь и оно скажется.

Миновали Лозанна, Швейцария. Сестры в Германии, в Шварцвальде. Давнишние впечатления от сказок братьев Grimm и Андерсена оживают здесь в окружении немецкой готики и уютного городка. Так оно суждено сестрам: преображать самую заземленную и скучную прозу в волшебную сказку. Как ни скучен немецкий пансион, как ни скудна их пища, как ни унылы поучения протестантского пастора, но ведь на этот раз рядом, на соседней улице, живет их мать! Итальянское лечение и южный зной облегчили ее болезнь. Теперь ей надо привыкнуть к северному климату, чтобы легче вернуться в Москву. Как будто в затянутое дождем окно девочек снова заглянуло солнце. Как будто снова жизнь улыбнулась им. Сказочность не обманула.

Увы, скоро сказка сказывается. Еще более быстр мой пролет по страницам книги. Многого остается за кадром. 1904—1905 годы. Отец рядом с матерью и дочерьми. Его заботы о строительстве будущего Музея изящных искусств на Волхонке в самом разгаре. Уже изготавливаются многочисленные слепки сокровищ во всех европейских музеях. Иван Владимирович Цветаев всецело поглощен любимой работой, делом его жизни. И тут черная молния — телеграмма из Москвы.

В строящемся здании на Волхонке пожар! Еще неизвестно, что уничтожено огнем, что спасено. Интенсивный обмен телеграммами, как всегда в таких случаях, кажется изнурительно долгим. Постепенно обрисовывается размер катастрофы. Она велика, но далеко не все потеряно. Между тем это неожиданное несчастье надолго омрачает жизнь ученого и строителя.

Но и несчастье пожара пройдет, как все проходит в жизни. Возвращение на родину. На этот раз в Крым, в Ялту, ввиду здоровья матери. Первая русская революция. 9 января, расстрел рабочих у Зимнего дворца. Вооруженное восстание в Москве. Красная Пресня. В Ялту доходят смутные слухи, тре-

вожские обывателей и электризующие молодежь, окружающую сестер. Им четырнадцать и двенадцать лет. Дружья у них — революционеры. Среди них первая жена Горького и сын его Максим, ровесник Анастасии Ивановны. Этой дружбе суждено продолжение в далеком будущем, очень важное для Анастасии Ивановны. А Марина пишет революционные стихи. Они в духе времени. Ничто в них не предвещает будущую Марину Цветаеву. Но отрывок из них, приведенный в книге сестры, здесь обязателен:

Не смейтесь вы над юным поколеньем!
Вы не поймете никогда,
Как можно жить одним стремленьем,
Лишь жаждой воли и добра...
Вы не поймете, как пылает
Отвагой бранной грудь бойца.
Как свято отрок умирает,
Девизу верный до конца!..

Отец решается увезти на лето жену и дочерей в так любимую ими Тарусу. Но в Тарусе болезнь матери катастрофически прогрессирует. Она уже и не встает с постели. Медленно подкрадывается к дому, к семье, к девочкам трагедия. Рояль матери замолчал давно.

Над этими страшными страницами продолжает господствовать мощная стихия дочерней памяти. Она настолько отчетлива и ярка, что вместе с рассказчицей читатель приобщен и к событиям и ко всему пережитому дочерьми в эти последние, считанные дни их детства в июле 1906 года, — так густо и плотно насыщены эти страницы ничем не прикрашенной правдой горя, испытанного дочерьми, отцом, всеми окружающими. Горе дочерей стыдливо и замкнуто в себе. Оно ничем не выдает себя на людях. Целомудренная гордость не выносит, когда кто-то чужой причитает около: «Ах, сиротки!..» Все внешнее ненавистно им. Здесь рассказчица поистине безжалостна и к себе самой. Она рассказывает и о том, как в церкви на отпевании она, словно затравленный звереныш, высунула язык в ответ на чье-то молчаливое сочувствие. Величие детского горя свидетельствует, может быть, о состоянии шока души, еще и не вобравшей в себя огромности утраты. Такой шок может продлиться и долго. Назвать его «защитным» нельзя. По-своему он стоит и слез и открытого рыдания, но еще более невыносим, еще горше сгибает плечи, принижает и старит осиротевших, выключает их из обычной среды, из общества себе подобных.

Рассказом о смерти матери Анастасия Ивановна завершает рассказ о детстве своем и старшей сестры — самую большую часть книги.

В одной из глав ее отрочества мы читаем: «Я лукаваю. Я спрягаю прошедшее время, поддельваясь под явь дней. Но тот день не прошел — разве он мог пройти? То четырнадцатилетие, прислушивающееся к своему круглому, как рай, счастью — потому и не могло быть в тот час до дна вглотнуто, что оно не имеет дна. Потому оно так и томил — бездонность (и дожило нерушимо в памяти до глубокой старости), что даже и в четырнадцать лет сердце не могло справиться с ним. Но тот час — и е р у ш и м и вечен, у него нет имперфекта. У Латыни вечности одно время: оно — *Semper Udem*».

У каждого поэтического творчества свой образ времени. Признание Анастасии Цветаевой в высшей степени индивидуально. Но сверх того оно созвучно и нашему, людей конца XX века, представлению о времени и природе времени. Это представление сложное. Оно воспитано всем современным научным (физика, математика) знанием о континууме пространство-время как четырехмерной вселенной. Наверно, Анастасия Ивановна и не помышляла о таком толковании ее слов. Она не философ, тем более не математик, не физик. Она поэт и только поэт, и только женщина, прожившая нелегкую жизнь. Но разве этого мало?

Двадцатипятилетний Пушкин выкинул как яркий вымпел свой образ времени в стихотворении почти шуточном: «Ямщик лихой, седое время, везет, не слезет с облачка».

Лихой ямщик, хоть он и сед, все же никак несоотносим с античным Хроносом и того менее с четвертым измерением. Уже о таких материях он и слыхом не слыхал! Скорее он сродни бесчисленным ямщикам русской поэзии — Вяземский, Некрасов, Полонский, Тургенев, Блок... Но именно такой образ времени возник у Пушкина в один из дней его тревожной скитальческой юности.

Я решился отклониться в сторону от непосредственной темы статьи, чтобы показать образ времени у Анастасии Цветаевой, не только автора воспоминаний, но и художника слова. Ее *Semper Udem* (всегда тот же или, по отношению к ней, та же) отражает конфликтность мировоззрения, преодо-

левающую огромность временных расстояний, сближает ее сегодняшнюю с четырнадцатилетней. В этом своеобразии и цельность ее книги. А употребляя ее терминологию — **н е р у ш и м о с т ы!**

Тоном высокого напряжения насыщен ее рассказ об отрочестве и юности двух сестер. Когда-нибудь Марина Цветаева воскликнет: «Гудят моей высокой тяги лирические провода...». Эти строки могли бы стать эпиграфом к книге младшей сестры: у них обеих одинаково владение ритмом времени музыкального, нерасторжимого с временем историческим, спорящего с ним и самозабвенно мирящегося.

Многое узнаем мы из последующих страниц. Не все удается хотя бы коротко зарегистрировать. Тут и гимназия, гимназические подруги, и появление первого «настоящего» поэта на горизонте девушек. Это Эллис, друг Андрея Белого, переводчик Бодлера, московский чудак. Он оказался первым, кто делает предложение руки и сердца старшей сестре и отвергается ею. Отвергнут и второй претендент, ученый-эллинист, переводчик Гераклита Нилендер.

Все это движется в непрерывном потоке. Сила жизни, несущая двух сестер на своей крутой волне, действительно преодолевает на пути все, в том числе и время, его сроки. Анастасия Ивановна боится штампованного выражения «безоблачная пора участия». Но никогда не откажется от него. На то и юность, интенсивно пережитая и обретенная заново в книге! На то и ощущение времени, путающее грамматические формы русских спряжений и времен! Оно заставляет автора быть всегда в настоящем!

На катке Анастасия Ивановна встречается со своим будущим первым мужем, Борисом Трухачевым.

В Крыму, в Коктебеле, в доме Максимилиана Волошина, который тоже оказался в числе первых поэтов, признавших недоужинность таланта старшей сестры, младшая знакомится и с ее избранником, будущим мужем, Сергеем Эфроном. Это самый разгар юности, ее апогей и знойное цветение, в близости моря и солнца. Но слово принадлежит автору:

«**М а р и н а** рядом! Марина? Это — Марина? **М а л ь ч и ш к а!**

Круто завившиеся, выросшие с Москвы кудри... тронутые золотом солнца, кожа кафра, лицо, шея, руки, ноги от колен голые (тоже в сандалиях) после городских каблучков, но что сандалии!.. **ш а р о в а р ы!**»

мальчишеские, широкие — Марина сейчас моложе меня...»

В книге много иных портретных описаний сестры, ее глаз, выражений лица, походовки...

В юности сестер было и другое, противоположное безоблачности и счастью. Была дикая травля ученого-историка Ивана Владимировича Цветаева со стороны тогдашнего царского министра народного просвещения Шварца, карьериста и малодушного человека. Иван Владимирович был облыжно обвинен в неряшливом хранении музейных сокровищ. Травля была услужливо поддержана желтыми, черносотенными газетами. Ученому удалось отбить эту провокацию. Но старость его была омрачена, полна бессмысленных тревог. Младшая дочь и здесь остается добросовестным летописцем, она пронизательно угадывает подоплеку травли, ее политическую окраску.

Когда наступает торжественный день открытия музея, отец окружен и друзьями — ближайшими его сотрудниками, и всей университетской профессорской знатью, и множеством москвичей-поклонников, так долго ждавших открытия музея. Старшая сестра дарит отцу от себя лично золотую медаль с вычеканенной на ней датой, младшая преподносит ему букет роз.

В последних главах, посвященных юности, много рассказано о растущей известности Марины, о совместных публичных выступлениях двух сестер, в унисон читающих стихи старшей.

Рассказано о смерти Льва Толстого в 1910 году, о путешествии сестер (восемнадцать и шестнадцать лет) в Тулу и в Ясную Поляну. Они затеряны в многотысячной толпе русских людей всех возрастов, прощающихся с великим писателем.

О смерти отца в 1913 году сказано коротко — одной строкой, и это последняя строка юности обеих сестер.

Мы вместе с автором в 1927 году. Но разрыва в книге не чувствуется. Тридцатитрехлетняя Анастасия Ивановна — все та же Ася, с какой читатель расстается, когда ей было девятнадцать лет. Но куда девались сильно разветвленные синтаксические периоды чуть ли не вполстраницы, когда читателю вместе с автором невозможно перевести дыхания — настолько вовлечен он в неистовую речь рассказчицы, в ее вихревой ритм? Неистовая речь стала истовой. Добротная русская проза стала доверительной, а не исповедной.

Анастасия Ивановна с двадцать четвертого года работает в отцовском музее как научная сотрудница — и кому же как не ей работать здесь! Но рассказ ее будет о другом.

Она увлечена творчеством Горького. Заново открыла для себя писателя, его мощное дарование. Между нею и Алексеем Максимовичем завязывается переписка. В результате Горький зовет ее приехать к нему на Капри, в Сорренто. Музей и Наркомпрос командироват дочь основателя музея в Италию для изучения музейных сокровищ, в первую очередь скульптур: мрамора, бронзы.

Вот она в доме у Горького. Она и любит Горького и любит его им. Благодаря самому Горькому отношения между ними сердечны и просты. Но дистанция соблюдена самой рассказчицей. И снова она мастер портрета. Одни портреты сделаны бегло, другие выписаны тщательно. Это разглядывание, взглядывание, угадывание сущности писателя.

Горький вырастает как сердечный человек и гостеприимный хозяин. В то же время рассказчица замечает его сдержанность, строгость к другим, как и к себе. Он скромный. Мировая слава не тяготит его: он привык к ней, к тем обязательствам, которыми она его обременяет: чудовищно огромная переписка.

Живые наблюдения автора книги важнее и по-своему мудрее любого другого ретроспективного мудрствования. Еще раз надо повторить: мир всей этой книги раз навсегда остается волшебным и расколдованным благодаря пронизательности автора. Не переставая быть добросовестной очевидицей, она перестраивает и налаживает мир на свой страх и лад. И поблагодарим ее за это!

Вот и последняя часть книги — последняя в жизни встреча двух сестер. Они прошли рука в руке и плечом к плечу по четыреста пятидесяти страницам книги. О чем же напоследок рассказано? Прежде всего о бедности, если не о нищете семьи, состоящей из жены, мужа, сильно выросшей дочери и маленького мальчика — сына. О прославленном парижском предместье Медон, где когда-то, в XVI веке, Франсуа Рабле был приходским священником.

Круглое одиночество Марины Цветаевой в русской эмигрантской среде. Единствен-

ный, кто ей остался близким, — Константин Бальмонт — неприкаянный бедняк, как и она. Но одиночество в такой эмиграции неизбежно. Все эти люди разделились на группы и подгруппы. Причина разделения — не только политические разногласия («левизна» и «правизна» во всех возможных оттенках), но и внезапно и необоснованно возникающие личные неприязни, кривотолки в замкнутой среде. Все это обусловлено самой бесперспективностью эмигрантского отрыва от родины. В книге об этом говорится глухо, читаешь между строк, но вспоминаешь и стихи Марины Цветаевой той эпохи, те, что через год вошли в книгу «После России».

А сами сестры являют собою по-прежнему редкостное единство. Умудренные горьким жизненным опытом, они равны одна другой, понимают одна другую с полуслова, а то и в молчании. Младшая напряженно вслушивается в горестные стихи старшей:

Уж немногих я зову на ты,
Уж улыбки забываю важность...
То — вдоль всей голосовой версты
Разочарования протяжность.

У этих стихов в пору встречи сестер пятилетняя давность; на столе Марины — другие, те, что мы знаем по книге «После России».

И вот последнее прощание сестер:

«Я подхожу к Марине. Улыбаемся. Рукопожатия. Чинный, бережный поцелуй.

Потупленные глаза. В висках от страха себя — молот.

Два голоса, теплые, вежливые слова. В унисон:

— Пиши же...

Мы уже у самой выходной двери. Полутьма. В ее ласке я переступаю порог».

Анастасии Ивановне осталось досказать немного. Например, о встрече с советским пограничником, красноармейцем, который справляется о Горьком, о его здоровье, о том, когда Горький вернется в Советский Союз.

На этом я могу кончить отклик на эту книгу, сразу же разошедшуюся во всех книжных магазинах. По художественной и познавательной ценности, по богатству материала, ставшего историческим и в буквальном смысле слова и в самом широком, книга А. Цветаевой заслужила такую популярность.

Павел АНТОКОЛЬСКИЙ.

СОПЕРНИКИ? СОЮЗНИКИ?

Б. С. Мейлах. На рубеже науки и искусства. Л. «Наука». 1971. 248 стр.

Историк литературы, как правило, подробно останавливается на условиях, в которых создавалась оцениваемая книга. Рецензенту это делать вовсе не обязательно. Однако для работы Б. Мейлаха, посвященной десятилетнему спору о взаимоотношениях творчества научного и художественного, необходимо сделать исключение. Иначе читатель, не следивший специально за ходом дискуссии, вряд ли сможет оценить своеобразие момента в обсуждении проблемы. А состоит это своеобразие прежде всего в том, что спор выдохся. Два лагеря, возникшие более десяти лет тому назад, перебрали все возможные гипотезы, высказали друг другу самые весомые свои аргументы, излили основные запасы накопленной иронии и, убедившись, что штурмом данной крепости не одолеть, тихо отступили для подготовки систематической осады.

«Самый факт вторжения точного знания в нашу область настоятельно требует, чтобы мы заново и со всей логической определенностью, используя последние достижения самых различных научных дисциплин, ответили сами себе на многие кардинальные вопросы. Что такое творчество? Что такое художественность? Как относятся между собой модель и метафора?» («Литературная газета», 1972, № 1). Так ставятся вопросы в наши дни. В начале дискуссии они представлялись достаточно ясными. И вот на них приходится искать ответы «заново»! Что ж, увидеть проблему там, где раньше все казалось ясным, это немалый шаг вперед.

В доведении споров до конца прежде всего заинтересовано искусство. Многие материалы, приведенные в книге Б. Мейлаха, остро напоминают об этом. Пойдем за логикой ее рассуждений, вникая в настоящие вопросы, сомнения и гипотезы.

Автор приводит суждение, модное среди иных «физиков»: «Мы живем творчеством разума, а не чувства, поэзией идей, теорией экспериментов, строительства. Это наша эпоха. Она требует всего человека без остатка, и некогда нам восклицать: ах, Бах! ах, Блок! Конечно же они устарели и стали не в рост с нашей жизнью. Хотим мы этого или нет, они стали досугом, развлечением, а не жизнью...» Повернулся ли бы язык даже у самого запальчивого «ли-

рика» сказать что-либо подобное о науке? Да если бы и повернулся, с ним не стали бы спорить, настолько это несерьезно. А вот жизненную важность искусства (как приятное времяпрепровождение, как «привесок интеллигентности» искусство признается всеми) доказывать приходится. И достаточно часто. И вполне интеллектуальным людям. При этом выясняется, что логические доводы в пользу жизненной важности искусства приводятся достаточно скромные:

«И в космосе нужна будет ветка сирени»...

Нужна? Да. Но обязательна ли?

«Искусство дает всестороннее, гармоническое развитие»... Но сначала надо еще доказать, что «всестороннее» нужно, что «всестороннее» возможно, что «всестороннее» лучше.

Доктор физико-математических наук Б. В. Войцеховский не только не играет, как Эйнштейн, на скрипке, но вообще не любит музыки. И живописи. И кино. Не смотрит телевизора. Далек от спорта. Все его время без остатка отдано науке. Но тем не менее он — личность, он — цельный человек, он — творец. И людям от него в миллион раз больше пользы, чем от тех, кто, занимаясь всем понемножку, ни на чем по-настоящему не сосредоточивается. Так что надо еще доказать, что будущее принадлежит не таким, а «всесторонним», «гармоническим». Пока не доказано.

И. Эренбург приводил иной довод: «Знания развивают в человеке способность мыслить, искусство учит его глубоко чувствовать». А обязательно ли человек должен быть «глубоко» эмоциональным? А вдруг спокойная мудрость есть нечто высшее? Недаром ведь во многих философских системах вершиной счастья считается отрешенность, покой, бесстрастность. Это во-первых, а во-вторых, интеграл «холоден и бесцветен» только для непосвященных.

Малоубедительными оказываются при строгом анализе и ссылки на важность для ученого фантазии, темперамента, образного и ассоциативного мышления, которые развивает в ученом искусство. Надо еще доказать вначале, что наука не в состоянии их развить в достаточной (для научной деятельности) мере. К тому же подобные доводы превращают искусство в нечто

вспомогательное, в своеобразное удобрение для научной нивы. На признание важности этой функции искусства ученые идут как раз очень охотно. Но искусство при этом «возвышается» не больше чем до уровня служанки науки, призванной давать разминку мозгу ученого и занимательно популяризировать его открытия среди «широких слоев населения».

Часто целью искусства называют выражение эстетического отношения к миру. Допустим, это так, но зачем нам вырабатывать такое отношение? Формулировка вводит новое словесное звено между вопросом и ответом, не продвинув нас реально вперед. Увы, природа, смысл, назначение эстетического — об этом у нас дискуссионно было ничуть не меньше, чем о взаимоотношениях искусства и науки. Ответа, который можно было бы не стыдясь привести в аудитории, заполненной представителями точных и естественных наук, так и не найдено.

Когда-то в ходе споров между «физиками» и «лириками» неясность основного, исходного для искусствознания вопроса хорошо подчеркнули студенты-филологи в письме к своим «коллегам» из физико-технического института: «...дело ведь не только в том, что многие из вас недостаточно хорошо знают искусство, а в том, что далеко не все представляют, зачем нужно знать искусство. Для обшей эрудиции только? Или только для эстетического удовольствия? Вообразите инженера, читающего на досуге стихи Пушкина, а не киснущего за карточным столом. Не правда ли, хорошо! Мы искренне разделяем ваш восторг по этому поводу, но не снимаем своего вопроса: зачем?» Действительно, зачем? Пора наконец дать вразумительный ответ. И не только для того, чтобы математики и ботаники перестали поглядывать свысока на поэтов, чтобы внимание к развитию и пропаганде искусства пришло в соответствии с его ролью в жизни общества, это нужно для развития самого искусства, для правильной ориентации художников, для выработки критериев оценки художественного творчества, соответствующих его внутренней природе.

Еще большее значение проблема, которой посвящена книга Б. Мейлаха, имеет для прогресса науки.

По свету гуляет версия, согласно которой непонимание между учеными и поэтами — последствие бурного скачка науки и

техники, в то время как искусство в лучшем случае движется вперед прежними темпами, что непонимание это — плод разногласий между искусством и наукой. Это явное недоразумение.

Значит, слабые крылья —
Наши сладенькие ямбы...

Даже если согласиться с подобной оценкой современного искусства, то гегемонии науки в жизни людей XX века она не объясняет и не подтверждает.

«Наши» ямбы... Ну, а пушкинские? Они что, тоже отменяются научными достижениями? Вроде бы нет. Есть подозрение, что, каких бы космических скоростей ни достигла наука, «обогнать» старика Гомера ей не удастся — они движутся в разных плоскостях. А в том, что мы до сих пор не разобрались по-настоящему в специфике искусства и его назначении, «лирики» не повинны. Для этого есть философы, психологи, искусствоведы, социологи. Разрыв есть, но между науками естественными и гуманитарными. Между науками, а не между наукой и искусством!

Велика необходимость нашего проникновения в глубинные механизмы научного и художественного творчества. Как возникло психическое, в чем принципиальные отличия механического, автоматического (в частности, кибернетического) отражения от субъективного, психологического, какова диалектика разума и души, мышления и эмоций, понимания и отношения — это лишь небольшой перечень проблем, которые можно разрешить, только разобравшись во взаимоотношениях науки и искусства.

Иными словами, от разрешения проблемы десятилетней дискуссии, привлекая пристальное внимание Б. Мейлаха, зависит «скорость» развития большой группы наук, сроки ликвидации односторонности прогресса современной науки со всеми вытекающими отсюда практическими социальными и духовными выводами, которые слишком долго пришлось бы перечислять.

Нетронутые золотоносные жилы ученые, как правило, находят в наше время на стыках наук. На стыке науки и искусства таются неоткрытыми целые Атлантиды. В этих условиях появление книги «На рубеже науки и искусства», книги, в которой дается обстоятельный, вдумчивый обзор десятилетних споров о взаимоотношениях творчества научного и художественного, излагаются противоречивые точки зрения,

намечаются пути дальнейшей разработки проблемы, пути практического сближения ученых и художников, не может не стать явлением заметным и принципиальным.

Трудность воссоздания картины дискуссии, столь долго волновавшей Европу и Америку и столь пестрой по составу участников, очевидна каждому. Тем не менее книга достаточно рельефно и детально рисует нам эту картину. Более того, в ней дается и краткий обзор «предыстории» этой дискуссии. Гераклит обличал Гесиода за невежество, Платон скорбел о каком-то разладе, издавна (!) установившемся между философией и поэзией, а Аристотель мечтал о грядущем слиянии искусства и науки во «всеобщей мудрости».

Тем, кого лишает сна вопрос: что же, в конце концов, «главнее», наука или искусство? — небезынтересно будет узнать, «почем» была поэзия в прежние времена. Прямо скажем, прейскурант лихорадило. Базаров, если помните, брал за коэффициент цифру 20 («Порядочный химик в двадцать раз полезней всякого поэта»). Лейбниц расценивал поэзию всего в 7 раз дешевле науки, Ньютон соглашался только на бросовые цены («Поэзия — просто ерунда»). Исходя из этой арифметики, можно утверждать, что инженер и математик И. Полетаев, отведший в наше время искусству роль затаенника, будет поставлен историей где-то между Ньютоном и Лейбницем.

Действительно ли наука и искусство развиваются за счет друг друга, или возможно плодотворное, деловое их сотрудничество? Как достичь подобной гармонии? Эти вопросы стояли и в центре дискуссии, охватившей почти весь капиталистический Запад с выходом книги Ч. Сноу «Две культуры и научная революция», и в центре споров, которые одновременно, но независимо вспыхнули у нас в форме острой, хотя и несколько поверхностной полемики между «физиками» и «лириками».

С точки зрения новизны информации наибольший интерес явно представляет глава о спорах вокруг книги Ч. Сноу. Вряд ли многие из нас имели возможность следить за материалами, выходящими на английском, немецком и итальянском языках. А из материалов этих можно почерпнуть множество интересных соображений и поучительных фактов.

Ч. Сноу был глубоко озабочен растущей пропастью между научно-технической «культурой» и «традиционной», гуманитар-

ной. Крупные ученые, обладающие широтой взглядов и интересов, по его мнению, сейчас исключительная редкость. Большинство из них на вопрос, какие книги они читают, скромно признавались: «Я пробовал читать Диккенса», причем в их устах это звучало так, как будто Диккенс — таинственный, сложный писатель. Это с одной стороны, а с другой: «Очень часто мне приходилось бывать в обществе людей, которые, согласно стандартам традиционной культуры, считались высокообразованными людьми и которые охотно рассуждали о невежестве ученых. Однажды, задетый этим, я спросил их, могут ли они рассказать о втором законе термодинамики. В ответ было холодное отрицание. Но ведь я спросил у них нечто эквивалентное в научном смысле вопросу: «Читали вы Шекспира?»

В общем-то, симпатии Сноу на стороне ученых: он убежден, что именно научная культура — настоящая, и не только в интеллектуальном, но и в общегуманистическом смысле. «В этих людях заложено будущее». Да и причину-то раскола Сноу видит в том, что «интеллектуалы» не поняли научно-технической революции, отстали от нее и превратились в «настоящих луддитов». Устаревшая же система образования, закостеневшая на старых идеалах, продолжает усугублять разрыв. Очень влияет и растущая профессиональная специализация, приводящая к полному отчуждению, трагическому одиночеству индивидуума, с которым опять же гуманитарии смирились, а ученые ведут борьбу.

Зарубежные оппоненты Сноу, восставая против оценок культур, обычно соглашались с объяснением причин раскола и путей преодоления его (из которых самый «радикальный» — улучшение системы образования), за что их вполне резонно критикуют наши авторы, подчеркивающие, что дело не просто в научно-технической революции и опережающем развитии точных и естественных наук, а в самой системе общественных отношений при капитализме. Дискутирующие ведут речь о науке и искусстве без каких-бы то ни было оговорок, а имеют в виду вполне определенный (и достаточно деформированный притом) исторический этап их развития.

Вряд ли есть право говорить от лица Науки у буржуазной кастовой «профессорской» науки, науки уродливо однобокой, в которой неимоверный взлет естественных, точных и технических знаний сочетается с

фантастической дикостью в понимании законов социальной и духовной жизни человечества. Да и современное буржуазное искусство, погрязшее в значительной массе в мелкотемье, в пошлости, бессмысленности, манерничанье, тоже отмечено печатью ущербности и безвременья. Однако вряд ли было бы правильно все сводить к противоречиям капиталистического строя.

В Древней Греции капитализма не было. Раскол на «физиков» и «лириков», отмечаемый в нашей стране, тоже говорит о многом. Видимо, в самой природе научного и художественного познания, в их специфике и функциях таится определенный антагонизм, который, прежде чем вести речь о путях его нейтрализации, нужно вскрыть, осознать, четко сформулировать. В этом отношении особое внимание к теоретической, гносеологической стороне вопроса, которое проявляется в книге «На рубеже науки и искусства», вполне обосновано.

История наших внутренних дискуссий и научных симпозиумов на эту тему известна несравненно более. Наверняка у автора в связи с этим были даже колебания, стоит ли ее излагать детально, к тому же с включением в научную книгу материалов массовых споров. Опыт книги показывает — стоит. Давно известно: если имеешь дело с большим количеством противоречивых фактов, то простое расположение их в определенной последовательности может подвести к очень интересным выводам и обобщениям.

Когда к проблеме взаимоотношений научного и художественного познания подходишь чисто теоретически, абстрактно-логически, в ней не видишь ничего особенного — одна из многих серьезных, не изученных пока до конца проблем, не больше. И почему-то кажется, что разрешить ее не так уж трудно — стоит только проявить равномерное уважение и к науке и к искусству. Ведь мы, в общем-то, представляем, что они такое по отдельности. Придется, конечно, кое в каких частностях разбираться. Так ведь тысячи ученых именно этим только и заняты. Вот-вот все станет на свои места и в головах наших и в самой жизни. Но, столкнувшись с историей споров вокруг проблемы, прикинув, сколько великих умов билось над ней, поражаешься: с какой все-таки железной последовательностью из века в век опровергаются и вновь возрождаются одни и те же «нелепости» (с точки зрения абстрактной логи-

ки), — и постепенно сквозь кисею школярских «дано» и «требуется определить» начинает проглядывать загадочный сфинкс. По отдельности в сфинксе ведь тоже все просто и очевидно. Тело у него как у льва. Обычного, того, который покорно сидит в клетке любого зоопарка и детально описан Бремом. Голова — как у человека. Обычного человека — как вы, я или любой наш знакомый. Стоит так увидеть сфинкса — и можно, позируя фотографу, садиться на него верхом. А можно увидеть не человеческую голову плюс львиное тело, а именно сфинкса, и тогда замираешь перед ним как перед чудом, как перед тайной, раскрыв которую, мнится, приблизишься к пониманию смысла жизни, вечности или еще чего-то столь же важного.

В азарте текущих полемик так взглянуть на проблему невозможно. Книга, подобная рецензируемой, в этом отношении незаменима. Она будит мысль, подталкивает к дальнейшему осмысливанию и разработке большого комплекса вопросов.

Из этого, однако, не следует, что книга носит фактологический, сугубо информационный характер. Бережное, уважительное изложение самых различных точек зрения, высказывавшихся в ходе дискуссий, сочетается в ней с интересными авторскими выводами и комментариями.

Чрезвычайно важным является выступление Б. Мейлаха против отождествления точных и естественных наук с наукой вообще, с которыми мы встречаемся за последнее время сплошь и рядом. Какой-то острослов, противопоставляя естественным наукам гуманитарные, назвал последние «противоестественными». Но «противоестественна» лишь недооценка дисциплин, изучающих «закономерности общественного развития, сущности жизни с философской точки зрения, возникновение и смену общественных формаций, историю культуры, литературы, искусства». А ведь именно гуманитарные науки, став в полном смысле слова наукой, могут соединить в нечто цельное красоту и истину, естественные науки и искусство!

Принципиальным и своевременным кажется мне предостережение не забывать о познавательной природе искусства. Думается, что входящие в моду идеи «полифункциональности» искусства способны только сбить нас с толку, растворив смысл и назначение искусства в сумме второстепенных, производных функций — коммуни-

кативной, просветительной, гедонической и т. д.

Горячо и последовательно отстаивая сближение науки и искусства, Б. Мейлах убедительно выступает против идеи так называемого «слияния»: «Примитивное, буквальное понимание «слияния» науки и искусства может превратить художественное произведение в иллюстрацию к умозрительным истинам, образы героев — в схематические аллегории, типизацию — в подбор «примеров» для готовых всеобщих определений. Опасность немалая».

Не менее существенные и интересные соображения встречаются и в разделе о вторжении науки в литературу, и при разговоре о «резервах искусства», и при попытке прогнозирования взаимоотношений искусства и науки в будущем, и там, где раскрываются поэтические возможности компьютеров...

Тем не менее нельзя не констатировать, что в целом ряде моментов на теоретические поиски автора время все-таки наложило свою печать. Кардинальные вопросы, о которых мы говорили вначале, в их прямой постановке Б. Мейлах обходит почти демонстративно.

«Плодотворные результаты будут достигнуты, как мне представляется, если от таких самых общих сопоставлений (общих признаков науки и искусства.— А. Н.) совершится переход к скрупулезному анализу различных типов мышления»... — вот, пожалуй, авторское кредо, отражающее и проблематику серии симпозиумов, проводящихся по инициативе Комиссии комплексного изучения художественного творчества АН СССР, которую Б. Мейлах возглавляет, и структуру книги «На рубеже науки и искусства».

При этом «скрупулезные» изыскания направляются на моменты, с несомненностью сближающие, а не разъединяющие ученых и художников. Такая тактика в момент, когда «шторм унд дранг» на глобальные теоретические твердыни сорвался, без сомнения, вполне разумна. Не случайно она считается обязательной для дипломатов в тех случаях, когда обстановка во время международных переговоров слишком накаляется и становится ясно, что по главным пунктам единство недостижимо.

Определив цель искусства как формирование «эстетического отношения человека к действительности», Б. Мейлах, однако, не раскрывает данное, ключевое для всех спо-

ров понятие. Обойдя это «разъединяющее» художественное и научное творчество определение, он переходит к «скрупулезному анализу» более частных проблем. В частности, напоминает, что искусство не только вырабатывает эстетическое отношение к действительности, но «всеми своими качествами способствует также и развитию собственно научного познания мира».

Значительная часть книги посвящена раскрытию этого тезиса. Напомнив известное высказывание Эйнштейна о том, что Достоевский дает ему «больше, чем любой научный мыслитель, больше, чем Гаусс!», Мейлах проводит интересное исследование влияния Достоевского на научное мышление Эйнштейна, доказывая, что творчество гениальных художников протекает не параллельно глобальным поискам ученых, не остается чем-то внешним для этих поисков, но становится частью научных исканий, прямо способствуя «углубленному познанию и освоению окружающего мира», переходу его на новые уровни диалектичности, полифоничности, осмысленности.

Автор приводит интересные факты и соображения, которые, без сомнения, привлекают внимание самых предрасположенных представителей естественных и точных наук, докажут им важность, полезность для них искусства. Но, увы, все-таки мы этим убеждаем только в его полезности, а не в обязательности.

К тому же дотошные «физики» способны поставить под сомнение бесспорность подобных доказательств. Такие корифеи литературы, как Достоевский и Л. Толстой, без сомнения, поднимают культуру мышления на новый уровень, однако всем известно, что они были не только гениальными художниками, но и крупнейшими мыслителями, философами, эрудитами. В живой ткани их произведений одно от другого отделить, разумеется, невозможно, но не логично ли предположить, что «новый уровень мышления» идет в данном случае от логических, аналитических способностей писателей, которые вполне могли проявиться (и проявлялись) в трудах научного характера? В связи с этим возникает предположение, что новых уровней мышления можно было все-таки достигнуть и идя чисто научным путем.

Накопление материалов, скрупулезно анализирующих отдельные вопросы взаимоотношения науки и искусства,— чрезвычайно важное, верное дело. Тут налаживаются

живые контакты, вырабатывается общий язык, исчезает предрешенность, собираются факты, наблюдения, обобщения, которые не потеряют ценности в любом случае. Но вряд ли следует, изучая деревья, забывать о лесе. Факты, как известно, можно копить до бесконечности. Сами по себе обобщающие идеи из них не возникнут, для этого нужны особые поиски.

Наука дает понимание объективных закономерностей, причин и следствий, не зависящих от нашей воли, наших пристрастий, симпатий, желаний. Мировоззрение состоит не только из понимания мира, но и из отношения к нему, которое лежит уже в сфере идеологической, ценностной. И то и другое нам одинаково важно, жизненно необходимо. Между наукой и искусством, взятыми абстрактно, нет антагонизма, но это принципиально отличаю-

щиеся по своей природе и роли в жизни общества явления. Они могут гармонически объединиться, но прежде им полезно «решительно размежеваться» — выявить свои особые функции, свои особые законы.

Совместное обсуждение проблем представителями точных, естественных и гуманитарных наук таит в себе огромные возможности. Очень бы хотелось вынести на него проблемы не только заведомо объединяющие, но и «разъединяющие», в частности и такие, как наука и идеология, ценность истины и истинность ценности, красота и польза...

Книга Б. Мейлаха подводит итог десятилетним дискуссиям о взаимоотношениях науки и искусства. Думаю, что она одновременно открывает новый этап, еще более интересный и плодотворный.

А. НУЙКИН.

★

МОНОЛОГ О ДИАЛОГАХ

Валентина Ивашева. Английские диалоги. Этюды о современных писателях. М. «Советский писатель». 1971. 551 стр.

Валентина Ивашева, известный специалист по английской литературе, автор многих книг и статей, недавно опубликовала свою новую книгу «Английские диалоги». В ней собрано 14 литературных портретов современных английских писателей, как тех, кто хорошо известен нашим читателям, подобно Грэму Грину, Чарльзу Сноу, Сиду Чаплину, Алану Силитоу, Джону Уэйну, Джеку Линдсею, так и тех, знакомство с которыми еще только начинается (Памела Хэнсфорд Джонсон, Айрис Мердок, Уильям Голдинг, Норман Льюис, Бэзил Дэвидсон), и тех, кто нам пока малознаком (Десмонд Стюарт, Реймонд Уильямс, Уильям Купер). Книга сообщает нам много интересного, ранее неизвестного, но этим не ограничивается ее содержание.

«Английские диалоги» — книга неожиданная своей жанровой свежестью: в основе каждого портрета — личное знакомство, разговоры и переписка автора с писателем, которому посвящен портрет, рассказ о нем, отталкивающийся от личных впечатлений, все это перемежается биографическими данными и критическим анализом произведений и даже высказываниями героев книги друг о друге. В ней обильно цитируются письма писателей к В. Ивашевой, описываются недоразумения и размолвки, зада-

ются вопросы, ответы на которые еще висят в воздухе. Это не книга итоговых оценок, да их и не может быть, когда все «действующие лица» еще благополучно здравствуют и продолжают писать новые романы, которые развивают уже написанные или противоречат им. Это, если можно так сказать, поперечный разрез процесса, еще длящегося. При такой установке меньше всего может быть поставлено В. Ивашевой в вину, если будущее героев ее книги опровергнет ее размышления и догадки: неожиданности живой жизни ценнее рассчитанных схем развития. И то, что иногда автор, не умея сдерживать чувств, сердится на своих героев, чем-то обманувших ее ожидания, или нетерпеливо ищет объяснения возникшей перед ней загадки в общественном поведении или работе одного из них и находит его или не находит, — все эти обертоны «личного отношения» углубляют факты, которые, будучи сообщены нам бесстрастно, «со стороны», произвели бы иное, и может быть неверное, впечатление. В рассказе о писательской судьбе на первый план выходит самая захватывающая и трудноразрешимая проблема: почему писатель переходит от одной книги к другой, от той к этой, — то, что часто кажется совершенно неожиданным,

если знать только внешние факты и даты биографии, а не ее внутреннюю логику.

Характер писателя сказывается и на выборе темы, и на разработке сюжета, и на манере письма, но этот характер сказывается также и на том, что любит писатель в жизни, кто его друзья и какие книги стоят у него на полках. Тут остается верным простое жизненное правило: поступок, кажущийся нам непонятным издали, делается объяснимым при личном знакомстве. Поступки писателя — это прежде всего его книги, и отличие подлинного биографа от сочинителей биографических репортажей желтого пошиба, распространенных на Западе, в том, что первый описывает историю книг (и их предысторию, разумеется), а те повествуют больше всего о промежутках между книгами. Но в том-то и дело, что у настоящего художника промежутков не бывает: они мнимы, даже если выход одной книги от другой отделяется годами. Творчество по самой своей сути непрерывно, и если это понято биографом, то и описание бытового фона жизни, привычек и прихотей, хобби и путешествий не самоцельно, а служит объяснению главного, то есть процессу создания книг. Хорошо, что подробности быта, личных мелочей и попутных увлечений в «Английских диалогах» не нейтральны, не вписаны «для оживления», не «развлекательны», так сказать, а важны по существу автору для ее рассказа, где самое интересное все-таки не география провинциальной Англии, не коллекция одного, библиотека другого или путешествия третьего, а, во-первых, вторых и третьих, литература и те, кто ее создает.

Если говорить о жанре «Английских диалогов», то он не совершенно нов и книга В. Ивашевой имеет предшественников. Можно вспомнить многие очерки К. И. Чуковского, где мемуарный рассказ о писателе сочетается с критическим анализом и историческим обобщением, или близкую по типу замечательную книгу Сергея Третьякова «Люди одного костра». В «Людах одного костра», в очерках-портретах Бертольта Брехта, Иоганнеса Бехера, Андерсена Нексе, Джона Хартфильда и Грегора Гога — тоже личный рассказ от первого лица о знакомстве с оригиналом портрета на характерном для него реальном бытовом фоне, диалог и анекдот, и география «миттель-Европы» — Австрия, Германия, Дания в годы утверждения фашистского режима, — и, главное, личная интонация рассказ-

чика, его заинтересованность, его мышления.

Конечно, есть и разница. Книга С. Третьякова, как о том говорит ее название, — книга только о друзьях, о тех, кто в грядущих боях, предчувствие которых остро пронизывает всю книгу и приносит в нее запах гари, железа, хлорки лагерных барачков, запах войн, репрессий и изгнания, будет стоять рядом плечом к плечу. «Английские диалоги» — книга не столько о друзьях, сколько о добрых знакомых, о разновременных попутчиках в эпоху мирного существования. Естественно поэтому, что отношение В. Ивашевой к ее героям сложнее и более насыщено оттенками и контрастами. С этой точки зрения, пожалуй, задача В. Ивашевой труднее и неблагодарнее и угроза ошибок и просчетов вполне весома. В отличие от очерков-портретов «Людей одного костра» у нее в основе почти каждого очерка — спор. К счастью, это не тот спор, где собеседники не слушают друг друга и твердят каждый свое, где аргументы и доводы не перекрещиваются, а идут параллельно, то есть не условная видимость спора, его инсценировка, стремящаяся на всех парах к спасительным формулам-ярлычкам, а спор, у которого не всегда бывает конец, спор, который может повернуться неожиданно и закончиться непредусмотренным образом.

Говоря о сочетании в писательской жизни поступка и литературного труда, С. Третьяков с чисто романтическим пафосом восклицал: «Право же, любое приключение в жизни человека есть отрывок какой-то ненаписанной повести, а гневный абзац его романа не менее пламенен, чем взволнованный румянец на его щеках». Это очень верно для книги С. Третьякова, это верно для книги В. Ивашевой, и это будет верным для всех, кто пишет о людях творческого труда.

Закономерно ли, что рассказ о литературе почти всегда превращается в рассказ о писателях, то есть о тех, кто эту литературу создает? Как известно, Г. Флобер страстно отрицал право на интерес к личности писателя, но само творчество Флобера трудно объяснить в целом без раскрытия его биографии. В разные периоды истории литературоведения стремились устранить личностно-биографический элемент разные школы — от опоязовского «формализма» до современных дисциплин, опирающихся на математические методы анализа текста. И все

же при всем блеске отдельных работ этих направлений, самое важное о литературе не может быть сказано без исследования и оценки личности писателя. Человек рассказывает человеку — без этого нет литературы. Человек находится на обоих концах этого процесса, и вне его говорить о литературе невозможно.

В «Английских диалогах» отсутствует тот приторно-апологетический тон, который у нас часто считается единственно приличествующим там, где нет повода для проработки. Джек Линдсей — старый и верный друг нашей страны. Это не мешает Ивашевой признать поверхностность и слабость многих его книг. Так же относится автор к последним романам Грэма Грина «Путешествие с тетушкой» и Памелы Джонсон «Выживает сильнейший». Но В. Ивашева не торжествует над ошибками своих друзей-героев, как иногда это бывает, а искренне огорчена этим.

Будучи в Париже, она несколько раз посетила Г. Грина в его квартире на бульваре Мальзерб, 130, где он теперь постоянно живет, по каким-то своим особым, сложным причинам покинув родину. Как известно, Г. Грин считает себя католиком. Несколько лет тому назад папа Пафел VI пригласил его приехать к нему в Рим. Выяснилось, что папа внимательно прочел многие из романов Грина, но еще больше писатель был поражен, что папа называл своим любимым романом «Власть и славу». Писатель не мог скрыть своего изумления.

— Но ведь «Власть и слава» помещена в Индекс (список запрещенных Ватиканом книг.— А. Г.)!

— Мало ли дураков на свете! — невозмутимо ответил папа и потом засмеялся.

Надо признать, что Г. Грин, вероятно, не до конца «разгадан» автором «Английских диалогов». Но стоит поблагодарить В. Ивашеву за бережное внимание и любопытство, с которыми она подошла к одному из самых противоречивых романистов современности, не торопясь к конечным выводам, для которых, может быть, еще не пришло время. А рассказывает она нам о Грине много нового, интересного. Чего стоит хотя бы этот разговор с папой!

Убедителен и выверен во всех подробностях портрет хорошо известного у нас романиста-ученого Чарльза Сноу. Прочитав его, я захотел перечитать книги писателя. Чарльз Сноу, описанный В. Ивашевой, интереснее и сложнее, чем тот застег-

нутый на все пуговицы писатель, в романах которого среда и место действия заменяют сюжет, а должности — характеры. Таким он предстал из некоторых предисловий к его романам. Волнующая автобиографичность этих книг, вероятно, выпуклее видна при последовательном знакомстве со всей серией его романов, как с ними знакомился английский читатель, а при издании вразброд отдельных книг серии они кажутся иллюстративными.

Сложные отношения у автора книги с Памелой Хэнфорд Джонсон. Тут мы вступаем в атмосферу спора, но он нас захватывает, потому что ведется на серьезном уровне и тоже с большим тактом. Очень интересен и кажется убедительным портрет Айрис Мердок, с талантливым романом которой «Дикая роза» наш читатель недавно познакомился. В сложный драматический мир Алана Силлитоу нас вводит очерк «Уильям Постерс в пустыне».

Не имеет смысла характеризовать все 14 портретов-очерков: меня особенно заинтересовали одни, других читателей — иные. Попутно с изображением писательских судеб широкими мазками набросана историческая и бытовая картина современной Англии с ее причудливым переплетением многовековых традиций и лихорадки сегодняшних острейших противоречий, покоя и перемен, устоев и поисков.

Специалисты по англосаксонским литературам, вероятно, смогут указать автору на какие-либо отдельные неточности или оспорить какие-то оценки и характеристики. Мне хотелось понять, что дает эта книга читателю-неспециалисту. Думаю, что он поблагодарит автора за большую осведомленность и начитанность (которые ей, впрочем, полагаются по специальности), за живое человеческое любопытство как к тому, что прямо входит в тему ее рассказа, так и к тому, что находится «вокруг темы», за обилие информации, как теперь модно говорить, а главное, за отсутствие менторского тона обладателя истины, столь заметного в некоторых работах о западной литературе.

Только одно вызывает у меня некоторое сомнение. Стремясь связать данного писателя с его корнями, то есть родными местами, их традициями, с происхождением и наследственностью, не преувеличивает ли автор «Английских диалогов» влияние земли и рода на характер творчества и образ жизни? Так ли типичен для середины

XX века с ее универсализацией сервиса, с отпусками, проводимыми на другом конце планеты, с активной перепиской через моря и страны, этот все время подчеркиваемый автором якобы нестираемый отпечаток провинциализма, формирующего и характеры и общественные взгляды? Это начинает походить на крайний и наивный детерминизм в духе Ипполита Тэна, который все политические драмы Франции начала XIX века выводил из корсиканского происхождения Наполеона. И с Наполеоном, конечно, все было не так прямолинейно и просто, а уж с нашими современниками, да еще в такой многонациональной стране, как Англия, тем более. Может быть, двойственность и постоянная настороженность Нормана Льюиса, например, объясняются не только «валлийским характером», как пишет В. Ивашева, но и его сложной служебной карьерой, где промелькнули и факультет восточных языков, и Интеллиженс Сервис, и другие роды служб военной разведки? Дома с привидениями и старые кладбища — это очень колоритно и по-английски, но есть в этом и нечто условно-декоративное. Оговариваюсь: портрет Нормана Льюиса хорошо написан и возбуждает большое любопытство к еще мало известным нам произведениям английского романиста (уже после выхода «Английских

диалогов» у нас вышел его роман об Испании «День лисицы»). Но чрезмерное увлечение «землячеством» и «корнями» есть и в некоторых других очерках. Так ли уж это характерно для Англии, вчерашней мировой колониальной империи, и для многих героев книги, которые до того, как стать писателями, порядочно побродили по свету в самых различных амплуа? Нет ли тут чрезмерности, известной стилизации?

В предисловии к своей книге В. Ивашева рассказывает, как в 1965 году Сид Чаплин, уезжая из Москвы, пригласил будущего автора «Английских диалогов» приехать в Ньюкасл и погостить у него в доме, «причем, широко улыбнувшись, добавил: «Надо же вам изучить лису в ее норе — the fox in his den. Приезжайте-ка, а...» Вот из этого разговора и родилась мысль написать книгу, которая теперь закончена.

Но то, о чем сказал Сид Чаплин, приглашая в гости В. Ивашеву, за полтора столетия до него другими словами сказал Гёте: «Кто хочет понять поэта, пусть отправится в страну поэта» („Wer den Dichter will verstehen muß in Dichters Lande gehen“).

«Страна поэта» или «лисыя нора» — верное остается верным. Это и предопределило удачу книги «Английские диалоги».

Александр ГЛАДКОВ.

★

КНИГА О МАСТЕРЕ

М. О. Чуданова. Мастерство Юрия Олеша. М. «Наука». 1972. 100 стр.

Сам по себе факт, что автор выбрал темой своей книги не вообще творчество Юрия Олеша в целом, а именно его мастерство, как бы говорит о тенденции видеть в мастерстве писателя наиболее существенную часть не только его таланта, но также и его личности.

С этой точки зрения появление книги М. Чудаковой «Мастерство Юрия Олеша» можно только приветствовать, так как обычно наша литературная критика, за самыми редкими исключениями, обходит вниманием самое существенное, что есть в художнике, то есть именно его мастерство. Вследствие этого составляет впечатление об однообразии нашей литературы и об отсутствии у наших писателей индивидуальных особенностей: все они как бы скроены и сшиты на один манер. А между тем это далеко не так.

Книга М. Чудаковой «Мастерство Юрия Олеша» — небольшая, но очень насыщенная. Уже одно только перечисление глав книги дает известное представление об ее содержании: «Новизна знакомого мира», «Литературные традиции и собственные пути», «Слово в прозе Олеша», «Переименование вещей», «Канонизация мастерства», «Мир как зрелище», «О сходствах и противостоянии», «Личность автора», «Мыслей множество...». При всем этом разнообразии проблем, в фокусе внимания автора всегда одно и то же: изобразительная сила Олеша, его неповторимые метафоры, его зрительные ассоциации.

Если бы книжка Чудаковой состояла лишь из одних цитат из Олеша, то и тогда она представила бы ценное пособие для любого читателя, интересующегося внешней, чисто зрительной стороной художественной литературы:

«Ноги у нее испачканы, загорелы, блестящи. Это ноги девочки, на которые так часто влияют воздух, солнцепе, падения на кочки, на траву, удары, что они грубеют, покрываются восковыми шрамами от преждевременно сорванных корок на ссадинах, и колени их делаются шершавыми, как апельсины» («Зависть»); «Иногда продавцу удавалось посмотреть вниз. Тогда он видел крыши, черепицы, похожие на грязные ногти, кварталы, голубую узкую воду, детей-карапузиков и зеленую кашу садов. Город поворачивался под ним, точно приколотый на булавке» («Три толстяка»); «Этот запах был желт, как желто было лежавшее на камнях двора и кирпичях стены солнце — да, да, желтый солнечный запах» («Ни дня без строчки»).

Да, нельзя не согласиться с М. Чудаковой, когда она пишет, что «Олеша в искусстве описывать вещи — одним словом, одним точно найденным сравнением — достигает виртуозного, почти непревзойденного умения».

В книге М. Чудаковой образ Олеша рассматривается не изолированно от его современников — сопоставляются имена Зоценко, Хлебникова, Мандельштама, Пастернака (проза которых не остается без последствий, по мнению автора, для Олеша). Автор книги стремится выявить также сходство и различие прозы Олеша с прозой Бабеля, Булгакова, Каверина, Житкова, Ильфа и Петрова, Гюгенова. В анализ вовлечена и литература прошлого века — Лермонтов, Толстой, Тургенев. Причем здесь не только связь Олеша с его современниками и предшественниками — здесь новые художественные качества прозы 20—30-х годов: в книге рассказывается, как рождалась новая повествовательная манера, та, что существенно повлияла на язык последующих десятилетий. Предметом исследования становится не только своеобразие отдельных художественных манер, но общее движение литературного процесса.

Глава «Личность автора» преследует редкую для наших критических работ задачу: в ней есть попытка очертить личность писателя, проглядывающую в прозе Олеша, есть стремление понять исток желаний, постоянно им владеющего. «говорить о себе». А это необходимое нашей литературе. очень ценное качество. М. Чудакова пишет: «Особенность его литературной личности и в том еще, что он как бы ни на минуту не пре-

кращает прямой связи с личным опытом самого читателя... «Я» у него свободно заменяется на «мы». Это нередкое (и тоже едва ли не единственное в своем роде) «мы», всегда связанное у Олеша с возведением простого и будничного нашего опыта в факт искусства, действует самым подкупающим образом».

При всем том верном и ценном, что есть в книге М. Чудаковой, отдельные ее положения вызывают у меня несогласие.

Мысль о том, что «писатель мыслит образами», конечно, не подлежит сомнению. Вопрос лишь в том, что такое образ. Чудакова рассматривает его главным образом как изображение. Однако я думаю, что образ — это не только изображение, но также повествование, не говоря уже о ритмике, «симфоничности» всей вещи в целом.

Главный секрет писательского мастерства — в соотношении «зрительного» и «повествовательного», положенного на ноты внутренней музыки.

Мопассан считал, что главное для писателя — зрение. Я считаю, что при необходимости острого зрения на первом месте стоит звук, музыка, ритмика.

Олеша в представлении Чудаковой — великий изобразитель. С этим нельзя не согласиться. Глаз Олеша — это чудо. Быть может, ни один писатель мира не обладал таким пронзительным художественным зрением. Но Олеша, кроме того, и повествователь. Там, где его изображение и его повествование гармонично сливаются, он неповторим.

В последние годы жизни Олеша как будто совсем отказался от повествования, но это неверно. Это только так кажется. Он был на пути больших открытий в области высшей формы мастерства изобразительно-повествовательного.

Если тщательно проанализировать все его зрительные схемы, метафоры, то можно заметить, что каждая из них имеет свою особую повествовательную подкладку, канву. В них я слышу особую, неповторимую, чистую олешинскую музыку.

Таким образом, то, что кажется Чудаковой концом творчества Олеша, с моей точки зрения есть самое начало нового Олеша. Олеша, несомненно, был на пути огромных открытий в области создания нового романа, который он, в общем, отрицал. Но, конечно, форма нового романа, «предчувствуемого» Олешей, должна была быть совсем не похожей на традиционный роман прошлых веков.

Поэтому никак не могу согласиться с выводом Чудаковой:

«Штангу можно, как известно, взять и с третьего подхода. В прозе Олеша так делается почти всегда. И оба предшествующих подступа всегда проделываются на глазах читателя. И вот, наконец, по всем правилам выполняются подступы, а штанга не берется совсем; брать ее оказывается необязательно...»

Что же это: крах Олеша?

Ничуть. Это просто неумение критика прочесть последние вещи Олеша, будь то отдельные фрагменты или даже наброски разорванных мыслей. Здесь мы свидетели титанической работы писателя, оставшейся, к несчастью, незавершенной.

Олеша умер в самом расцвете своего таланта, поднимаясь по лестнице мастерства все выше и выше.

Будем надеяться, что в следующих изданиях своей ценной и умной книги о мастерстве Олеша, в которой высказаны весьма существенные мысли, Чудакова познакомит читателя с другими компонентами писательского мастерства, кроме изобразительности, — с его ритмикой, повествовательностью, а главное, с его идеологией, что в книге об Олеше совсем опущено. Между тем идеология Олеша — это и есть основа основ его мастерства. Только ее надо уметь вскрыть и показать читателю.

Валентин КАТАЕВ.

★

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ

Артур Хейли. Аэропорт. Роман. Перевод с английского Т. Кудрявцевой и Т. Озерской. «Иностранная литература», 1971, №№ 8—10.

«Аэропорт» читают у нас широко и увлеченно. Роман этот, опубликованный в США в середине 1968 года и много месяцев продержавшийся во главе списка бестселлеров, явно возродился в том же качестве в своем русском существовании. Об «Аэропорте» спорят, оценки его литературных достоинств разноречивы, но в одном сходятся, пожалуй, все: читать его интересно.

Определение это само по себе не говорит ни о чем. Интересно читать умело построенный детектив, если вы любитель этого жанра; интересно читать и философский трактат, если вы к этому занятию подготовлены. «Аэропорт» — явно не философский трактат, но неверно было бы сводить его успех к успеху хорошо закрученного детектива — здесь случай все же другой. Номера журнала с «Аэропортом» переходят из рук в руки и среди читателей серьезных, которые детективами «не балуются», как, впрочем, и среди читателей, обычно не следящих за новинками зарубежной литературы.

Дело обстоит, значит, не столь уж просто — существует какой-то секрет успеха этой книги. И попытаться раскрыть его тем более любопытно, что в самой книге, откровенно говоря, начисто отсутствует тот художнический «секрет», до конца не

раскрывающаяся сердцевина, которую вы всегда ощущаете в произведениях большой литературы, органически вырастающей из духовного, человеческого опыта художника. «Аэропорт» принадлежит скорее к ряду произведений «синтетической» беллетристики, то есть книг, раскладывающихся без остатка на основные элементы писательского замысла и его воплощения.

Эта «синтетическая» литература может быть и бесталанной и талантливой; Артур Хейли — удачливый американский писатель среднего поколения — принадлежит к числу отличных мастеров своего дела. Среди его книг — роман из жизни крупной больницы «Окончательный диагноз», переведенный на 15 языков; роман «Отель» (действие его происходило в огромном новоорлеанском отеле), вышедший недавно роман «Колеса» — о большом автомобильном заводе. Совершенно очевидна направленность литературной деятельности А. Хейли. Привлекает его, пожалуй, не столько производство (в рецензии Г. Гулиа «Аэропорт» назван «производственным романом»), сколько «персональные проблемы» организации, служебные и личные взаимоотношения людей, работающих в каких-то определенных отсеках в высшей степени индустриализированного и концентрированного потребительского общества — аме-

риканского общества 60-х годов нашего века. «Аэропорт» — произведение острофабульное, динамичное; несколько фабульных линий, связанных с определенными персонажами книги, разворачиваются в течение одного зимнего вечера в вымышленном американском аэропорту имени Линкольна. Эти считанные часы до предела насыщены драматическими событиями, потому что нормальная жизнь аэропорта нарушена рядом чрезвычайных обстоятельств. Три дня свирепствует небывалый снежный буран; вышла из строя взлетно-посадочная полоса; в аэропорт является раздраженная толпа жителей соседнего городка, протестующая против шума от реактивных самолетов; и наконец (об этом читатель узнает лишь постепенно), выясняется, что на борту только что взлетевшего лайнера, который держит курс на Италию, — отчаявшийся, обезумевший человек с самодельной бомбой; он застраховал свою жизнь на крупную сумму, чтобы погибнуть вместе со взорванным самолетом и такой ценой обеспечить свою семью, свергнутую в нищету его неудачными деловыми предприятиями...

О развязке всех этих коллизий (к ним следует добавить еще несколько психологического, любовного, семейного и просто комического порядка) умолчим в интересах тех, кто еще только собирается прочитать «Аэропорт».

Предшествующий роман «Отель» в каком-то смысле превосходит сюжетную схему «Аэропорта». И там центральный, самый симпатичный персонаж поставлен во главе сложного, чреватого конфликтами и бедами организма; он, как и нынешний герой Хейли Мел Бейкерсфелд, ратует за технический прогресс в сервисе, за всестороннюю модернизацию его, за максимальную честность и справедливость в служебных отношениях. И там в повествование введен некоторый элемент радикализма: в «Отеле» речь идет о десегрегации по отношению к постояльцам (проще говоря, о том, пускать ли негров в номера), а в «Аэропорте» — о противодействии преступному нерадению городского политических боссов к насущным нуждам аэропорта. И там рядом с героем стоит героиня — чуткий товарищ по работе, привлекательная молодая женщина с драматической судьбой. В «Отеле» ее зовут Кристина, она секретарь владельца и почти двойник Тани Ливингстон из «Аэропорта». И там после многих конфликтов, интриг,

детективных историй и финальной аварии в пассажирском лифте (более катастрофичной, чем взрыв в самолете) герой принимает твердое решение бороться за то, чтобы исчезла сама возможность подобных трагических ситуаций...

Аналогии эти можно было бы продолжить, но не в этом суть; ведь нередко бывает, что тот или иной писатель вновь и вновь возвращается к «не отпускающим» его проблемам, идеям, жизненному материалу. С Хейли обстоит дело иначе. Наблюдательный, трезвый литератор-журналист, он очень точно выбирает темы, которые могут вызвать живейший интерес в широчайших читательских кругах: кто же не лежал в больнице, не останавливался в гостинице, не пользовался воздушным транспортом? И даже, если иметь в виду среднеблагополучного американца, не собирался обзаводиться новой машиной? Правдоподобный микромир, возникающий в романах А. Хейли, как бы превращает рядового потребителя в соучастника сложного, двустороннего процесса «сервиса в действии» со всеми его явными удобствами и затененными, но вполне реальными опасностями.

Надо отдать должное писателю: он не только тщательно изучает материал, но и хорошо вживается в атмосферу своего очередного «объекта», будь это больница, отель или аэропорт. А затем: опытный рассказчик, он заселяет этот освоенный во всех своих реалиях и деталях профессиональный микромир разнообразными фигурами, тоже в достаточной мере правдоподобными, хотя и не выходящими, как правило, за рамки стереотипного очерково-журналистского портрета. Именно таким положительным героем среднего журнального очерка предстает перед нами Мел Бейкерсфелд, управляющий международным аэропортом имени Линкольна. Мы получаем о нем всестороннюю информацию, и все же Мел со своей больной ногой, со своей нескладной семейной жизнью и многотрудными, целиком поглощающими его служебными заботами, с размышлениями о настоящем и будущем авиации так и не обретает самостоятельного существования как личность, как живое существо. Он и з о б р а ж е н детально и сочувственно и до конца остается изображением, подобно своей стервозной супруге Синди, снедаемой светским тщеславием, подобно чуткой Тане Ливингстон, подобно злосчаст-

ному Герреро и Кейзу Бейкерсфелду, воздушному диспетчеру, измученному чувством вины за гибель самолета, которая произошла во время его дежурства...

Нельзя сказать, что автор скуп на описание внутренней жизни, душевных движений всех этих людей. Нет, он вычерчивает все эти внутренние линии с той же обстоятельностью, как и кривую лихорадочной жизни аэропорта, застигнутого трехсуточным бураном. Но, увы, если картина деловой жизни нарисована впечатляюще, то внутреннее раскрытие образов героев получается у него неизмеримо хуже. Идет ли речь о драме Кейза, или о безумном замысле прогоревшего дельца Герреро, озлобленного до потери образа человеческого, или о рождении материнских чувств у беззаботной стюардессы Гвен, или о пробуждении каких-то «положительных эмоций» у Вернона Димиреста, лихого летчика, но человека заносчивого и сухого,— читателя занимает только сама ситуация, а не духовная сущность героев.

Иногда ситуация эта очень драматична. Такова преследующая Кейза Бейкерсфелда история столкнувшихся самолетов и гибели семейства Редфернов, история, которая рассказана с интенсивным лаконизмом хорошего репортажа; не может оставить читателя равнодушным и формально справедливый вердикт, вынесенный по этому делу и сыгравший роковую роль в жизни трех менее виновных людей, но ничем не затронувший настоящего виновника несчастья. Все это очень интересно как морально-юридическая дилемма, как возможный жизненный случай, как острый сюжетный ход. Но характер Кейза, на протяжении всего романа готовящегося уйти из жизни, как и характер Д. О. Герреро, тоже задумавшего самоубийство, но в компании с двумя сотнями не подозревающих об этом людей, остается для нас чем-то непроясненным, схематичным, хотя автор, повторяем, как будто бы делает все, чтобы проникнуть в «нутро» своих героев.

Мел Бейкерсфелд, ежедневно и ежечасно сознающий свою ответственность за все, что произошло, происходит и может произойти в аэропорту, вызывает наше сочувствие, но это скорее сочувствие обстоятельствам и мыслям, которые автор развивает от имени своего героя. В этом смысле «Аэропорт» — роман «тезисный», и центральный тезис его — о диспропорциональном развитии авиации и наземных служб —

отчетливо звучит на протяжении всей книги, причем излагается он с общедоступностью, которая позволяет самому бестолковому читателю почувствовать себя участником сложной технической дискуссии. Это, конечно, приятно, но создается впечатление, что и с точки зрения чисто авиационных или социально-авиационных проблем многое в романе сглажено, облегчено, приспособлено к «массовому восприятию».

Однако есть у этого тезиса и другая функция — чисто фабульная, и здесь чутье и профессионализм А. Хейли снова приносят ему заслуженный успех: ведь само фабульное ядро крепко держится в заданных автором обстоятельствах. На летном поле аэропорта слишком мало взлетно-посадочных полос, приспособленных для гигантских лайнеров реактивной эры; вот почему в финальных сценах романа судьбу двух сотен людей и самолета решают минуты и метры. И снова писатель «выжимает» из напряженной ситуации тот репортерски-кинематографический драматизм, который присущ его повествовательной манере.

Хейли строит интригу по всем канонам детективного жанра, строит, в общем, на наших глазах, и все же от книги не оторвешься. В раскрытии характеров, в обрисовке социальной среды он предстает перед нами писателем в достаточной мере тривиальным, нередко откровенно работающим на штампах. Для него не случайна, скажем, фраза: «Он чувствовал, как между ними начинал пробегать ток, взгляды их встречались, и они в едином порыве устремлялись в объятия друг друга» (на перевод в данном случае пенять не стоит, он верен стилю оригинала). Однако как рассказчик, сплетающий сеть нескольких повествований вокруг единого центра и главного своего «героя» — самого аэропорта, он обнаруживает настоящий дар и незаурядное умение.

И еще одну удачу Артура Хейли нельзя обойти молчанием, тем более что это удача неожиданная: фигура бабушки, летающей «зайцем», миссис Ады Квонсен. Сначала воспринимаешь ее как занятную; комическую находку, но где-то в гуще драматических событий этот образ вдруг оживает, появляется артистичность, игра, непредвиденность — все, чего так не хватало ровному, «умеренному» беллетристу Хейли.

Итак, попробуем «подбить итог» и вернемся к изначальному вопросу: в чем же

секрет успеха «Аэропорта»? Вопрос этот следует разделить. Во-первых, почему «Аэропорт» был многомесячным бестселлером в США? Во-вторых, почему он приобрел такую популярность у нас? Здесь нет возможности говорить о самом феномене «бестселлерства», понятии литературно-социологического порядка; в Америке его изучают, и об этом написано немало любопытного. Хочется лишь обратить внимание на одну деталь: в любом десятке текущих бестселлеров (их всегда десять, и расположены они в еженедельной сводке в порядке количества распроданных экземпляров) можно найти книги трех категорий. Больше всего сенсационных боевиков бурно-эротического (или, грубо говоря, порнографического) характера; две-три вещи серьезных писателей, имевшие такой шумный критический успех, что им удалось прорваться на массовый рынок; и наконец, два-три толстых романа, традиционно написанных, нравоописательного либо журналистско-социального толка. К последним относятся и так называемые «политические» романы, рисующие закулисную жизнь сильных мира сего, а также повествования из жизни крупных дельцов, газетных и журнальных магнатов, популярных телекомментаторов и т. д.

Не будем сейчас касаться политической ориентации того или иного автора; она может быть, разумеется, разной, но преобладает в книгах этой третьей категории традиция, которая, по существу, восходит к «нежному реализму», господствовавшему в американской литературе в конце прошлого века. Как явствует из самого термина, литература подобного рода предлагала поверхностное и смягченное жизнеподобие, («реализм» этот именовался еще и розовым). В середине XX века акценты стали куда резче, и даже в произведениях открыто конформистского, пропагандистского толка всегда есть элемент критицизма, обличения, порой сенсационного разоблачительства. Со времен «разгребателей грязи» — журналистов эры первого Руз-

вельта — американцы привыкли вытаскивать на свет божий свои общественные и экономические язвы и пороки, и какими бы мотивами ни диктовалась подчас эта откровенность, она свое дело делает. И в «Аэропорте» — книге, написанной писателем, который чувствует себя в современной буржуазной Америке абсолютно «своим», — раскрывается немало темных, неприглядных дел и явлений. Такая литература имеет широкую и верную читательскую аудиторию в США; аудитория эта, в последнее десятилетие доведенная до шокового состояния свирепостью и непотребством «черного юмора» и прочих модных направлений (мы говорим сейчас не о настоящих поисках, — об имитациях и поделках), со вздохом облегчения обращается к роману типа «Аэропорта», где все понятно, все пристойно, все вроде «как в жизни», где выдается какая-то информация и где есть фабула, которая до самого конца держит в состоянии напряжения. Романы такого типа неизменно популярны, и, надо сказать, как правило, «средний» литературный уровень их весьма высок.

На чем же сошлись вкусы американских и советских читателей и почитателей «Аэропорта»? Хорошо продуманная и увлекательная фабула — причина немаловажная; мы в этом смысле весьма не избалованы. Но, разумеется, не только в этом дело. Ведь и нам, пассажирам, потребителям, очень интересно, как существует большой аэропорт в эру реактивной авиации, как слаживаются в единый функционирующий организм сотни и тысячи деталей, операций и задач. Все мы как будто очень утилитарно и буднично относимся к воздушным дорогам (которые, оказывается, могут быть узкими), и все же в каждом летящем живет потаенное чувство риска и даже некоторого азарта не только из-за возможной опасности, — и потому, что это ведь небо. И нам очень интересно, как это делается.

И. ЛЕВИДОВА.



Политика и наука

ДЕЛА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ

Григорий Медынский. Пути и поиски. М. «Известия». 288 стр.

У книги Г. Медынского «Пути и поиски» имеется подзаголовок «Из публицистики разных лет». Эта авторская пометка весьма примечательна. Медынский подчеркивает тем самым, что публицистика, выступления в печати по вопросам воспитания и нравственности для него не случайное занятие, он отдает этому много сил и энергии на протяжении долгих лет, ибо подобная деятельность составляет одну из характерных черт его писательской индивидуальности.

И то, что из этих выступлений в печати по разным конкретным поводам у автора составила целая книга, не сборник статей, а именно книга, обладающая своим внутренним единством, сохраняющая свою актуальность и остроту, это тоже знаменательно. Это показатель того, что писатель продолжает размышлять над тем кругом вопросов и проблем, каким был посвящен его роман «Честь», а позже взволнованная, страстная «Грудная книга». Более того, новая работа Медынского невольно образует с этими предыдущими его вещами некое единое целое, являясь как бы завершающей частью своеобразной трилогии, в которой романист дополняется публицистом и где прямое писательское вмешательство в конкретную человеческую судьбу для читателя иной раз значит больше, нежели рассказ об истории вымышленного литературного персонажа.

Довольно трудно точнее, нежели это сделал сам автор, определить жанр новой книги Медынского. Этот сплав писательской публицистики — довольно сложное образование. Подчас перед нами типичная статья-размышление, иногда очередную главку книги образуют читательское письмо и ответ автора, иной раз не только один ответ — перед глазами читателя развертывается оживленная авторская переписка со своим адресатом, переписка, завязавшаяся в очень важный, решающий, «поворотный» для этого писательского корреспондента момент его жизни. Недаром сам Медынский замечает по этому поводу: «...Я имею подобные исповеди от десятков людей, с некоторыми из них веду переписку — а иная длится по многу лет,— и мне

порой приходится помогать в решении и устройстве тяжелых человеческих судеб».

Круг наблюдений автора широк, разнообразен. Проблема «трудного детства», вопросы юношеской преступности, а главное, раздумья над тем, как изживать последствия этих явлений в нашей действительности,— вот далеко не полный перечень тем, которые затрагивает Медынский.

В центре внимания автора — напряженная борьба за нового человека, человека нашего общества. Именно эта проблема осмысливается писателем с разных сторон, просвечивается новым светом. Она ядро его поисков. При этом автор не только сосредоточивает свое внимание на «теневых» сторонах проблемы. Он страстно поддерживает новые ростки положительного опыта на ниве нашей воспитательной работы. Его возмущает всякое проявление равнодушия к нуждам людей, к тому, что их заботит и волнует. Его тревожит молодая девушка, оставшаяся глухой к человеческому горю, воспитатель молодежи, для которого цифровые показатели в работе значат больше, чем беды, радости и заботы живых людей. Медынского интересует не профессиональный, а человеческий срез психологии личности.

«Речь идет,— пишет автор,— следовательно, не о постах, а о принципах — принципах мышления и нравственного отношения к этим постам, потому что это действительно жизненно важный вопрос. И это не только наша — это историческая и общественная проблема, которую мы, наш строй, наряду с многими другими проблемами, тоже должны разрешить».

Он каждый раз берется за перо, требует исправить что-то конкретное, когда кто-то именем общества делает недоброе дело. Он не обходит молчанием «...то общественное зло, которое называется чиновным отношением к делу, к нашим нуждам и проблемам». В связи с этим правильно, по-граждански ставит он вопрос об авторитете и нравственной позиции руководителя. «Жизнь показала,— пишет Г. Медынский,— что только в том случае, когда руководитель нравственно чист и честен,

когда он широко и глубоко мыслит и обнаруживает полное понимание и слитность с коренными, глубинными интересами и нуждами народа,— только в этом случае он является наиболее полным выразителем «конечных целей государства», как это можно видеть на благородном примере В. И. Ленина».

Пафос ленинских мыслей по вопросам нравственности заключается в том, что социализм открывает перед каждым человеком большие возможности для овладения культурой. Эти возможности, будучи претворены в жизнь, создают нового человека — высокоидейного, широко мыслящего, глубоко ненавидящего все то, что принижает человеческое достоинство.

Гуманистическая позиция автора наступательна, действенна. Он против забывания в нашей идеологической, воспитательной работе таких понятий, как доброта, человеколюбие, сострадание и т. д.

Классовые позиции коммунистического гуманизма в том и состоят, совершенно справедливо пишет автор, что гуманные принципы и в теории и на практике приобретают у коммунистов революционную определенность, историческую конкретность, но нигде и никогда настоящие марксисты не отмежевывались от заботы об «идеальных силах» и «идеальных побуждениях».

Ведь, по сути дела, только марксизм дал последовательно научное, а стало быть, и жизненно оправданное объяснение сути гуманизма и показал, каким образом на практике этот гуманизм возможен.

На этих позициях и стоит Медынский. Он пишет о том, что от сегодняшнего человека зависит решение самой главной проблемы в жизни — судьба человеческая, духовное и нравственное здоровье людей.

Поиски путей борьбы за такого человека всегда устремлялись по двум руслам, порождали два социально-педагогических метода, две нравственные ориентации. Один путь — это жесткие рамки, границы поведения. Это метод одергивания, окрика, подчинения личности разного рода запретам, это мораль, понимаемая как фетиш, как узкая норма, это страх перед авторитетом и бездумное подчинение по принципу «как все, так и я».

Другой путь сложен, он устремлен к внутреннему миру человека, мобилизует и организует его духовные силы. Он связан с педагогикой как искусством, искусством

воспитания, пробуждения и выпрямления человека в человеке.

Г. Медынский, анализируя оба метода, отмечает, что наказание не в состоянии решить судьбу нравственного здоровья общества в целом. А отсюда и авторский вывод: нужен другой путь. Именно на этот путь совершенно определенно и встает автор. Он пишет: «Ведь сущность нравственности заключается не в простых запретах, не в статьях закона, не в христианских заповедях — «не убий», «не укради», «не прелюбы сотвори», — не в каре, которая грозит за их нарушение, будь то тюремный срок или бессрочные мучения ада. То — нормативная этика, которая сознание ответственности подменяет страхом перед ответственностью и вытекающим из него наказанием. Страх — это барьер против преступлений или поступков, а не против преступных или безнравственных желаний. Подлинная нравственность заключается в воспитании именно желаний, стремлений, побуждений, мотивов и целей, когда поведение человека становится выражением всей его личности, его свободы, воли и всей его концепции отношений с людьми и миром».

Хорошо сказано, правильно, правда с нормативной этикой писатель раздался слишком уж решительно. Но ведь не в этом суть. Суть заключается в том, по какой формуле понимать нравственность: по узкой — «норма — поступок», где в тени остается духовное, личное, нравственное начало, или по формуле «нравственное — социально-личное», богатое содержанием и ответственностью, проявлением самобытности.

В предисловии к книге «Пути и поиски» критик Ф. Кузнецов отмечает, что автор «рассматривает коммунизм не только как философскую или социально-экономическую, но как нравственную идею, заключающуюся в очеловечивании человеческих отношений, а нашу действительность — как медленный, трудный, исполненный противоречий путь к постепенному осуществлению великих нравственных принципов, положенных в основание этой идеи».

Человек никогда не является только объектом воспитания, он и субъект, то есть наделен активностью, сознанием, волей, нравственностью.

«Кто же может отрицать значение нравственности? — восклицает с недоумением один из оппонентов Г. Медынского. — Но в конечном-то счете жизнь определяется

другими, более базисными закономерностями, без которых нравственное начало — полное ничто».

Вот об этом «полном ничто» и ведется спор. Так ли уж оно ничтожно? Автор приводит для убедительности ряд жизненных примеров, когда при одних и тех же базисных закономерностях люди ведут себя по-разному. Одни проявляют формализм, бездушные, полное непонимание другого человека, другие — высокое нравственное начало. И только эти другие движут жизнь к более совершенным формам, только благодаря им, их поступкам и действиям совершается прогресс в разных областях жизни.

Автора занимает самодвижение морального фактора. Это понятие нельзя механически и прямолинейно выводить из социалистической системы хозяйства. Это грубое и вредное упрощение, могущее привести к беззаботному отношению к проблемам нравственности. Забвение же или игнорирование данного обстоятельства неизбежно скажется на практике, в жизни конкретных людей, всего общества. И скажется оно в том, что высокие идейные мотивы, одухотворенные жаждой созидания, могут быть подменены утилитарной целесообразностью, голым практицизмом. А это оборачивается просчетом в деле коммунистического воспитания.

Заинтересовано ли наше общество в этом? Безусловно, нет. Именно наш советский человек продемонстрировал перед всем миром, на какую высоту духа и нравственности способна подняться человеческая личность в обществе, свободном от эксплуатации, социального гнета. Однако дело воспитания — самое сложное дело. Возможности большие, надо их умело организовать. Отсюда вывод: необходимо воспитание доброго человека и гражданина, обладающего нравственной силой, способной противостоять злу. «Какие отвлеченные понятия! — скажут некоторые. — О каком добре, о каком зле идет речь?.. Укажите нам точно на все возможные случаи. Вот тогда мы поверим в действенность ваших требований!»

Как правило, на обыденном житейском

уровне, то есть именно том самом, где и проходит вся жизнь человеческая и сама история делается (вот здесь-то и следует помнить, что мы материалисты), человек может разобраться, где добро, а где зло, если при этом мы выработали у него такую потребность. Выработку этой потребности автор книги и считает оселком нравственности, ее началами. Генеральную линию проблемы каждый чувствует, видит и обосновывает по-своему. Г. Медынский связывает ее с необходимостью развивать у человека нашего общества богатую эмоционально-нравственную культуру. Он заботится о душе человека, не забывая при этом и о других сторонах человеческой личности.

Если говорить точно, в строгом соответствии с авторской мыслью, то он исследует некоторые очень важные стороны коммунистического морального сознания, на живых примерах показывая доброту коммунистической идейности, непримиримость ее ко всему тому, что унижает человека, что мешает осуществлению наших классовых позиций в области морали, ибо, как говорил В. И. Ленин: «В основе коммунистической нравственности лежит борьба за укрепление и завершение коммунизма».

Борьба! Стало быть, ее активный участник должен обладать моральными качествами борца — революционного борца, — умеющего и имеющего нравственную потребность разбираться в том, что есть добро и что есть зло. Да, коммунисты так понимают нравственность, и поэтому странно звучат слова тех, для которых нравственность — полное ничто или бледный отсвет хозяйственных, административных или каких-то еще «фундаментальных» общественных основ. Те, кто продолжает так рассуждать, забывают, что коммунизм надо изучать не по цитатам и лозунгам, а умело, строго глядя в самую жизнь и анализируя ее на основе всего богатства марксистско-ленинской традиции — как творческого метода познания, освоения и преобразования мира.

Т. САМСОНОВА,

кандидат философских наук.

«БЕСКРЫЛОЕ» ВООБРАЖЕНИЕ, ОКРЫЛЕННЫЙ РАЗУМ

А. В. Славин. Наглядный образ в структуре познания.
М. Политиздат. 1971. 271 стр.

Полтора года назад русский поэт Ф. И. Тютчев, имея в виду быстрое развитие науки и сопутствующее этому развитию «усложнение» взгляда на мир, писал:

Где вы, о древние народы!
Ваш мир был храмом всех богов,
Вы книгу Матери-природы
Читали ясно без очков!..

Поэт современный мог бы то же самое сказать о веке Тютчева, но с гораздо большим правом. В конце концов, мифологическое мировосприятие древних — нам это хорошо видно с высоты нашей эпохи — не было таким уж ясным. Хотя бы потому, что оно, как и религиозное мировосприятие, сплошь и рядом объясняло непосредственно наблюдаемое (например, смену времен года) через воображаемое, никогда никем не виданное (похищение Персефоны подземным богом).

Истинной ясности в объяснении природы человек достиг не в древние времена, а, пожалуй, в том самом XIX веке, в котором жил и Ф. И. Тютчев. Мир окружающий, доступный непосредственному восприятию — макромир, — был обстоятельно изучен и объяснен, причем без помощи другого, воображаемого мира (легенда сохранила слова Лапласа, сказавшего будто бы Наполеону по поводу «гипотезы бога»: «...В этой гипотезе я не нуждался»).

Правда, к этому времени человек всерьез занялся изучением немакроскопических миров — мира атомов и мира Вселенной как целого, и снова перед ним были две реальности: непосредственно явленная и воображаемая, но уже в ином смысле — не созданная игрой человеческого воображения, а прямо недоступная его восприятию. Однако предполагалось, что немакроскопические миры ничем в принципе не отличаются от макроскопического.

Наиболее полное наслаждение ясностью мировосприятия испытывал, по-видимому, лорд Кельвин, когда он произносил свой знаменитый тост, подводивший итог развитию физики в XIX веке. По его словам, горизонт этой науки был чист, всего лишь два небольших облачка виднелись на нем...

Однако вскоре ясности пришел конец. Как известно, эти два облачка, два необъяс-

нимых с точки зрения классической физики факта, дали повод для построения теории относительности и квантовой механики. Причем выяснилось, что микро- и мегамир существенно отличаются от воспринимаемого макромира — в частности, тем, что их довольно-таки трудно вообразить.

На первый взгляд, это кажется очень странным. Человек привык считать: что-то, а воображение-то его не знает пределов. Действительно, для фантастов никогда не составляло труда перенестись в мечтах на Луну, на Марс, на Венеру, представить, что там и как. Искони в человеческом воображении жили никогда никем не виданные существа — кентавры, русалки...

Но все воображаемое нами так или иначе строится в нашей фантазии из тех «кирпичей», которые составляют макромир. Действительно, если мы в состоянии представить, как мы ходим по Венере или по Юпитеру, так только потому, что сызмала и до конца дней своих мы ходим по Земле, — тут нет никаких принципиальных различий. Еще проще обстоит дело с кентаврами и русалками — их внешность, как известно, оригинальная компоновка деталей, частью взятых от тела человека, а частью от тела животного.

Между тем теория относительности и квантовая механика открыли такие явления, для которых не существует аналогии в привычном для нас мире и которые не так-то легко вообразить. Например, как представить себе, что электрон движется около атомного ядра, не описывая никакой траектории (в нашем обычном понимании)? Или что такое кривизна пространства, о которой толкует теория относительности? Наконец, как вообразить нашу Вселенную замкнутой (что вытекает из факта кривизны пространства)?

Эйнштейн в беседах с писателем А. Мошковским так иллюстрировал существо затруднений, с которыми мы сталкиваемся в данном случае. Представьте себе, рассуждал он, что люди — двумерные существа, живущие на плоскости; все их органы чувств строго сообразованы с этой двумерностью. Плоские «люди» принципиально не могут вообразить свое «двумерное пространство» замкнутым: плоскость, по которой они ползают, безгранична и бесконечна.

Точно так же и наше воображение, воспитанное на определенном опыте, не может его преодолеть и дать нам представление о «кривом трехмерном пространстве», замкнутом в самом себе.

Как видим, точка зрения великого физика достаточно ясна: возможности человеческого воображения отнюдь не беспредельны, оно не может «прыгнуть выше головы». Тем не менее до сих пор идут споры о том, носят ли трудности наглядного представления принципиальный характер. Этим спорам и посвящена наиболее интересная часть книги А. В. Славина «Наглядный образ в структуре познания».

Большинство ученых сегодня, по-видимому, согласно с Эйнштейном. А. В. Славин приводит высказывание академика М. А. Маркова. Используя ту же аналогию, что и автор теории относительности, М. А. Марков пишет в одной из своих статей: «Пусть на плоскости живут плоские мыслящие существа. Их чувству недоступны объемные тела, а по своим представлениям они геометры, а не аналитики. Пусть в природе имеется трехмерное тело — конус, который в своем движении иногда пересекается с плоскостью мыслящих существ, давая в этом сечении одну из конических фигур. В таких случаях плоские существа констатируют либо круг, либо эллипс, либо параболу или гиперболу, а то и просто пару пересекающихся прямых или даже одну точку... Эти конические сечения представляют собой «формы проявления трехмерной реальности в их двумерном мире».

М. А. Марков считает, что двумерные существа могут познать сущность пересекающего их плоскость конуса, но построить его чувственный образ они принципиально не могут, поскольку им знакомы лишь образы двумерных фигур. Они в состоянии изобразить конус только в виде «кентавробразной» комбинации кругов, эллипсов, гипербол и т. д.

А. В. Славин приводит и противоположную точку зрения, принадлежащую В. П. Бранскому: мыслящие существа оказались беспомощными при столкновении с трехмерным объектом вовсе не потому, что у них отсутствуют «трехмерные органы чувств», а потому, что они «недостаточно мыслящие». Положение в корне меняется, если их награждают соответствующими (например, такими же, как у людей) мыслительными способностями: сразу же в их сознании возникает понятие трехмерного конуса, а затем

и «трехмерный» чувственный образ, более или менее адекватно отражающий реальный конус.

Увы, в действительности все обстоит не так просто. Успехи концептуального мышления (создание понятий) вовсе не обязательно влекут за собой чувственное познание. На это справедливо обращает внимание А. В. Славин. Он считает, что возникновение немакроскопических образов у людей в принципе невозможно. «Чувственные образы человека, — пишет А. В. Славин, — всегда будут макроскопическими («геоцентрическими»), и с этим необходимо примириться... Человек никогда не сможет чувственно себе представить нечто такое, что не было бы «сконструировано» из макроскопического «материала»... Поэтому любой целостный чувственный образ, результатом какой бы комбинации чувственных элементов он ни был, всегда остается «макроскопическим». Так сформировались его (человека. — О. М.) органы чувств в процессе биологической и социально-исторической эволюции».

Споры спорами, но что говорит практика? Удастся ли на деле исследователям наглядно представлять «ненаглядное»? В качестве выработанных «в конце концов» «негеоцентрических» «понятий и представлений» В. П. Бранский приводит «квант энергии», «волну вероятности», «кривизну пространства»... То, что все это «негеоцентрические», то есть немакроскопические понятия, не подлежит сомнению. Но столь же ясно, что как «понятия и представления» они не обладают наглядностью.

Так что в лучшем случае вопрос о возможности построения в человеческом сознании немакроскопических образов остается открытым (никакие «оптимистические» восклицания о могуществе человеческого разума дела не меняют).

Теоретически такую возможность как будто не отрицает и А. В. Славин, когда он пишет об умозрительных «проектах» как-то усовершенствовать человеческий организм, расширить диапазон его чувственных восприятий. Правда, автор заранее отмечает, что эти попытки, если бы они и были предприняты, оказались бы неизмеримо менее эффективными, чем использование уже сложившейся физической структуры человека в процессе преобразующей деятельности. Но что более, а что менее эффективно — это уже другой вопрос...

На самом деле биологические закономерности эволюционного формирования разум-

ного существа пока слишком мало изучены. И потому любая попытка рассуждать о сознании, организованном по какому-то другому принципу, нежели человеческое, наталкивается сейчас на непреодолимые трудности. Особенно отчетливо это становится заметным на различных конференциях и симпозиумах, посвященных контактам с гипотетическими внезапными цивилизациями. Причина затруднений очевидна: пока нам известен лишь один «образец» мыслящего существа — человек, и один «экземпляр» разумной цивилизации — земная.

Так что для размышлений о возможности наделить человека «релятивистским» или «квантовым» сознанием, которое, в частности, могло бы создавать немакроскопические наглядные образы,— размышлений пусть самых что ни на есть теоретических— сейчас, по существу, нет никаких естественных предпосылок.

Но почему же в таком случае возможны немакроскопические понятия? В отличие от образного мышления концептуальное не ограничено «макро»-рамками. В этом смысле оно представляет из себя наиболее универсальный инструмент человеческого познания. А. В. Славин приводит слова Макса Планка: «К счастью, мы обладаем измерительным инструментом, который не связан какими-либо границами тонкости. Это— полет наших мыслей. Мысли тоньше атомов и электронов; мысленно мы можем заглянуть в атомное ядро, равно как и преодолеть космическое расстояние в миллионы световых лет».

Так в XX столетии решается извечный спор о «сумме достоинств» рационального и образного мышления. Притча о примате крылатого воображения над передвигающимся более прозаическими способами рассудком в конце концов оказывается опровергнутой. Коллективный разум многих человеческих поколений, преодолев огромные расстояния, ныне вступает в такие области, где прыткое воображение пасует. Между тем движение вперед не прекращается и не прекратится никогда.

Означает ли все сказанное, что наглядное представление полностью утрачивает свою роль в научном познании? Совсем нет. «Ни один ученый не мыслит формулами» — этот афоризм Эйнштейна достаточно хорошо известен. Тяга к наглядному представлению глубоко заложена в человеческой психике. Все дело в том, что существуют различные уровни наглядности. Чем

более абстрактна теория, чем дальше отстоят ее положения от непосредственно воспринимаемой действительности, тем менее она наглядна. «В этом смысле,— пишет А. В. Славин,— теории классической физики по сравнению с современными более наглядны, так как их понятия являются большей частью теоретическим обобщением данных непосредственного наблюдения. Теории современной физики менее наглядны, так как их понятия возникают в результате применения сложных методов познания объектов, которые непосредственно не воспринимаются».

А. В. Славин прав, когда подчеркивает, что наглядные образы в современных физических теориях формируются весьма сложным путем, исследовать который необычайно трудно. При этом, однако, автор, на мой взгляд, допускает неточность, говоря, что механизмы такого формирования, например при исследовании микромира, в какой-то мере аналогичны «процессу реконструкции внешнего облика какого-либо диковинного ископаемого животного, исчезнувшего несколько миллионов лет назад, по некоторым его костным останкам». При всей трудности задачи, стоящей в данном случае перед палеонтологами, эта задача все-таки качественно иная, чем те, которые возникают сегодня перед физиками: палеонтологи реконструируют земной «макрообъект», имеющий множество близких и отдаленных аналогий в современной фауне, чего нельзя сказать о физиках.

Автор иллюстрирует различными примерами драматизм современного познания микромира. Эти примеры можно было бы умножить. Особенно интересные свидетельства встречаются в мемуарах видных ученых. Так, из воспоминаний В. Гейзенберга о Н. Боре мы получаем представление, каким образом исторически складывалось отношение физиков к той роли, которую следует отвести наглядному представлению в познании микромира. В. Гейзенберг рассказывает о совместной с Н. Бором и Х. Крамерсом работе над квантовой теорией распространения света в веществе, которую они вели в середине 20-х годов. В этом исследовании В. Гейзенберг предпочитал использовать формальные математические приемы, тогда как Н. Бор был убежден, что математической формулировке должно предшествовать законченное физическое объяснение. «Пожалуй, уже в тот момент,— пишет В. Гейзенберг,— я был в большей степени, чем Бор,

готовой отойти от наглядных картин и сделать шаг по пути к математической абстракции». Между двумя физиками то и дело разгорались жаркие дискуссии. В конце концов во время одного из таких споров В. Гейзенберг прямо высказал требование «отказаться от наглядных картин» и не возвращаться к ним в будущем. Н. Бор переживал поистине мучительный период сомнений. В один из последних своих приездов в Копенгаген В. Гейзенберг познакомил Н. Бора с предлагаемой им математической интерпретацией некоторых моментов квантовой механики. На этот раз Н. Бор уже не возражал против радикального отказа от наглядных картин. В то же время и самому В. Гейзенбергу не было еще ясно, в какой мере математические методы позволят построить законченную теорию. Этот вопрос оставался открытым.

В течение 1925—1926 годов крупнейшие физики мира «исследовали подступы к неизведанной математической стране, пытаясь проникнуть в ее тайны». В этот же период Э. Шредингер, отталкиваясь от мысли Л. де Бройля о том, что каждый микрообъект — это одновременно и волна и частица, создал волновую механику, а затем доказал ее математическую эквивалентность разработанной ранее квантовой механике. Его работа, с одной стороны, подтверждала правильность математических выкладок В. Гейзенберга, Н. Бора и Х. Крамерса, а с другой — вновь возвращала физикам такой инструмент познания, как наглядное представление. Но пользоваться этим инструментом следовало уже иначе, чем при исследовании макромра. Оставалось в силе положение, что создать законченный наглядный образ микрообъекта невозможно. Вместе с тем полученная возможность представлять микрообъект в зависимости от необходимости либо как частицу, либо как волну соответствовала универсальной возможности всякий раз создавать наглядную модель объекта, процесса и т. д., отражающую какую-то одну сторону реальной действительности.

Таким образом, в конце концов выяснилось, что «радикального отказа от наглядных картин» не требуется...

Книга А. В. Славина выпущена Издательством политической литературы в серии «Над чем работают, о чем спорят философы». О дискуссионном характере книги ав-

тор еще раз напоминает в заключении, предугадывая, что читатель, закрыв последнюю страницу, может резюмировать свое отношение к прочитанному известной формулой: «Но вначале у меня не было проблем! А теперь у меня нет ничего, кроме проблем!» В процессе самого изложения, как мы уже видели, А. В. Славин приводит по ряду вопросов точки зрения различных авторов, не совпадающие с его собственной, сам выдвигает спорные тезисы.

Но бесспорная ценность его работы в том, что, будучи достаточно популярной, она вводит читателя в определенный круг философских идей, которые принесло с собой новейшее развитие естествознания.

В последние десятилетия вышло много популярных работ, которые знакомят непосвященных с самим существом теории относительности, квантовой механики, с физикой атомного ядра, физикой элементарных частиц и т. д. Но, как это ни парадоксально, именно сущест в о так называемой новой физики, ее отличие от физики классической и ускользает нередко от читателя этих работ. Вообще, ценность самодовлеющей популяризации научных проблем без их философского осмысления значительно снижается. В наш век относительного «избытка» научной информации практически невозможно рассчитывать на то, чтобы человек смог всю ее усвоить, даже в «адаптированном», облегченном виде. Необходимо искать пути обобщенного, «интегрированного» приподнесения научных знаний людям, которые не собираются профессионально работать в данной области науки. Несомненно, один из таких путей — ознакомление с философскими следствиями развития современной науки.

...В начале рецензии я привел слова Ф. И. Тютчева, слова сожаления о канувших в Лету античных временах. Эта своего рода ностальгия, стремление воззвратить утраченную ясность мировосприятия, по-видимому, свойственна человеку во все века. Но в каждый момент истории, начиная с момента зарождения подлинной науки, нельзя обрести эту ясность, иначе как ассимилировав то сложное и поначалу не вполне ясное, что несет с собой познание.

Наука развивается. Развивается и научное мировоззрение.

О. МОРОЗ.

★

«ВЫХОЖУ ИЗ ПРОСТРАНСТВА...»

Янов Кумок. Евграф Федоров. Серия «Жизнь замечательных людей». М. «Молодая гвардия», 1971. 320 стр.

Платон открыл пять правильных выпуклых многогранников, Архимед — тринадцать выпуклых полуправильных. Кеплер — четыре правильных невыпуклых, Федоров — пять параллелоэдров... Этой простой аналогией известный математик Б. Делоне наглядно показал когда-то величие достижений Евграфа Степановича Федорова в геометрии. Другие авторы, рассматривая историю естествознания в целом, ставят Федорова рядом с Вернадским и Менделеевым, Павловым и Мечниковым...

Давно уже написаны монбланы книг о Платоне и Архимеде, эвересты о Кеплере, да и о Вернадском и Менделееве накопилась порядочная стопка сочинений. О Федорове же книга Я. Кумока — первая (если не считать превосходных и обстоятельных, но носящих академический характер книг профессора И. И. Шафрановского). Федорову не повезло в литературе, как не везло в жизни. Одна из причин этого — крайняя малодоступность учения Федорова, популярно излагать его идеи чрезвычайно трудно.

Сам приход Федорова в науку своеобразен, как все в этой личности. Он начинал как математик, разработав, причем совершенно самостоятельно, без чьей-либо помощи или подсказки, пространственную геометрию фигур (в своем первом, почти юношеском гениальном сочинении «Начала учения о фигурах»). От математики мысль его двинулась к кристаллографии: сейчас такой шаг кажется естественным, само собой разумеющимся, — во времена Федорова он был революционным. Веками кристаллография развивалась как описательная дисциплина, господствовало убеждение, что ее функции «от роду» ограничены измерением и фиксацией. Разумеется, это был тупик, но вся трагичность некоторых поворотных моментов истории науки в том и заключается, что сами ученые не осознают чаще всего «тупиковой ситуации». Нужен взгляд со стороны, мощный ум, способный изменить структуру мышления, построить прежде неведомую «систему отсчета» (кстати, философию этого явления чудесно раскрыл сам Федоров в речи «Из итогов тридцатипятилетия»; в книге Я. Кумока приведены отрывки из нее).

Чтобы математизировать кристаллографию, Федорову пришлось глубоко разработать законы симметрии, что само по себе имело неограниченное значение для дальнейшего прогресса естествознания. И всю колоссальную работу ученый начинал и долгие годы вел в полном одиночестве, никем не понятый и не поддерживаемый, занимая более чем скромную должность делопроизводителя в Геологическом комитете.

Федоров рано почувствовал свой дар. В шестилетнем возрасте ему попался на глаза учебник геометрии для кадетских училищ. «Я шутил начал читать первые страницы этого учебника, но содержание... вызвало такое со звукие струн моей психики, что я был буквально увлечен этим чтением; каждое слово, каждая фраза... с такой силой отпечатались в моем уме, что, непрерывно и без всякой остановки, так сказать, запоем прочтя эту книжонку, я на всю жизнь усвоил все, что там написано». Шестнадцати лет он замышляет трактат о фигурах, в котором намерен вывести законы выполнения плоскости, пространства и математической симметрии. Грандиозный замысел! Чрезвычайно любопытен здесь эстетический момент, эстетический импульс к научному творчеству. «Пришел я к этой теме, — признавался Евграф Степанович, — исходя из наслаждений, испытанных мной при ближайшем изучении изящных соотношений между геометрическими фигурами... Вот эта... чисто математическая гармония и заняла мой ум...»

Казалось бы, жизненный путь юного исследователя определен. Он накануне важнейших открытий. Но Федоров неожиданно и круто меняет свою судьбу.

Его молодость совпала с коренной ломкой общественных отношений в послереформенной России. Он мучительно ищет, какое же место должен занять ученый в современном обществе. И не находит его. Тогда он порывает с наукой и примыкает к революционерам. Участвует в дерзком похищении из тюрьмы князя Кропоткина. На квартире своей невесты организует подпольную типографию. Выпускает с товарищами нелегальную газету «Начало». Один за другим попадают в лапы охранки его друзья. Лишь чудо спасает самого Федорова.

В августе 1878 года Сергей Кравчинский

совершает покушение на генерала Мезенцева, шефа жандармского корпуса. С этого времени в партии «Народная воля» берут верх сторонники террористического метода борьбы. Федоров с ними решительно не согласен. Начинается новая пора тяжких размышлений. И пройдя мученический иску́с, он возвращается к науке, чтобы уж не расставаться с ней до самого смертного часа. (В буквальном смысле до смертного часа. Ученик Евграфа Степановича профессор Аншелес, дежуривший у постели больного, вспоминал впоследствии: «Он бредил тем, чем жил в своей жизни,— строением молекул. Я очень жалел, что не записал его бред. Может быть, он говорил и очень интересные вещи».)

Наивысшее достижение Федорова — вывод 230 геометрических законов, по которым располагаются элементарные частицы (атомы, ионы, молекулы) в кристаллических структурах. Поразительно: он сделан тогда, когда об элементарных частицах ничего не было известно и само их существование подвергалось сомнению. Должно было пройти более двадцати лет, прежде чем эксперименты Лауэ на рентгеновской установке подтвердили уникальные выводы Федорова. Я. Кумок справедливо сравнивает это событие с наблюдениями над солнечным затмением 29 мая 1919 года, подтвердившими правильность теории относительности Эйнштейна, выведенной, как известно, также априорно. Другого такого примера во всей истории науки, кажется, не сыскать. «Праздники человеческого гения», как называет такие эпизоды автор, случаются не часто.

По поводу того, что важнейшие и непреложные законы кристаллографии были познаны «из головы», задолго до того, как появилась возможность проверить их опытным путем, Федоров не без юмора заметил: природа как бы преклонилась перед кабинетными выводами. Проблема возможностей человеческого разума, средств раскрытия и природы научной истины глубоко волновали его. Он умело ставил эксперименты, когда в них являлась нужда, но всем другим методам поиска истины предпочитал математические операции. «По иронии судьбы,— отмечал он,— как раз величайшие открытия науки были сделаны при пособии самых примитивных научных приборов. Вспомним великие открытия Архимеда, Галилея, призму Ньютона... блестящие опыты

Фарадея...» Отсюда и жесточайшая критика Федоровым учения Конта, к которому в молодые годы, судя по некоторым свидетельствам, он питал слабость: «Я лично со словом позитивизм связал недоверие, почти пренебрежение к стройному человеческому уму. Желание поставить его в уровень воспринимающих, пожалуй, отчасти распределяющих приборов, но не заключающих в себе истинного творческого начала, то есть главного орудия в искании истины».

Теперь я вернусь к вопросу о популяризации сложнейшего федоровского учения. Как с этим справился автор? Его решение, быть может, не лишено смелости. Оно напомнило мне историю с гордиевым узлом. В сущности, Я. Кумок отказался от упрощенного толкования. Он как бы делает ставку на читателя «вышесредней» образованности. «Научные» главы исполнены, я бы сказал, в «одическом» стиле. Напоминают торжественные песнопения тому открытию, которое совершил герой. Недаром одна из глав так и называется «Гимн симметрии»...

Чувствуется, что автору пришлось подумать над композицией, дабы распределить трудноусваиваемые «научные» главы среди легкодоступного материала. Так, разбор «Начал учения о фигурах» дан в том месте книги, где речь идет о молодости героя, о том времени, когда он впервые задумался над проблемами гармонии фигур (хотя хронологически должен стоять значительно позже). Тот же «Гимн симметрии» следует непосредственно за рассказом о душевном кризисе героя и приобретает от этого особую эмоциональную окраску.

Желая, по-видимому, полнее показать научное окружение Федорова (а в это понятие в широком смысле попадают и научные предшественники), Я. Кумок прибегает к вставным новеллам, он называет их «преданиями». Меня удивило, что ни одна из них не посвящена Кеплеру, напрямую предшественнику Евграфа Степановича, которому он вообще был очень близок по мировосприятию и кругу умственных интересов.

Выделяется «предание» о Стеноне. Это первая у нас попытка дать художественный образ знаменитого датчанина. Личность Никола Стенона вызывает громадный интерес и на Западе породила несметное количество литературы. Вокруг него скрещивают копыта клерикалы и безбожники, неотомисты и экзистенциалисты. Гениальный на-

туралист, стоявший у истоков таких разнородных наук, как анатомия, палеонтология и кристаллография, он в расцвете творческих сил порывает с наукой и, обратившись к религии, «из великого ученого (по выражению Лейбница, хорошо его знавшего.— В. Г.) превратился в посредственного богослова». Стенон написал знаменитое письмо Спинозе («Реформатору философии — об истинной философии»), призывая и его отказаться «мыслить». Некоторое время назад Ватикан канонизировал Стенона, теперь он признан святым.

Есть ли у датчанина что-либо общее с Е. С. Федоровым? Несомненно. Оба они жили в сфере духовных интересов, этому подчинялась и внешняя сторона их жизни, их быт, который оба умели беспощадно ломать, если он входил в противоречие с их мировоззренческими принципами. Но на этом сходство кончается. Автор справедливо противопоставляет духовные приобретения Федорова духовным утратам Стенона: «Федоров избежал судьбы Стенона; он боготворил науку и верил во всемогущество разума».

Биографический жанр, к любителям которого я себя отношу, проявляет в последние годы удивительную «архитектоническую» многовариантность. Мы встречаем книги-раздумья, в которых факты биографии как бы нанизаны без какой-либо заметной последовательности на стержневую мысль автора, книги, в которых преобладают «конструкции» документов, и т. д. Я. Кумок предпочел классическое «романное» построение. Большим подспорьем в осуществлении этого замысла ему послужили неопубликованные мемуары жены Федорова — Людмилы Васильевны. О существовании их было известно, но только после книги Я. Кумока стало ясно, какой большой интерес они представляют, сколь будет полезна их публикация.

Выше уже говорилось, что Федоров был трудным человеком. Его отношения с коллегами складывались нелегко. Подчас его оценки были слишком резки, мнения субъективны. Автору приходится касаться и сложных сторон личности ученого. Тут он прибегает к приемам иронии, иронического обыгрывания событий или высказываний. Сам по себе прием не вызывает возражений, но, увлекшись, Я. Кумок порой переходит границу — и ирония переходит в фамильярность.

Укажу еще на один авторский просчет. Известно, что Е. С. Федоров был оригинальным мыслителем. Он оставил философский трактат «Перфекционизм», в котором с эволюционистских позиций обозреваются законы естествознания и делается попытка (одна из самых ранних!) толковать социологические закономерности статистическим путем. В книге Я. Кумока есть лишь глухое упоминание об этом трактате, нет ни серьезного его изложения, ни тем более анализа.

Все же не будем забывать, что эта книга о великом русском кристаллографе — первая. Отрадно, что в сфере широких читательских интересов введен еще один гений отечественной науки. Кроме того, книга и своеобразно актуальна. Намеренно впадая в преувеличение, скажу, что геология в настоящее время ждет мыслителя федоровского типа, как ждала его дофедоровская кристаллография. Тупика нет (хотя не сами ли я оговорился, что люди науки часто его не осознают?), но гений был бы кстати. Возможно, он уже появился — сидит за школьной партой, на студенческой скамье. Прочтя эту книгу, может быть, он узнает о трудном и счастливом пути, который его ожидает.

В. ГАВРИЛОВ,

кандидат геолого-минералогических наук.

★

ПЕРВОБЫТНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ

Гарри Райт. Свидетель колдовства. М. «Молодая гвардия». 1971. 208 стр.

«У меня не хватает слов, чтобы описать эффект, производимый таким танцем. В нем не было ни согласованных движений, ни определенного рисунка. Каждая из участвующих женщин, танцуя, приходила во все большее возбуждение, полностью теряя

всякое представление об окружающем. Казалось, что они ничего не видят вокруг себя... Главный жрец фетиша начал петь еще громче, чем раньше. Барабан снова начал бить громко и быстро. И вдруг мне показалось, что глаза у меня сейчас вылезут на

лоб: сразу за девушкой, на границе мерцающего света, я увидел тень животного, я не успел выразить своего удивления, как предо мной появился взрослый сильный леопард. Это могло быть моим воображением. Если так, то, значит, я обладал большим воображением, чем считал прежде. Еще два леопарда появились позади девушки. Они величественно прошли через площадку и все трое исчезли в тени деревьев... Я не знал, видел я что-нибудь или находился под воздействием массового гипноза. Если это был гипноз, то гипноз превосходный, ибо во всем остальном я чувствовал себя совершенно нормально. До сих пор я так и не знаю, что же я видел. Я думаю, что это был леопард, или, точнее, три леопарда. Но если нет, то что-то удивительно похожее на леопардов».

Чоро «был гипнолог, чрево вещатель и иллюзионист высшей квалификации. Однажды я был свидетелем исчезновения тела человека, хотя я во все глаза следил за его махинациями!»

«Понятие «совпадение» не способно объяснить все случаи, свидетелем которых я был».

Немало интригующих сообщений такого рода находим мы в книге Г. Райта, дантиста по профессии, члена клуба путешественников США, который долгие годы изучал деятельность знахарей в саваннах Центральной Африки и тропических лесах западноафриканского побережья, в джунглях Амазонки, в Бразилии, Эквадоре, Перу, на островах Океании, на Яве, Борнео, в Малайе.

Для многих первобытных племен знахарь или колдун — это не только врачеватель, но и жрец таинственных и грозных богов и властелин душ. Он дает советы, защищает от бед, решает все личные проблемы соплеменников, а иногда, если сочтет необходимым, лишает их жизни. Он мастер прорицаний, смысл которых можно толковать по-разному, что требует изворотливости фокусника и искусства психолога. Кроме того, он и астролог, и агроном, и метеоролог, советующий, когда сеять и когда убирать урожай. Он выступает в роли хранителя обычаев, наставника, заботящегося о моральном, физическом и духовном здоровье соплеменников.

Знахарь вторгается в темное сознание примитивного человека, где царят страхи и тревоги. С помощью «магии» в различных ее формах он ослабляет тревогу и внушает веру. Простейшими приемами за несколько

минут ему удается достичь результатов, для которых психиатрам порой требуются месяцы и годы. Мистические элементы внушения сочетаются у него с такой практической техникой, как гипноз, фокусничество, с бесполезными лекарствами, в целебные свойства которых пациенты верят, и именно поэтому они помогают. Знахарь старается подбодрить больного оптимистическими предсказаниями, делая ставку на его силы и обещая смерть его врагам. И прежде всего он использует средства психологии. Причем любопытно, что механизмы психологического воздействия не зависят ни от этнических обычаев, ни от языка, ни от географического района.

Когда знахаря призывают для лечения больного, он старается указать на причину его несчастий, телесную или бестелесную, доступную пониманию пациента. Твердой рукой мастера, постоянно контролирующего реакции аудитории, управляет он развитием эмоций, которые считает полезным возбудить.

Могущество колдунов основано на безграничном, нерассуждающем доверии их соплеменников. Но не менее важно то, что для людей первобытного племени равно естественны два мира — реальный мир и мир духов, который, по их представлениям, окружает человека в его повседневной жизни. Заболевание или смерть туземцы связывают прежде всего со «злым духом», поэтому главная задача врачевателя в том и состоит, чтобы своевременно обнаружить «дух» и уничтожить или нейтрализовать его на глазах пациента. С этой точки зрения, справедливо подчеркивает автор, совершенно не важно, насколько фантастическими и лишены смысла с позиций науки могут выглядеть все обряды и приемы знахарства. Они реальны, они действительны для первобытных пациентов. В одном из индейских племен, затерянных в джунглях Амазонки, Г. Райт наблюдал, например, как знахарь, пальцем не притронувшись к роженице, находившейся при смерти, спас ее средствами внушения, сопереживая все перипетии ее возвращения к жизни. «Я чувствовал себя так, — говорит он, — словно чуть-чуть приподнял завесу тайны, скрывавшей отношения людей между собой, и увидел те серебряные нити, что связывают сознание одного человека с сознанием другого».

Колдуны, отмечает Г. Райт, очень часто бывают людьми ущербными физически или социально, бывают подвержены видениям,

трансам, то есть, говоря иначе, они плохо приспособлены к обычной жизни. В некоторых племенах знахаря даже называют тем же словом, что и помешанного. Однако стать знахарем совсем не просто. Надо пройти жестокие испытательные ритуалы, которые представляют собой психологическую подготовку к этой профессии.

На вооружении знахарей искусная, хорошо продуманная практика овладения человеческим сознанием, контроля над ним, практика превращения этого сознания в глину, из которой можно вылепить все. Колдуньи широко используют два основных механизма психотерапии — исповедь и внушение, необходимые для того, чтобы привести пациента в состояние полного подчинения. И цивилизованному человеку, по-видимому, трудно представить себе ту полноту власти, которую обретает знахарь над объектом такого «промывания мозгов». Кстати, этот термин — буквальный перевод корейского выражения «чистка мозгов» — отражает самый существенный элемент колдовства, так как знахарь стремится оказать не физическое, а психическое и эмоциональное воздействие на пациента или жертву.

Жертву «промывания мозгов» сознательно доводят до полного психического истощения, и тогда в состоянии замешательства и беззащитности здоровая до того психика воспринимает чуждые ей идеи. В этих условиях жертва хочет делать и делает все, что от нее требуют, включая признание в преступлениях, которых она не совершала. Непротивление здесь не является результатом давления или физического насилия, оно рождается как результат всепоглощающей веры в сверхъестественное могущество жреца или знахаря.

Многие приемы знахарей, только более изощренные и с меньшей долей здравого смысла, констатирует Г. Райт, входят в арсенал средств психологической войны, применяемых в капиталистическом обществе. Следует, например, вспомнить о практике подготовки пилотов-самоубийц (камикадзе) в Японии. Самых обычных нормальных людей с помощью средств психологического воздействия превращали в фанатиков. Утонченная обработка, в частности, предусматривала длительное изучение, монотонную декламацию алогичных построений (а это ли не «промывание мозгов?»), определяла возникновение своеобразного психологического вакуума. И люди, которые только что страшились смерти, начинали чуть ли не драться

за право полета на самолете-торпеде — полета без возвращения.

Едва ли не самый яркий пример умения знахарей воздействовать на своих подопечных — танцы, которые играют огромную роль в жизни первобытного общества. Эти танцы на уровне организованного ритуального действия носят характер или психологической разрядки, или же подготовки к какому-то обряду. У индейцев камайюра Южной Америки это праздник танца танга-танга, якобы очищающий жилища умерших от злых духов. В Африке это «танец одержимости», в результате которого человек излечивается от своих недугов, освобождаясь от «духов», и возвращается к нормальному образу жизни. В Дагомее есть «танец леопарда», в Баледе — «танец шакала», граничащий с ликантропией — формой помешательства, когда больные воображают себя волками. Или «танец грома» и «танец дождя», которые, конечно, приурочиваются хитроумными первобытными метеорологами к определенному времени. На острове Бали существует фантастический по своей неистовости «танец криса», участники которого буквально пронзают себя острыми крисами или мечами. «Понять этот обряд можно, только уяснив его значение и эмоциональную ценность для участников. Только тот, кто принимал в нем участие, имеет, вероятно, полное представление о своих мотивах и своей реакции... Но этот танец так сильно подействовал на меня, хотя я был всего лишь зрителем,— пишет Г. Райт,— что, на мой взгляд, один сеанс «танца криса» может либо излечить, либо убить невравненика или просто неуравновешенного психически человека». Однако европейцы, живущие в Бали, полагают, что именно благодаря «танцу криса» на острове очень мало душевнобольных.

Во всяком случае, в разных странах ритуальные танцы преследуют одинаковые цели, причем за рисунком и музыкой танца всегда бдительно присматривает жрец или знахарь, который строго контролирует воздействие ритуала.

Эта первобытная психотерапия подкрепляется точными знаниями о свойствах сотен лекарственных трав и веществ — многие из них вошли в арсенал европейской медицины относительно недавно, а другие остаются пока неизвестными. Чисто фармакологическими средствами знахари успешно лечили проказу, малярию, гипертонию, катары, язвы, хронический ревматизм, черную водянку

ку, возвратный тиф, столбняк, кожные заболевания, лечат от бесплодия и психических болезней. Правда, отмечает Г. Райт, далеко не всегда можно установить, чем объясняется лечебная сила лекарств: может быть, физическое воздействие снадобья проявляется на фоне психологического воздействия. Кроме того, с незапамятных времен знахари Африки и Южной Америки умели делать трепанацию черепа, кесарево сечение, накладывать шины при переломах костей, удалять поврежденный глаз, ампутировать конечности и т. д.

Слов нет, знахари и колдуны первобытных племен, из века в век пробуя и ошибаясь, сделали немало сенсационных открытий. Однако безоглядная почитательность к их достижениям может затруднить рациональное объяснение многих таинственных поначалу фактов. Эти соображения напрашиваются, когда читаешь у Г. Райта: «Одни из наблюдений были просто интересны, другие — поражали, третьи — вызывали странное ощущение, как будто бы я на мгновение приоткрыл покрывало тайного, неведомого и заглянул во что-то запретное для глаз цивилизованного человека».

У читателей этой книги иногда возникает впечатление, что автору как будто не хватает все уравнивающей дозы критичности. Это, разумеется, не означает, что его можно заподозрить в избыточной увлечен-

ности неопита или в повышенной внушаемости, но все же невольно вспоминается точная формула Лоуренса Грина, автора прекрасной книги, посвященной аналогичным проблемам¹: «Мои любимые тайны не выходят за пределы человеческого понимания. Это «волшебство», которое поддается терпеливому исследованию». Стоит сказать, что Л. Грин вообще весьма скептически относится к суждениям европейцев о том, что, мол, в колдовстве заключается нечто большее, чем кажется с первого взгляда: «Если бы они серьезно разобрались в каждом загадочном случае, то вместо магии увидели бы жестокость». Эти суждения примет любой мало-мальски трезвый поклонник психотерапии знахарей. Потому что иначе пришлось бы уверовать в некую «волшбу и прелесть бесовскую», что вряд ли входило в намерения Г. Райта. Он был «свидетелем колдовства», но, по-видимому, свидетелем излишне «включенным», если употребить термин современной социальной психологии. И это обстоятельство в известной мере ставит под сомнение некоторые интерпретации и выводы автора, что, конечно, не умаляет чисто информационной ценности его работы.

Ю. МОИСЕЕВ.

¹ Л. Грин. Последние тайны старой Африки. М. «Мысль». 1966.



КОРОТКО О КНИГАХ



ЮРИЙ ВОРОНОВ. Память. Стихи о блокаде. Лениздат. 1971. 108 стр.

Единство времени, места, настроения выдержаны в книге Ю. Воронова настолько, что, назови автор свою книгу поэмой, перенумеруй стихотворения как главы, никто бы не удивился. «Память» не сборник стихотворений, а книга. Поэтическая книга — как организованное единство, как ее понимали Фет, Блок, Багрицкий. И так, перед нами не «стихи этого года», а «стихи этой жизни».

В пятый, по моему счету, раз в новой русской поэзии в заголовок поставлено слово «память». Однако точнее не придумаешь: стихотворные воспоминания Воронова, в тридцать, в сорок лет переживающего события жизни блокадного подростка, сливаются в память, возвышаются до памяти. Когда-то Вячеслав Иванов писал: «Ты, память, муз родившая, свята... Тебя зову, но не воспоминанья». У Воронова же память не отрицание, а претворение воспоминаний. На то есть свои причины.

В жизни Воронова, наверно, не было ничего значительнее девятисот дней блокады, труда бойца комсомольского отряда, помогавшего дистрофикам в их одиноких, пустынных квартирах, таскавшего ведра с водой из проруби, учившегося в промерзшей школе. «Неверно, что сейчас от той зимы остались лишь могильные холмы. Она жива, пока живые мы. И тридцать лет и сорок лет пройдет, а нам от той зимы не отогреться. Нас от нее ничто не оторвет. Мы с нею слиты памятью и сердцем. Чуть что — она вздымается опять во всей своей жестокости нетленной. «Будь проклята!» — мне хочется кричать. Но я шепчу ей: «Будь благословенна».

Велики были страдания, но и мужество было великое. Если битвы за Москву и Сталинград дали нам нашу лучшую военную прозу, оборона города на Неве породила многие лучшие строки военной поэзии. В хоре поэтов вслед за женщинами выступили мужчины, подали голоса все возрасты, и сейчас мы слышим голос маль-

чика, подростка, отрока, рассказывающего о своем проклятом и благословенном отрочестве.

Это чистый голос, пускай глуховатый. Иногда он кажется слишком глуховатым. Воронов, поэт не только одаренный, но и искусственный, скуп на краски. Однако у него свой резон. В гимны ленинградской победы вплелись мощные голоса реквиема. Строгая простота, быть может, лучший способ изображения блокады.

Когда «глядишь на все не глазами, а глазницами той войны», простота кажется надежнее любого барокко. Впрочем, приведу примеры:

Сначала —
Тонкий свист над головой.
Потом удар.
Потом тебя качнет.
Потом земля
Над домом и тобою
Встревоженно ворочаться начнет.

Это начало стихотворения без названия. А вот выдержки из стихотворения «Вода»:

Опять налет,
Опять сирены взвыли.
Опять зенитки начали греметь.
И ангел с петропавловского шпилья
В который раз пытается взлететь.
Но неподвижна очередь людская
У проруби,
Дымящейся во льду.
Там люди
Воду медленно таскают
У вражеских пилотов на виду.

Память Воронова точна и конкретна. Когда он пишет: «И мы Бадаевской землей теперь сластим пустую воду» — и дальше в том же стихотворении: «И мы обходим зеркала, чтобы себя не испугаться...» — за этими строками — жизнь, они перепроверяются документами. Недаром у этого стихотворения вместо заголовка — дата: 31 декабря 1941 года. Она порождена той же точностью и конкретностью. Так поэзия становится документом, не переставая оставаться поэзией.

Иногда Воронов, не доверяя убедительности написанных им картин, оснащает их длинными подписями — нравоучительными концовками, эдакой басенной моралью. Книга же его моральна, совестлива и без приписок. Она несет на себе отблеск страданий и подвига девятисот блокадных дней.

Борис Слуцкий.

★

ЛИДИЯ ФОМЕНКО. Высокий порог. М. «Молодая гвардия». 1971. 352 стр.

В книге Л. Фоменко две повести: о Василии Шелгунове («Один из семи») и Поле Вайяне-Кутюрье («Камрад Поль»). Их объединение под одной обложкой закономерно и даже по-своему знаменательно.

Звенья памяти многих столетий, сомкнутые в книжные томики, помогли пареньку из рабочей семьи ощутить свою жизнь во времени, помогли понять правду истории. Юный пролетарий трудится на чугунолитейном заводе по четырнадцать часов, труд его страшен, но в этом труде — первое звено, соединившее Шелгунова с рабочим классом до конца дней. Прослеживая в повести Лидии Фоменко путь Шелгунова — учителя Бабушкина и соратника Ленина, мы невольно отмечаем власть слова над человеком, видим, как слово правды, освященное верой революционера в торжество справедливости, постепенно меняло, выпрямляло, выковывало характер. Как оно сплывало сердца, учило биться в одном ритме, воплощалось в подвиге, в жертве, в деянии, в конечном счете — в пролетарской победе над самодержавием.

Повесть Лидии Фоменко дает возможность современному читателю ощутить нравственный мир борца за народное дело, большевика, сам процесс приобщения человека к семье борцов, рождение высокой цели. И еще одну важную мысль убедительно доносит произведение: такие люди, как Шелгунов, по Ленину проверяли себя, Ленин в их понимании — сама совесть революции.

Слесаря Обуховского завода Шелгунова за его опытность и начитанность недаром зовут профессором. Можно сказать, что судьба его — слово, перерастающее в дело, а дело это велико и горячо. «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» сплывался ленинской идеей создания рабочей политической партии. Аресты, тюрьмы, ссылки, снова тюрьмы, болезни, слепота, неустроенность в быту — вот через какие испытания прошла и не истаяла воля бойца. Его убежденность в правоте избранного пути, его бескорыстие и мужество преобразовали окружающих. Слепой, он умел видеть души. Нуждавшийся в помощи, он жил так, что был неизменно необходим другим.

Французского поэта-коммуниста, одного из основателей Коммунистической партии Франции Поля Вайяна-Кутюрье, подобно

Шелгунову, так же, как и тысячи подобных им, вызвала к жизни, воспитала правда века — революция, осененная гением Ленина. Встречи французского революционера с Владимиром Ильичем навсегда определили жизнь Поля Вайяна-Кутюрье. Выходец из благополучной семьи, Поль Вайян-Кутюрье — в изображении Лидии Фоменко — ясно сознает неблагополучие мира, окровавленного войнами и раздираемого противоречиями. Командир первого танка в первой мировой войне, он так воспринимал страдания людей, словно по нему самому прошли гусеницы танков всей мировой бойни, точно его сердце — поле битвы добра и зла. Его боль переливалась в слово, звучащее стихами, статьями, речами, книгами, страницами «Юманите», которую Поль Вайян-Кутюрье возглавил. Поэт, ученый, язычески влюбленный в природу, он стремился, следуя за Лениным, научить человечество человечности, научить его языку братства, равенства и свободы.

Так на разных концах Европы революционеры разных национальностей, ведомые гением Ленина, вырастали в подлинных интернационалистов. Читая повесть «Камрад Поль», снова видишь, как революция обогащает людей, стирает разницу возраста, потому что революция всегда молода и ей нужны юные духом бойцы. Судьбы таких людей, как Василий Андреевич Шелгунов и Поль Вайян-Кутюрье, стали вежами борьбы за справедливость. Знакомство с ними обогащает. В этом добрая заслуга писательницы Лидии Фоменко, постаравшейся свою любовь к героям донести до читателя, и прежде всего читателя «молодогвардейского».

Борис Дубровин.

★

А. МИТЯЕВ. Шестой-неполный. М. «Детская литература». 1971. 95 стр.

Стоит ли ребенку шести-семи лет рассказывать о войне? Ведь война — это напряжение человеческих сил сверх всякой меры, это жестокость, это кровь и смерть. Может быть, следует оберегать светлый мир детства даже от упоминаний обо всем этом, оставив детям природу и добрых зверей, забавные истории и веселые приключения? Этот вопрос сегодня представляется схоластическим. Он давным-давно решен нашей детской литературой, доказавшей не раз, что в разговоре с детьми запрещенных тем не существует. Да, война — это жестокость и кровь, но это и героизм во имя родины, и высокое чувство товарищества, и великое испытание характеров...

Анатолий Митяев рассказывает о войне так, что мальчишка-первоклассник может пофантазировать и вообразить себя и отчаянным разведчиком Сережей Скорородовым, который достал «языка», и летчиком капитаном Блиновым, сумевшим отбить у немцев лошадей, чтобы в разоренной фашистами деревне женщины не впрягались в плуг, и да-

же сердитым рыжим санитаром, который на собаках — овчарках — вывозит с поля боя раненых.

Герои митяевских рассказов понятны ребятам, потому что часто сами похожи на больших детей. Название сборнику «Шестой-неполный» дал рассказ об артиллеристе Саше Ефремове. Перед самой войной он стал курсантом артиллерийского училища. Он был маленького роста и стоял последним в строю. Когда командир скомандовал рассчитывать и очередь дошла до Саши, он крикнул: «Шестой!» Командир поправил: «Шестой-неполный» (у Саши не было пары) — и все рассмеялись, просто потому что Саша был маленького роста. Командир объяснил, почему надо говорить «неполный», а потом, «поглядывая на тех, кто смеялся громче других, добавил: «Ни по росту, ни по цвету глаз не определишь, у кого сердце настоящего командира. Это только в бою видно». У Саши Ефремова оказалось именно такое сердце — в первом же бою он совершил подвиг...

О чем бы ни говорил в своей книжке Митяев, он ориентируется на ребенка, на его восприятие мира. Тимофей — подносчик снарядов (рассказ «Тимофей беспраздничный»), который до войны был пекарем, после жаркого боя видит во сне противни, только вместо буханок на них снаряды. Разведчик Сережа Скороходов (рассказ «Теплый «язык») заболел, ему всю свою одежду пришлось отдать «языку» — выкрал-то он его полутолога, когда тот выскочил из блиндажа и растирался снегом. «Ты пей все лекарства, — говорит ему генерал, вручив орден Отечественной войны, — и горчичники держи подольше. Не боишься горчичников? Ух и жугун они!»

Многое в рассказах Митяева делает их похожими на сказки. Это, наверное, не случайно, ведь он автор многих сказок, написанных для детей.

М. Искольдская.

★

ЛЕОНИД БОЛЬШАКОВ. Отыскал я книгу славою... Челябинск. Южно-Уральское книжное издательство. 1971. 212 стр.

Оренбургский литературовед Леонид Большаков, изучая рукописи Оренбургской областной библиотеки, нашел удивительную рукописную книгу под не совсем ясным с первого взгляда названием: «Обозрение происшествий в Молдавии и Валахии в течение 1821-го года и сопряженных с ним обстоятельств». Небольшая книга эта — о тайном обществе греческих патриотов, созданном для освобождения Греции из-под турецкого ига, о героическом и трагическом в истории Греции 1821 года. Ни на обложке, ни на заглавном листе фамилия автора не обозначена.

Кто же он, автор этой страстной, блестяще написанной книги? Ответу на этот и на другие сложные вопросы и посвящена кни-

га Л. Большакова. Шаг за шагом логика исследования, отвергая столь заманчивое авторство Пушкина (сколько общего в «Обзрении» и в заметках о Греции великого поэта!), вела к истинному автору, несомненно человеку образованному, знакомому с движением греческих патриотов, со строением как греческого тайного общества, так и тайных обществ вообще, к знатоку военных действий, явному декабристу, судя, кроме всего прочего, по безымянности рукописной книги... Один за другим были «проверены» декабристы, откликнувшиеся на греческие события, — Орлов, Штейнгель, Кюхельбекер, Лунин, Раевский, Тургенев, Лорер, Рылеев... В конце концов исследователь остановился на имени Павла Ивановича Пестеля. И вот последний этап работы — стилистический анализ записок Пестеля на имя генерала Киселева и «Обзрения». Сомнения нет — автор найден! Но самое ценное в этой документальной повести, пожалуй, не атрибуция ее, как бы ни была она существенна, — перед читателем раскрыт новый интересный русский писатель — Пестель. Недаром же с самого начала возникала мысль об авторстве Пушкина!

Композиционная стройность, четкость в подборе доказательств, занимательность изложения, отказ от заманчивых, но уводящих в сторону деталей — все это характерно для повести Л. Большакова.

Под одной обложкой с ней помещена и другая работа автора, «Дело Мигурских». Это своеобразный монтаж исторических документов, точно воссоздающих жизнь в Сибири и попытку героического побега из ссылки польского революционера Винченция Мигурского и его жены Альбины — героев известного рассказа Л. Толстого «За что?».

Обе документальные повести, столь разные по принципам построения, еще раз подтверждают огромные возможности самого жанра литературного поиска, исследования, когда за дело берется писатель-литературовед.

Пожалуй, вряд ли стоило включать в данный сборник рассказы «Инициатором был Чехов» и «По долгу дружбы». Они не столь значительны и интересны, как две первые повести.

Думается, успеху книги у читателя будет способствовать и ее с хорошим вкусом выполненное оформление (художник-редактор — Я. Мельник).

Р. Борисов.

★

Я. О. ЗУНДЕЛОВИЧ. Этюды о лирике Тютчева. Самарканд. 1971. 166 стр.

Книга построена очень просто. Один за другим следует разбор стихотворений Тютчева: «День и ночь», «Вечер мгlistый и ненастный», «Ночное небо так угрюмо»,

«О вещая душа моя!», «Предопределение» и многих, многих других. Каждый разбор — как самостоятельная глава, введенная специальной рубрикой.

В сущности, перед нами довольно цельная монография. Все частные разборы освещают различные стороны творчества поэта: собственно философские стихотворения, пейзажную лирику и лирику интимную. Идя далее, Я. Зунделович исследует то, что связывает все стихи и все поэтические циклы Тютчева воедино. Автор именует это объединяющее начало «образом мира». Что же такое «образ мира» художника, названного Достоевским «первым поэтом-философом, которому равного не было, кроме Пушкина»?

Я. Зунделович предупреждает о трудностях анализа философской лирики, причем его предупреждения, вероятно, небесполезно прочитать не только исследователям, но и поэтам, работающим, как говорят, «в этом трудном жанре».

Автор книги видит в философской лирике некую абстрактную сентенцию, не неподвижную философему, а живую, развивающуюся и сложную мысль. Услышать ее можно только во всем богатстве оттенков и переходов — в том, что исследователь называет «аккомпанементом». «Мы получаем именно аккомпанемент мыслительного процесса, переживание мысли, а не логическое воспроизведение процесса мысли». Благодаря этому философское стихотворение многозначно и несводимо к одному «главному» выводу.

Показателен разбор Зунделовичем стихотворения «Silentium!». Существует версия, согласно которой это — программное выражение романтического индивидуализма, утверждение бессилия слова и т. д. Я. Зунделович видит в стихотворении сложное отражение «диалектической противоречивости мысли и языка», а «в практическом разрезе — проблему мук слова». «Если идея «Silentium!» и порождена в лоне романтизма, если в основе ее и лежит нечто от индивидуализма, то в своем конкретном образно-художественном воплощении в произведении она далеко выходит за рамки того или иного художественного метода, став прежде всего великим явлением искусства...»

«Этюды о лирике Тютчева» — посмертная книга Я. О. Зунделовича (1893—1965). Известный советский литературовед, начинавший свою деятельность в изданиях В. Я. Брюсова, преподаватель ряда высших московских учебных заведений, Зунделович последние двадцать лет прожил в Самарканде. Здесь он воспитал учеников, оставил по себе благодарную память. В Самарканде и в Ташкенте изданы многие работы ученого, получившие широкое признание.

Ю. Мавя,
кандидат филологических наук.



ИОГАННЕС БОБРОВСКИЙ. Избранное. Перевод с немецкого. М. «Молодая гвардия». 1971. 447 стр.

В однотомнике И. Бобровского, вышедшем в серийном издании «Библиотека литературы ГДР», объединены его лучшие стихи и новеллы, романы «Мельница Левина» и «Литовские клавиров». Один из крупнейших современных немецких писателей впервые представлен по-русски столь полно и разнопланово. И в прозе современной и исторической, и в философской лирике И. Бобровский поэтически осваивает один и тот же излюбленный свой край — многострадальные восточные земли между Неманом и Вислой. Когда-то они были заселены древними сарматами, а потом здесь перемешались литовцы и поляки, цыгане, евреи и немцы. Этой земле, где родился писатель, он отдал всю свою художническую любовь.

Разноплеменные обитатели края: богатеи и голодранцы, ремесленники, земледельцы, торгаши, гимназические учителя и особенно любимые писателем бродяги-музыканты — герои его книг. Их разноголосатая речь — колоритная, самобытная, лукавая, хитрая, а порой резкая и откровенная в своей нагой прямоте — составляет всюду костяк текста.

Исподволь, незаметно втягивает нас писатель в местные распри и тяжбы, завлекает на деревенские праздники, заставляет наблюдать нешуточные потасовки. Меньше всего сам автор повествует и представляет, он наперед предлагает вслушаться в раздоры и перепалки. Порой кажется, что писатель ничего не придумал, все записано, как услышано. Отдельные эпизоды похожи на забавные бюргерские средневековые шванки, вдруг ставшие реальностью. Однако писательская манера И. Бобровского вовсе не проста. Поразив красноречием персонажей, презрев перипетии сюжета, он вместе с тем нет-нет да и подтолкнет откровенно авторской ремаркой ход событий или посоветует что-нибудь разглядеть попристальной, а то и выдаст какую-нибудь свою заветную тайну писательского ремесла.

В романе «Мельница Левина» трагикомические происшествия случились чуть ли не сто лет назад, а в «Литовских клавиров» действие происходит в 30-е годы. Однако сочинения Бобровского историческими в полном смысле слова никак не назовешь, доподлинность временного колорита — не его стихия. Бобровский слыхом своевольный исторический живописец, его метод, пожалуй, можно определить как «исторический импрессионизм»: он всюду дает свои, очень личные впечатления от далеких хроник, а знаменитые легендарные портреты непременно стилизует.

История для писателя не параллель для сравнений и назиданий; прошлое живет в народном современном сознании героев, которые просто и не могут отвлечься от жизни предков, они ее продолжают, ею живут. Историческое движение у Бобровского медлительно. Сравним бытовую фон

двух романов — многим ли он разнится, несмотря на большой временной промежуток в их действии? А порой у него и веками разделенные события как бы соседствуют, что вообще всегда свойственно народному эпическому мышлению.

Умение в самых, казалось бы, мелочных неурядицах, в агрессивной суете где-то на задворках истории видеть и показывать отражение конфликтов эпохи делает И. Бобровского писателем большого масштаба. Крепкий немецкий хозяин, ловким

манером уничтоживший мельницу еврея Левина, ведет себя, несмотря на всю недалекость и заскорузлую тупость, вполне в духе кайзеровской идеологии, а в его арийском глумлении над людьми, как он полагает, низших рас очень отчетливо просматривается грядущий официальный фашизм. Фашизму во всех его вариациях и деталях противостоит гуманное интернационалистическое творчество Иоганнеса Бобровского.

В. Пронин.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ПОЛИТИЗДАТ

Директивы XXIV съезда КПСС по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1971—1975 годы. 79 стр. Цена 10 к.

О подготовке к 50-летию образования Союза Советских Социалистических Республик. Постановление ЦК КПСС от 21 февраля 1972 г. 30 стр. Цена 3 к.

Положение об органах народного контроля в СССР. Утверждено постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 19 декабря 1968 г. 31 стр. Цена 3 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

П. Бровка. Я вам скажу... Стихи. Новая книга (1967—1970). Перевод с белорусского. 192 стр. Цена 71 к.

В. Жилинскайте. Ангел над городом. Юмористические рассказы. Перевод с литовского Ф. Дектора. 183 стр. Цена 22 к.

И. Зубенко. Начинаю жить. Повести и рассказы. 264 стр. Цена 43 к.

В. Канивец. Ульяновы. Исторический роман. Перевод с украинского Б. Турганова. 591 стр. Цена 1 р. 23 к.

Н. Крандиевская-Толстая. Вечерний свет. Стихи. 134 стр. Цена 27 к.

В. Кирпотин. Достоевский-художник. Этюды и исследования. 319 стр. Цена 95 к.

Л. Климович. Наследство и современность. Очерки о национальных литературах. 384 стр. Цена 1 р. 2 к.

А. Ковусов. Заря. Стихи. Перевод с туркменского. 143 стр. Цена 44 к.

В. Мананин. Безотцовщина. Солдат и солдатка. Повести. 208 стр. Цена 35 к.

И. Осипов. В походе. Очерки. 247 стр. Цена 51 к.

В. Панова. Заметки литератора. 238 стр. Цена 56 к.

Б. Полевой. Сокрушение «Тайфуна». Из записок военного корреспондента. 344 стр. Цена 72 к.

Поэты 1840—1850-х годов. Вступительная статья и общая редакция Б. Бухштаб. («Библиотека поэта»). 540 стр. Цена 1 р. 30 к.

А. Твардовский. Статьи и заметки о литературе. 294 стр. Цена 88 к.

А. Шалимов. Странный мир. Научно-фантастические рассказы. 232 стр. Цена 46 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

О. Гончар. Тронка. Роман в новеллах. Перевод с украинского И. Карабутенко и И. Новосельцевой. 432 стр. Цена 1 р. 90 к.

Т. Драйзер. Западня. Рассказы. Перевод с английского. 223 стр. Цена 34 к.

М. Лакербай. С горстой родной земли. Новеллы. Перевод с абхазского. 256 стр. Цена 45 к.

А. Лебеденко. Лицом к лицу. Роман. 590 стр. Цена 1 р. 14 к.

Л. Пинский. Шекспир. Основные начала драматургии. 606 стр. Цена 1 р. 91 к.

С. Рагимов. Избранные произведения. В 2-х тт. Перевод с азербайджанского. Т. 1.

Повести и рассказы. 471 стр. Цена 1 р. 9 к.
Т. 2. Повести-легенды. Сказки и притчи. 470 стр. Цена 1 р. 9 к.

Л. Рахманов. Вспокойная старость. Пьесы. 383 стр. Цена 80 к.

А. Толстой. Хождение по мукам. Трилогия. Вступительная статья В. Щербины. («Библиотека всемирной литературы») 847 стр. Цена 2 р. 38 к.

К. Филипович. Микророманы. Провинциальный роман. Дневник антигероя. Пленник и девушка. Сад господина Ничке. Мужчина — это ребенок. Перевод с польского. 384 стр. Цена 1 р. 31 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

А. Костенко. Леся Украинка. («Жизнь замечательных людей») 348 стр. Цена 89 к.

М. Нагнибеда. Избранная лирика. Перевод с украинского. 31 стр. Цена 12 к.

Л. Татьяничева. Высокий мой берег. Стихи. 175 стр. Цена 54 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

О. Гурьян. Марион и косой король. Историческая повесть. 191 стр. Цена 40 к.

Н. Добролюбов. Избранные статьи. 319 стр. Цена 78 к.

М. Квливидзе. Давид из Сагурано. Повесть. 127 стр. Цена 35 к.

И. Койн. Девочка, с которой детям не разрешали водиться. Перевод с немецкого. 142 стр. Цена 33 к.

А. Лиханов. Чистые камушки. Повесть. 192 стр. Цена 43 к.

О литературе для детей. Ежегодник. Выпуск 16. 223 стр. Цена 70 к.

В. Петров. Детство Ромашки. Тетралогия. 576 стр. Цена 1 р. 30 к.

И. Тургенев. Стихотворения в прозе. 127 стр. Цена 28 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

Г. Бакланов. О нашем призвании. («Писатели о творчестве») 112 стр. Цена 13 к.

П. Выходцев. Павел Васильев. Литературный портрет. 144 стр. Цена 19 к.

В. Ильин. Корень. Рассказы. 111 стр. Цена 22 к.

А. Кривицкий. Начала и концы. Публицистика. 560 стр. Цена 1 р. 16 к.

В. Ковтун и О. Цыганов. Максимум выразительности. Брошюра о журналистике. 80 стр. Цена 17 к.

В. Лебедев. Жизнь прожить. Повести. 352 стр. Цена 71 к.

В. Литвинов. Семен Данилов. Литературный портрет. 176 стр. Цена 22 к.

В. Маевский. Девальвация бонифаций. Фельетоны. 207 стр. Цена 41 к.

Н. Носов. Повесть о моем друге Игоре. 190 стр. Цена 31 к.

В. Овчинин. Гости в Стукачах. Рассказы и очерки. 639 стр. Цена 1 р. 25 к.

М. Чернулусский. Тополиный шум. Повесть. 240 стр. Цена 56 к.

Б. Шаховский. Окно у причала. Стихи. 240 стр. Цена 63 к.

«ИСКУССТВО»

А. Базен. Что такое кино? Сборник статей. Перевод с французского. 383 стр. Цена 1 р. 72 к.

Василий Дмитриевич Тихомиров. Артист, балетмейстер, педагог. Сборник статей. 391 стр. Цена 2 р.

Б. Гнедовский и Э. Добровольская. Дорогами земли Вятской. («Дорогами к прекрасному») 135 стр. Цена 33 к.

Мастера архитектуры об архитектуре. Зарубежная архитектура. Конец XIX—XX вв. Избранные отрывки из писем, статей, выступлений и трактатов. 590 стр. Цена 3 р. 44 к.

Б. Никифоров. Путь к картине. О творчестве и мастерстве советских живописцев. 142 стр. Цена 97 к.

«ПРОГРЕСС»

В. Бурджейли. Человек, который знал Кеннеди. Роман. Перевод с английского. 332 стр. Цена 1 р. 11 к.

Г. Гибш и М. Форверг. Введение в марксистскую социальную психологию. Перевод с немецкого. 296 стр. Цена 1 р. 22 к.

Живой мост. Рассказы арабского сопротивления. Перевод с арабского. 167 стр. Цена 41 к.

К. Коляар. Международные организации и учреждения. Перевод с французского. 632 стр. Цена 2 р. 69 к.

С. Хаффнер. Самоубийство германской империи. Перевод с немецкого. 144 стр. Цена 26 к.

«МЫСЛЬ»

П. Лузан. Планирование социального развития производственного коллектива. 206 стр. Цена 62 к.

Р. Новиков и Ю. Шишнов. Международная кооперация капиталистических фирм. 287 стр. Цена 1 р. 47 к.

Основные законодательные акты по советскому государственному строительству и праву. Т. 1. 491 стр. Цена 1 р. 41 к.

Я. Рубин. Теории народонаселения. Мальтузианское и буржуазно-антимальтузианское направление. 196 стр. Цена 60 к.

И. Шутов. Личное потребление при социализме. 294 стр. Цена 1 р. 14 к.

«НАУКА»

В. Беляев. Латинская Америка: народное просвещение и проблемы социально-экономического развития. 227 стр. Цена 68 к.

Д. Джохадзе. Диалектика Аристотеля. 264 стр. Цена 1 р. 6 к.

Жанрово-стилевые искания современной советской прозы. Сборник статей. 351 стр. Цена 1 р. 82 к.

А. Карягин. Драма как эстетическая проблема. 224 стр. Цена 1 р.

В. Кулиш. История второго фронта. 659 стр. Цена 3 р. 4 к.

Поэтика и стилистика русской литературы. Сборник статей. 459 стр. Цена 2 р. 31 к.

Г. Пруденский. Проблемы рабочего и вне рабочего времени. Избранные произведения. 335 стр. Цена 1 р. 19 к.

Ю. Сачнов. Введение в вероятностный мир. Вопросы методологии. 207 стр. Цена 64 к.

С. Сёдергрэн. Конго глазами художника. Перевод со шведского. 150 стр. Цена 41 к.

Современное западное искусство. К критике буржуазной художественной культуры XX века. Сборник статей. 240 стр. Цена 1 р. 25 к.

В. Солнцев. Язык как системно-структурное образование. 292 стр. Цена 1 р. 30 к.

А. Строков. В. И. Ленин о войне и военном искусстве. 184 стр. Цена 59 к.

США: современные методы управления. Коллектив авторов. 334 стр. Цена 1 р. 29 к.

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»

О. Богданов. Разоружение—гарантия мира. Международные правовые проблемы. 184 стр. Цена 65 к.

В. Кузнецов, Р. Тузмухамедов и Н. Ушаков. От декрета о мире к Декларации мира. 144 стр. Цена 50 к.

Е. Тарабрин. Новая схватка за Африку. Проблемы межимпериалистической борьбы в освободившихся странах континента. 320 стр. Цена 1 р. 44 к.

«ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Гражданский процесс. Учебник для юридических институтов и факультетов. 439 стр. Цена 98 к.

Ф. Махов. США: молодежь и преступность. Социально-психологический очерк. 152 стр. Цена 23 к.

Н. Сивачев. Правовое регулирование трудовых отношений в США. 263 стр. Цена 88 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

А. Бадмаев. Реки начинаются с истоков. Роман. Перевод с калмыцкого И. Варламовой и А. Письменного. Элиста. Калмкнигоиздат. 264 стр. Цена 56 к.

Грузинские народные сказки. Сто сказок. Составление и перевод с грузинского Н. Дolidзе. Тбилиси. «Мерани». 327 стр. Цена 3 р. 34 к.

Литва литературная. Сборник. Составитель С. Ренчис. Вильнюс. «Вага». 184 стр. Цена 95 к.

М. Саднович. Повесть о ясном Стахере.—Человек в тумане.—Мадам Любовь. Повести и роман. После словие Ф. Кулешова. Минск. «Беларусь». 541 стр. Цена 1 р. 4 к.

А. Шубин. Семь пар железных ботинок.—Непоседы. Повести. Воронеж. Центральное Черноземное книжное издательство. 424 стр. Цена 85 к.

Главный редактор **В. А. Косолапов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Д. Г. Большов (первый зам. главного редактора),
Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, А. А. Кулешов, В. М. Литвинов, А. И. Овчаренко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, О. П. Смирнов** (зам. главного редактора), **Ф. Н. Таурин, К. А. Федин**

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77.
Почтовый адрес: Москва, К-6, пл. Пушкина, д. 5.

Сдано в набор 24/III 1972 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 21/VI 1972 г.
Формат бумаги 70×108^{1/8}. 28,7 уч.-изд. л 9 бум л. (25,2 усл.-печ. л.)
А 06800. Тираж 157.000 экз. Зак. 1091.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.

70636